

Роман Ивана Переверзина “На ленских берегах” увидел свет в серии “100 лучших романов”, издающейся в издательстве “Вече”, где были изданы романы И. Бунина, А. Куприна, М. Булгакова.

“Его родной край — знаменитый, покрытый мрачной завесой природных тайн, край стерхов, аласов и сполохов, а не только морозов и снегов. Приехав сюда, надо постараться выучить “богатый, красивый язык его древнего северного народа”, — пишет один из лучших критиков современности Лев Аннинский. Да, это край Ивана Переверзина, холодный и суровый и в то же время живой. Здесь, на вечной мерзлоте живут и работают люди — и сложные, и наивные, и прекрасные. Они умеют любить, работать, жить по-настоящему, а каждый их день — это маленький подвиг. Иван Переверзин рисует их такими, какие они есть, не принижая и не приукрашивая. Он показывает своих земляков — от доярки и охотника до большого руководителя, — но, конечно же, главная тема, которая проходит красной нитью сквозь всё полотно, — это любовь, вспыхнувшая в сердцах молодых людей.

Устами своего героя Иван Переверзин рассказывает: “После славного завоевания в конце шестнадцатого века казаками под предводительством грозного атамана Ермака когда-то могучего татарского Сибирского царства со столицей Ескер, русские первопроходцы, довольно быстро продвигаясь всё дальше на восток, подчинили себе и якутские племена. К тому времени они успешно расселились на такой огромной территории, что, к примеру, она более чем в сорок раз превышала Францию, а Англию — вообще чуть ли не в сто! Якуты, как в стародавние времена наши дорогие предки, тогда являлись язычниками. И пусть от русских, приняв православие, и были крепче, тем не менее в глубине души я вряд ли ошибусь, если решусь сказать: они в большинстве своём и поныне верны своей древней вере в Природу...”

Лев Аннинский сразу увидел, что роман Ивана Переверзина “достойно войти в память русской прозы. Независимо от того, останется он завершённым или получит продолжение, то есть станет частью многотомной эпопеи”. Так и есть. И то, что он вошёл в серию “100 лучших романов”, — лучшее тому подтверждение.

Сергей ДМИТРИЕВ,
главный редактор издательства “Вече”

НАШ СОВРЕМЕННОК

Журнал писателей России



№ 7 2018

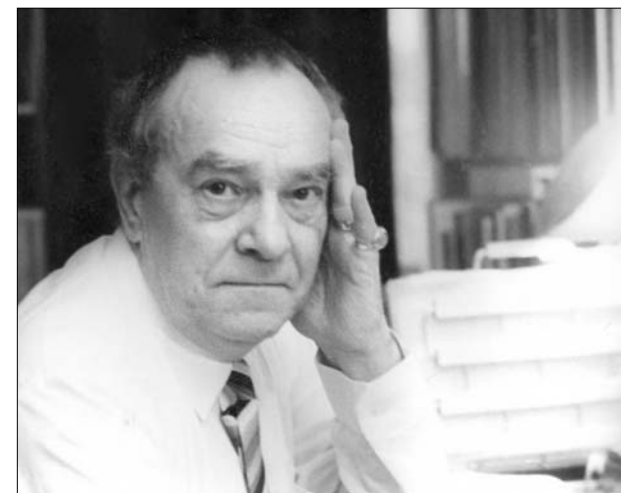
75 ЛЕТ ПЕРЕЛОМНОЙ БИТВЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ



5 июля 1943 года началось самое грандиозное, исходя из числа задействованных сил и средств, сражение Великой Отечественной войны, запечатлённое в истории, как **Битва на Курской дуге**. К лету 1943 года на советско-германском фронте сложилось примерное равенство сил. Назревала решающая битва, которая должна была определить коренной перелом в ходе войны. Фашистская Германия сосредоточила 50 дивизий, из них 17 танковых, что составляло до 7 тысяч танков и до 900 тысяч солдат и офицеров. Германское командование рассчитывало на свои новые танки “Тигр” и “Пантера”, которые впервые должны были быть применены в массированном наступлении. Целью гитлеровцев было окружение советских войск в районе Курска и дальнейший удар на Москву с юга. Насколько грандиозным и кровавым должно было стать и стало это историческое сражение, говорит хотя бы тот факт, что противоборствующие стороны совокупно выставили **в семь раз больше сил, чем в Битве за Москву, и в пять раз больше, чем в Сталинградском сражении**. С рассветом 5 июля огненный ураган обрушился на русские окопы, пошли вперёд радиоуправляемые, начинённые взрывчаткой немецкие танкетки, за ними двигались танковые армады гитлеровских дивизий. Однако советское командование предвидело этот удар, и наша артиллерия нанесла по позициям противника упреждающий огневой налёт, что ослабило силу вражеского наступления. Решающим днём стало 12 июля, когда несколько танковых дивизий врага в количестве 700 танков прорвали полосу нашей обороны в районе Прохоровки и устремились на оперативный простор. Чтобы предотвратить прорыв врага, прямо в лоб фашистским “Тиграм” и “Пантерам” была брошена из резерва 5-я гвардейская танковая армия генерала Ротмистрова, насчитывавшая примерно равное количество машин. Начался невиданный в истории встречный танковый бой, после которого на Прохоровском поле осталось до 400 сожжённых немецких танков, но и наши потери были не меньше... К 23 июля наступление фашистов выдохлось, а вскоре началось ответное советское наступление, завершившееся в августе освобождением Орла и Белгорода. Москва впервые за всю войну приветствовала свою армию победным салютом!

Так 75 лет назад свершился коренной перелом в ходе войны и впервые стала ясно видна наша грядущая Победа!

90 лет со дня рождения Валентина Саввича Пикуля



13 июля 1928 года в Ленинграде, в семье рабочего Саввы Пикуля, выходца с Украины, и его жены Марии, урождённой Карениной, родился мальчик, которому суждено было стать автором 28 исторических и приключенческих романов (считая неоконченные), в которых он широко раскрыл картину жизни России XVIII-XX веков, особенно в части военной истории. Война была знакома ему с детства, так как он, вместе со своей матерью, пережил первую тяжелейшую блокадную зиму в Ленинграде 1941–42 гг. Эвакуированный затем в Северодвинск, где на военной верфи работал его отец, Валентин Пикуль поступает в школу юнг, располагавшуюся на Соловках, в помещениях бывшего монастыря, а после — знаменитого Соловецкого лагеря особого назначения, закрытого в связи с началом войны. В таких суровых условиях воспитывались будущие моряки, и юнге Пикулю доведётся хлебнуть горькой чаши войны, когда в 1943 году он окончит школу юнг и начнёт службу на миноносце “Грозный”. Его первый роман “Океанский патруль”, вышедший в 1954 году, будет посвящён морякам Северного флота, патрулировавшим корабли союзников, доставлявшие необходимые нашей стране грузы в разгар жестокой морской войны. К этой теме Валентин Саввич возвращался неоднократно, особенно известен его роман “Реквием каравану PQ-17”. Однако особую известность Валентину Пикулю принесли его исторические романы — “Фаворит”, “Моонзунд”, “Честь имею” и многие другие. Исторические штудии писателя счастливо совпали с бурным интересом общества к прошлому Отечества. Успеху способствовал и своеобразный писательский почерк, броская манера, сочетающая исторические реалии с приключенческим сюжетом. Общий тираж его книг в СССР и России составил более 20 миллионов экземпляров. Многие произведения В. Пикуля впервые увидели свет на страницах “Нашего современника”.



Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Ю. В. БОНДАРЕВ,
А. В. ВОРОНЦОВ,
В. Н. ГАНИЧЕВ,
Г. Я. ГОРБОВСКИЙ,
Т. В. ДОРОНИНА,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
А. А. ЛИХАНОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
Д. Н. НИКОЛАЕВ,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
В. Д. ПОПОВ,
З. ПРИЛЕПИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
А. Ю. УБОГИЙ,
В. Г. ФОКИН,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ,
С. А. ШАРГУНОВ,
В. А. ШТЫРОВ

Проза

Роман СЕНЧИН	
Ёлка. Рассказ.....	11
Сергей БЕРЕЖНОЙ	
Кофе по-сирийски. Рассказ	20
Михаил КУЛИЖНИКОВ	
Отольются кошке мышкины слёзки. Рассказ	36
Николай ЛУТЮК	
Глоток воды. Рассказ-быль	54
Владимир САЛАМАХА	
Если упадёт один... Повесть	59
Сергей ТРАХИМЁНОК	
Суета сует. Рассказ	125
Юлия АЛЕЙЧЕНКО	
Глаза зимнего бога. Рассказы	137
Олег РЯБОВ	
Не зови прошлое. Рассказы	148
Вячеслав ЩЕПОТКИН	
Возьмите ребёнка на руки. Рассказ	162

Поэзия

Иван ПЕРЕВЕРЗИН	
Душа от радости заплачет.....	3
Владимир МОЛЧАНОВ	
Давайте будем честными... ..	17
Татьяна ОЛЕЙНИКОВА	
Моя потаённая жизнь	32
Валерий ЧЕРКЕСОВ	
Опять рассвет.....	52
Анатолий АВРУТИН	
Простор увидится сквозной	118
Елена КРИКЛИВЕЦ	
Купола колоколен	122
Михась ПОЗДНЯКОВ	
Моё богатство – шум берёз.....	131
Микола МЕТЛИЦКИЙ	
Чтоб очищение светлое настало... ..	134
Анна МАРТЫНЧИК	
Поверить и полюбить	142
Вита ПШЕНИЧНАЯ	
Горит свеча, звучит Сорокоуст... ..	145
Вадим КОВДА	
И только на душе – спокойно и тепло... ..	158
Александр РУДЕНКО	
Пристань	173

Редакция

Приемная —
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —
зам. главного редактора —
(495) 625-01-81

Е. В. Шишкин —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47

Отдел прозы —
(495) 625-57-45

С. С. Куняев —
зав. отделом критики,
отдел поэзии —
(495) 625-02-81

С. С. Зотов —
ред. отдела публицистики —
(495) 625-30-47

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71,
факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —
зав. техническим центром —
(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

А. А. Жуков —
юрист —
(495) 625-57-45

Игорь БЕЛКИН-ХАНАДЕЕВ
Горизонт без конца
и без края... 177

Очерк и публицистика

Николай РЫЖКОВ
Новая индустриализация
России 180
Александр ОСЫКОВ,
Борис ОСЫКОВ
Портреты земляков 194

Слово читателя

“Есть человек, которому
можно верить до конца!” 211

Критика

Ольга МИТРОХИНА
Рождение новой традиции 222
Юрий КОЗЛОВ
Творчество Виктора Лихоносова
и современная русская
литература 225
Глеб ЕЛИСЕЕВ
Историческая панорама
Руси XVI века 230
Борис ШАПТАЛОВ
Анти-Быков 233
Наталья ЕГОРОВА
Вдали от России..... 248
Анатолий АНДРЕЕВ
Превратности демократии, или
“Страшная тайна”, раскрытая
Николаем Чергиным 256
Евгений БУЗНИ
Надлом сознания..... 261

Книжный развал

Татьяна ФЕДОСЕЕВА
Атмосфера времени
на страницах газет 274
Алексей ТАТАРИНОВ
Обломов в точке Апокалипсиса 278
Людмила ЛИС
Русский ответ Джоан Роулинг 283

В конце номера

Георгий ЦАГОЛОВ
Дискуссия о марксизме
в Поднебесной 286

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и публикует наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией. Срок хранения рукописей один год. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Адрес редакции: **Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2** (пн.-чт. с 11 до 17 ч.)

Адрес электронной почты: **n-sovrem@yandex.ru** (рукописи по e-mail не принимаются)

Адрес сайта в интернете: **www.nash-sovremennik.ru**

Юрист редакции оказывает юридическую помощь читателям журнала

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.

При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП “ПараТайп”.

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов. Оператор: Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Подписано в печать 05.07.2018. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ № 2481-2018. Тираж 4500 экз.

Отпечатано в АО “Красная Звезда”, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-32-09 www.redstarph.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

ИВАН ПЕРЕВЕРЗИН



ДУША ОТ РАДОСТИ ЗАПЛАЧЕТ...

* * *

Не скажу, что сурово и грустно,
но весьма одиноко, мой друг.
Будто вспыхнули заново чувства,
ограждавшие душу от мук.

Даже здесь в невесёлой больнице,
где в окно так и плещется синь,
будто снова не только снится,
но приходит любовная жизнь.

Будто нет ничего за плечами:
ни обид, ни тревог, ни потерь...
И всё явственней слышу ночами,
как стучится грядущее в дверь.

Ну, а то, что я болен сурово, —
знаю... Память не может никак,
мне вернуть вдохновенное слово,
погружаясь то в холод, то в мрак...

Ах, какая неожиданная участь,
но она не случайна вовек,
и живу без надежды на случай,
как не самый плохой человек...

ПЕРЕВЕРЗИН Иван Иванович родился в 1953 году в поселке Жатай Якутской АССР. Автор многих поэтических сборников, выдающийся поэт, вышедший из сибирской глубинки, из русского простонародья, постоянный автор журнала "Наш современник".

* * *

В небе облачном мрак замаячил.
Лес в ночном ожиданье застыл...
Отчего ты всё плачешь и плачешь,
будто веришь, что я разлюбил?

Разлюбил... Даже слова такого
знать не знаю и знать не хочу!
Мне бы лишь к твоей нежности снова
восходить, как звезде, по лучу...

В глубине твоих глаз тёмно-синих
мне бы только тонуть и тонуть...
Успокойся и верь, что отныне
мы найдём к счастью истинный путь.

И пройдя его весь, ты увидишь,
может, даже тот солнечный рай,
где ни боли, ни зла, ни обиды,
лишь святая любовь через край.

Отчего ты печальна, я знаю, —
это зависти злобной брехня!
Но я злобу и зависть прощаю
лишь за то, что прощаешь меня!..

* * *

Вновь небо тучами клубится...
Наверно, скоро будет дождь,
Но в чаще озорные птицы
С утра устроили галдёж.

Другие из пород известных —
дроздов, чижей и соловьёв —
вовсю поют такие песни,
что я от них рыдать готов.

И пусть, как дождевые струи,
струятся слёзы по щекам —
они, как Божьи поцелуи,
чисты и неподвластны нам...

* * *

Вновь налетевший с моря ветер,
как пёс, сорвавшийся с цепи,
взмывает к небу кроны ветел,
и взор болезненно слепит.

Но я, своим желаньям верен,
возьму лодчонку напрокат,
и ну грести сквозь все потери,
сквозь всю тоску и жизни ад...

Сам не замечу, как останусь
один среди бескрайних волн,

с душой, звенящей, словно парус,
любовью и надеждой полн.

Вот тут-то и стихи волною,
как в шторм, накроют с головой,
чтоб помнил: смерть не за горою,
чтоб помнил: небеса с тобой.

Душа от радости заплачет,
от счастья сердце запоёт!
И вновь, как ветер, наудачу
я за тобой рванусь вперёд.

* * *

Вновь на дворе совсем не злой мороз,
но зябко так, что не удержишь слёз,
едва в лицо ударит с силой ветер.
Дышать озонным воздухом легко,
но вот туман густой, как молоко,
идя вдоль речки, нынче не заметил...

Душой сыскав свет-образ золотой
и с вдохновеньем, что горит звездой,
пишу по-молодому броско, ярко...
И здесь, в лесу родном, где соловьи,
дрозды, синицы свищут о любви,
мне не сыскать рассветнее подарка...

* * *

Закройся, я уйду, уже сейчас уйду!
Ведь не во что нам верить, дорогая,
когда летим из радости в беду,
напрасно позабыв о кущах рая.

Иль веруешь, что если я прогнусь
перед твоей гордынею ужасной,
на улице, как бомж, не окажусь?..
Да это бред, причём весьма опасный!

Мы много сделали для горевой любви,
чтобы жалеть о прошлом виновато.
Но минул срок... И вся душа в крови,
и нету ей ни света, ни возврата...

* * *

День только начался, пожалуй...
навзрыд успею, видит Бог,
сложить, пусть даже и устало,
букет неповторимых строк.

Покамест погуляю просто
в лесу, где звонкие чижи
поют, как будто с неба звёзды
мне вновь даруют от души!..

Где бурундук, — вот дерзновенный! —
ну, как на крыльях, по верхам
берёз и клёнов высоченных
проносится то тут, то там!

Где ручеёк с улыбкой детской
тебя приветит, словно друг,
на камнях, вымытых до блеска,
где только звон стоит вокруг...

Где в глубине угрюмой чащи
и полумрак, и полутьмишь...
Как будто с одиноким счастьем
о прожитом светло молчишь...

Но, чу! Довольно о природе —
ведь наконец пришли стихи,
неповторимы в своём роде,
что мне навек простят грехи...

НЕЖНЫЙ ДАР

Как хорошо, что ты со мной!
Как хорошо, что я с тобою!
Весь мир горит святой зарёй
и нетерпением, и любовью!

Нет, я не гений, я мечтатель,
а гениальна в счастье ты:
на чистый стол накрыла скатерть
почти стерильной чистоты.

В твоих глазах горят зарницы,
твоя улыбка — свет живой!
И мнится сердцу, что не птицы,
а ты поёшь в тиши ночной.

Да, ты такая! В этом мире
второй не сыщешь днём с огнём.
И дар такой держать в квартире?
Нет, я сполна в уме своём!

На волю! Там цветы и травы!
Пусть свет увидит, это он —
прекрасный образ женской славы,
что для бессмертья сотворён...

ЖАРКИЕ ЦВЕТЫ

Былое, словно кладбище, мертво —
мне из него не вызвать никого...
Ну, и пускай, ведь честно говоря,
осталось на закате сил живых —
лишь на один, но самый главный стих,
в котором небо, море и заря!

Но я от горькой жалости далёк,
поскольку всё, отпущенное в срок,

я совершил по чести и добру.
А если иногда
я вдруг грешил,
то оттого, что вновь и вновь любил,
сгорая, словно пламя на ветру!

Но этот грех — он именно меня
во тьме свинцовой, в полыханье дня
вознёс до чувств заветной чистоты,
с которыми, уверен, впредь могу
растить на стуже, в ледяном снегу
любви бессмертной жаркие цветы.

И вдохновенно с головы до ног
огнём цветов тебя засыплю впрок!
Ну, посмотри, какой счастливый я!
Таким навек останусь я, поверь,
вот и не помни никаких потерь,
но знай одно: ты по судьбе моя!

ВОЛК...

Недоспал, переспал? И не знаю...
Но, поднявшись, угрюмо иду,
как по самому смертному краю,
у последних врагов на виду...

Не с того ль, что вчера много выпил
водки, виски — всего, что лилось?..
Ах, ты, жизнь моя, — скорбная липа,
с горьким плачем осенних берёз!..

Никому я на свете не нужен...
Или нужен бессмертным стихам?
Только с ними всё глуше и глуше
я веду разговор по ночам.

Как такое могло получиться?
Ведь я сердцем горел на ветру,
и не где-нибудь там, за границей,
а в краю, где рождён и умру?

Знал всегда я, что поздно иль рано
будет так, но не смог уберечь
нежных чувств, как от пули нагана
и по пьяни случившихся встреч...

И любовью с пустыми глазами
взял в кольцо я, чтоб сердцем умолк,
как обложенный в пади флажками,
доведённый до бешенства волк...

* * *

Война — слово очень жестокое,
но другое сыскать не смогу,
чтобы близким стало далёкое,
чтоб несло оно гибель врагу...

Там взорвётся закладка адская,
здесь, в столице, запал зажгут —
и всё больше борьба партизанская
разрастается, словно спрут...

Льётся кровь без вины виноватых,
с ног сбиваются в храмах попы,
чтоб отпеть старика, и солдата,
и ребёнка суровой судьбы.

Сколько лет уж — представить горько! —
за бандитами носится власть
по горам, ну, а толку-то только —
с гулькин нос, что пугает нас!

Не дай Боже, чтоб от отчаянья
мы — российский, мирный народ —
за оружие схватились спаянно,
всех мерзавцев пуская в расход!

Пусть простят нас великодушно,
коль под руку горячую нам
попадётся и тот, кто послушно
помогает за деньги врагам!

Власть, державно править охочая,
ты расслышала нас, мать твою?!
Мы, конечно, народ рабочий,
но смекаем, что делать в бою...

СТЕНЫ ВРАНЬЯ

И опять я должен, как таран,
волей прошибать глухие стены...
О, судьба тревожная славян —
ножиком порезанные вены.

Тяжко жить, аж хочется рыдать,
и рыдаю про себя душою.
Только, если честно рассуждать —
я чего-то в этой жизни стою.

Дом срубил, поднял двух дочерей,
написал стихи завидной силы.
Коли духом падал, то, скорей,
от тоски по матушке России...

Всё же каждый раз, как из огня,
восставал я из своей печали.
И сегодня, братья, за меня
вам бояться надлежит едва ли...

Отрыдаю про себя и вновь
встану в рост, легко расправлю плечи.
И пусть жилах закипает кровь,
как в разгаре порубежной сечи.

А глухие стены из вранья
я свалю, чтоб жить на вольной воле,
где, играя волнами жнивья,
ходит моей вечной жизни поле.

* * *

Вновь охваченный чёрными думами,
я шагаю вперёд, как к концу...
Эй, гроза, налетай и струями
бей меня взхлёб по лицу...

Не спасаясь под шумными кронами,
я до нитки промокну в пути,
буду мёрзнуть потом под клёнами,
но с остатним теплом в груди...

Быть не может, чтоб жажда спасения
не встряхнула меня — будь здоров!
И встряхнёт! Коль в огне вдохновения
вновь я жить по полной готов.

Это значит, что хватит мудрости,
чтоб не впасть в простуду-беду,
с шага быстрого, будто в юности,
враз на стайерский бег перейду.

Будет в клетке грудной, как молотом,
сердце в рёбра неистово бить!
Ах, ты жизнь моя, страдное золото,
невозможно тебя не любить!

* * *

Всё откровенней, всё вольней
с крутым подъёмом бьётся сердце.
Я впрок ещё из тех парней,
кто докуёт своё бессмертье.

Вперёд, к нему! В огне стихов
бесславыя догорает пламя...
А сколько за спиной годов
осталось, знает только память.

Нашему давнему и постоянному автору Ивану Ивановичу Переверзину исполняется 65 лет... Первыми его публикациями в журнале “Наш современник” были циклы стихотворений, напечатанные в журнале аж в апрельском и сентябрьском номерах 1994 года, когда молодой поэт работал в Ленском районе республики Якутии в ответственной должности первого заместителя руководителя района.

За эти две публикации Переверзин, ещё никому не известный в Москве, куда он переехал лишь через семь лет, был удостоен почётного звания лауреата журнальной премии за 1994 год. Насколько это было значительным событием в его жизни, можно судить хотя бы по тому, что вместе с ним в список лауреатов вошли Василий Белов, Сергей Кара-Мурза, Сергей Говорухин, Вадим Кожинов, Владимир Личутин, академик Никита Толстой...

Так что, как говорится, сразу после выхода в свет этого номера Иван Переверзин сразу стал известным читающей публике поэтом и желанным автором журнала. Достаточно добавить к сказанному, что после того, как заведующим отделом поэзии журнала стал Юрий Кузнецов, в семинаре которого учился на Высших литературных курсах наш юбиляр, то за период с 1998-го по 2002 год по воле Кузнецова была напечатана в “Нашем современнике” в общей сложности целая книга — 50 стихотворений молодого русского поэта из Якутии, не известного широкому читателю.

За время московской жизни Иван Переверзин стал не только руководителем Литературного сообщества писательских союзов, Международного литературного и Российского литературного фондов, не только создателем завоевавшей заслуженное признание “Общеписательской литературной газеты”, но и талантливым прозаиком, опубликовавшим в прошлом году в журнале “Наш современник” роман “На ленских берегах” (название журнального варианта “Постижение любви”), о необычной судьбе которого наши читатели могут прочитать на четвёртой странице обложки этого номера.

Одним словом — с юбилеем тебя, наш исконный автор и друг!
Редакция

РОМАН СЕНЧИН



ЁЛКА

РАССКАЗ

Утром Зоя Сергеевна почувствовала себя лучше и решила поехать в город — кончались лекарства.

Можно было отдать рецепты Ольге, соработнику, но что уж совсем в избе скисать. Съездит, походит хоть возле станции по магазинам, на жизнь посмотрит. Прикупить чего-нибудь вкусного надо — Новый год на носу...

До часу дня береглась, меньше шевелилась, стараясь не потерять редкое теперь состояние, когда ничего не давит, не ломит, ноги двигаются, в глазах ясно, грудь дышит.

Осторожно оделась в выходное, с боязливой медлительностью сняла с полочки сапоги, которые не обувала несколько месяцев. Но они не ссохлись, и ноги не распухли. Слава Богу.

Открыла шкаф, достала шубу, которой до сих пор гордилась. За сорок лет шуба поистерлась, лезла, но по-прежнему была ей дорога. Вся жизнь вспоминалась, когда вынимала её из чехла, тоже старого, напитанного пылью, которую не выбить, не выстирать, — вросшей в ткань пылью времени...

С каждым разом шуба становилась для Зои Сергеевны тяжелее и тяжелее, и сегодня она испугалась, что придавит, прижмёт к земле и не даст идти.

Но отважилась, надела и в этот раз, постояла, привыкая к ней. Прошла немного — от шкафа до двери и обратно, — поняла: выдохнет.

СЕНЧИН Роман Валерьевич родился в 1971 году в городе Кызыле Тувинской АССР. Окончил Литературный институт им. М. Горького. Автор нескольких книг прозы и публицистики. Лауреат премий “Ясная Поляна”, Правительства России, “Большая книга” и др. Публикуется в “Нашем современнике” с 1998 года. Живёт в Екатеринбурге.

Закуталась в платок, на платок нахлобучила твёрдую, будто кость, соболью шапку, пошитую по моде семидесятых, а сейчас смешную и нелепую. Зато, как и шуба, дорогую ей. Тёплую. Взяла потрескавшуюся кожаную сумку с документами, таблетками и ещё одной сумкой, тряпичной, для покупок, и вышла.

Замкнула избяную дверь, потом сенную, потом калитку, медленно, толкая вперёд то одну ногу, то другую всем телом, побрела по тропинке, похожей на туннель, меж снежных стен к остановке.

...Съездила благополучно. За два часа от прихода в город дневного и отхода из города вечернего автобусов успела выкупить лекарства, обойти несколько магазинов. Тряпичная сумка наполнилась сосисками, замороженными пельменями, куском копчёной горбуши, мягкими пряниками, пакетиком шоколадных конфет, мандаринками. Конфеты и мандаринки раздаст соседским ребятишкам тридцать первого числа...

Брала всего Зоя Сергеевна понемногу, но всё равно сумка быстро стала почти неподъёмной.

— Что ж, ладно...

Постояла, отдыхая, на крыльце “Ермолинских полуфабрикатов”. Смотрела на спешащих людей, едущие машины, на дома в пять этажей, пестроту рекламных вывесок.

Город был крошечный — разросшееся село, — но для Зои Сергеевны он давным-давно стал центром мира.

Сюда, в этот район, она приехала в девятнадцать лет, после окончания педучилища в Костроме. Где родилась, кто её родители, Зоя Сергеевна не знала. Её вырастили в детском доме, куда попала трёхлетней, весной сорок второго. Может быть, была из эвакуированных детей Ленинграда, может, ещё кем-то; потом, много десятилетий подряд, она слушала по радио передачи Агнии Барто и Левитана и ждала, ждала, что вот сейчас услышат, что ищут её, девочку по имени Зоя, которая была одета в бордовое пальто и белую вязаную шапочку, у неё родинка на левой руке возле локтя... Берегла сохранённые воспитательницами пальтишко и шапочку как доказательство, что это она. Но никто её не искал.

Приехала сюда по распределению, была направлена в деревню, учила детей. Вышла замуж, родились двое сыновей. Три десятка лет жили крепкой семьёй, а теперь — снова одна.

Дальше этого города она была один раз, в Костроме, на пятидесятилетии их выпуска. Сюда же ездила часто с мужем — отдохнуть от деревни. Сидели в молодёжном кафе, ходили в театр, хоть и любительский, но настоящий, ночевали в гостинице с ванной и унитазом, брали и возвращали в библиотеку книги; здесь Зоя Сергеевна рожала детей, здесь лежала в больнице, навещала в больнице мужа...

Рядом с автостанцией была столовая, и Зоя Сергеевна поела в ней. Когда-то брезговала едой не самой приготовленной, мутило от запаха общественной кухни, и вспоминался детдом, а в последние годы потянуло... Солянка оказалась вкусной, сытной, и второе — куриную грудку с картофельным пюре — она не доела. Выпила полстакана брусничного морса, посмотрела на часы. Пора.

Вечерний автобус был полон, но стоять не пришлось. Какая-то девушка уступила место.

— Спасибо, — изо всех сил стараясь выказать благодарность, что давалось ей всё труднее, сказала Зоя Сергеевна.

Место оказалось у окна. Внизу был обогреватель, и подмёрзшим ногам быстро стало тепло, хорошо. Но нашлось, о чём поволноваться, — пельмени в сумке наверняка оттаивали. Слипнутся, и потом мучайся с ними...

Отодвинула сумку как можно дальше от обогревателя, подставила кондукторше льготную карточку, чтоб отметила своей пищалкой, и стала смотреть в окно.

Природа у них неживописная. Поля, поля, и лишь в редких колках — рощицы берёзок. Поля поделены снегозащитными полосами из тополей. Сейчас, в декабре, тополя совсем чёрные, страшные, как скелеты чудовищ.

И всё это — до самого горизонта, до самого горизонта. Равнинная Сибирь. Их село, как и другие здесь, среди полей. Зелени мало, а теперь так вообще серое одноцветье. Скопление сухого дерева и строительного камня.

Попросила кондукторшу остановиться поближе к дому. Та поворчала: “Не положено, нам за это выговор”, — но сказала что-то водителю, и тот кивнул. Кондукторша, в свою очередь, кивнула Зое Сергеевне.

Несла сумку, и с каждым шагом радовалась всё сильнее: дойдёт, и на этот раз смогла, значит, и ещё съездит, и ещё. Как нормальный, полноценный человек. Гордилась собой, очередной победой над немощью.

Вот уже прясла её поля под картошку — сейчас оно ровно покрыто снегом, а летом почти всё зарастает лебедой и свекольником. Ей картошки много не надо... Вот забор огорода, невысокий, с щелями; вот дотелепалась и до глухого забора, за которым двор.

Свернула к воротам и остановилась: сильно, но мягко, как подушкой по голове, ударила, оглушила перемена — чего-то, что привыкли встречать глаза, не доставало. Этого важного, а может, и главного теперь.

Минуту или несколько секунд, растянувшихся для неё до долгой минуты, Зоя Сергеевна старалась понять, чего же нет.

Не было ёлки в палисаднике. Была сорок лет, и вот исчезла.

Не веря себе, Зоя Сергеевна медленно подошла к изгороди. На снегу глубокие следы ног и проволоченных веток, зеленело несколько иголок, а на том месте, где росла ёлка, торчал пенёк и желтели крошечки опилок...

Зоя Сергеевна растерянно огляделась по сторонам. Улица была пуста, окна домов темны и безжизненны. Все, даже собаки, часто бегавшие на воле, казалось, попрятались и следили за её бедой. И деревня, ставшая родной за шестидесять лет жизни здесь, сразу стала чужой, враждебной, опасной.

Глотая едкие слёзы, текущие из глаз не на лицо, а внутрь, в горло, втащила в избу. Хватаясь за печку, буфет, стену, дошла до кровати. Упала на неё. И покатила то ли в сон, то ли в смерть, но вспомнила, что на полу осталась сумка, а в ней — пельмени.

Привыкнув отодвигать болезни, горе, усталость выполнением необходимых и срочных дел, поднялась, разобрала продукты, а потом уж легла. И снова покатила...

“Печку затопи, — потребовал какой-то, словно снаружи, голос, — вымерзнет ведь, и околешь”.

Но она мысленно отмахнулась: “И пусть теперь. Пора”. Лишь натянула поверх шубы край покрывала...

Не околела. Утром стукнули в дверь, а потом та закричала. Шаги.

— Тётъ Зой... — голос соработницы Ольги, прозвучавший и испуганно, и будто с облегчением.

Зоя Сергеевна открыла глаза. Поняла, что не спала. В другом каком-то состоянии находилась — не во сне.

Ольга вошла в комнату, повторила:

— Тётъ Зой...

Всматривалась в её лицо; Зоя Сергеевна шевельнула рукой, и Ольга жалобно улыбнулась:

— Живы? Слава Богу!

— Оля, они... — Зоя Сергеевна не знал, кто эти “они”, но ведь кто-то сделал это. — Они ёлку срубили.

— Ёлку?.. Ой, значит, вашу на площади ставят.

— Что? — К Зое Сергеевне стала возвращаться жизнь.

— Да на площади ёлку ставят. Я шла, ещё думаю, откуда такая... Вы не волнуйтесь, тетъ Зой, не волнуйтесь только.

Ольге было уже под пятьдесят, но Зою Сергеевну она называла так по привычке — тетей. А Зоя Сергеевна в последние годы старалась воспринимать её только как соработника, вообще хотела забыть прошлое, чтоб не мучить больную, старую, но такую живучую душу, хотя то и дело видела в Ольге девочку, переходила с сухого общения к сердечному...

— Оля, послушай, — стала просить, — ты меня доведи туда. Пожалуйста.

— Сейчас? Давайте дом протопим, чаю выпьете. Вы ведь замёрзли совсем.

— Пойдём, Оля... пойдём...

Зоя Сергеевна не знала, зачем надо идти в центр села, смотреть на срубленную ёлку. Чтобы ещё сильнее расстроиться? Кому-то в глаза посмотреть?.. Но идти было необходимо. Как на прощанье с дорогим покойником.

Ночью выпал свежий снег, и опилок в палисаднике, бороздок от проволочных веток видно не стало. Будто и не росло здесь ничего сорок лет.

Сорок, а вернее, лет сорок пять назад Зоя Сергеевна привезла из Костромы маленькую ёлочку. На память. Решили тогда с однокурсницами накопать ёлочек и развести по всему Союзу, по тем уголкам, куда их разбросало.

Посадили вместе с мужем и сыновьями. Старшему было тогда девять, младшему — шесть... Поливать деревце было их обязанностью, чуть ли не главным делом всего детства. Без полива в их климате ёлка могла погибнуть за две недели.

Не погибла — вымахала высокой, пушистой. Давно нет старшего сына, нет мужа, четыре года назад умер младший, и ёлка осталась её единственным близким существом. Где-то есть внучата, но где они...

И опираясь на руку Ольги, как ей казалось, шагая, а на самом деле с трудом, медленно переставляя ноги, Зоя Сергеевна видела перед глазами одну и ту же картину, чёткую, словно это было сейчас, наяву: они четвером на тихом летнем закате вкапывают в землю крошечный колючий комочек. И муж учит сыновей: “Высоко ствол нельзя засыпать, а то погибнет. Вот, видите эту полоску? До неё надо. И поливать, поливать не забывайте. Ёлочки воду очень любят”.

Муж постепенно старел, сыновья выросли, ёлка росла. И вот пережила всех, кроме неё... Не раз Зоя Сергеевна задумывалась, что вот она умрёт, избу, ветхую, с рассыпающимися завалинками и трухлявыми углами сруба, растащат на дрова, её место зарастёт крапивой, а ёлка будет расти ещё долго-долго. Кому она нужна, кому мешает... Только радует взгляд вечной зеленью.

— Передохните, тётя Зой? — спросила Ольга. — Совсем тяжело дышите.

— Ничего... дойду...

Дошла. Увидела на площади, которую окружали клуб, сельсовет и заброшенный нынче кирпичный универмаг, свою ёлку. Её как раз наряжали двое парней. Один стоял на стремянке, другой подавал ему большие золотистые шары.

— Вам кто... Вам кто разрешил пилить! — крикнула Зоя Сергеевна.

Обернулись. Узнала — местные, она их учила, и муж учил. Она в первых классах, он потом — физике... Сейчас не помнила, как их зовут.

— Кто разрешил? — повторила, чувствуя, как её заливают раскалённый гнев, топя собой горе. — Воры!

— Чего — воры, — обиженно ответил один, со стремянки, и шар на шнуре в его руках закачался. — Нам Дмитрий Палыч сказал. Срочно, сказал.

— Кто это — Дмитрий Палыч? — Зоя Сергеевна растерянно повернулась к Ольге.

— Ну как — глава. Глава администрации. Дима Черногривов.

— Дима...

Ей представился Черногривов. Не таким, какой стал сейчас, а каким был в школе. Хорошо учился, хорошо себя вёл, был правильным и дисциплинированным... Окончил одиннадцать классов и поступил в институт. Потом где-то работал. Вернулся сюда лет пять назад — был назначен главой их села... Муниципального образования, как сейчас говорят.

Встречала его Зоя Сергеевна считанные разы — на улицу выходила редко, — но каждый раз он вежливо с ней здоровался. Как-то спросил про самочувствие, нужна ли какая помощь.

— Дима... Дима не мог... И не надо врать мне тут.

— Да вон он сам. Спросите.

Дима, Дмитрий Палыч, шёл к ним от здания сельсовета твёрдым, уверенным шагом. Снег повизгивал под его подошвами.

— Здравствуйте! — кивнул разом. — Что случилось?

— Да как — что... — Гнев Зои Сергеевны снова сменился горем. — Взяли и срубили... Это ведь для меня... Это ведь память...

— Сочувствую. Но!.. Но дерево мы были обязаны демонтировать уже давно. Это регламентируется законом, — стал объяснять Дмитрий Палыч без напора, нервов, но так, что каждым словом будто вбивал в голову Зои Сергеевны гвозди. — Ель была угрозой и для жителей, которые ходили мимо, и для вас самой. У елей очень слабая корневая система неглубокого залегания. Любой ураган мог повалить её на ваш дом. Дерево, — Дмитрий Палыч взглянул на ёлку, — серёзное, поэтому могло причинить большие разрушения, а не дай Бог и к жертвам привести. Поэтому, уважаемая Зоя Сергеевна, это необходимость. Любая проверка могла нам такое устроить...

— А меня, — наконец, нашла силы ответить Зоя Сергеевна, — а меня спросить?

— Я ребятам велел, чтобы предупредили. Они постучали — вас не было. И демонтировали без вас.

— Но ведь это мой участок. Без меня как же? Как воры залезли...

Дмитрий Палыч приподнял руку, как бы защищаясь, а точнее, предостерегая Зою Сергеевну.

— А вот здесь — секундочку. Мы как раз перепроверяем кадастровые документы, и увидели, что палисадник не входит в территорию вашей усадьбы. Так что по закону, — он выделил последнее слово, — посадка находилась на улице. В общественном месте. Поэтому, Зоя Сергеевна, не сердитесь и поймите нас правильно — мы заботимся о благополучии всех жителей нашего села. А чтоб дерево принесло пользу, решили использовать его как новогоднюю ель.

Придавленная этим стальным монологом, Зоя Сергеевна развернулась и пошла в сторону дома. Её нагнала Ольга.

— Вы только не переживайте, — зачастила она, беря под руку, — может, он и прав. Ладно? Пойдёмте... У меня ведь уже время выходит, к Верре Михайловне ещё надо... Воды-то вам нужно? Прибраться?.. Печь затопить?

Зоя Сергеевна молчала. Передвигала ноги, слепо смотрела вперёд... Она не раз лежала в больнице, были и две операции. Но из неё ничего не вырезали. А сейчас было ощущение, что вырезали. Душу, может быть. Вырезали и бросили прочь. И вот она существует, шевелится, вдыхает и выдыхает, но уже не живёт. Даже горя уже не чувствует, не сжимается что-то в груди, когда вспоминает о муже, о сыновьях, о внуках, которых давно не видела и наверняка уже не увидит...

Почти месяц не выходила за ворота. Да и во двор — лишь до туалета и взята дров из поленницы. Ольга несколько раз заговаривала про баню — Зоя Сергеевна отмахивалась: не надо. И добавляла про себя: “Умру, вот и помоют, наверно”. Жалости к себе не чувствовала, наоборот, какое-то презрение: не только ёлку не сберегла, но и этому Диме ничего не ответила — выслушала объяснения-плевки, утёрлась и пошла.

Ольга готовила еду раз в три дня, приносила воду, мыла посуду, протапливала печь и просила, чтобы Зоя Сергеевна топила.

— Если что случится с вами, — почти плакала, — на меня ведь всё повалят. Уволят, ещё и дело заведут. Держитесь, пожалуйста. Весна скоро.

Зоя Сергеевна держалась: бросала полешки в топку, что-то ела из кастрюлек. Видела в холодильнике киснувшие, с синеватыми лишаями плесени мандарины, которые покупала для соседских ребятиншек, и ощущала нечто вроде удовольствия: позволили ёлку спилить, и не достались вам мандаринки, и ничего больше от меня не получите.

В конце января собралась с силами и духом, вышла за калитку. К хлебовозке. Долго перед тем убеждала себя, что очень хочет пирожок с луком и яйцами. Вот съест его, и вернутся силы, желание жить.

Могла попросить Ольгу — хлебовозка раз в три дня в одно и то же время объезжала село. Кроме хлеба, в будочке были пирожки, печенье, сухарики, но нужно было купить самой. Обязательно... Зоя Сергеевна посмеивалась

над этой мыслью, над тем, что таким способом хочет обмануть себя, вернуть душу, и всё же убеждала: вставай, оденься, выйди.

И вот собралась к тому часу, когда хлебовозка — старый “уазик”, прозванный “таблеткой”, — должен был проезжать по их улице. Услышала гудок, поднялась со стула, толкнула дверь.

Брела к машине, не глядя в сторону палисадника. Все силы вкладывала в то, чтоб не повернуть голову.

— О, Зоя Сергеевна, — обрадовался ей хлебовоз Виктор, — давненько не видно вас. Болели или уезжали куда на праздники?

— Куда мне ехать... Три пирожка с луком и яйцами. — Протянула деньги, и рука задрожала — Зоя Сергеевна испугалась, что пирожков нет, и тогда обратно она уже не дойдёт...

Витя тряхнул головой, выдвинул один из деревянных лотков, надел на руку полиэтиленовый мешочек и зачерпнул в него три пирожка.

— Пожалуйста. Ещё тёплые. — Принял деньги, горстку монет, стал считать.

— Тут без сдачи. — Зоя Сергеевна заранее набрала нужную сумму, несколько раз проверяла.

— Ага, спасибо. Ну, здоровья вам.

Понесла пирожки домой, забылась и глянула на то место, где месяц назад зеленела высокая и пушистая ёлка. Теперь там стояло что-то бледно-зеленое, покрытое снегом.

На секунду Зое Сергеевне показалось: время открутилось на много-много лет назад, когда ёлка ещё была маленькой, и сейчас её встретят в избе муж, сыновья-школьники. Обрадуются пирожкам. Даже успела пожалеть, что купила три, а не четыре...

Подошла ближе. Это была искусственная ёлочка. Кое-где висели нити золотого дождя, а к одной из веток была прикреплена проволочкой бумажка.

Зоя Сергеевна сорвала её, стряхнула снег. Прочитала, отводя бумажку подальше от дальних глаз:

“Бабушка Зоя, мы очень сожалеем, что твою ёлку срубили. Мы даже не веселились, когда увидели её на площади. Мы дарим тебе нашу ёлку. Пусть она здесь стоит. Она не вырастет, но будет. Дети”.

Наверное, нужно было заплакать. Но ей не плакалось. В груди было пусто и темно... Смяла бумажку, сунула в карман пальто. Пошла дальше. Пирожки остывали.

ВЛАДИМИР МОЛЧАНОВ



ДАВАЙТЕ БУДЕМ ЧЕСТНЫМИ...

* * *

Ах, судьба! Кто сказал, что ты злая?
Я тебя безоглядно приму.
Сколько жить на земле — я не знаю,
Да и знать это мне ни к чему.

На большой многолюдной планете,
Может быть, этак лет через сто
Я однажды усну на рассвете,
И меня не разбудит никто...

* * *

Сковало морозом округу,
Деревьям все ветки свело,
И ходит позёмка упруго,
И студит по кругу тепло.

МОЛЧАНОВ Владимир Ефимович родился в станице Ильской на Кубани. Детство и школьные годы прошли на Белгородчине, в селе Новая Таволжанка Шебекинского района. Окончил Белгородское музыкальное училище и Воронежский государственный университет. Автор двенадцати книг стихотворений, двух юмористических сборников. Публиковался во многих столичных и региональных журналах, альманахах и коллективных сборниках. Его стихи переводились на немецкий, польский, болгарский, украинский и азербайджанский языки. Лауреат многих всероссийских литературных премий и конкурсов, заслуженный работник культуры РФ. Живёт в Белгороде.

Но кланяться вьюге послушно
Не стоит, поверь мне, мой друг.
Чем хуже в округе, тем лучше
Хорошее видим вокруг.

И это совсем не случайно,
Ведь всё нам даётся взаимно,
Чтоб мы веселились печально,
Печалились весело мы.

Да, в жизни идёт всё по кругу:
То тёмная ночь, то светло.
...Ручьи побежали по лугу,
И стало деревьям тепло...

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Мы родились с тобой в двадцатом веке,
Чтоб пережить грядущие века,
Чтоб марши рот, как воды речек в реки,
Втекли в поток Бессмертного полка.

Солдатом быть — не должность, а призванье,
Под козырёк сама летит рука.
Нет в мире выше воинского званья,
Чем рядовой Бессмертного полка.

Мы в будущем за прошлое в ответе,
Смотреть на нас не надо свысока.
Нет ничего на этом белом свете
Бессмертнее Бессмертного полка.

Не умереть вовек святой надежде,
Ей в наших душах жить и жить, пока
Мир защищают от врагов, как прежде,
Теперь бойцы Бессмертного полка.

* * *

Травы пахнут луговые,
Из реки туман растёт.
Где вы, годы молодые,
Сердца радостный полёт?!

Солнца свет, на землю брызни,
Ветер, вихрем закружись!
Всё проходит в этой жизни,
Не проходит только жизнь.

Приоткрыв былого дверцу,
Нам его не возвратить.
Если радостно на сердце,
Значит, есть о чём грустить.

Травы никнут луговые,
Таёт утренний туман.
Где ж вы, годы молодые,
Сердца радостный обман?!

* * *

Если кто-то спросит у меня:
— Где твой дом и где твоя родня?
Что ему на это я скажу?
Лишь в ответ безмолвно погляжу.
Как сказать, чтоб понял он меня:
— Ты — мой дом и ты — моя родня...

* * *

...А жизнь своим чредом идёт,
Печаль и радость знали.
Что Апокалипсис грядёт —
Не раз уже пугали.

Живём на свете мы взаимно,
Не жалуясь на старость.
Святые грешники — не мы,
Коль грешной стала старость.

Сошёлся с небом край земли,
Путь продолжая Млечный,
Чтоб мы задуматься могли
О жизни скоротечной.

Желай: в последний мира час,
Не отобрав надежды,
Чтоб облачил Всевышний нас
Всех в белые одежды...

СЕРГЕЙ БЕРЕЖНОЙ



КОФЕ ПО-СИРИЙСКИ¹

РАССКАЗ

1

Нас отрезали от бригады за час до захода солнца. Надо было уходить раньше, как только за спиной зачастили скороговоркой автоматы в уже зачищенном квартале. Протискивавшийся следом за нами сквозь завалы камня, гнутой арматуры, разбитой и выброшенной мебели несуразный и угловатый полицейский броневичок вдруг засверкал бенгальским огнём от рикошета ударившей почти в упор пулемётной очереди, попятился и поспешил скрыться за углом дома.

— Кажется, влипли, — со злостью констатировал Вася Павлов² и выругался, вбивая короткую очередь в окно второго этажа, где замелькали бородатые физиономии. — Пovyлазили, мать вашу за ногу.

— Мать? Почему мать? Чья мать? — живо интересуется Салах, услышав знакомое слово, так часто употребляемое этими странными русскими.

— Японская, — с видом знатока глубокомысленно нарезает слова на слоги Марат³. — Понимаешь, я-по-на мать тво-ю за но-гу.

— Мама за ногу? — совсем ошалев от сложнейшей конструкции этой идиомы, трясёт головой Салах и сокрушается. — Чья нога? Не понимаю.

Джихад⁴ что-то быстро ему говорит, потом оборачивается к нам:

БЕРЕЖНОЙ Сергей Александрович родился в 1955 году в Воронежской области. Секретарь Союза писателей России, лауреат “Большой литературной премии”, литературных премий “Имперская культура”, “Прохоровское поле”, им. Генералиссимуса А. В. Суворова и др. Автор восьми книг прозы. Окончил Воронежский госуниверситет и Академию МВД СССР, служил в Советской Армии, органах МВД, федеральный судья. Живёт в г. Белгороде.

— Я сказал ему, что это игра слов, но мне кажется, Марат Мазитович, ваши шутки сейчас не совсем уместны.

Джихаду явно не повезло с этими грубыми русскими. Даже профессор Мусин не блещет светскими манерами, что уж говорить об остальных. Он интеллигент, врач-офтальмолог, французский, английский, русский — в совершенстве. Университет в Ростове и Париже. Ходячая энциклопедия, знаток русских пословиц и поговорок на уровне учёного-филолога. Всегда только на “вы”, невозмутимость в любой ситуации, хоть гранату рви за спиной — ни один мускул не дрогнет.

В глазах Марата пляшут бесенята:

— Представляешь, матерьяльчик будет? Бомба! “Корреспонденты “АННА НЬЮС” прорываются из окружения”. Или: “Волонтёры сражаются в окружённой Дарайе”.

Однако никто не разделяет его идиотского восторга, а Джихад смотрит на него укоризненно, как на шаловливого несмышлёныша, и бледность разливается по его смуглому лицу, отчего оно приобретает какой-то неестественный металлический оттенок космического пришельца. Или бледность мертвеца, но это кому как нравится.

Подполковник стриждёт прищуренным глазом дом напротив, втягивает голову в плечи, и его донкихотская борода метёт обильно припудренный кирпичной пылью “броник”⁵. У него железные нервы и отменная реакция, он всегда рассудителен, мгновенно оценивает ситуацию, и сейчас ему наверняка хочется огреть прикладом этого не к месту восторженного профессора.

По мне, так шуточки Марата — верх шалопайства, отвлекают, не дают сосредоточиться. К тому же забытая за день тупая боль вдруг стала вкручиваться в простреленную челюсть, и ужасно захотелось домой. “Ну, какого чёрта не сиделось дома и дёрнуло связаться с этим ненормальным профессором?”

Сирийцы сбиваются в кучу, о чём-то негромко переговариваются, не сводя глаз с окон и подъездов окружающих домов. Лишь невозмутимый Фираз с застывшей пять тысяч лет назад мимикой сфинкса никак не реагирует на противный смехок Марата.

— О чём это они? — тихо спрашиваю у Джихада.

Неожиданно сушит гортань, и голос противно сипит — мне банально просто становится страшно. Недобитый, недостреленный, недолеченный, валялся бы сейчас на базе, гонял бы телек, читал бы или писал, так нет же, понесло опять доказывать, что страх неведом, что супер-Рэмбо, а у самого ноги подкашиваются.

Опасность не передаётся по проводам, она вдруг наваливается внезапно обвалившейся тишиной, и страх уже электризует воздух и глушит голос. И глядя на своих товарищей, ты начинаешь ощущать её по вжимающейся в плечи голове, по рыскающим взглядам, по сузившимся зрачкам, по ползущему к флажку предохранителя пальцу.

— Они говорят, что “крысы”⁶ по подземным переходам проникли в тыл и отсекли нас от бригады. Придётся где-то переждать до утра.

Так глупо влипнуть благодаря сумасшедшему Марату! Ещё полчаса назад мы могли бы спокойно выбраться отсюда, но ему, видите ли, захотелось съёмки на закате. Романтик, блин.

— Лыбишься? Паразит ты, Марат, дай только выбраться, порешу собственными руками, — хрипло ему в улыбающуюся физиономию и демонстративно лапаю кобур.

— Ты чо, Серёга, всё будет о’кей. Переночуем на свежем воздухе, давно мечтал, — хохотунчик-профессор не унывает и держится бодрячком.

Да, его самообладанию позавидуешь.

Шанс уйти упущен напрочь. Прорываться по узкой улочке — верх безумия, разберут на молекулы с подствольников и нашинкуют из автоматов. Конечно, утром разлокируют, сделают коридор, может, даже бэмпэшку⁷ подгонят, чтобы прикрыть выход бронёй, но ведь до утра ещё дожить надо. Хорошо ещё, если оторвёмся от “бармалеев”, найдём укромное местечко, затаимся, пересидим, переждём, а если нет? Б-р-р-р, даже думать не хочется.

Третью ночь температура падала почти до нуля — зима всё-таки, но на этот раз спасает нудная морось, не давая свалиться градусу к нулю. Не дождь вовсе, а так, недоразумение: сыплет из серого и скучного неба что-то мокрое, словно через сито просеянное, превращая густо покрытую белёсым налётом от перемолотой взрывами штукатурки и песчано-цементных блоков мостовую в густую сметану. Мы бодро шлёпали по ней целый день, перебегая простреливаемые участки улиц, оскальзываясь, чертыхаясь и матерясь.

Марат не унимается, противно хихикая и тыча пальцем в нашу обувь:
— Вам уже и белые тапочки выдали.

Наши брюки почти до колен заляпаны мешаниной из штукатурки и силикатных блоков, что уж говорить о туфлях, кроссовках и берцах.

— Ты сам, как цирковой жеребец в белых чулках, — огрызается Павлов, рыская взглядом вдоль улицы.

— Нет, скорее кобыла жеребая, — намекаю я на его оттопыривающий “броник” живот.

Марат обиженно сопит и замолкает. Ага, зацепило, знаем, знаем твою ахиллесову пяту. Нет, мне совсем не жалко его самолюбия — мне жалко моих туфель, купленных всего пару месяцев назад и теперь имеющих довольно босяцкий вид со сбитыми носами и расцарапанной кожей.

...Возвращаемся из только что отбитой у “шайтанов” части дома обратно в соседнее здание через широченный двор. Нас слишком мало — трое русских, наш переводчик Виктор — Джихад — и дюжина спецназовцев из сто пятой бригады — полтора десятка сумасбродов в этих руинах Дарайи, кишашей боевиками. Не хотелось бы стать сакральной жертвой этой войны — до конца не понятой, но густо замешанной на вселенской лжи, цинизме, алчности.

2

Десять часов назад.

— Дарайя — это сирийский Сталинград, где чуть ли не каждый дом — дом Павлова, — упрямо твердил Виктор-Джихад, когда мы собирались “на выход”, подгоняли “бронники” и рассовывали магазины по карманам.

В его голосе не было патетики, да и говорил он как-то буднично, даже слишком буднично и глухо, чтобы не верить, что всё пропущено через сердце, переплетено и связано болью в такую вязь, что места иным чувствам и не осталось.

— Пусть Сталинград, не спорю, но это не наш Сталинград, и война не наша, — сопротивляется Андрюха, не отрывая взгляда от столешницы и нещадно дымя сигаретой, и неожиданно резко бросает: — Я уезжаю, всё, баста.

В общем-то, это ожидаемое. Третьи сутки без объяснения он не уходил с нами “на боевые”, не встречал по возвращении, особо ни с кем не разговаривал, угрюмо и отрешённо курил. Он нормальный мужик, две Чечни размотал, протопал и прополз, здесь уже почти три месяца, с десятком швов на голове. Нет, он не слабак. Так бывает. У каждого свой предел прочности. Это как усталость металла: вроде внешне всё нормально, а потом вдруг хрясть — и напололам.

У него двое крошек, камнем давящие долги, ноль перспектив с работой, невнятная жвачка нашей власти по войне в Сирии — то ли есть, то ли нет, а ему Джихад про Сталинград впаривает. Да он сам знает, что город уничтожен в хлам, но это не Сталинград. Таких Дарай по Сирии пруд пруди, а Сталинград — он один был такой. Это та черта, за которую не переступить, через сердце черта, через мозг каждым осознанно проведённая.

...У Андрея — потрясающий фильм о Чечне. О предательстве власти. Он кожей почувствовал, что здесь и сейчас всё может закончиться тем же, и не хотел опять быть преданным. “Вы как хотите, ребята, а уже сыт по горло всем этим”, — говорил его взгляд.

Я не осуждал его, хотя по закону больших чисел он был всё-таки не прав. Но это когда тебя в микроскоп не разглядеть, когда ты песчинка в мироздании, хотя ты тоже личность, тоже человек и тоже отчаянно хочешь жить, потому что у тебя есть обязательства не вообще перед страной, которая тебя

даже не знает и, скорее всего, знать не хочет, а перед теми, кому ты нужен, у кого обрывается сердце при каждом телефонном звонке, кто жадно прилипает к экрану телека, когда диктор бесцветно-дежурным голосом что-то говорит о Сирии.

Он глубоко затягивается сигаретой, и пальцы мелко-мелко дрожат, а на скулах вверх-вниз ходят желваки. Он просто оправдывает себя, у него своя правда. Вот ведь как получается: у Марата — своя, у Василия — своя, я без правды, просто за компанию и по недоразумению. Позвал с собою Марат — и полетел, как будто по грибы или на рыбалку собрался. Фронтовое волонтерское агентство “АННА НЬЮС” — звучит, тянет порохом, обещает адреналин, объединяет. Думал, что в сплав спаяет, да куда там, оно же и разве-ло потом в разные стороны. Говорят, что космонавты, месяцы прошедшие вместе на орбите, по возвращении стараются не встречаться — устали друг от друга до обрыдлости.

Это усталость, конечно, усталость — он просто устал от нас. Разные мы люди, характеры разные, только и общее, что ненормальные. За свой счёт прилететь в раздраемую войной страну, где нет фронта, флангов и тыла, где тебя могут подстрелить или взорвать каждую секунду в любом месте — разве это понять нормальному человеку с нормальной психикой? Выпрашивать разрешения у мухабарата⁸ и политуправления армии участвовать в операциях спецназа, рискуя схлопотать пулю или осколок, взлететь на “растяжке”⁹ или быть готовым рвануть чеку “эргэдэшки”¹⁰, чтобы не попасть в плен, — и это нормальные? Искать и документировать своих сограждан среди “шайтанов”, конечно, кому-то надо, но зачем отбирать хлебужек у спецслужб? Нащупать нерв сирийского общества, понять, чем оно дышит и с кем, — интересно и нужно, но опять-таки — это занятие не для волонтеров. Сбор информации? Но мы же не разведка, хотя слышать, слушать и видеть никому не возбраняется. Тогда кто? Кустарщина какая-то, от которой Андрей просто устал.

Я не устану — просто не успею, потому что скоро придётся возвращаться домой. И потом, это занятие по мне и не потому, что щекочет нервы и адреналина взахлёб, нет, просто здесь всё предельно ясно, всё искренно: враг — вот он, за улыбкой оскал не прячет, если друг — так друг до конца и выше этой дружбы ничего быть не может. А дома жизнь пресная и размеренная: дом-работа, работа-дом, а ещё до тошноты приторная ложь во всё.

— Мы первые, кто ведёт съёмку непосредственно с линии огня, — высокопарно талдычит Марат и надувает щёки.

Ну и что, что первые? Первые идиоты? Умные вторые воруют наши кадры, стирают логотип и гребут “зелёные”, посмеиваясь над первыми, а первые — простаки, работают даром, потому что так надо нашей стране. Почему? Потому что не должно быть — Россия в Сирии не воюет, а мы просто идейные отморозки, которых совсем не жалко, которых надо по мере возможности утилизировать.

Андрей первым сказал всё это вслух, хотя не должен был: решил уехать — езжай, вольному воля, а всё равно больно, словно резанули по живому. Видели, что крутит парня, ломает, поговорить бы с ним по-доброму, да не нашлось минутки. Теперь вот мы в Дарайю, откуда вообще шанс выбраться невелик, а он в аэропорт.

— Думал, что подстрахуешь сегодня второй камерой, — как-то растерянно обронил я и взглянул на Марата в надежде на поддержку, но тот отмолчался.

Мне по-настоящему жаль, что он уезжает. Мы не стали друзьями, он держался отчуждённо и вообще казался ошкетинившимся ежом. Теперь понимаю, что это была защита. От кого и зачем? Да так, на всякий случай. Сказал бы, что неумоготу ежеминутно играть в рулетку, не зная, вернёшься ли обратно или размажет тебя миной по мостовой Дарайи или Харасты, пригвоздит к стене автоматная очередь в Алеппо или Идлибе. Сказал бы, мол, простите, мужики, не могу больше, выдохся. А так не по-людски как-то...

Было понятно, что он уходит навсегда из нашей жизни, а мы из его, что он бил вдребезги на мельчайшие осколки то, что так трепетно оберегалось,

что он уже начал стирать нас из памяти, выковыривать по кусочкам, по крупинкам, чтобы никогда не возвращаться в это короткое прошлое, в этот последний день, когда мы ещё были вместе.

— Я уезжаю, — повторил он.

Больше мы с ним никогда не встретимся. По возвращении домой он сменит номер телефона и оборвёт все связи. Он больше не хотел жить прошлым. Он не хотел возвращаться на войну. Он не хотел, чтобы даже мы напоминали ему о ней.

Но жизнь с чистого листа всё равно не начать.

Мы не обнялись на прощание, не пожелали ему хорошего полёта, а он нам — возвращения, и на душе остался осадок и предчувствие беды. Она витала в воздухе, она кристаллизировалась и должна была материализоваться — ну, сколько можно крутить патрон в барабане револьвера! Ведь рано или поздно, но он войдёт в патронник, а палец нажмёт спуск... Но ведь не сегодня, правда?

Оказалось, сегодня.

3

Сумерки стремительно ринулись захватывать дворы и улицы города, размывая контуры домов. Точнее, не города, а того, что от него осталось, — разложившийся труп с оскаленным черепом. Дарайя вовсе не город, а призрак, когда вместо домов — их остовы с пустыми глазницами выбитых окон; улицы только угадываются и завалены горами битого кирпича; словно казнённые палачом, деревья — обрубки с обугленными и израненными стволами с отсеченными ветвями. А вот людей нет. Это жуткий пейзаж ядерной зимы без всего живого. Это то, что может сотворить безумие человеческое своими руками.

...На ночьлег выбираем более-менее приличное фойе бывшего офиса — большущее помещение на первом этаже с разбитым витринным окном во всю стену, выходящим во двор, похожий на колодец в окружении разбитых многоэтажек, отсечённый справа от внешнего мира высоким бетонным забором. Не двор, а инсталляция из остовов разбитых и сгоревших машин, пары автобусов, скрученных в замысловатые спирали арматурин, гор щебня и битого камня — эдакий конструктивизм войны. Из окон третьего этажа дома напротив пламя корчило нам рожи и жадно облизывало стену. Шикарный кадр, только с освещением беда.

Быстро баррикадируем окно найденными мешками с цементом, оставив несколько бойниц. Дверной проём забираем наполовину теми же мешками и завешиваем каким-то полотнищем.

— Парочку бы мин вон под теми окнами да у подъезда, — мечтает с ноткой сожаления Вася Павлов и кивает на дом напротив. — Или растяжек.

Василий — танкист, подполковник, тактик и даже стратег. Безмерной храбрости и трезвости решений мужик, хотя порой прорывает на безрассудство: три танка самолично подбил, то ли ретивость взыграла, то ли кто пяткой самолюбие прищемил.

Вообще-то он не искушён в дипломатии, не знает полутонов и каждый раз, пробираясь сквозь проломы стен вдоль простреливаемых улиц, костерит сирийцев в бога-душу-мать за их пофигизм и пренебрежение к элементарной безопасности. При каждом удобном случае и даже неудобном он собирает аскеров¹¹ вокруг себя и начинает нудить, чтобы вот здесь поставили пулемёт, там “занавесочку”¹² продёрнули, а через эту улицу в самый раз ползком. Сирийцы гордые, ползать под пулями не желают, максимум — перебежка пригнувшись, поэтому на все его советы согласно кивают, улыбаются и пожимают плечами, мол, “на фига”, отчего подполковник сатанеет и непочтительно поминает их сирийскую маму.

Джихад давно уже перестал переводить шквал русского мата, вылетающего из уст подполковника со скоростью работающей “шилки”¹³, понимая всю бесперспективность обуздать лень своих соплеменников, сразу же выучивших

ёмкое русское слово “на фига” с разными предложениями и окончаниями и отвечающих им на все предложения Павлова.

Но сегодня он никого не учит: может, понял бесперспективность трудов своих внушить им что-то путное, может, просто устал.

Джихад задумчиво-тоскливым взглядом уставился на покалеченную одинокую оливу с расщеплённым стволом, прижимающуюся к бетонному забору. Наверное, очень уж невесёлые мысли занозили его голову, раз какая-то безучастность сквозит в каждой чёрточке его вдруг осунувшегося лица.

— А лучше батальон танков и полк пехоты, — ворчу я из вредности.

А чего бы мне не ворчать? Имею право, когда гранат — только для самоподрыва, да и патронов с гилькин нос.

— Видишь эти жалюзи? — киваю на валяющиеся тут и там вдоль стен покорёженные металлические шторы. — Получше растяжек.

Растяжки, конечно, это хорошо, это решение проблемы, а вот грохот жести разрывает тишину ночи в клочья — проверено и запатентовано ещё на Кавказе.

Собираем жалюзи и раскладываем под окнами и подъездами противоположного дома — ночью звук жести поднимет мёртвого. Сыпшем сверху на всякий случай битое стекло — классика жанра, теперь любой, сунувшийся к нам, выдаст себя с головой.

— А что, уютненько и не дует, — философски замечает Вася Павлов, закончив фортификационную суету и умащиваясь в углу на листе фанеры.

— Виктор, скажи им, чтобы работали только одиночными и только по видимой цели. Хотя ночью “бармалеи” вряд ли сунутся. И ещё: лучше дежурить по двое, так надёжнее.

Виктор передаёт мои слова Аббасу, тот что-то говорит своим бойцам. Слышны шелчки предохранителей, какая-то суета, и двое спецназовцев занимают места у бойниц.

— Тесбах ала кейр¹⁴, — негромко всем желает Аббас, командир спецназовцев.

Это звучит двусмысленно хотя бы потому, что никто спать не собирается, чтобы не обнаружить поутру свою голову у соседа подмышкой, но все соглашаются: хотелось бы ночи спокойной, без шумовых и пиротехнических эффектов.

— Иншааллах¹⁵, — глубокомысленно изрекает Фираз и тянет взгляд к прокопченному потолку.

Фираз — это вообще песня, сирийская песня, тихо журчащая ручьём в расщелине где-нибудь в Зебедани или Сергайи. А ещё это скала, утёс в штормящем море. Он всегда невозмутим с намёком на улыбку и надёжен, как швейцарский банк. Хотя откуда мне знать надёжность банков? Фираз надёжен, как Фираз, и точка.

Он откуда-то приволок в решето прошитую осколками и пулями бочку — чем не буржуйка? Два кирпичика вниз, сверху — несколько арматурин, и вот тебе и поддувало, и колосники, топи — не хочу. Ему вообще никогда ничего не надо объяснять — два года войны в спецназе сделали из него универсального солдата. Пока ещё сумерки до конца не загустели, собираем доски, палки, обломки мебели — чем больше, тем лучше, ночь зимняя долгая.

Впрочем, она не сулила ничего хорошего, и теплилась надежда, что “духи” не сунутся в эти израненные, ослепшие и онемевшие многоэтажки с проломленными стенами, сорванными дверями и выбитыми окнами. И всё же желание дожить хотя бы до рассвета перебороло извечное русское “авось”.

Отблеск от горящих деревяшек разгоняет темень по углам комнаты, зато очерчивает круг приличного освещения: не иллюминация, конечно, но даже читать можно при желании, было бы что. Главное — не молчать, иначе каждый так нырнёт в свои мысли, что не сразу и выковыряешь оттуда. Надо нервы ослабить, отпустить, ишь, натянулись, аж звенят.

Расслабляемся: Фираз мостится у “камина”; Марат тащит спинку дивана — барин, без роскоши никак, — умащивается на ней и с наслаждением потягивается; я подтаскиваю чудом сохранившееся кресло к “буржуйке” и плюхаюсь в него. Какое счастье — вот так откинуться на спинку и смежить

веки! Увы, счастье где-то заплутало, и вернулась боль, вкручиваясь в раненую руку раскалённым сверлом, а заодно и в простреленную челюсть.

Джихад снимает повязку с моей руки — синюшность расплывается от пальцев до локтя чернотой и пылает внутренним жаром. Не рука, а головешка, только ещё до конца не сгоревшая.

— Если к утру не выберемся — гангрена обеспечена, — жёстко бросает он и вгоняет антибиотик. Боль от укола не чувствую, и это уже плохо. Перспектива остаться без руки, конечно, хреновая, но до утра ещё дожить надо.

— Серёга, ну, ты просто Рэмбо, — старается словом поддержать Павлов.

— Не, Шварценеггер, — ржёт Марат, радуясь случаю отомстить за жеребую кобылу.

— Точнее, Шприцнеггер, только изрядно подсушенный.

Салах заботливо протягивает мне свою арафатку, чтобы закутал руку, но я отказываюсь. Неловко как-то перед сирийцами слабость свою показывать: мы же русские, мы терпеливые.

4

На смену сумеркам как-то незаметно пришла темень, вязкая и насыщенная. Сначала заползла в развалины, загустев в самых отдалённых закутках и закоулках, а затем побрела по улицам, окрашивая их в чёрное. Стоящий напротив дом размывает сначала в тёмное пятно, а потом и вовсе стирает, и лишь в окне третьего этажа всё ещё беснуется пламя, длинными языками наползая на остатки фасадной стены.

Где-то южнее гулко бухали гаубицы, доносились глухие раскаты взрывов, напоминающие далёкую грозу, но ближе к полуночи всё стихло, и навалилась какая-то давящая тишина. В Дарайе давно уже исчезла жизнь, с тех пор, как на её улицы пришла война. Ушли все — люди, собаки, кошки, даже крысы, а птицы облетали мёртвый город стороной. Бои ночью стихали, и тогда наваливалась тишина, пугающая своей таящейся неизвестностью и несущая опасность. Это у Джека Лондона белое безмолвие, а здесь — чёрное-пречёрное.

“Крысы” ночью “шарились” по подземным туннелям, подвозили на “Тойотах” боеприпасы, подкрепление, вывозили раненых, а их ужасные землеройные машины с гидравлическими боковинами плотоядно вгрызались в грунт, проделывали новые проходы с выходами в нашем тылу. И вроде бы освободили квартал, зачистили прилегающие улицы и дома, как вдруг из-под земли выныривали “бородатые”, и всё начиналось сначала.

Небось, и сейчас шныряют по норам, тащат взрывчатку, сбиваются в стаи, чтобы вылезти в подвале какого-нибудь дома и ударить в спину. Может быть, ползут сейчас в ночи, крадутся, а мы здесь затихарились и ждём. Чего ждём?

Хотя нет, эти дурацкие мысли — от ночных страхов. Всё нормально. Тишина библейская, лишь потрескивают полешки в “камине”.

— А точно Сталинград, — ни с того, ни с сего раздаётся голос Павлова.

Ага, знать, крепко занозил его душу Джихад, раз ночь эту и эти развалины ассоциирует со Сталинградом.

Днём не задумывался, да и некогда было: пока “сквозишь” по улочкам, дворам, этажам, думается о том, как бы не напороться на очередь или растяжку, а теперь вот на философию потянуло.

— Наш Сталинград, — веско добавляет он.

— Тогда это твой дом Павлова, — подхватывает Марат. — А что, неплохо звучит, а? Дом подполковника Павлова. Это сюжет, старик. Развалины, грохот, стелется дым, и в рост встаёт Василий, стреляя от бедра из автомата. Нет, лучше бросается с гранатой на “бармалеев” и с криком: “За Асада!” — рвёт кольцо. Взрыв, и на фоне пламени — бегущая строка: “Так погиб героический подполковник Василий Павлов”.

— Не дождёшься, — лениво огрызается Вася.

— А дома сейчас наверняка метёт, морозец и снежок капусткой квашеной под ногой хрустит. Что-то захотелось на лыжи встать и с горочки, да так, чтобы свист в ушах, — совсем некстати велух размечтался я, но лишь для того, чтобы эти два интеллектуала перестали собачиться.

— Свалить отсюда каждый рад, — подхватывает Марат. — Только “на лыжи” становится желательно всей нашей сборной.

— Да нет, я про лыжи, про настоящие. Уж лет десять всё собираюсь покататься, а то снега нет, то ботинки не купил, то крещения.

— Так и я про то же. Ты только вслушайся: “олимпийский резерв Дарайи”. Ну, как, звучит? Это же именины сердца, это же бальзам на душу, — не унимается Марат.

— Бальзамчик — это душевно. В чаёк бы пару ложек, и с медком, а лучше с водочкой, — подхватывает подполковник.

Ребята понимают, что сейчас лучшая терапия — трёп ни о чём.

С утра, что называется, маковой росинки во рту не было, но утроба треклятая молчит, понимая, что насытить его всё равно нечем. Фираз подбрасывает в импровизированный камин обломки досок, и жёлто-красные блики пляшут по лицам. Зябко, но не от холода, а от поднимающегося жара — температура начинает шкалить. Последний антибиотик Джихад вколол пару часов назад, так что придётся терпеть. Безучастность и равнодушие пеленают сознание, но сдаваться всё-таки не хочется. Поднимаюсь, несколько раз приседаю и опять валюсь в кресло. Слабость начинает одолевать минут через десять, и снова встаю, повторяю всё сначала и вновь втискиваюсь в кресло. Только не спать, только не спать, только не спа...

Усталость межит веки, отключает сознание, пальцы расслабляются, и автомат скользит по коленям к туфлям, густо покрытым уже подсохшей серой корочкой, но тычок в плечо возвращает в реальность. Это Марат беспардонно врывается в иллюзии дремоты:

— Не спать, хватай мешки, вокзал отходит.

Нет, всё-таки невоспитанный этот профессор, такой кайф бесцеремонно прервал! Вроде бы шутит, а в голосе весёлость-то фальшивая. Ага, герой, тебе тоже страшно? Тоже не по себе? Тоже жить хочется? А где же вечная бравада? Значит, и ты из того же теста, что и мы.

Конечно, Марат прав на все сто. Со сна можно и своих положить, если, не приведи Господи, начнёшь заваруха. Или привидится какая-нибудь чертовщина, и ошалевший со сна воин начнёт палить в круговую. Пока очухаешься, палец уже курок надавит, и лежащая на коленях “дура” начнёт гасить всё вокруг.

Поправляю автомат, отсоединяю магазин, передёргиваю затвор, контрольный спуск, флажок предохранителя на место, шарю по полу, нащупываю выпавший патрон, кладу в карман на всякий случай, в бою можно и просчитаться, присоединяю магазин к автомату. Всё, теперь случайности исключены: в доли секунды, пока снимаешь с предохранителя, передёргиваешь затвор и нажимаешь на спуск, сознание успеет вернуться и взять мышцы под контроль.

Ловлю взгляд Салаха: ловко этот русский управляется одной рукой. И сразу же втягиваю живот и выпячиваю грудь. Чёрт возьми, а тщеславия-то у тебя, парень, оказывается захлёб! Ну, ну, покуражься, сорви пока аплодисменты, клоун, всё равно стрелять из этой тарахтелки не придётся. Нет, давить на курок ума много не надо, а вот стрелять — это уже искусство, здесь одной руки мало. Показать тебе трюк с пистолетом, что ли? Это когда одной рукой перезаряжаешь, если другую обездвижили. Крутишь его в ладони, разворачиваешь, пальцами взводишь — и всё за несколько секунд. Это школа, Салах, этому учиться надо.

— “Бьётся в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза”, — начинает вполголоса Павлов.

Судьбу испытывать не стоит: на голос может и мина прилететь, или очередь саккомпанировать, но поёт классно, поэтому никто не возражает.

Уже за полночь. Морось давно закончилась и накрывает сырой мглой. Всё-таки это лучше, чем минус, — в этой резиденции без окон, без дверей вмиг околеешь. Впрочем, совсем и не холодно даже, так, градусов на десять тянет, а возле нашего каминка и вовсе Сочи. Три дня назад в пустыне под утро даже изморозь на металл легла, а сейчас лафа. Тогда промёрзли, как цуцки, дрожь била, как припадочных, отрывая от песка и подбрасывая вверх, а сейчас, в общем-то, тепло. Кофейку бы...

Фираз словно мысли прочитал: роется в кармане куртки, выбирает зерна кофе, раскладывает их на крышке от стола и прикладом растирает в порошок. Впрочем, совсем не порошок, а так, грубый помол. Потом берёт консервную банку из-под сока, смахивает туда ладонью коричневые крошки, заливает водой и приспособливает на решёточку над бочкой. Через минуту тонкий аромат растекается по помещению. Фираз снимает с огня банку и ставит её на кирпичи, давая осесть пене, опять возвращает на огонь. Аромат всё гуще и уже не обволакивает, а щекочет ноздри, забираясь в подкорку мозга.

Он пододвигает берцем кирпич и ставит на него банку с кофе, давая немного остыть, затем сминает край жестянки в носик и протягивает мне. Я старше всех, к тому же успел получить “снайперский презент”, поэтому к заморскому аксакалу особое почтение. И всё-таки пытаюсь безуспешно передать банку Виктору.

— Пейте, пейте, вам это необходимо, — назидательно и требовательно настаивает он негромко и тут же шепотом добавляет: — Так нельзя, обидите Фиразу.

Втягиваю в рот сложенными в трубочку губами пахучую коричневую жидкость и делаю глоток — мелкий, едва доставший гортань, но такой животительный, что сразу же тепло разливается по всему телу.

Передаю Салаху банку с кофе, но тот отрицательно качает головой, всем видом показывая, что он кофе не просто не любит, а на дух не переносит. Его поддерживают все сирийцы, дружно отказываясь от напитка Фиразы. Да оно и понятно — всего пол-литровая банка на дюжину ртов — маловато, едва горло промочить, а по законам гостеприимства всё лучшее гостю.

— Ну, прямо-таки джезве¹⁶, — оживает в углу Павлов, заядлый кофеман, принимая жестянку. — Не хватает только кардамона и специй.

— Пей давай, знаток, — ворчит Марат, — пока “духи” перца тебе на хвост не насыпали.

Пламя “камина” нет-нет, да и вырвется из бочки, и тогда красновато-жёлтый свет выхватывает из темноты графически выписанные лица примостившихся вокруг.

Василий цедит с удовольствием, закрывая глаза, каждой чёрточкой лица показывая несказанное наслаждение.

— Фираз, отныне ты бариста. Вернусь домой, открою кафешку и тебя выпишу кофе варить.

Банка идёт по кругу и возвращается к Фиразу. Он улыбается и отрицательно машет головой: там такой бочки нет, да и антикварной посуды тоже.

Кстати или некстати, прицепилось:

*Война становится привычкой,
Опять по кружкам спирт разлит,
Опять хохочет медсестричка
И режет сало замполит...¹⁷*

Будь она проклята, эта привычка. А вот стакан водки не помешал бы.

Боже, какая библейская ночь! Тишина такая, что за километр мышь услышишь, только мышей здесь давно уже нет. И кошек тоже. И ворон. Кстати, а почему нет ворон? Трупов хватает, и даже не в развалинах — в квартирах, во дворах, в сквериках лежат, и иногда так ударит в нос запах, что тошнота подкатывает до рвотных спазм, до перехвата дыхания. Умные птицы, эти вороны, не суются сюда. Это мы, идиоты круглые, полезли, а зачем? Да кому это нужно?

5

За сутки до Дарайи.

— Да кому мы здесь нужны? — Андрей злился и курил сигареты одна за другой.

Джихад возражал ему ровным и тихим голосом, хотя видно было, что даёт ему эта сдержанность с трудом. Особенно после слов, что все арабы продажны и нас всё равно предадут, помогай им или не помогай. Павлов не

вмешивался, Марата мрачно сопел, и лишь я пытался что-то робко вставить в защиту Джихада, плёл чушь про советско-сирийскую дружбу, падая к той самой черте, за которой начинается кретинизм.

Генерал из политуправления сирийской армии появился как раз в разгар ссоры, словно чувствовал неладное. А может быть, и знал: у этих стен наверняка есть уши.

— Ваше нахождение здесь — самая лучшая пропаганда. Не надо никаких слов, одно только ваше присутствие вселяет веру и силы в сердца наших бойцов, — пафосно начал он с порога заводить заезженную пластинку из запывлившей коллекции несуществующей сирийско-русской дружбы. — Я сказал бы более: в сердца нашего многострадального народа. Вы — это Россия. Вы с нами, значит, и Россия тоже с нами!

Боже, какие они одинаковые, эти целители солдатских душ, что у нас, что у них! Клонировуют их, что ли? А по-человечески говорить не могут? Только штампами?

— Может, вместо себя фото достаточно? — съязвил Павлов, пришедший в тихую ярость от одного только вида комиссаров вообще и этого, в частности. — Так я могу нашлёпать сколько душе угодно. Пусть мой дух вселяется в каждого бойца, я не против. А ещё могу заклинать или вокруг костра с бубном шаманить.

Марат сжёг его взглядом, испепелил и развеял по ветру.

— Фольклор, — успокоил он генерала.

Наверняка этот павлин понимал по-русски, но никогда не показывал этого. А зачем? Интересно же узнать, о чём говорят эти ненормальные русские. Бедный Виктор-Джихад: ему приходилось строчить донесения за каждый день и в мухабарат, и в политуправление, и ещё чёрт знает куда и кому. И не только о том, что говорим и о чём мы думаем, и даже не о моральном духе, а об отношении к Сирии и этой войне. А наш товарищ подполковник прокололся — нервишки подкачали. Непростительно.

Прощаясь, генерал улыбнулся одними только губами, одарив подполковника довольно тяжёлым взглядом, и что-то негромко произнёс.

— Что он сказал? — насторожился Марат.

— Завтра в Дарайе у нас будет возможность обогатить свою лексику местным фольклором и сплясать под аккомпанемент камерного оркестра “ан-Нусры”, — погрустнел Виктор и добавил: — Шутка.

Когда генерал ушёл, Андрей мрачно выдавил:

— Валить отсюда надо, мужики, пусть сами разбираются. Это гражданская война, это их война, не наша.

— Валить, говоришь? — зло прищурил глаз Марат. — Отсюда свалим, а потом нас валить будут, но уже дома, у родного порога. Ты что, не понимаешь или не хочешь понимать?

Да понимал он, всё понимал, только не понимал, почему нам даже “спасибо” не скажут, почему мы здесь не от государства вовсе, а сами по себе, волонтеры, добровольцы, значит. Во всяком случае, по официальной легенде.

6

Это было вчера. Нет, уже позавчера — давно перевалило за полночь и до рассвета осталось совсем чуть-чуть. Как говорится, на бросок гранаты.

— Слушай, бариста, у тебя в карманах больше ничего не завалилось? — Марат с надеждой смотрел на Фиразу. — Неплохо бы наш пикничок продолжить. Может, у кого-нибудь завалилось сладенькое в кармане? Ну-ка, пошарьте, мужики.

— Что там шарить, коли фига в кармане да вошь на аркане, — пробурчал подполковник, подмащивая снятый “броник” под голову.

Пробравшись к дверному проёму и не отлипая от стены, я осторожно выглянул во двор. Ночь по-прежнему не собиралась убирать разлитые чернила, хотя размытые пятна домов начинали робко приобретать очертания. Шалая луна несколько раз выглянула в разрывы облаков, подслеповато подмигнула и вновь спряталась. Где-то в стороне Дамаска глухо бухнуло, но не

раскатилось привычным эхом — то ли пристрелочный, то ли кто-то напомнил о себе. Хорошая ночька, тихая, ласковая. Скоро начнёт светать. Ну, и слава Богу, обошлось.

— Знаете, мужики, а я такого вкусного кофе в жизни не пил, — сказал я, возвращаясь к своему креслу. — И вообще, это же романтика: камин, кофе в джезве и бариста Фираз...

— И я так комфортно давненько не отдыхал. Так бы всю оставшуюся жизнь валялся бы на фанере с “броником” под головой, — улыбнулся Бася.

— Да, славный пикничок сварганили, просто мечта идиота, — откликнулся Марат. — Только вот остроты не хватает.

— Вы что имеете в виду, Марат? — насторожился Джихад.

— Скучно без “бармалеев” трапезничать. Ни тебе задушевной беседы через переводчика, — он погладил автомат. — Ни пиротехнических эффектов...

— Замолчи, дефективный профессор, беду накличешь, — шутливо осерчал Павлов.

— Да нет, это я так, к слову, кофе-то всё равно больше нет. А может, пойти у “духов” позычить? — не унимался наш академик.

— Перестаньте, Марат, мне кажется, что шутки ещё рано шутить, — устало и грустно произносит наш переводчик.

— Не нагоняй тоску, Виктор, скоро утро, придут наши, попьём кофейку и отправимся баиньки, — он вроде бы весел, но весёлость уже через силу.

Я смотрю на часы: сейчас пять, комендантский час заканчивается в семь, ещё пару часов добавим на лень сирийцев. Итого часа четыре, а это не так уж и мало, чтобы накрутить из нас фарш. Для того, чтобы ударить “граниками”¹⁸, пройтись автоматами и заполировать гранатами, четыре часа не требуется, хватит и получаса, а то и четверти.

— Не дразни судьбу, старик, дай дожить до пенсии, — поддерживаю Виктора.

— Ты и пенсия — понятия несовместимые, — ворчит Марат, но всё же замолкает.

Я оказался неправ: сирийцы пришли сразу с рассветом. Сначала громыхнуло в соседнем квартале, как раз там, куда отполз наш броневик, тут же наперебой задробили автоматы, глуша крики. Потом из-за дома, прижимаясь к стене, появился знакомый палестинец, сжатый в пружину. Следом пластались ещё двое спецназовцев.

Фираз, высунувшись из дверного проёма, махнул им рукой. На тонкое и худое лицо палестинца напозла улыбка, обнажив зубы. Он что-то сказал в висевшую на груди “токи-уоки”, торопливо подошёл к нашему убежищу, сбросил рюкзачок, достал из него полторашку воды и протянул нам. Через несколько минут двор перед нашей “ночлежкой” заполнился спецназовцами.

— Блокада прорвана, будем жить, мужики, — осклабился Марат.

— Будем, — вторю ему. — Жаль только, что такого кофе больше не будет.

— К счастью, что не будет, — поправляет подполковник.

— Да нет, дружище, всё-таки жаль. Вкус-то особый у нашего кофе был. Из такого вот кофе жизнь настоящая соткана, — возражаю я.

Теперь можно и пофилософствовать, словно война ушла вместе с остатками ночи и впереди — целая жизнь.

— Может быть, ты и прав, — задумчиво тянет Павлов. — Этот кофе в Дарайя — особый кофе, и вкус у него особый. Так и назовём его: кофе по-сирийски.

Дамаск 2013 — Белгород 2018

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Описываемые события происходили в феврале 2013 года во время боёв в Дарайя.

² Павлов В., подполковник, волонтер фронтового агентства “АННА НЬЮС” (ANNA NEWS).

- ³ Мусин М. М., руководитель агентства “АННА НЬЮС”, доктор экономических наук, секретарь Союза писателей России, политолог, конспиролог и т. д.
- ⁴ Джихад Х. (“Виктор”) – сириец, переводчик, врач-офтальмолог.
- ⁵ “Броник” (сленг) – бронезилят.
- ⁶ “Шайтаны”, “бармаи”, “бородатые”, “духи”, “крысы” и т. д. – прозвища игольцев из “Джебхат ан-Нусра” (отделение “Аль-Каиды” в Ливии и Сирии).
- ⁷ “Бээмпэшка”, БМП – боевая машина пехоты, в данном случае БМП-2.
- ⁸ Служба безопасности.
- ⁹ Противопехотное средство из подручных материалов – гранаты, самодельные мины и т. д., приводимое в боевое состояние в результате натяжения и выдёргивания чеки проволокой, натянутой через тропу и т. п.
- ¹⁰ Ручная граната РГД-5.
- ¹¹ Аскер, аскяр – солдат, воин.
- ¹² “Занавеска” – ткань, натянутая на верёвку или проволоку поперёк улицы для уменьшения обзора снайперов.
- ¹³ ЗСУ-23-4 – зенитная самоходная установка.
- ¹⁴ Спокойной ночи.
- ¹⁵ На всё воля Аллаха.
- ¹⁶ Посуда для приготовления кофе, вроде турки.
- ¹⁷ В. Верстаков. “Война становится привычкой...”
- ¹⁸ Гранатомёты.

ТАТЬЯНА ОЛЕЙНИКОВА



МОЯ ПОТАЁННАЯ ЖИЗНЬ

ПЕРЕД ВЕЧНОСТЬЮ

Памяти отца

Начало где дороги всей?
И где придёт конец?
...По мукам совести моей
Веди меня, отец!..
Мы без тебя уж сколько лет
Живём... Но каждый год
Всё ближе путь,
Всё глубже след
К тебе, отец, ведёт.
Я тихо встану пред тобой,
Всё выскажем сполна:
— Мы все равны перед судьбой...
Ответит он:
— Война!..
Стою и слушаю отца:
— Война. Война. Война!
И не видать войне конца,
Налей-ка мне вина...
Погибнуть или умереть?

ОЛЕЙНИКОВА Татьяна Ивановна — поэтесса. Родилась в 1948 г. в поселке Томаровка Яковлевского района Белгородской области. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Автор многих поэтических сборников. Президент Международного фестиваля поэзии и авторской песни “Оскольская лира”, член-корреспондент Московской академии поэзии. Живет и работает в г. Старый Оскол.

Не всё ли нам равно?
Нам всем нальёт старуха-смерть
Смертельное вино.
— Молчи, молчи, ты столько лет
В себе её носил...
Неужто будет застить свет?
— Забыть не хватит сил...
— Молчи, отец! Не кровяни
Своей души о ней.
Ты вспомни про другие дни...
— Чем дальше, тем больней.
— Налю, отец! Но у вина
Есть пред тобой вина.
— Не обвиняй его. Война!
Кругом война одна!..

...Погибнуть или умереть —
Не всё ли нам равно?..
Уложит всех старуха-смерть
На земляное дно...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

...Долго ль снится мне будет
Моя потаённая жизнь?
Помню прошлое
Так же, как то, что грядёт,
То, что произошло...

Я забуду нескоро
И вспомню, и снова забуду...
И губами я снова
К материнской груди припаду,
Снова буду я плыть в колыбели.

Снова буду глядеть
На росу голубую в траве,
На шуршание мотылька,
И отцова рука
Мне на голову ляжет...

Только я не смогу им сказать:
Что я снова вернулась,
Что я ничего не забыла.
Что я помню, как были стократ
И рожденье, и смерть...

Только смерть не страшна.
Это сон, где приснятся
Глаза твои, мама,
Цвета чая
И тёплые руки твои...

Всё хочу рассказать им,
Но только младенческий крик...
И отцовы слова надо мной:
— Ну, скажи,
Ну, скажи, что ты хочешь.

И тогда запоёт он
Чуть-чуть хриловато
Солдатскую песню свою,
Ту, что будет меня,
Колыбелить во веки веков.

...Только в жизни грядущей
Не будет прошедшей войны.
Потому что солдаты восстанут,
Чтобы снова родились на свет
Их долгожданные дети.

...Мы вернёмся другими. Все вернёмся...
И знание об этом мою умножает печаль,
Так, что душу свело, так что душу свело.
И молчанья печать
Ставлю я на уста и чело...

СКАЗКА О ЖИВОЙ ВОДЕ

Бабка горницу прибирает,
Сказку внученьке говорит:
“Тридешатое царство у края
Тридевятого. Там зарыт
Клад заветный; хоть путь небыстрый,
Там воды Живой три ключа...
Там густа трава и росиста —
Всё мать-мачеха да иван-чай...”

...Пыль смахнула, да и затихла.
Замолчала. И в тишине
Слышно стало, как время затикало
В старых ходиках на стене.
А потом головой припала
К чёрной рамочке у стола,
Где улыбка сыночка Павла
Восемнадцатилетней жила.

...Ах ты, сказочка-небылица,
Прилети к моему окну,
Обернись хоть воробышком-птицей,
Не оставь ты меня одну...
Полети в тридешатое царство
Тридевятого на краю,
Принеси той воды на счастье,
А я хлебцем тебя покормлю...
— Полечу, — говорит, — в то царство
Тридешатой земли,
Там бываю я слишком часто,
Знают крылья мои
Тяжесть ноши той непомерной,
Той воды ключевой,
Что зовётся у вас, наверно,
Водю Живой...

Всё ношу эту воду Живую
Да над полем кроплю!..
Вижу мать ли, вдову ль молодую —
Вместе с ними скорблю.

Видел я с вышины поднебесной,
Как скрестились огни.
Там, на поле железном, железа
Вдвое стало в те дни!

...Принесу!.. Ты на тропочке узкой
С той водой меня повстречай,
Где под Курском на поле на русском
Всё мать-мачеха да иван-чай...

МИХАИЛ КУЛИЖНИКОВ



ОТОЛЬЮТСЯ КОШКЕ МЫШКИНЫ СЛЁЗКИ

РАССКАЗ

Люба устроилась на рынок торговать игрушками.

Не сразу, конечно, пришлось тётке Вале похлопотать. А без работы сидеть Люба уже не могла, стыдно было тёткин хлеб задарма есть, а устроиться хоть куда-нибудь не получалось. Вот Люба и согласилась. Согласилась почти сразу, деньги, пусть и небольшие будут, да и на людях, на виду, интересно всё-таки, а дома сидеть в её-то годы не пристало. Мало ли как дальше повернётся.

В первый день хозяин показал место, помог разложить игрушки, показал, как складываются “трансформеры”, как вставлять батарейки в машинки и танки, как работают мобильники, дал тетрадку с ценами и подмигнул, уходя:

— Ты пока тренируйся, я скоро подойду.

Люба принялась разглядывать игрушки. Повертела в руках танк, “позвонила” по мобильнику и начала крутить “трансформер”.

— Чо, самой интересно?

Люба подняла голову.

— Первый день, красавица?

КУЛИЖНИКОВ Михаил Анатольевич родился в 1958 году в Белгороде. Окончил Белгородский педагогический институт. Член Союза писателей России. Автор поэтических сборников “Пейзаж с вечерним городом”, “Покаяние”, “Стихи одиночества”, а также нескольких книг прозы. Лауреат международного поэтического конкурса “Звезда полей-2010”, лауреат литературной премии “Прохоровское поле”. Живёт в Белгороде.

— Меня Люба зовут, — смутилась Люба.

— А я — Муся! Я из соседней торговой точки.

— А-а? — хотела спросить Люба.

— Никаких отчеств. Муся, и всё тут. Меня здесь все так зовут. Я в этом ряду как бы смотрящая! Поняла?

— Да чего уж непонятного, — сникла Люба.

— Да ты не тушуйся, я ж говорю — как бы смотрящая, а надсмотрщиков тут и без меня хватает.

— А почём сковородка, кто сковородки продаёт? — постучал пальцем по сковороде прилично одетый мужчина.

Муся быстренько встала за прилавок.

— Это лучшая в мире сковородка, сама жарит, солит и переворачивает, — затараторила она, — специальная разработка военно-промышленного комплекса, изготовлена из останков НЛЮ, сбитого под Серпуховом в восемьдесят втором. Слыхали эту историю?

— Ну, конечно. Не только слышал, а сбивал эту самую тарелку, я под Серпуховом служил в восьмидесятых. Только не пойму, мы-то сбили тарелку, а почему из неё сковородки делают?

— О как! — развела руками Муся. — А с виду — приличный мужчина...

— Да я серьёзно, — мужчина понизил голос. — Я как раз заступил в тот день на боевое дежурство. И вдруг из караулки звонок — над частью зависла летающая тарелка. Глядим на локаторы — ничего! А из окна видно — висит эта самая тарелка. Ну, мы и шарахнули по ней тремя ракетами “земля-воздух”. Она вдребезги. Подбежали, осколки стали разглядывать. Серебристый металл, лёгкий, прочный, я тогда подумал: а хорошо бы из него кастрюли делать, вот бы хозяйкам понравились.

В соседних, по выражению Муси, торговых точках притихли и напряжённо вслушивались.

— Ладно, — заулыбалась Муся, протягивая сковороду, — бери за триста пятьдесят, хоть и четыреста ей цена. Сделаешь жене подарок.

— С виду солидный мужик, а брехло-о! — поморщилась Муся вслед мужчине.

— А сама-то заливать горазда! — подморгнула продавщица женского белья.

— Так это ж маркетинг такой. Мне положено, а ему неприлично порядочную женщину в заблуждение вводить, — Муся кокетливо поправила рыжие локоны и выпятила грудь. — И ты, Любаша, тоже подтянись. Вон, вся красота мира за пазухой, а ты сутулишься. На такие формы покупатель валом валить должен.

— Ты девушку не развращай. На самой пробу ставить некуда, и других с толку сбиваешь, — шутливо укорила Мусю продавщица из модуля напротив.

— А я не развращаю, я правду говорю. Пусть не думает, что мы тут игрушками да трусами торгуем. Мы собой торгуем. Мы молодость свою продаём! Эх-ма!

Муся наклонилась и достала из сумки бутылку самогона и пластиковые стаканчики.

— О! Первый покупатель мужчина! Значит, день удачный будет, обмоем что ли? Как раз и музыкант идёт. Эй, музыкант, тащи свои пирожки, беляши и прочую требуху, у нас новенькая, глядишь, женил тебя на себе. Вишь, какая красота за пазухой, была б я мужиком, просто так ни за что б мимо не прошла.

Невзрачный паренёк притащил большущую сумку с пирожками и термосами.

— Есть с яблоками, с картошкой, с капустой, с горохом, есть беляшики, чебуреки, горячий кофе, чай, каркаде.

Муся взяла пару чебуреков.

— Кофий сегодня пить не будем, — Муся тронула плечо Любы. — А вот наша Любаша, вишь, какая дивчина, загляденье, женись прям щас, и свадебку тут же сыграем, у меня и выпить припасено.

Паренёк глянул на Любу, и его слегка оттопыренные уши начали наливать жаром.

— Костик, не робей, — не унималась Муся, — бери девку в оборот...

— Да уймись ты, окаянная, — перебила Мусю продавщица из модуля напротив, — пусть доучится парень. Дай-ка, Костик, и мне беляшик.

— Давай, Егоровна, присоединяйся, щас мы на троих сообразим, правда же, Любаша.

Костик дал Егоровне сдачу и засеменял по ряду, выкрикивая: “Горячий кофе, чай, каркадэ, домашние пирожки, беляши, чебуреки...” Люба с интересом смотрела ему вслед, и сквозь ровный базарный гул до неё долетало: “Горячий чай... пирожки... каркадэ...”

— А зачем вы его музыкантом зовёте? — повернулась Люба к Мусе.

— Так он же скрипач, в музучилище учится, а здесь подрабатывает, мать пирожки печёт, а он продаёт. Ну, так что, примешь на свою роскошную грудь сто граммов? — протянула Муся стаканчик.

— Спасибо.

— Вот и чебурек бери, — ухаживала за Любой Муся.

— Да что ж ты к её сиськам прицепилась, — подошла Егоровна, — или завидуешь?

— А что, есть чему позавидовать, моя-то молодость уж на излёте, хотя своего ещё не упущу, — Муся подбоченилась.

— Плесни и мне, — протянула стаканчик Егоровна, — может, расторгуюсь.

— Давайте, красотки, за знакомство и хорошую торговлю! — Муся залпом выпила и со вкусом принялась жевать чебурек.

Егоровна пила медленно, зажмурившись, с трудом глотая. Люба отпила всего чуть-чуть и поставила стаканчик на прилавок.

Всё было в диковинку: и базарная толчея, и кастрюли со сковородками и чайниками на прилавке у Муси, и нижнее бельё, которым торговала смуглая женщина с грустными большими глазами, и любопытные покупатели, нахально разглядывающие продавцов, и облака, плывущие в ясном августовском небе, и седая, мужиковатая Егоровна, продающая джинсы в модуле напротив, и болтливая, спивающаяся Муся — всё. Потому что Люба впервые в жизни видела всё это не как обычный человек, а совсем другими глазами, из рыночного модуля...

— А ты сама-то местная? — вытирая руки носовым платком, спросила Муся.

— Нет, я из Весёлого.

— А чего ж сюда приехала? — с любопытством заглянула в глаза Муся.

Люба не стала рассказывать, что жить в родном селе Весёлом ей было совсем не весело. Что бросил её Колька, не сдержал слово, укатил в неизвестном направлении. То ли в армию нанялся, то ли на севере пробавляется. И пришлось Любе аборт делать. А как жить среди пересудов односельчан, ворчания матери и колкостей друзей и подружек? Да и с работой ничего не получалось. Вот и приехала Люба к тётке. Прожила почти две недели, поторкалась в разные офисы и отделы кадров и вот устроилась торговать игрушками.

— Да так получилось, — потупилась Люба. — Теперь вот у тётки живу.

— Ну, ничего, оботрёшься, тут все обтираются. Вон Егоровна поперва тоже смущалась, а щас — бизнесменша хоть куда! Так, Егоровна? — хихикнула Муся. Егоровна махнула рукой и кисло поморщилась. — А чой-то ты морщишься, али не по тебе работёнка после горячего цеху? Вот зима наступит, и поморозишь свои косточки, жар да пар из тебя и выйдут. А то на заводе, поди, перегрелась за тридцать-то лет. Считаю, на курорте всю жисть пробыла. За что ж тебе пенсию хорошую платить?

— Да уймись ты, балаболка, — отмахнулась Егоровна.

— Или вон Нанка, — распаялась Муся, — вишь, как ловко лифчиками торгует, а по весне и говорила-то по-русски с трудом, а щас как залопочет, не остановишь. Так, Нан? Лифчики — эт тебе не химию в институте химичить, тут особый замес нужен!

Нана укоризненно глянула на Мусю и отвернулась.

Подошла молодая пара. Люба немного растерялась, суетливо начала предлагать машинки, танки, мобильники, но парочка, повертев в руках игрушки, не сказав ни слова, удалилась.

Торговля шла ни шатко ни валко. Одна молодая мама купила своему мальчугану пистолет, пожилой дяденька долго вертел в руках “трансформер”, а потом купил мобильник, да подходили ещё несколько человек, но так ничего и не купили. Пришёл хозяин.

— Ну, как, освоилась? — улыбнулся он.

— Почти. Кое-что купили, — похвасталась Люба.

— Хорошо, потом отчитаешься. Вот ключи от модуля, в четыре можешь закрываться, а завтра в девять как штык. На днях “мякишей” подвезу, дело веселей пойдёт.

— А мякиши это кто?

— Не кто, а что. “Мякишами” я мягкие игрушки называю. Давай, трудись, пролетарий.

Хозяин подбросил ключи от машины, ловко поймал и залавировал меж покупателей.

Через две недели Люба освоилась. Она уже не смущалась, когда подходили покупатели, расхваливала игрушки, строила глазки мужчинам и старалась подсунуть малышам игрушку подороже в надежде, что родители не откажут своим любимым чадам.

Хозяин платил, как и договорились, в конце каждой недели наличными, но трудовую книжку брать не спешил, так что Люба работала нелегально, но претензий предъявлять не собиралась — всё-таки какая-то работа. Деньги хозяин платил небольшие, приходилось на всём экономить, ведь если тратить-ся на обеды, туалет и учесть дорогу до рынка и назад, то оставалось совсем мало, поэтому Люба брала с собой бутерброды и термос с чаем, а пирожки у Костика, который теперь заходил в её ряд чаще, брала редко.

Любе чем-то нравился Костик, но больше он её смешил своим смущением. Когда Костик подходил к её модулю, у него неизменно краснели уши, он суетился, прятал глаза, а Люба, чтоб ещё больше смутить парня, ласково улыбалась и как бы невзначай прикасалась к нему.

Как прошёл август, Люба и не заметила. Торговая суета, заигрывания покупателей, пересчёт товара, отчёты перед хозяином, незлобные подковырки Муси, вкус дешёвой колбасы с батоном, обжигающий чай, усталость к вечеру — вот и всё, что помнилось.

Сентябрь выдался дождливый. Покупателей с детьми стало меньше. Но Люба уже научилась “иметь свой интерес”, как выражалась Муся. Она, не стесняясь, накидывала на цену десятку, а то и две, потом сбрасывала пятерку, и покупателям казалось, что они выгодно купили игрушку. Так что Люба в хороший день была при наличных. Поначалу Люба нервничала. Ей думалось, что она делает что-то нехорошее, что она обманывает покупателей и хозяина, что она даже как бы ворует, но со временем Мусины насмешки и постоянная нехватка денег сделали своё дело, и Люба привыкла. Да и Егоровна, и Нана, и все так делали. А как иначе прожить на те деньги, что давал хозяин, а так хочется купить модные джинсы, красивое бельё, блузку. А к зиме надо сапоги и что-то тёплое, и хочется помочь тётъ Вале, за квартиру хоть иногда заплатить, купить хорошей еды...

Егоровна частенько ворчала, когда после удачной торговли они втроем — Муся, Егоровна и Люба — заходили в кафе перекусить.

— Ты б, деваха, искала работу хорошую, — бурчала себе под нос Егоровна, с трудом глотая пиво. — Пропадёшь ты на этом базаре ни за грош. Ни здоровья, ни красоты, ни денег не будет. Пустое это всё.

— Во-во! — подхватывала Муся. — Замуж выходи за бизнесмена. Пока при теле. Молодость, известное дело, товар скоропортящийся. А так пристроена будешь. Он будет тебе гроши зарабатывать, а ты их будешь тратить да по мужикам бегать, пока он эти самые гроши зарабатывает.

— Да уймись ты, балаболка, — махала на неё рукой Егоровна, — сама непутёвая и других сбиваешь.

— А что ж ей при таких-то формах на стройку или на завод идти, — не унималась Муся. — Чтоб, как ты, проишачить весь век ни за грош, а потом прирабатывать себе на похороны. На пенсию только в целлофановом мешке до ближайшего мусорного ящика и донесут, а дальше пешком иди.

— Побойся Бога, — крестилась Егоровна. — Чего буровишь-то!

После таких разговоров Люба приходила домой и подолгу лежала на диване. На вопросы тети Вали отвечала неохотно, да и что она могла сказать? Что-то томило её душу, что-то такое, в чём Люба не хотела себе признаваться, ей хотелось верить, что работа на рынке всего лишь вынужденная временная необходимость, что вот-вот произойдёт какая-то перемена в её жизни и всё-всё станет по-другому. И всё же чаще и чаще она сознавала, что без хорошей профессии, без образования, без помощи кого-то ничего не произойдёт. А где взять деньги на обучение, где взять этого всемогущего “помощника”, да и годы уже не очень-то учебные — двадцать три. Это что ж, почти до тридцати учиться? А жить когда? И вспоминались ласки Кольки, и мелькали в памяти холёные молодые мужчины, разъезжающие в роскошных машинах и сигналившие ей, когда она стояла на остановке, ожидая маршрутку, и вспоминались похотливые глаза покупателей, и даже Костик. И Люба остро ощущала всем своим существом, какое оно, одиночество...

Был обычный серый осенний день, тот самый день, когда в воздухе не приметно растворена неизбывная тоска. И вроде небо, облака, деревья и дома, люди и машины такие же, как вчера, но щемит сердце по чему-то неизвестному, недостижимому, упущенному в жизни навсегда.

Люба сидела в модуле на складном стуле и бессмысленно едва заметно улыбалась. “Скоро холода... — мелькали мысли. — Как там мои в невесёлом Весёлом?”

Люба встала, провела рукой по лбу, как бы стирая мысли, и почти вслух буркнула: “Да что там делать! Сидеть на шее...”

Неожиданно подошёл хозяин.

— Ну, что, ненаглядная, будем закрываться.

— Как закрываться? — удивилась Люба.

— А так. Совсем закрываться. Лавочка закрывается, — хозяин радостно улыбался. — Дело новое теперь у меня. Серьёзное. Сколько можно китайской белибердой промышлять. Пора на ноги становиться.

— А?... — Люба зло нахмурилась.

— Вот расчёт, — хозяин подал деньги. — Ищи достойную работу, лапочка. Не для тебя это — стоять здесь. Складывайся пока.

Хозяин приклеил бумажку на модуль. “Продаётся”, — прочла Люба. Из-за наворачнувшихся слёз номера телефона рассмотреть она уже не могла. Пытаясь проглотить комок в горле, Люба раскладывала игрушки по коробкам, часто моргала и шмыгала носом.

— Да ты не горюй, — хозяин был в приподнятом настроении. — Это ж не работа. Ни заработка, ни перспектив. Найдёшь дело стоящее. Молодая ведь ещё. Всё впереди, — хозяин с любопытством глянул на Любу.

Подошли Муся и Егоровна. Егоровна стояла молча. Муся не выдержала.

— Никак сворачиваете бизнес?

— Всё. Открыл станцию техобслуживания. Мечта жизни! — улыбнулся хозяин.

— Ну-ну, — примолкла Муся.

Вечером Люба с Егоровной и Мусей пила в кафе водку и зло кривилась. Неожиданно она закрыла лицо руками и заплакала почти навзрыд.

— Ну, ты чего это? — заупокаивали её Муся и Егоровна.

— К-как же я теперь бу-уду? — отирала руками слёзы Люба.

— Да так и будешь, — Егоровна подала ей платок. — Была бы шея, хомут... Сама знаешь...

— Во-во! Тебе б, Егоровна, только хомуты на шею, — вступила Муся. — Мне б её годы, я бы задала жару...

— Да какой там от тебя жар. Так, одна пыль, — Егоровна налила водки. — Эх, девки, давайте за хорошую жизнь выпьем, авось и наступит она для нас...

Люба пила чай с тётей Валей. Тётя Валя неспешно размачивала в чае сушки, тщательно жевала и, подув на чай, отхлёбывала. Люба грызла сушки, как кролик, отпивая чай мелкими и частыми глотками. В старенькой, давно не ремонтированной кухне было душно. На газовой плите стоял зелёный эмалированный чайник, немало слышавший на своём веку. Только что чайник перестал сипло ворчать, как бы прислушиваясь к разговору.

— Ты, Люба, не спеш. Успеешь. Подождёт Петрович-то, — тётя Валя шумно отхлебнула чай. — Попей чаю как следует, колбаски поешь с батончиком. Опять всю ночь сидеть.

— На всю ночь не напьюсь, тёть Валь. Да тут же рядом, если что надо будет, заскочу.

Люба собралась идти.

— Не нравятся мне этот Петрович. Слизкий он какой-то. Вон какую машину строит. Это что ж, за выручку с ларька? А тебе до сих пор не заплатил. Да и не дело это — молодой девке по ночам в сарае сидеть.

— Ничего, тёть Валь, подзаработаю денюжат, пойду на курсы бухгалтеров. Объявление читала. Трёхмесячные курсы, платные. А бухгалтером устроиться можно...

— Раньше надо было учиться, — перебила Любу тётя Валя.

— Да вы ж знаете, тёть Валь. Серёжка только в школу пошёл, отец без работы, мама одна за всех отдувалась. Какая учёба?.. Вот я и пошла в ларёк к бывшему председателю. Огород, корова, поросёнок и ларёк. Вот и вся моя учёба. А потом и ларёк сгорел. Председатель получил страховку, магазин открыл, свою родню пристроил, а меня турнул. А больше работы в селе и нету. Да и языки у нас, сами знаете, какие. Проходу нет...

— Да-а, — протянула тётя Валя, — Колька-то... Вот такая жись-то наша. Замуж тебе надо бы...

— Так я ж не против, только не за кого, — уже из коридора крикнула Люба и застучала каблучками по лестнице.

На улице было темно и холодно. Уже зажглись фонари. Ларёк находился в конце квартала, всего-то пройти мимо четырёх домов, считая от дома тёти Вали. Но Люба начинала мёрзнуть. Срывался первый снежок. Начало ноября. Навстречу попались двое подвыпивших парней, Любины погодки, может, чуть старше. В руках у них были открытые бутылки пива. Один из них остановился, сплюнул и, покачиваясь, процедил Любе вслед:

— Вот это тёлка! Вот бы...

Люба хотела сказать ему, что он сам баран, но решила не ввязываться. “Что с них брать, — успокаивала она себя, — им ещё мячик пинать да в войнушку играть. Вот и выходи за такого замуж...”

На ларьке горела “контрольная”, как её называл Петрович, лампочка. В ларьке света не было. “Вот гад! — подумала Люба. — Опять смылся”.

Уже который раз Петрович уходил, не сдав смену. То ему было некогда, то он напирал на доверие. “Ты что, хозяину не доверяешь!” — возмутился он. А то и вовсе не работал.

Через дорогу, недалеко от ларька, Петрович строил своё кафе. Строительство уже заканчивалось. Поэтому после ухода последней продавщицы он никого не хотел брать на работу в ларёк. Торговал сам. Да и городские власти постановили: все ларьки через два месяца снести. А Люба, покупая жвачку, наобум спросила насчёт работы. Петрович прищурил масляные глазки, разглядывая Любу, наморщил лоб и спросил:

— На пару месяцев пойдёшь?

— Пойду, — обрадовалась Люба. — А что платить будете?

— Четыре хватит? — насторожился Петрович.

— Ладно, пару месяцев поторгую, а там видно будет, — согласилась Люба.

— А ты когда-нибудь торговала? — вкрадчиво спросил Петрович.

— И в ларьке, и на рынке, дело знакомое, три пишем, два в уме, чего ж тут хитрого.

— Ну-ну, — покивал головой Петрович, — только без трудовой. Если

что, скажешь — на подмене, а мне паспорт принесёшь. Завтра приходи к восьми вечера.

Вот так Люба и попала к Петровичу в ларёк. Прошло уже больше месяца. Сегодня Петрович обещал уже в третий раз рассчитаться.

Люба достала ключи и открыла дверь. В ларьке было накурено и ещё тепло. Она включила свет и обогреватель, увидела на топчане записку. В глазах Любы появился металлический блеск, где-то на дне души загорелся недобрый огонь. Люба до боли прикусила губу. “Да сколько ж можно, — подумала она, — прибила бы...”

Когда Колька уехал, Люба заплакала, и в ней что-то надломилось, и уже не на Кольку, а на весь белый свет в душе её затаилась обида, а слёз больше не было. И потом, когда упрекала её мать за аборт, когда ехидничали подруги и соседи, когда бывший председатель не взял её в магазин, когда пытались навязаться ухажёры всех мастей, вспыхивала в душе злая искорка.

Люба взяла записку. “Зайду попозже. Петрович”. “Ну-ну, поглядим”, — вслух сказала Люба и повесила на окно табличку — “Открыто. Стучать”.

Было около полуночи. На улице бесновался ветер. Сломленные сухие ветки изредка падали на крышу ларька. Не частые покупатели, всё больше молодые ребята, стучали в окошко, дышали в лицо Любе перегаром, покупали пиво, сигареты и солёные орешки или сухарики, говорили глупости и пошлости и растворялись в темноте. Любе было тоскливо и зябко, хотя спираль самодельного обогревателя раскалилась почти добела. Люба взяла пачку “лёгкого” “Мальборо” повертела в руках. “Закурить, что ли?” — мелькнула у неё мысль. Люба открыла пачку, вытащила сигарету, прикурила, глубоко затянулась, пару раз кашлянула. Голова слегка закружилась, озноб прошёл. Люба курила редко, за компанию или от тоски. Сегодня была тоска. Люба откупорила бутылку пива, сделав несколько глотков, затянулась ещё. “Ну, и за кого замуж выходить? За кого-нибудь из этих пьяных дебилов или за ушастого Костика? Хотя Костик добрый, но одной доброты мало. А от этих крутых недоумков блевать охота. Ну, почему всё так! Где эти рыцари, принцы, алые паруса, где?.. Что-то не видать, — размышляла Люба. — А может, пойти на остановку, тормознуть новенькую иномарку и отдаться, а там видно будет. Кто-то рассказывал, императрица Екатерина так делала... Первому встречному кучеру...” В дверь постучали. Люба вздрогнула.

— Любаша, эт я!

Это был подвыпивший Петрович.

— Как и обещал, пришёл.

Люба поднялась с топчана и открыла дверь.

Петрович был уставшим, замёрзшим, от него пахло водкой.

— А у тебя тут тепло, светло и мухи не кусают, — плоско пошутил он.

— Деньги принесли? — жёстко спросила Люба.

— А как же. Щас усё будет. — Петрович уселся на топчан. — Холод-рыга жуткая. А ветрыка с ног валит. О! А ты ж не куришь, — уставился Петрович на Любу. — И пивком хозяйским втихаря балуешься.

— Я заплачу, вы не беспокойтесь.

— Конечно, конечно, — Петрович посерьёзnel. — А ты знаешь, Люба-голуба, что у тебя недостача полторы тыщи!

— Что?! — глаза Любы округлились.

— А вот то! Я сегодня пересчитал товар и выручку. Тысяча четыреста восемьдесят девять рублей семьдесят пять копеек не хватает. Так-то!

Люба села рядом с Петровичем, обхватила голову руками.

— Этого не может быть. Я всегда всё пересчитывала. Всё сходилось, — пальцы Любы дрожали. — Это вы специально всё...

Петрович обнял Любу. Она хотела отстраниться, но вспыхнул где-то внутри неё злой огонь, и пусто, беззвучно стало в душе.

— Ну-ну, — Петрович двумя пальцами приподнял голову Любы. — Отработаешь.

Люба равнодушно улыбнулась. Петрович шумно засопел и поцеловал её в губы.

— Ты мне сразу понравилась. Я всегда мечтал о тебе.

Руки Петровича мяли груди, ласкали шею, гладили волосы, Люба возбуждённо дышала и неуверенно отворачивалась от частых поцелуев. “Если вас насилуют, и вы ничего не можете сделать, расслабьтесь и получите удовольствие”, — вспомнился Любе совет рыжей американки из телевизионного ток-шоу. И Люба сама расстегнула молнию на джинсах.

Уходя, Петрович подал Любе деньги.

— Я завтра зайду, если не возражаешь.

Люба проводила его пустым взглядом. Дрожащими пальцами пересчитала купюры, ровно четыре тысячи. “Вот гад!.. — еле слышно прошептала она. — А с Колькой такого не было...” Люба жадными глотками допила пиво. Сладкая истома накатила на неё и какое-то странное брезгливое удовольствие от испытанного унижения, от жарких ласк чужого мужчины, от появившейся над этим мужчиной власти... Люба легла на топчан и провалилась в глубокий тяжёлый сон.

Петрович заходил каждую ночь, когда была смена Любы. Люба отдавалась ему с дикой страстью, мстя Кольке за предательство, Костику — за стеснительность и всем мужчинам, и всему белому свету за то, что жизнь вот такая, и ничего нельзя изменить, и ничего хорошего нет и не будет впереди. И кто-то сторонний, жестокий и сильный, вёл её к каким-то неведомым страшным далям вопреки её воле, и Любе казалось, что она уже знает наперёд, чему быть в её жизни...

В конце ноября Петрович зашёл раньше обычного. Он был трезв и серьёзен.

— Вот что, — прямо с порога начал он, — ларёк закрываю. Будут сносить. С понедельника начинает работать кафе. Пойдёшь?

Люба посмотрела на него недоверчиво.

— А что делать буду?

Петрович почесал ухо.

— Ну-у... недельку посуду помоешь для видимости, а потом официанткой, а там, глядишь, и за стойку станешь.

— Вот так, — зло ухмыльнулась Люба, — посудомойкой, значит определяешь.

— Да ты пойми, — засуетился Петрович, — не могу ж я так сразу тебя за стойку или администратором поставить. Пока поработаешь, присмотришься, на стажировку походишь, есть у меня знакомые на курсах официантов. А потом и в гору пойдёшь. Это я тебе обещаю. А работу сейчас, сама знаешь, не так-то легко найти. Да и образования у тебя никакого. — Петрович просительно посмотрел на Любу. — Привык я к тебе, соглашайся, а...

— А что, — Люба вскинула голову, — вот возьму и пойду, то-то смеху будет: любовница хозяина — посудомойка.

— Да что ты прицепилась к посудомойке, — в глазах Петровича блеснул лучик надежды. — Это я так сказал. Дел поначалу у всех хватит. Все всё будут делать: и носить, и убирать, и готовить. Это потом, когда работа наладится, каждый на своё место станет, а ты к тому времени и стажировку пройдёшь. Потом официанткой, потом за стойкой постоишь, а потом и администратором. И трудовую оформим, полис медицинский, пенсионную карточку, книжку медицинскую, всё чин-чинарём. Кстати, вот паспорт твой и деньги.

Люба покосилась на пачку купюр.

— Что-то много. Это что, плата за секс?

— Да не задирайся ты. Знаешь ведь, как я к тебе отношусь. Ну... поначалу... а теперь совсем другое... — Петрович как-то обмяк и устало сел на топчан. — Это расчёт и деньги на форму.

— Какую ещё форму? — удивилась Люба.

— Форма у нас такая будет, — опять воодушевился Петрович. — Чёрная мини-юбка, тебе очень пойдёт, ты красивая... чёрные туфельки, белая открытая блузочка, — Петрович привлёк Любу к себе и прижался щекой в груди, она не отстранилась. — Согласна? А за то, ну... первый раз когда... прости.

Люба хотела сказать, что она ни за что не будет подстилкой этому похотливому стареющему борову, что она совсем не об этом мечтала, что всё, что было и есть, от одиночества и отчаяния, от досады на свою судьбу...

— “А пусть теперь отрабатывает он”, — как будто кто-то подсказал Любе.

— Да, согласна, куда ж мне деваться, — вдруг почти весело ответила она, хотя знала: будет не так, как хочет Петрович, и хитро добавила: — С женой твоей пообщаюсь.

— Жена в мои дела не суется. У неё свой бизнес, — насторожился Петрович. — Да ты ж девушка умная, не будешь, если что, разборки устраивать, а?

— Все вы, мужики, одинаковы, чуть жареным запахнет — так в кусты, а вот возьму и устрою, что тогда, в угол поставишь?

Петрович резко встал.

— Ладно, ты дурку не гони. В угол не в угол, а внакладе не останусь. А на жену я чхать хотел. У неё своя жизнь, у меня своя. Только всё равно отношения наши не надо на вид выставлять.

— А что, у нас и отношения есть? — съехидничала Люба.

— У тебя, может, и нет, а у меня есть, — нахмурился Петрович. — Ну, так что, пойдёшь в кафе?

— Пойду.

Утром Люба пришла домой с полным пакетом.

— Сыр, масло, курица, сырокопчёная колбаса, батон, йогурт, шоколадные конфеты, — приговаривала она, выкладывая продукты на стол.

— Ты что это, никак ограбила кого или в “Поле чудес” выиграла? — удивилась тётя Валя.

— Петрович аванс выдал, — Люба положила на стол пачку купюр. — На работу в кафе зовёт. Сказал, чтоб купила себе кое-что из одежды для работы, ну, и на нужды остаток.

— Ох, не нравится мне этот Петрович, — ворчала тётя Валя, пересчитывая деньги, — склизкий он какой-то.

Тётя Валя аккуратно перетянула деньги резинкой, положила в жестяную банку и убрала в навесной кухонный шкафчик.

— У меня за квартиру два месяца не плачено, — задумчиво произнесла она. — Деньги пусть там и лежат, понадобятся, возьмёшь. А если что останется, так я за квартиру заплачу. Можно?

— Да, конечно, тётя Валь, я ж у вас и так, считай, на иждивении, — подмигнула ей Люба.

— Ой, да что ты городишь-то — на иждивении. Ты себя обрабатываешь, — заулыбалась тётя Валя, — только работа у тебя непугёвая. А кем же тебя Петрович-то в кафе зовёт? — вкрадчиво спросила тётя Валя.

— Пока официанткой, а там, глядишь, и барменом или администратором.

— Так официанткой уметь надо. Ложки, — туда, вилки — сюда. Этикет! — значительно протянула тётя Валя.

— Так я на курсы схожу, Петрович уже договорился. Ничего хитрого тут нет. Принёс, отнёс, счёт клиенту, чаевые в карман.

— А что ж платить будет? На чаевых, поди, не разгонишься.

— Сказал, не обидит, побольше, чем в ларьке.

— Ну-ну, — покачала головой тётя Валя, укладывая продукты в старенький холодильник, который, обрадовавшись неожиданно свалившейся на него работе, весело заурчал.

Люба вертелась перед зеркалом в прихожей. Всё было впору. И блузка, и туфельки, и юбочка.

— Хороша. Это что ж, у вас форма такая? — недоверчиво спросила тётя Валя.

— Угу. Не нравится?

— Да больно юбка бесстыдная. Мать звонила, спрашивала, как ты тут. Позвонила б ей, рассказала, переживает она, — тётя Валя прислонилась к притолоке.

— Позвоно. Конечно же, позвоно. Вот с работой наладится и позвоно.

— Нет, — придиричиво оглядела Любу тётя Валя, — юбка коротка. Это что ж ляжками перед клиентами сверкать? Это ж кафе, а не бордель какой-нибудь.

— От меня не убудет. А клиенту надо угождать, и мода сейчас такая.

— Ну-ну, — вздохнула тётя Валя, — мода и впрямь такая. Ты б пододела что потеплее, холод на улице. Пока добежишь, поотморозишь ляжки-то.

— Ну, тётя Валь, хватит уже. Ноги как ноги.

Люба накинула слегка побитое молью пальто, переобулась, положила в пакет туфли и выскочила за дверь.

С некоторой робостью Люба открыла дверь в кафе. Фойе было отделано под мрамор, на стене у входа в зал висело большое зеркало. Двери в туалет, в зал были дубовые, с позолоченными ручками. Люба подошла к зеркалу, оглядела себя, сказала: “Ф-фух!” — и вошла в зал.

Светильники, висящие на стене у каждого стола, создавали мягкий полумрак. Столы, стулья были, как и двери, дубовые. По шесть стульев за столом, по четыре стола у каждой стены, стены оклеены импортными бордовыми обоями, у каждого стола — вешалка для одежды. Прямо у входной двери — небольшая эстрада, стойка для микрофона, стул. Напротив входа, в конце зала, — барная стойка. Проход между столами был широк, для танцев, окна завешены плотными шторами. “А на гардеробнице Петрович экономит, — подумала Люба, — ладно, здесь не то, что в ларьке или на базаре. Уютно, сухо, чисто, тепло. Поработаем”. Дверь рядом со стойкой приоткрылась, выглянул Петрович.

— О! Ты уже пришла! Отлично! Как тебе моя кафушка?

— Мило. А где можно переодеться?

— Ты сразу за работу. Походи, оглядись, успеешь наработаться. Вот пойдут клиенты, набегашься. Иди сюда, я тебе хозяйство покажу, — Петрович широко распахнул дверь.

Люба прошла за ним на кухню, потом в подсобку. Петрович закрыл дверь и жадно поцеловал её в губы.

— Не надо, — отстранилась Люба, — не сейчас. Вдруг кто-нибудь зайдёт.

— Да никто не зайдёт, — Петрович часто дышал и перешёл на шёпот, — сегодня все соберутся к часу. Мы будем работать с двенадцати до часа ночи. А сегодня работаем с двух. Первый день всё-таки.

— Всё равно не надо, — отстранилась Люба. — Потом.

К часу собрался, по выражению Петровича, весь персонал: длинный и тощий охранник Жора, повариха Маша, не то калмычка, не то татарка, прожжённая женщина со злыми чёрными глазами, скуластым лицом, приземистая, всем недовольная.

— Ага, — радостно провозгласил Петрович, — кажись, все в сборе. Дуся придёт утром, убирать. Вот пока вся наша смена. Я за стойкой. Жорик, ну, Жорик своё дело знает, — Жорик, не переставая жевать резинку, кивнул. — Маша на кухне, а ты, Люба, пока будешь помогать Маше, ну, и по залу, если что.

— Сама управлюсь, — пробасила Маша. — Неча такой крале на кухне сидеть. Пусть в зале задницей вертит. На неё клиент валом валить должен. Мне подручную, как дело наладится, найдёшь, а пока мне одной делать неча.

— Ладно, разберёмся, — Петрович открыл шампанское. — Давайте за открытие, что ли.

Маша подставила свой бокал.

— Как был ты скупердый, так и остался. Ничему ты жизнь не научила. Мог бы и коньячку по старой дружбе предлужить. Петрович ты и есть Петрович.

— Да ладно тебе, — поморщился Петрович, — не заработали ещё.

— Не ладно, — Маша залпом выпила шампанское, — гляди, как договаривались, работаем одной сменой до Нового года.

— Да, — засуетился Петрович, — пока клиентов мало, поработаем одной сменой, я доплату сделаю. А потом, конечно, будет ещё одна смена.

Петрович, морщась, допил шампанское и пошёл вешать на двери табличку “Открыто”.

— Ну, и что там пишут? — заглянул в меню очкарик. — Так-так...

— И что значит так-так? — съехидничал рыжий.

— А то, уважаемый Сергей Николаевич, что нашей швовой зарплатки хватит всего на пару приличных ужинов в этом расчудесном заведении.

— Пряма-таки на пару, а может, и на три? — рыжий взял у очкарика меню. — Нет, на три не хватит, на два с половиной... — Девушка, — позвал он Любу, которая с неприкрытым любопытством разглядывала мужчин, — принесите пару пива.

Люба подошла к столу.

— Вам какого?

— А вот “Пикюра”.

— А вам? — посмотрела Люба на очкарика.

— И мне.

— К пиву что-нибудь будете?

— Нет-нет, — засуетились мужчины.

Люба принесла пива и села через стол от посетителей, делая вид, что разгадывает сканворд. До неё долетали обрывки разговора.

— Ты пойми, — очкарик водил пальцем по скатерти, — начальство оно для чего, для того, чтоб нам спокойной жизни не было...

— ...так ведь не только директор, а и завучи гнобят...

— Правильно, одному директору не управиться, тут и завучи на подхвате: “Ну-ка, кто там спокойно жить захотел? Агу его! Срочно на выполнение директивы начальства, и платить ему по человеку-часам, чтоб неповадно другим было...”

“Учителя, — подумала Люба, оценивая простенькую одежду мужчин, их неуверенность в себе, неловкость в поведении. — Вот вроде бы интеллигентные люди, а толку?... Кружку пива с получки, вот и всё, что могут себе позволить, или стакан водки в дешёвой забегаловке... А уже лет по сорок, на верное... Тоже мне, сеятели добраго, разумного и вечного...”

Мужчины отогрелись, слегка разомлели. Очкарик достал не первой свежести носовой платок, протёр очки и снова придвинул к себе меню.

— А что, Александр Иванович, может по водочке?

— Эх, — махнул рукой рыжий, — последний раз живём...

— Первый и последний, — глубокомысленно поддержал рыжего очкарик.

— Любочка, а принесите нам триста водочки и порцию селёдки, — поднял руку рыжий.

— А ты откуда знаешь, что её Любой зовут? — удивился очкарик.

— А на её великолепной груди покоится бейджик, а на нём русским языком написано: “Люба!”

— Что-нибудь ещё? — подойдя к столу, Люба достала блокнот и ручку.

— Нет. Триста водки, порцию селёдки, четыре хлеба...

— И сразу счёт, — перебил рыжего очкарик, — мы долго не задержимся. — А хорошенькая! — услышала вслед Люба.

— Хороша-то хороша, а у нас в кармане ни шиша, вот! — скаламбурил рыжий.

Люба принесла заказ. Мужчины рассчитались, неспешно выпили по полрюмки и как бы нехотя закусили. Было видно, что они голодны, что если б было на что, заказали б не триста граммов, а целую бутылку водки, салатики, минералочку, лангеттики или цыплят табака, или мясо по-французски, и даже что-нибудь ещё...

На дверях звякнул колокольчик. В зал вошли два парня лет по восемнадцать-двадцать, оценили обстановку, пошутукались и вышли. “Студенты”, — про себя отметила Люба. Следом за парнями ввалились двое рослых мужчин в кожаных куртках нараспашку, джинсах, стрижены наголо. Лет

под тридцать каждому. Было видно, что они не с мороза. “На машине приехали”, — решила Люба. Мужчины едва кивнули Жорику, дремавшему на стуле недалеко от дверей, не раздеваясь, уселись за ближайший к ним стол, тот, что поплотнее, нагло глянул на Любу.

— Иди сюда, — процедил он сквозь зубы.

Люба, слегка оробев, подошла. Второй, взяв двумя пальцами бейджик, притянул Любу к себе.

— Люба, значит. А ты ничего!..

— Чево господа изволять будут?

Люба оглянулась. Сзади стоял Петрович и зло ухмылялся.

— А-а, Петрович, — приподнялся тот, что поплотнее, и протянул руку, — твоя бикса, что ли?

— Да не твоя, Колонья, эт точно, — пожал ему руку Петрович и легонько подтолкнул Любу, — иди отдохни, этих я сам обслужу.

— Ну, если твоя, так и скажи, — второй мужчина тоже пожал руку Петровичу.

Петрович строго глянул на Любу.

— Кому сказал, иди.

Люба ушла на кухню.

Маша стояла у окна со стаканом пива в руке. Увидев Любу, прищурила глаз.

— Ты чё такая перепуганная?

— Да два типа странных пришли, — замялась Люба. — Петрович сказал, сам обслужит.

Маша цокнула языком.

— Пожаловали козлы.

В кухню вошёл Петрович.

— Маш, пару шашлыков, два салата из помидорок, лаваш и порцию копчёной сёмги...

— А кто это? — спросила Люба Петровича.

— Небось, от Вагзена, — не дала ему ответить Маша.

— Да какая разница, — Петрович взял две чистых пивных кружки и бутылку водки из ящика, подумав, добавил: — Колонья и Сергуня — “твикс”, сладкая парочка.

— Гляди, а то солоно будет, — пробурчала Маша вслед Петровичу

Петрович вернулся минут через пять.

— Готово?

— А то! — Маша достала из микроволновки шашлык, украсила сёмгу зеленью, заправила салат майонезом. — Хай жрут, недоноски.

— Да зачем же ты так, — улыбнулся Петрович. — Они люди подневольные.

— А что ж ты лакеям прислуживаешь, или за Любанию боишься? — съязвила Маша.

— Надо так, не твоего ума дело, — огрызнулся Петрович и понёс заказ.

Маша смерила взглядом Любу.

— А ты, красотка, рохлей не будь. Счас расслабляться нельзя, мигом сожрут. А вообще-то, тебе мужика надо достойного, Петрович — это так, третий сорт, хотя не худший вариант. И денег надо много, тогда человеком будешь, а не подстилкой для козлов...

— Да где ж такого мужика найдёшь? — недовольно бросила Люба и пошла в зал.

В этот вечер посетителей больше не было. Около двенадцати уже ушли и Маша, и Жорик. Петрович и Люба лежали в подсобке на потёртом диване. На стене древние ходики, принесённые Петровичем, пробили час. Люба уже не чувствовала брезгливости к Петровичу. Как мужчина, он её устраивал, а когда она отдавалась ему без оглядки, отчаянно, даже как будто нравился.

“Всё не так уж и плохо”, — думала Люба, легонько глядя Петровича по животу.

Всё чаще Люба замечала, что начинает привыкать к Петровичу и к такой жизни, что уже не очень-то и хочется идти на курсы бухгалтеров, что в ней происходят какие-то странные перемены, как будто бы что-то выпорает, и остаётся горячая зола. Люба понимала, что её засасывает, но не одна она виновата во всём, так получилось, а тут ещё и Петрович... Но если б не он, до сих пор обивала бы Люба пороги различных офисов или вернулась бы в своё Весёлое. А там что?.. Огород, поросёнок да спивающиеся ребята, справляющие нужду, где приспичит. И уже не вспыхивал, а постоянно тлел в душе злой огонёк, и странно, но от этого огонька Люба становилась спокойнее, увереннее. И только иногда подкатывал внезапно к горлу ком, и наворачивались на глаза слёзы от жалости к навсегда исчезнувшей наивной Любе, босиком бегущей по утренней росе и радостно кричащей: “Солнце взошло!..”

Петрович курил лёжа. Пепельница стояла на груди.

— А за что ты сидел? — вдруг спросила Люба.

Петрович закашлялся, поймал падающую пепельницу и встал, отряхивая пепел с груди.

— Что, Машка напела?

— Нет, я сама догадалась.

— Не по годам догадливая, — Петрович сел на диван, бросил окурок в пепельницу и придавил спичечным коробком.

Люба встала и начала одеваться.

— Так за что?

— Я был директором ресторана, Машка — шеф-поваром, ну... В общем, левые продукты, спиртное, короче стуканула какая-то паскуда... Я в трест, тогда ещё тресты были, там говорят: “Бери всё на себя, потом поможем”. Короче, мне — семь, Машке — пять, с конфискацией. Пока баланду хлебал, перестройка началась, амнистия. Вышел, а уж начальство бывшее на новых местах: кто на нарах, кто в депутатах, а кто и за границей. Все пристроены. До меня дела никому нет. Да и что я им предъявить-то мог? Шантажировать нечем, сейчас это бизнес называется, это тогда судили, теперь капитализм, хапай, кто сколько может...

— А этот Вазген, он кто? — Люба подала Петровичу рубашку. — Одевайся, мне домой пора.

— А Вазгену я на зоне помог, а тут он мне. Вот и поднимаюсь помаленьку.

— А Жорик тоже с тобой сидел?

— Да нет. Жорик вообще какой-то странный. Кто говорит, что из блатных, кто — в горячих точках бывал, то ли спецназ, то ли разведка, но его весь город знает: и менты, и блатные, и начальство. Короче, с ним спокойно будет.

Петрович и Люба вышли на улицу.

— Хочешь, подвезу? — обнял Петрович Любу.

— Нет, здесь рядом. Не хочу, чтобы нас видели. — Люба высвободилась из объятий Петровича и на ходу бросила: — Пока.

Декабрь выдался слякотный, лишь ночью подмораживало, и срывался мелкий-мелкий снежок, будто кто-то с небес сыпал серебряные опилки на землю. Было тихо. Город уже спал. Было холодно и пусто на душе у Любы...

Странно, но после визита Колони и Сергуни каждый вечер было много посетителей. Как выражалась Маша, это была публика серьёзная: бизнесмены, нечистые на руку, не привыкшие считать деньги и щедро одаривающие чаевыми, их помощники, непременно коротко стриженные, коренастые, с массивными челюстями и твёрдыми лбами, хотя от своих хозяев они отличались разве что меньшей упитанностью, и просто блатные со своими друзьями.

Люба уставала. Работы было много, но сквозь усталость, сквозь ровный гул пьяных голосов она не однажды слышала в свой адрес: “Так про эту что ль говорили?..”

До Нового года оставалась неделя. В конце смены Петрович был в приподнятом настроении.

— А что, — улыбался он, — с такими клиентами и заработаем на хороший Новый год. А завтра ещё музыка придёт, веселее будет...

— Эт, небось, Вазген, клиентов направил, — осекла его Маша. — Гляди, расслачиваться придётся.

— Да что ты всё каркаешь, — оборвал её Петрович. — Мы с Вазгеном кореша, ясно!

— А что за музыка будет? — поинтересовалась Люба.

— Двое ребят придут, — потёр Петрович руки. — Согласились работать за парнас.

Утром Люба пересчитала деньги и подала тётке Вале.

— Тётъ Валь, вот, может, нужно.

— Ой, да тебе, поди, нужнее, — взяла тётя Валя деньги. — Ну, да пусть пока у меня полежат, возьмёшь, если что, да и продуктов надо бы купить... А откуда столько-то? Получку, что ль, Петрович дал?

— Да нет, чаевые.

— Ух, ты, чаевые, эт за юбку бесстыдную да за вырез до пупа, — съязвила тётя Валя. — Да тут, наверно, ползарплаты твоей.

— В каждой работе, тётъ Валь, есть свои плюсы и минусы.

— Ну-ну, — покивала тётя Валя головой и положила деньги в жестяную банку.

И тут Люба поняла, что уже не сможет взять из этих денег ни копейки, даже если очень-очень будет нужно. Не сможет, и всё. А продукты всё равно теперь будет покупать она — Люба, да и за квартиру платить.

Люба не обиделась, не разозлилась, а только ещё острее почувствовала, что нет рядом с ней близкого человека и не будет никогда, а всем вокруг обязательно что-то нужно друг от друга, и только поэтому люди бывают вместе. И рядом с ней, с Любой, оказываются только те, кому что-то от неё нужно...

В этот день посетителей не было до самого вечера. Заходили выпить по кружке-другой пива несколько человек, и всё. Петрович за стойкой протирает рюмки, Маша и Люба чистили на кухне картошку. Вдруг Люба услышала из зала несколько аккордов и знакомый голос.

— Раз, раз, один, два, три, сто двадцать восемь, раз, раз...

Люба выглянула в зал. Двое ребят настраивали аппаратуру. Один возился с усилителем, а у микрофона стоял Костик. Люба подошла к ним.

— Привет, Костик! — улыбнулась Люба.

— Привет, — поднял глаза Костик.

Костик был всё такой же, только в этот раз его уши не покраснели, но всё же какая-то едва уловимая перемена произошла с ним. Во взгляде появилась затаённая, пережитая боль утраты, сделавшая Костика старше и холоднее.

— Ты меня узнал? — продолжала улыбаться Люба.

— А я тебя и не забывал, — хмуро сказал Костик, прыгнул с эстрады и подошёл к Любе почти вплотную.

— А я тоже тебя часто вспоминала. А ты рынок забросил, что ли?

— Нет, так и торгую пирожками. Это вот предложили подхалтурить за парнас. Деньги-то всегда нужны.

— А как это — “за парнас?”

— Так же, как за чаевые, музыку заказывают, а что заплатят — твоё.

— А зарплата? — удивилась Люба.

— А зарплата ждёт нас в светлом будущем, — поморщился Костик. — А ты здесь как оказалась?

— Да, сам знаешь, с работой не просто сейчас, вот предложили пока официанткой, а там видно будет... А как там Егоровна, Муся, Нанка? Торгуют?

— Егоровну схоронили недавно, рак у неё был, Муся так и болтает да самогоночку пьёт, а у Нанки теперь свой магазин, ей диаспора помогла. Как говорится, всё течёт, всё изменяется. О, вот и клиент повалил, надо включаться.

В зал вошли Колоня и Сергуня.

— Вот это по-нашенски, — хлопнул в ладоши Сергуня, — под музыку и водочка слаще.

Колоня улыбнулся Любе.

— Ну, давай что ль, как всегда: шашлычок, водочку, сёмушку, салатик.

За каких-то полчаса зал был почти заполнен ставшими уже почти постоянными клиентами. Костик с напарником старались вовсю. Люба порхала от одного стола к другому, едва успевая принимать и приносить заказы. Петрович сиял за стойкой, а иногда и помогал Любе. Становилось душно. Два кондиционера не справлялись с табачным дымом и перегаром. Сквозь громкую музыку и частые оклики посетителей Люба едва улавливала собственные мысли. “А ведь Костик стал другой... Я же ему нравилась, может, он даже меня любил... Но что он мне смог бы дать?.. Мальчишка же ещё...” — мелькало в её голове.

Маша на кухне трудилась от души, лишь изредка удовлетворённо бурчала себе под нос: “Ну, и денёк!” В одну из выдавшихся свободных минут, когда Люба зашла на кухню, Маша хитро на неё глянула.

— Слышь, красотка, а вообще-то чаевыми надо. А то я тебе такого наготовлю — всё за твоей пазухой будет.

Люба растерялась, потом согласно закивала головой.

— Так я не против. Сколько?

— Мне треть, да только я всё равно не знаю, какой у тебя навар. Так что на твоей совести, сколько давать, но учти, будешь обижать — быстро проучу.

— Хорошо, — смутилась Люба и поспешила уйти.

В конце смены Люба честно отдала треть чаевых Маше. Та взяла деньги и улыбнулась.

— Да ты не обижайся, порядок такой. Кухня в нашем деле на первом месте! Да и Жорикую кое-что надо для приличия. А то на Петровича зарплату не разжиреешь...

За вечер все устали. Петрович довольно потирал руки.

— А что, вот если б так всё время, можно было б и развернуться.

— Посудомойку надо брать, — окоротила его Маша, — да и ещё одну смену, мы ж не железные.

— После Нового года всё оформим в лучшем виде. А завтра гостей ждём.

— Что, сам пожалеет? — Маша испытующе посмотрела на Петровича.

— Да. Колоня сказал, — задумался Петрович.

— Гляди, этот просто так не ходит, что-то, видать, нужно ему, да и людишек своих он не зря сюда направил, — Маша уже направилась к выходу, — поглядим, поглядим, что-то будет...

— Да что ты всё каркаешь? — крикнул ей вслед Петрович. — Ничего не будет!

В эту ночь Люба засыпала плохо. Сказывалась чрезмерная усталость, но особенно бередила душу бесконечная череда горьких мыслей. “Ну, почему так, почему?.. — вертелось в голове. — Одним всё на блюдецке: и квартиры, и деньги, и счастливая любовь, а другим — слёзы в подушку да работа до пота, а впереди — ничего. Ничего! И всем что-то от тебя нужно, и тётке Вале, и Петровичу, и Маше, и Жорикую, всем-всем, а эти “быки” так и лапают глазами, так и ждут, что ноги раздвину. Тошно... И все хотят денег, много денег. Можно подумать, мне деньги не нужны, может, ещё и Петровичу от чаевых “отстёгивать”? А харя не треснет?.. Не знает она, какой у меня навар, как же! А то нельзя посчитать, сколько эти пуздроны съедают, да сколько это стоит. То-то Жорик всё по столам зыркает, небось, прикидывает, на сколько заказы тянут. Эх, было б куда, сбежала бы...” И уже в полусне Любе как бы издалека слышались обрывки фраз: “Мужика тебе надо... Петрович — третий сорт... денег... много денег, чтоб не быть подстилкой... А почём сковородки?.. Мы тут не игрушками да трусами торгуем — собой торгуем... Молодость продай... продай молодость...”

В зале было пусто. Трое незнакомых посетителей что-то вяло обсуждали за одним из столов, нехотя потягивая пиво. Петрович за стойкой хотел казаться спокойным, но это ему мало удавалось. Костик со своим напарником, приглушив звук, подбирали какую-то мелодию, Люба от безделья тупо глядела в окно. Вообще, день был явно неудачным, в воздухе, казалось, растворилось напряжение, даже Маша пару раз выглядывала в зал. И вдруг дверь распахнулась. Люба от неожиданности вздрогнула. Петрович вышел из-за стойки с распротёртыми объятьями.

— О! Кто к нам пожаловал! Вазген, дарагой, а я уже и заждался. Вчера Колоня сказал, что ты зайдёшь, а тебя всё нет и нет. Я уж решил, что ты передумал.

— Решать буду я, а вот тебе придётся подумать, — то ли пошутил, то ли всерьёз сказал Вазген, раздеваясь.

Люба подошла к столу, за который сел Вазген.

— Что заказывать будете? Есть...

Петрович остановил Любу.

— Ты иди, я такого гостя сам обслужу.

Вазген подался вперёд, вцепившись злыми чёрными глазами в Любу.

— Любой зовут? Красивая, — желваки забугрились под седой щетиной на сморщенном лице Вазгена. — А ты, Петрович, не гони девочку, не гони! Или, думаешь, мне ты интереснее? Хотя интерес к тебе у меня имеется.

Петрович напрягся.

— Ну, так если разговор у тебя ко мне, тем более пусть идёт, — Петрович прикрыл собой Любу.

Жилистая рука Вазгена властно отстранила Петровича.

— Да нет, я ж говорю, пусть останется, она очень даже не помешает, вот увидишь. — Вазген не сводил с Любы глаз. — Мне деньги нужны. Все и завтра.

Петрович побагровел.

— Вазген, я же только открылся, какие деньги, ты обещал подождать!

— Долги надо отдавать, правильно я говорю, Люба?

Люба растерялась и не знала, что сказать.

— Вазген, ну, подожди хотя бы полгода, я же весь в долгах, ещё не заработали, я и придумать не могу, где такую сумму взять, и в долг никто не даст.

— Подождать, говоришь, — Вазген медленно обвёл взглядом стены зала.

— Да ты что, Вазген, — губы Петровича затряслись, — кафе — всё, что у меня есть...

Вазген приподнялся, взял Любу за руку и усадил к себе на колени.

— А что, Люба, не надоело тебе на этого толстого дядю работать, давай поедем в сауну, отдохнём, грехи смоем перед Новым годом, то да сё, глядишь, и пролетят полгода как один день, а?

Люба попыталась встать.

— Да ты не вырывайся, — Вазген сильнее обнял Любу, — я тебе рай не обещаю, но красиво жить будешь, а Петрович уже не возражает. Так, Петрович?

И тут в душе Любы что-то окончательно сломалось, и вспыхнула холодная злость на Петровича, на Машу, на Кольку, на весь белый свет.

— А я не вырываюсь, я хотела пойти одеться. Мы ведь прямо сейчас поедем?

— Прямо сейчас и поедем, — заулыбался Вазген, — а Петрович пусть пока думает.

ВАЛЕРИЙ ЧЕРКЕСОВ



ОПЯТЬ РАССВЕТ

ДЯДЯ ПЕТЯ. 1954

О, как хотелось прислониться
мне, безотцовщине! Хотя бы
к хромому дяде Пете. С фронта
пришёл таким. Он пил с утра
плодово-ягодное, морщась,
потом закуривал “Аврору”,
молчал задумчиво, а мне
протягивал кулёк конфет,
засахарившихся, в комок
пахучий слипшихся. Сидели
мы рядом, словно только что
вернулся он из-под Варшавы,
где орден получил, который
на благовещенском базаре
“махнул” на пару поллитровок
вина вонючего, как дым
пороховой...

ЧЕРКЕСОВ Валерий Николаевич родился в 1947 году в городе Благовещенске Амурской области. Более сорока пяти лет проработал в газетах Приамурья и Белгородчины, был собственным корреспондентом “Литературной газеты” по Центральному федеральному округу. Автор двадцати трёх книг поэзии, прозы, публицистики, произведений для детей, изданных в Москве, Белгороде, Благовещенске, Воронеже, Хабаровске. Лауреат Всероссийской литературно-театральной премии “Хрустальная роза Виктора Розова” и Международной литературной премии “Прохоровское поле”, дипломант IV Международного Славянского литературного форума “Золотой витязь”. Живёт в Белгороде.

УРАНОВЫЙ РУДНИК

Опять рассвет, похожий на порез,
по склону свет кровавый разливает,
как будто бы горит осенний лес.
Округа спит, вернее, досыпает.

Здесь в недрах мёрзлая земля хранит
руду — начинку бомб неумолимых.
Но и она покуда тоже спит
и не страшна для милых и любимых.

— Чтоб защищаться, надо, — нам твердят, —
взять у природы то, с чем непременно
страна сильнее станет...

Да, наверно...

Ну, а рассвет, похожий на закат,
пульсирует, как рана, алой пеной.

ФРОЛ

*С таким именем
великих поэтов не бывает.*

Из статьи

Если слава есть отравы,
то безвестность, что ли, мёд?..
В деревеньке захудалой
малахольный Фрол живёт.
Днём заботы по хозяйству:
куры, гуси, огород.
Вечерами — нет, не пьянство, —
вдохновения он ждёт.
Над тетрадкою склонившись,
рифмы подбирает он,
сна, спокойствия лишившись.
Да какой же к бесу сон,
если в “Знамени”, в районке,
напечатали стишок,
и сосед, как критик тонкий,
прогудел: “Ну, Фрол, ты — Блок!”
И не знает он, наивный,
хоть разбейся в доску тут,
что с таким крестьянским именем
стать великим не дадут.

НИКОЛАЙ ЛУТЮК



ГЛОТОК ВОДЫ

РАССКАЗ-БЫЛЬ

— Никита, вставай! Пора волов запрягать. Сегодня едем на дальнюю делянку докашивать рожь. Разбуди Наталью и прихвати завтрак. Санько правит косы, а ты разлѣживаешься. Подъѐм!

Никита, семнадцатилетний юноша с курчавой смолянистой копной волос, сквозь сон услышал голос отца, потянулся в постели, подтянул ноги, отвернулся к стенке и вновь тихо засопел.

Мама Юхимина Кондратьевна, копошившаяся у печи, услышав слова мужа, вздрогнула. Она знала крутой нрав своего Степана Лукича, который достался ему в наследство от его отца Луки по прозвищу “Ткач”.

Лука после смерти первой супруги в пятьдесят лет женился на местной красавице Марии, у которой была толстая, до колен, пшеничного цвета коса. Она родила ему двоих детей, но однажды, когда на одной из свадеб станцевала с чужим мужчиной, муж тут же достал из-за голенища острый нож и отрезал ей косу. Но не только этим прославился Лукич. Он на скаку запрыгивал на круп лошади, мог обернуться вокруг туловища скачущего в галопе скакуна, затеять драку на кулаках, ну, а во время сенокоса за ним никто не мог угнаться.

В Степана перешла отцовская удаль, а вот на женщин рука не поднималась. Он до самозабвения любил жену Юхиминку, как её ласково называл, и дочурку, красавицу Наталью. Вместе с тем супруга знала: распоряжений Степан не повторял никогда.

ЛУТЮК Николай Александрович родился в 1948 году. Полковник в отставке, отмечен правительственными наградами. Автор сборника рассказов о подвигах советских солдат в Великую Отечественную войну и в вооружённых конфликтах на территории других стран “Непобеждённые”. Член Союза писателей России. Живёт в Белгороде.

Мать подошла к своему любимцу, погладила его по чернявым кудряшкам, замиловалась красавцем сыном и сказала нараспев:

— Ни-ки-ту-ш-ка, сы-нок, под-ни-май-ся.

Подумала: совсем ещё мальчик, ручки тоненькие, а косу-литовку отец даёт ему, как и старшему двадцатидвухлетнему крепышу Александру, — “девоточку”. Вздохнула. Продолжила уже громче и твёрже:

— Там остался небольшой околочек, до вечера управитесь. Завтра воскресенье — отоспишься, отдохнёшь, наберёшься сил.

Юхимине было жалко сына, её Никитушку, который отличался прилежной учёбой в школе, красивым каллиграфическим почерком, острым умом, умением виртуозно управляться с ткацким станком, придумывая и осуществляя замысловатые узоры на самодельных коврах, освоил он и немецкую швейную машинку “Зингер”.

Никита шевельнулся, потом медленно поднялся, посмотрел на маму, которая уже более часа хлопотала у печи, подоила коров, коз, накормила и напоила животных. Спрыгнул с постели, хотел было поправить рядно, но услышал, как кто-то к дому подъехал. Послышался громкий злой голос:

— Хозяин! Эй, хозяин! Да уйми ты своих волкодавов! — Потом подъехавший густым баритоном обратился к отцу: — Тебе последнее предупреждение: или в коммуну, или на выселки. Жду решения до вечера. Иначе раскулачим. Где твой Никита? Чтобы к десяти часам был у меня.

Заржала прищипоренная верховая лошадь председателя коммуны, и представитель новой власти ускакал от хутора-усадыбы “ткачей”. В тот день семья на покос не выехала...

Никита, одетый в тёмные шерстяные, наглаженные мамой штаны и слепящую глаза белизной рубашку, расшитую сестрой Натальей, подпоясанный сырмятным, с тиснёными узорами ремнём, босиком, причёсанный, насколько позволяли кудри, робко постучал в дверь председателя коммуны.

— Кто там скребётся? Заходи!

Осторожно отворив дверь, подросток переступил порог.

— Это я пришёл, Никита, Ткач.

— Вижу. Проходи, садись. Да не менжуйся ты. Говорят, что ты самый образованный в округе?

— Я... Семь классов закончил с благодарностью.

— Ну вот. Как ты относишься к Советской власти?

— Я? Я поддерживаю. А что?

— Раз поддерживаешь, будешь у меня секретарём. Нам грамотный секретарь во как нужен! — председатель провёл рукой по горлу.

— Но я не знаю, что надо делать.

— Да, браток, и я толком не знаю. Будем вместе постигать, что и как. Учиться, то есть. В комнате рядом с моей есть стол, стул, бумага, чернила. Занимай. Обживайся. Правда, на это времени нет. Через десять минут выезжаем. Ты как, на крупной лошади без седла управишься? Да, задал вопрос... Аж самому смешно. Ты же ткач-лихач. Там ещё есть папка, кожаная, красивая, с гербом — экспроприировали у Рыхальских, она им, недорезанным буржуйам-полякам, уже не понадобится. Сложи в неё бумаги-то.

Только поздно вечером уставший Никита появился возле дома.

Степан Лукич кинулся было с плёткой к неразумному сыну, но тут же остановился.

— Откуда у тебя эта коммунарская кляча?

— Секретарём я теперь в коммуне, отец.

— Кем?

— Секретарём. Заместителем председателя.

— Ты почему не спросил разрешения у меня? Я сейчас задам тебе, сорванец! Отведи сейчас же эту клячу в коммуну, секретарь! В поле работать кто будет? Или будешь сидеть у меня и матери на шее?

— Отец, я уже работаю. Сегодня составлял списки на раскулачивание. Наша семья стоит в списке под номером три. Завтра придут из волости солдаты и чекисты. Я попросил нас не трогать. Пообещал, что завтра мы переберёмся с хутора в коммуну.

— Я те дам коммуны! Сожгу! Всё сожгу! Я своими мозолями это построил! Понимаешь?! Сво-и-ми и деда твоего! Не отдам!

Лукич громко выругался и, словно на плечи вдруг навалилась непомерная тяжесть, поплёлся в направлении амбаров, где хранились аккуратно сложенные для просушки и обмолота кули ячменя и ржи.

Лошадь, любимая Каштанка, услышав громкий голос хозяина, тихо заржала. Однако хозяин её не услышал. Как быть? Как дальше жить?..

Через день, разобрав пять добротных деревянных изб и десятков амбаров, многочисленное семейство Ткачей перебралось в коммуны.

Никита с раннего утра и до поздней ночи носился с председателем, учитывая хозяйство коммуны, записывая важные распоряжения начальника.

Шла вторая зима его трудовой деятельности на благо построения “светлого будущего”. Скот — лошадей, волов, коров коммуны — расположили в наспех сооружённом сарае. Сена и соломы заготовили в достатке. Однако зима оказалась со свирепыми морозами и метелями. Безумствовали недовольные Советской властью.

Однажды ночью бандиты зарезали сторожа-скотника, убрали солому из стойла, залили его водой и открыли настежь ворота. Доярки, пришедшие утром доить коров, увидели лежащих, примёрзших к земляному полу коров, коней, волов. Всею коммуной спасали скот, но ничего сделать не смогли. Животные умирали. Председатель решил: резать животину — будет хотя бы мясо.

Через два дня метель утихла, и председатель выехал в волость доложить о происшествии руководству. В село прибыли чекисты разобраться со случившимся горем. А спустя два дня председатель и молодой секретарь коммуны “за саботаж” были арестованы и отправлены в губернскую тюрьму.

Отбывая срок, Никита проявил умение пользоваться иголкой и нитками. Чинил товарищам тюремные робы, а когда о его умениях узнал начальник тюрьмы, Никите была выделена комната и швейная машинка. Он шил одежду начальнику и охранникам, а однажды — платье жене начальника. Если поначалу срока дни тянулись долго, а ночи были короткими, то теперь наоборот: дни стали короткими, а ночи длинными.

Как-то в тюрьму поступили два автомобиля, легковой и грузовой, к ним был приставлен водитель. Никита упросил начальника стать помощником водителя, так освоил азы управления и ремонта авто. А вскоре сам управлял легковушкой, развозя начальника тюрьмы и его супругу по магазинам.

Грохот разрывов снарядов и бомб приближающейся войны доносился через открытые окна, а спустя несколько дней немецкие войска вошли в город. Эвакуировать заключённых не успели, охранники разбежались. Взрыв снаряда разрушил угол одного из помещений тюрьмы, и заключённые оказались на свободе. Среди них был и Никита.

Вначале было желание бежать домой, а там... Но победила мысль, что его место — в рядах защитников Отечества.

Никита с товарищем по заключению Владимиром Полищуком прибились к отступающей части. После краткой беседы им выдали оружие и зачислили рядовыми бойцами. В одном из боёв Владимир был тяжело ранен и скончался на руках друга. Никита вытащил мёртвого товарища из-под огня и передал местным жителям, поклявшись, что после победы найдёт его могилку и установит на ней памятник.

Однажды во время отступления был обстрелян автомобиль, перевозивший боеприпасы. Погиб водитель. Выстроили подразделение. Командир спросил:

— Кто умеет водить автомобиль?

Никита посмотрел направо, налево — тишина. Несмело произнёс:

— Я до войны управлял автомобилем, но документа нет.

— Выходи, солдат. Иди, принимай машину. А с документом после войны разберёмся.

С того времени Никита не расставался с “баранкой”. Менялись автомобили, он всё возил и возил грузы фронтовыми дорогами. Потом было тяжёлое ранение, госпиталь под Ленинградом. Вылечившись, он вернулся в строй, возил грузы по “Дороге жизни” — ледовой переправе через Ладожское озеро —

в блокадный город. Мороз, взрывы, польны. Страшно было не за себя, а за товарищей, которые с машинами уходили под лёд. Больно было видеть разорванные, замёрзшие тела на льду, смотреть на истощённых голодом детей, женщин, стариков.

Сколько совершил рейсов через Ладогу — не помнит. Дважды был легко ранен. Один из его автомобилей ушёл под лёд, в образовавшуюся после взрыва польню. Обморозил руки и ноги.

После прорыва блокады Никиту как опытного водителя присмотрел командир батальона. Получив новенький американский “Виллис”, так и доехал на нём дорогами войны до победы Никита Степанович — вначале рядовой, а потом сержант. Медали “За отвагу”, “Боевые заслуги” и другие украшали грудь фронтовика.

После войны сержант возвратился в родную деревню. Работал водителем, затем его назначили секретарём сельсовета. Трудился он честно и добросовестно. Кипы документов, исписанные его аккуратным каллиграфическим почерком, пылятся и ныне в архивах.

Пройдёт время, и Никита съездит на место боя, где погиб его товарищ — Владимир Полищук, разыщет родственников и вместе они установят на могилке памятник.

Выйдя на пенсию, Никита Степанович засел за любимую работу — портного. Много сельчан щеголяли в костюмах, сшитых умелыми руками фронтовика. С состоятельных граждан он брал деньги, а для бедных шил бесплатно, особенно платья и костюмы для выпускников.

Построил добротный дом, вырастил сад, воспитал троих прекрасных детей. Его любили и уважали все сельчане. Стяпаньчу, как называли его, было о чём поговорить со стариками и сверстниками, особенно он любил детей, и те его — взаимно.

Однако старые раны и болезни подкосили здоровье фронтовика. Свой семьдесят второй день рождения он встретил на больничной койке. За несколько дней до этого ему было очень плохо. Врачи боролись за его жизнь, а Никита Степанович шутил:

— Что вы суетитесь? Нынче костлявая приходила и приглашала в дальний путь. Усмехнулся я ей в ответ. Говорю ей: “Рано ты пришла, голубка”. Она в ответ: “Вижу: ты добрый человек. Ладно, живи”. Затем прижала косяк к себе и затарахтела костями прочь. Так что ещё поживём!..

В день Победы в больницу заехал проведать любимого дядю племянник Пётр, сын сестры Марии. При его появлении Стяпаньч повеселел.

— Петя, я так хочу испить водицы из моего колодца. Помню, на Ладоге, после очередного рейса в Ленинград, мы стояли под загрузкой. Выдалась свободная минута, и я решил написать родным письмо. Присел, опершись о колесо автомобиля спиной, огрызком карандаша стал писать. Вспомнил родной хутор, маму, отца, брата, сестёр, наш двор — и так захотелось испить домашней чистой колодезной холодной водички. Взгрустнул было, а тут команда: “По машинам!” И вскоре мы снова вели машины по льду...

Никита Степанович передохнул и тихо повторил:

— Петя, привези мне воды из моего колодца, хочу хоть глоток испить студёной, родной.

— Хорошо, дядя.

Племянник съездил и привёз пол-литровую бутылку холодной водицы из колодца, когда-то вырытого Никитой Степановичем.

— Дядя Никита, вот водичка... Сам доставал. Ворот скрипел, так я со лйдолом смазал. Вот она, холодненькая.

— Спасибо, Петя! Налей мне в стакан и поставь на тумбочку.

Племянник выполнил просьбу и, прощаясь, сказал:

— До свидания, дядя! Выздоровляйтесь.

Когда Пётр ушёл, Никита Степанович отпил несколько глотков, стакан поставил на тумбочку, повернулся лицом к стене и притих.

Вскоре в палату зашла молодая, рыжеволосая, с искрящимися глазами из-под длинных пушистых ресниц, в коротеньком белоснежном халате медсестра. Улыбнувшись, ангельским голоском пропела:

— Дед Ни-ки-та, по-во-ра-чи-ва-ем-ся, ручку подаём. Ваша “чаровница” со шприцом пришла.

В ответ молчание. Раньше, когда приходила “рыжая чаровница”, он говорил ей комплименты, отпускал шутки, а теперь...

— Никита Степанович, чо молчим?! Или напраздновались с племянничком?!

А когда медсестра приблизилась к лежащему, то вскрикнула:

— Он... он... Простите меня, Никита Степанович!

Повернувшись к больным, медсестра сквозь всхлипывания закричала:

— Боже! Дедушка! Да как же так? — и заплакала навзрыд.

А в это время фронтовик уже преодолел дорогу в другой мир.

.....

*Поздравляем Николая Александровича с юбилеем!
Желаем доброго здравия и новых вдохновенных книг.*

ВЛАДИМИР САЛАМАХА



ЕСЛИ УПАДЕТ ОДИН...

ПОВЕСТЬ

1

...Иосиф, с огромными трудностями перейдя болото, отделяющее хутор от шоссе, а точнее, от внешнего мира, окончательно выбившись из сил, еле выбрался на твёрдое и словно подкошенный упал на тропку между крыльцом дома и двумя берёзами. Дышал он глубоко и тяжело. Сердце стучало так часто, что казалось, ещё мгновение — выскочит из груди. В висках кололо, в голове стоял какой-то зловещий звон. Глаза жгло, они слипались, и только большими усилиями воли удавалось открывать их.

Он долго лежал на холодной земле, уже вобравшей в себя влагу первых осенних дождей и сырость утренних туманов. Лежал неподвижно, будто прислушиваясь к самому себе, будто приглядываясь со стороны — живой ли... Конечно, живой, коль так сильно клоочет в груди, коль болит, коль режет глаза. И когда открывал их, прежде всего видел две высокие берёзы шагах в двадцати от себя, а потом уже лес, окружающий хутор, серый и унылый. Берёзы медленно качали длинными желтыми косами. Казалось, качаясь, косы касались высокой пожухлой травы, то приоткрывая почти до половины серый бугорок под деревьями, то закрывая его. А через некоторое время, кое-как успокоившись, Иосиф попытался подняться, попробовал оттолкнуться от земли, но руки в локтях будто надломились — рухнул на тропку, прохрипел:

САЛАМАХА Владимир Петрович родился в 1949 году в деревне Бересневка Кировского района Могилевской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Прозаик, критик, публицист, эссеист, лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Живет в Минске.

* Журнальный вариант третьей повести трилогии "...И нет пути чужого".

“Боже... Что же мне делать...” Конечно, ни от кого он не ждал ответа, и через минуту отчаянно вымолвил, обращаясь к самому себе: “А надо ли что-то делать?.. В Гуду идти?.. Нет!”

А в это время на окраине Гуды возле дамбы собрались Михей, Николай, Игнатий и Надя Соперские, их дочь Света, а также Катя с сыночком Петриком. Собрались, чтобы проводить в дорогу Ефима и Валика. Миней, Николай и Игнатий держались спокойно, будто не знали, что предстоящее далёкое плавание по реке будет не простым, будто не знали, что Ефим только что оправился от болезни, а у Валика для такого путешествия опыта мало. И женщины скрывали волнение, особенно Надя, мать Валика. Она, отведя сына в сторонку, искоса поглядывая на мужа, казавшегося совершенно спокойным, говорила: “Валик, ты уже взрослый, за дедом смотри. За старым, как за малым, глаз да глаз нужен”. Валик молча кивал головой, дескать, понимаю, не волнуйся, мама... А Катя, подойдя к старику, стоящему на мостку, к которому была привязана лодка, словно пригрозила ему:

— Дядь Ефим, посмейте только пришлыть без Иосифа! Скажи ему, мы все его ждём. Скажи, что есть где ему жить, вон, в общежитии лесоучастка свободных мест полно.

— У меня поживёт, пока новый дом поставим ему, — сказал Ефим. — Захочет — на месте его дома, фундамент же из камня, прочный, не сторел, и паводок его не разрушил, да и подновить можно. А не захочет там, так где сам решит, там и поставим — у реки, у бора...

Старик уверенно прошёл по качающемуся мостку к лодке, посмотрел на неё, чтобы в который раз убедиться, надёжна ли. Конечно, надёжная, сам каждую весну дно просматривал, обстукивал борта, заглядывал в уключины, чтобы всё было, как надо. Остался доволен — дно было сухое, рюкзаки с едой и тёплой одеждой не подмокнут. Лодка вместительная, с широким дном, высокими бортами — добротная, известно, для себя делал Иосиф, а лодки мастерить он умел, как никто в Гуде.

Мужчины Ефиму никаких советов не давали — лишнее, старик лучше них знает дорогу в Кошару, да и как держаться на воде, не надо его учить. И не учили. И никто не пытался, как вчера, отговаривать его от намерения отправиться в дорогу, знали: если Ефим Михайлович на что-то решился — сделает. Знали также, что всё до мелочей продумал старик, он жизнью изрядно потёрт.

И это так: решил — делает, никто и ничто его не остановит. И жизнь потёрла его, как никого из односельчан. Вчера, пока Ефим от шоссе в деревню вёз в телеге женщин с детьми, он много думал о том, что было в его жизни, что есть и будет. В пути думается хорошо. Особенно когда не торопишься, когда лошадь сама спокойно идёт по знакомой дороге, направляясь туда, где её ждёт хорошая охапка сена, а то и полведра овса. И Буланчик шёл мерно, хотя Петрик время от времени дёргал вожжи, подгонял его.

Многое вспомнил Ефим того, что касалось жизни своего бывшего друга Иосифа Кучинского. Вспомнил, будто со стороны посмотрел и на своё, и на его. Посмотрел и на то, где пересекалось своё и чужое, да как... Всё там было: и хорошее, и не очень, и совсем плохое. И у Ефима, и у Иосифа, и там, где пересекалось. Вспомнил, как, познакомившись, когда Ефим пришёл в Гуду, быстро сдружились... Вспомнил, как, потом рядом жили в деревне, как работали, как вместе людям избы ставили, как детей растили... Вспомнил и о том, как война развела их по разным сторонам... Вспомнил и паводок после того, как взорвалась дамба, и сжалось сердце, словно в него шило воткнули — исчез тогда Иосиф бесследно, а виноват в этом он, Ефим... Семь лет о нём ничего не было слышно, и вот, наконец, — жив!.. Так Катя говорит. А вдруг она ошиблась?.. Вдруг она Антона приняла за Иосифа — старые люди чем-то похожи. Тогда нет того на свете. А если так, на нём, на Ефиме, смертный грех. И будет лежать на душе, пока по земле ходит Ефим, а может, и там, на том свете не даст ему упокоения.

Как только ни укорял себя Ефим в мыслях за то, что случилось между ним и Иосифом, когда тот той страшной ночью пришлыл к ним на пригорок, а облегчения нет. Укоряй себя не укоряй, кайся не кайся, а то, что по твоей

вине свершилось, этим не исправишь. Ишь, бес в душе у Ефима сидел. Увидел Иосифа, когда подплывал тот к пригорку, ещё издали, из крошечной тьмы хрипел, людей звал, Ефима, да всех, кто тогда от паводка там спасался, и будто кто указал Ефиму: “Тони его! И он, он виноват во всём, что случилось в Гуде в войну”.

Еле сдерживал тогда себя Ефим, открыто не гнал. Не кричал. Не показывал того, что было на душе. Но говорил с Иосифом враждебно, с едкой насмешкой: ничтожество... Говорил и понимал, что слова его больно били Иосифа, проникали в сердце, да так, что, наверное, не в состоянии ему было всё это слышать, нельзя было там оставаться — ушёл... Страшно всё это. И сейчас, раздумывая о том, как будет плыть в Кошару, сможет ли перейти болото (может быть, тот, кто живёт на хуторе, перебросил в другое место плашки), что скажет Иосифу, коли это он там, Ефим еле сдерживал себя, чтобы вслух не молвить: “Что же я сотворил тогда, старый дурак...”

А вчера, когда ехали на телеге от шоссе в Гуду, вспоминая, как и в молодые годы, да и позже, видя немало горестного, а то и совсем плохого в жизни Иосифа, зная, что тому нужна его помощь, будто ничего не замечая, проходил мимо. Стеснялся, не хотел вмешиваться в чужую жизнь? Как сказать... Вспоминал, что и до войны, и в войну, когда сын Иосифа Стас служил в полиции, односельчане не сторонились Кучинского, понимая, что тот в этом не виноват, а женщины даже сочувствовали ему. Впрочем, помнится, до войны, когда ещё была жива Мария, жена Иосифа, люди не просто сочувствовали ему, жалели его: хороший человек, а баба вьёт из него верёвки, брезгует им, и он всё переносит молча.

Также вспоминал тогда и слова участкового Савелия Космановича, сказанные вскоре после того, как исчез Иосиф, что власть считает его не виноватым за действия сына-полицая. Получается, власть за Иосифа, а ты против него... Если так, то кто ты такой, Ефим Боровец, против власти?..

Понимает Ефим, что перед людьми Иосиф ни в чём не виноват. И перед ним лично — также. А вот он, Ефим, во многом чувствует свою вину перед бывшим другом. И не надо считать себя едва ли не святым, а ко всему ещё и выносить Иосифу свой личный приговор.

Есть у Ефима вина перед Иосифом, есть, и особенная. Она, будто приклеенная, тянется за ним ещё из их далёкой молодости. Столько лет прошло, давно пора позабыть бы, но нет, случается, душу так всколыхнёт, что хочется закричать, да так, чтобы мир содрогнулся: “Почему же ты тогда друга одного в беде бросил, Ефим?! Как же это могло случиться? Ведь ты сам столько горя хлебнул, знаешь, что почём. Тебя же малого, сироту, чужие люди подобрали и спасли от голодной смерти, и как бы им самим ни было тяжело, в беде не бросили, вырастили, в жизнь пустили... Эх, Ефим, Ефим...”

Ну что ж, со стороны легче на себя смотреть, со стороны и осуждать себя легче...

Думал так старик и еле сдержался, чтобы не закричать, но уже сам себе, своим голосом: “Какой же мне позор!..” А как ещё назвать то, что было? Не поддержал Ефим Иосифа, когда бабы оклеветали его девушку, когда своими языками клеймо на ней выггли: “Блудница!.. Днём при всех голышом к жеребцу сама явилась...”

Видел Ефим, как Иосиф страдает, как ходит, словно неприкаемый. Но не подошёл к нему, не утешил, даже руки на плечо не положил. А почему?.. А вот этого он и сам толком не знает. Может, потому, что не нравилась Ефиму Теклюшка. Как увидит девушку, так и чувствует, что душа его отталкивает её от себя: случается такое меж людьми... Не понимал Ефим, как Иосиф её может любить.

Ладно, пусть не утешил Иосифа, не поддержал в трудную минуту, это ещё ничего. Иное хуже: сказал же Иосиф ему, что пойдёт повидать Теклюшку, когда Авдей повезёт её венчаться. Знал Ефим, опасное, непростое дело и для себя, и для неё затеял Иосиф, но не пошёл с ним... Боялся, что побьют Авдеевы прихлебатели? Нет, не боялся, но и теперь нет у Ефима ответа, почему не пошёл с Иосифом.

А тот один пошёл. Вне себя был, словно чумной. И девушку не вернул, и Авдеевы дружки измолотили его, как сноп, долго Иосиф кровью харкал. Так какая после это могла быть дружба между ним и Ефимом?..

Удивительно, что после этого Иосиф вообще не отвернулся от Ефима. Если бы такое стряслось с ним, Ефимом, он ни за что не простил бы Иосифу. Удивительно, что после этого они какое-то время всё ещё держались друг друга, хотя прежней искренности и открытости между ними уже не было, и постепенно дружба угасала, пока совсем не угасла.

Окончательно их развела по разные стороны война. Она будто провела между ними борозду, да такую глубокую и широкую, что через неё не перебежать, не протянуть друг другу руку...

А что оболгали, оклеветали бабы Теклю, девушку Иосифа, Ефим позже узнал. Услышал однажды, как Авдей Юхновец, уже прожив с Теклей несколько лет, на какой-то гулянке в Забродье пьяный хвастался парням, дескать, я и сейчас могу любую девку так приручить, что косы её буду накручивать себе на руку, а она даже и не пикнет...

Больно кольнуло тогда Ефима: это что ещё за “прирученье” такое? И что значит — любую?.. И его Марфушку Авдей мог бы так одурманить, если бы встретил раньше, чем Ефим? Однако ж...

Глянул на Авдея, на парней — стояли у плетня, курили: тот — красивый, уверенный в себе, слова нехорошие, словно шелуху, в лица им бросает, а те, лоботрясы, ржут, как жеребцы: “Научи!”

“Научи, — скалился Авдей. — Задаром? Задаром и чирей на задницу не сядет... Одно могу сказать, секрет отвара знаю, дорого он стоит, а вы — научи!.. Дай ей выпить того отвара — одуреет, и веди её, как овцу, куда хочешь. А вы здесь топчетесь, на девок пялитесь — и никакого из вас толка! Женихи...”

На улице это было, возле дома, в котором гуляли. На все лады заливалась, захлёбываясь гармошка, кто-то оглушительно колотил в бубен, женщины сыпали припевками, колкими, высмеивали незадачливых кавалеров, которые боятся подойти к девочкам...

Ефим Авдея давно знал, не любил: кривляется, задаётся, дескать, кто вы передо мной, голь этакая... На вечеринках всегда первый, и когда парнем был, и сейчас, женатый. Поговаривали, что и теперь дома жёнушку взаперти держит, а девчат, которые у него работают, втихаря таскает в гумно и в стога... И вообще говорили, что немало девичьих слёз пролил, и всё ему, как с гуся вода...

Говорили, возмущались, но не трогали Авдея, боялись его, но и шли к нему хоть что-нибудь заработать — где ты в деревне найдёшь копейку, как не у Юхновца?

Понял тогда Ефим, что по злому умыслу обесчестил Авдей Теклюшку, чем-то опоил её, вне себя она была, когда бабы их в снопах застали. Знал, Авдей давно к ней присматривался: красивая, трудолюбивая — такая нужна в хозяйстве. А что ершистая, так с бабьей ершистостью, коль совести у мужика нет, да рука крепкая, он вмиг справится... Старые женщины, случалось, поучали кого из парней, кто долго не женился, дескать, возьми эту или ту. Перезрела, лицом не пригожа? Ничего, зато какова работница в хозяйстве будет. А с лица воды не пить, и хозяйство будет ухоженно, и никакой Авдей не сведёт.

Глянул тогда Ефим на Авдея, внутри всё будто взорвалось, закипело, хотел закричать: “Ах ты, погань несуразная!” — да наброситься на него... Но не закричал, не набросился. “Скажут, обезумел Ефим Бороец, на людей ни за что ни про что бросается”.

Понял Ефим, что случилось тогда с Теклей, когда бабы застали её с Авдеем в снопах, но Иосифу об этом не сказал. И теперь не знает почему... Хотя, может, уже тогда стыд сжигал его, Ефима. Ещё бы: Иосиф побегал перегордить лошадям дорогу, когда Авдей вёз Теклюшку под венец, чтобы в последний раз повидать её незамужнюю, а может быть, и воротить к себе, так Ефим не поспешил с другом. Нет... А сейчас пришёл, чтобы сказать, что оговорили её? Поздно...

И Марфе своей об этом долго не говорил, носил в душе стыд, и тот стыд, казалось, обжигал её, словно раскалённый камень. А Марфушка, наверное, догадывалась, что нет уже прежней дружбы между Ефимом и Иосифом, но ни о чём не спрашивала.

Уже после того, как раскулачили Авдея и сослали вместе с Теклей (тогда никто не знал, куда), как-то обмолвился Ефим: “Камень у меня, Марфушка, на душе... Давит, нет мочи терпеть”.

Выслушала тогда его жена, долго молчала. Затем, собравшись с мыслями, молвила: “А что бы ты тогда изменил в судьбе Иосифа и Текли? Ну, рассказал бы Иосифу, как всё было, так что, он бросился бы к Авдею да Теклю забрал? Так она уже перед Богом была Авдеевой женой”.

Действительно, ворвался бы Иосиф в чужую семью, порушил её, что здесь хорошего... И люди смеялись бы. А не сказал, так может, и лучше...

Рассуждал тогда Ефим и так: и Иосиф уже давно семейный человек, хоть и лада в его семье нет, а всё-таки живут... Зачем, чтобы Иосифу и Марии было ещё хуже...

Две семьи мог бы порушить тогда Ефим. Правда, у Авдея с Теклей детишек не было. А у Иосифа и Марии — сынишка. Его или не его — Ефиму до этого нет дела. Бабы сплетничали, что Иосиф брал Марию брюхатой. Говорили, она на него чужое повесила — парень у Марии до Иосифа был, крепко любились...

Ах, бабы, бабы... Давно уже у вас всё женское угасло, а вам всё не терпится кого-то из молодых оговорить, хоть в мыслях, а возле чужой кровати постоять. Был ли или не был у Марии парень, какое ваше дело?.. Не слепой же Иосиф брал её. Дитя принял и растил, как отец. Вот только беда, вырастил такого супостата, которого здешняя земля ещё не видела: своих в войну истреблял...

Знал Ефим, видел, как тяжело жилось Иосифу. Сочувствовал ему, но слова в поддержку никогда не сказал, боялся, что обидится тот, возмутится: “Чего ты меня жалеешь?.. Мой крест, мне его и нести...”

Не любил Иосиф говорить о том, что и как в его семье. Но если подумать, так всё же надо было обо всём рассказать Иосифу: и об Авдеевом отваре, и о том, почему он, Ефим, не пошёл тогда с Иосифом, и о том, что вину свою чувствует перед бывшим другом, вот только мальчонку не надо было бы трогать...

Старые они уже, Ефим и Иосиф. Много пережил каждый из них. И вместе, и порознь. Ефиму почему-то иногда тяжело выговорить имя бывшего друга так, как когда-то выговаривал в молодые годы на городской манер: Иосиф. Ещё бы, из города пришёл в Гуду Ефим, молодой был, с ветерком в голове, куражась перед деревенскими, “перекрестил” Осипа на свой аршин. Всех научил, скоро привыкли сельчане: какой Осип? Иосиф!.. Только Теклюшка его по-прежнему Осипом звала. Ефим посмеивался: “Ты будто старуха какая. Так только старухи стариков зовут. Теперь молодые в роде на парня с таким именем скажут Иосиф. И не стыдно тебе?”

Отвечала, как по лицу хлестала: “Ай, какой умник отыскался!.. А я деревенская, какой была, такая и есть! И не чета тебе, чтобы слушаться. Старуху нашёл!.. Как надо, так и называю: Осип! И ты мне не указ!”

Не нравилось это Ефиму: коза! Рожки ей обломать бы! Ещё бы — с ним бодаться вздумала. Да кто ты такая?! Что в жизни дальше своего носа видела?

Иосиф на это ихнее “в рожки” не обращал внимания: пусть... Ефиму он — Иосиф, ей — Осип. Хоть горшком назови, только в печь не ставь...

Теперь даже в мыслях — Осип. Хотя говорит Иосиф — с человеком с таким именем всё обидное у Ефима связано. А когда встретятся, назовёт его Осипом. Этим самым разрушит стену между ними, подальше отбросит всё плохое, что разъединяет их. А потом Ефим много чего своего горестного поведает ему, чтобы понял Иосиф, почему тогда на пригорке он был с ним таким жестоким. А там будет видно: поймут ли друг друга да простят ли один одному взаимные обиды... И если даже не простят, не поймут, Ефиму,

наверное, всё равно станет легче: живой Иосиф, а чего больше надо? Хотя всё-таки Ефим иногда сомневается: Иосиф ли живёт на хуторе...

Хотелось, чтобы в Кошаре были Иосиф и Антон. Вдвоём. Да вместе. А что, может случиться и такое. Человеческие судьбы иной раз так переплетаются, что и вообразить невозможно. Пересекаются, соединяются, переплетаются на земле дороги, впрочем, как и всё в этой жизни, и от этого никуда не деться.

Женщины говорят, что на хуторе живёт кто-то один. Называет себя Антоном. Шофёр, подвозивший их из города, так сказывал. А шофёр давно знаком с обитателем Кошари. Антон человек хороший. Во всяком случае, таким его когда-то звал Ефим: в молодости работал у того на хуторе. Не долго работал, а хорошо познал человека, случается так... И после, когда время от времени проводывал того, убеждался, что такие, как Антон, дружбой дорожат.

Но если бы Ефиму сказали: “Выбирай, Антон или Иосиф”, — сейчас он выбрал бы Иосифа. И здесь нет ничего удивительного: у Антона была большая семья. А с семьёй, если в ней лад, нигде не пропадёшь. А Иосиф один, как горькая полевая былинка. Говорил же шофёр женщинам, будто у того человека, который живёт в Кошаре, была хозяйка, но умерла... А почему у Иосифа не могло быть хозяйки? Вон сколько повсюду после войны осталось одиноких горестных женщин, нуждающихся в утешении, сочувствии, мужском тепле. Может быть, нашёл где такую же несчастную, как сам, и жили. Вместе легче, чем одному...

Нет, нельзя Ефиму спокойно ходить по земле и неизвестно что думать. Он немедленно должен узнать, кто живёт в Кошаре. А то, что женщины говорят, дескать, не пустят одного в такую дорогу, так он и спрашивать ни у кого не будет. Это уж очень личное. И хотя давно уже Ефим, Михай, Николай, Игнатий со своей Надей и детьми, и Катя с сыночком живут одной семьёй, всё равно есть у него на душе нечто такое, о чём никому не скажешь. Пусть живут спокойно, и так пострадались...

И вот провозаают в дорогу... Вчера в Гуду приехали ещё засветло. Дорога привела лошадь на улицу, прямую и широкую, а по ней — к новому небольшому строению конторы лесозащиты (его после войны создали в Гуде). Таким временем здесь, как обычно после работы, собирались мужчины — лучшего места, чтобы поговорить, не найти. Тут же — руководство: начальник лесозащиты — бывший фронтовик, и не из рядовых, а подполковник в отставке Ерофей Костров. Человек уважаемый, прислали из города, награды китель оттягивают...

И те мужчины, которые были здесь, также воевали. Почти все Европу прошли, а Игнатий Соперский даже японца видел, окончил войну, как говорил, на Дальнем Востоке.

Вальщики леса, сучкорубы, шофёры лесовозов — все они по фронтовой привычке держались вместе, и после работы не спешили расходиться, пока не было переговорено о том, что сделано сегодня, что надо будет сделать завтра.

Сейчас Гуду населяют больше приезжие из мест, о которых здесь и слышали, и не слышали, были семейные и одинокие, мужчины и женщины. Люди сблизилась быстро — не было человека, который не изведал бы горе, а оно объединяет.

Были здесь и Игнатий с сыном Валиком. Были и Николай с Михеем. Буланчика они заметили ещё тогда, когда конь только показался из бора и начал спускаться по дороге к деревне. Первым телегу заметил Игнатий, сказал:

— Наконец-то едут! Я уже думал, что придётся отправляться на поиски.

— Да брось ты, Игнатий, — молвил Костров. — Какие поиски? Машины по шоссе туда-сюда ходят, кого-кого, а женщин с ребятишками никто не преминет.

Костров приехал сюда летом сорок пятого. К тому времени вода, затопившая Гуду после того, как взорвалась дамба, скатилась в русло реки. Поглядывая на Дубосну, сверкающую на солнце синевой и серебром, молвил: “Хорошее место. Здесь и жить хорошо, и работать”. Тогда и начали строить в Гуде лесозащитку, который и возглавил Костров. Конечно же, место для такого предприятия удобное — справа сразу за деревней начинаются леса,

огibaющие её дугой. Они подходят к шоссе и, перешагнув его, тянутся на многие километры, заходят в другой район, а через него — ещё дальше, неизвестно куда. И вдоль реки за дамбой (восстановили её военные) им нет ни конца, ни края.

Вывозить древесину было удобно — через мост на Забродье, а оттуда по дороге — в город, но не в свой райцентр, в другой — там лесокомбинат. Ждали, когда построят такое же предприятие в своём райцентре, тогда туда на лесовозах можно будет ездить хоть каждый день, теперь же — пока неудобно, приходится идти к шоссе и ждать попутку.

Возле конторы Ефим остановил Буланчика. И хотя конь шёл не спеша, старик, еле сдерживаясь, крикнул: “Да стой ты!” Вожжи у Петрика не забрал, торопливо спустился с телеги, тяжело поковылял к мужчинам, сказал:

— Здорово, кого не видел!

— Здорово, Ефим Михалыч, — ответил за всех Костров. — Задерживаешься, твои уже волнуются, — и, обращаясь к женщинам, будто укори: — Что же вы...

— Ну да, — то ли подтвердил его слова, то ли спросил Игнатий, глядя на телегу, на которой всё ещё сидели его Надежда и дочь, и Катерина с сыном.

— Вот тебе и “ну да!..” — возмутилась Надя, легко прыгнула с телеги и, направляясь к мужу, крикнула: — Катя дядю Иосифа видела!

— Кучинского? — удивился Михай.

— А кого же ещё!

Какая здесь связь с тем, что задержались женщины, никто, кроме гуднянцев, не понимал. Да, была война... Страшная беда постигла Гуду. Немцы сожгли её. Почти все жители деревни, за исключением Ефима, Надежды и её детишек Валика и Светки (так те в тот страшный день в лесу были, потому и выжили), погибли... Правда, выжил и некто Иосиф Кучинский, так он же — отец полицая. А после войны многие не вернулись в Гуду — в память о них и в память о заживо сожжённых — обелиск среди деревни, это приезжие знали. Но не знали, кто такой Кучинский, и почему женщины, как только приехали, начали с него.

— Неужели Иосиф задержал? — спросил Михай. — Где он? Что с ним? Пусть бы приехал. Что, в городе прижился?..

— Да нет, не задержал, — сказала Катя. — Не знаю, прижился ли, но меня не признал. Даже разговаривать со мной не стал. Но чувствует моё сердце — он был на базаре! Там его видела, стоял с протянутой рукой.

— Знать, ошиблась, — возразил Николай. — Если бы он, как это не признал бы?

— Он, он, — сказал Ефим, возвращаясь к телеге и снимая с неё Петрика. — Больше некому. В Кошаре живёт. Иосиф знает туда дорогу, как-то ещё до войны открыл я ему её тайну. Трясина, болота там непроходимые. Правда, ещё один человек её знает, тот, кто проложил её, хозяин хутора, мой давнишний друг Антон. Но его оттуда выслали, раскулачив, ещё в тридцать седьмом. Только уже тогда Антон старше меня теперешнего был. Ну, может, и не старше, а такой же. Так сколько ему сейчас должно быть? Вряд ли он, пока не слышно, чтобы кто из ссылки вернулся — многих из Забродья выслали, из других деревень. Это нас в Гуде никого не тронули, не было у нас ни крепких хозяев, ни середняков — на бедной земле не разбогатеешь ни на своей мозоли, ни на чужой...

А Антон... Вот и думай, мог ли он сейчас ходить через болото, да еще в город навещать? Ему же, поди, под девяносто годков должно быть. Конечно, нет. Значит, Иосиф. Хотя завтра-послезавтра будет известно.

— Иосиф, говоришь, дядь Ефим. Говоришь, завтра будет известно. Он что, сюда придёт? — хмыкнул Михай.

— Брось! — возразил Ефим. — Сюда придёт... Тебе что?.. Тебе, поди, так как мне, не больно и не обидно и за себя, и за него. Вы с Николаем в сарае были, когда я его той ночью с пригорка в воду столкнул. Позабыл, как было?

— Так уж и столкнул! — смутился Михай. — Не позабыл. Помню. Это я шутя. Ты же его в грудь не толкал.

— Иной раз и словом не то, что столкнуть, пришибить можно. Шутя, говоришь... Так думай, когда, как и с кем шутить. Да над кем: не собака же Иосиф. Только сюда он сам не придёт. Я его знаю... Слыхал же, что Катя говорит: не признался, ушёл. Думаю, не зря, Михеюшка. А ты едва ли не "гы-гы". Я сам всё узнаю.

— Это как это? — спросил Михей.

Ефим молчал, будто не слышал, повернулся, подошёл к телеге, взял Петрика, поставил на землю. Мальчик смахнул сено со штанишек, побежал к Валику. Тот подхватил его на руки, подбросил, поймал, поставил рядом с собой на землю, не выпуская из своей большой руки маленькую ручку. Затем, показав на коня, что-то сказал мальчишке, должно быть, восхищаясь, как тот управлял Буланчиком.

Мужчины молчали, ждали, что будет дальше.

Старик протянул руку Светке, она всё ещё сидела на телеге, будто ждала приглашения.

— Давай и ты, внученька.

Светка легонько прыгнула на землю, чмокнула Ефима в небритую щеку:

— Ой, дедуля, ты всё со мной, как с маленькой.

— Ну, ну, коза, — растаял и еле заметно улыбнулся Ефим. Его седые усы сломались: — Ты и замуж пойдёшь, а всё равно останешься для меня маленькой...

На этот разговор мужчины внимания не обращали, их, приезжих, интересовало, кто таков Иосиф и что с ним...

— Николай, Михей, — сказала Надя, обращаясь к своим, гуднянцам, — дядь Ефим собирается плыть в Кошару. А это же — край света!

— Край, не край, а что он там забыл? — спросил Николай.

— А ты будто не понял, — раздражённо сказала Надя.

— Ты это брось, Ефим Михайлович! — сказал Николай. — Не юноша. В такую дорогу — сила нужна. Нет, мы тебя одного не пустим. Может, позже туда сплаваем. Или я, или Михей на весла сядем. А сейчас некогда, начальство завтра из леспромхоза приезжает, какую-то шишку из министерства привозит, собрание будет, то-сё... Словом, надо подождать.

— И мы с Катей говорим, что никто дядю одного туда не пустит, — сказала Надя.

— Вы что, сговорились? — возмутился Ефим. — Не пустит! Да я, может, уже семь годов жду!.. Живу и жду... Сыновей жду. Тебя, Игнатий, ждал. Всех ждал и жду, кто пришёл и кто не пришёл... И Иосифа жду. Жду с того самого дня, как он исчез, когда вы, Николай и Михей, искали его, да не нашли. Мы вместе с ним многое пережили, и хорошее у нас было, и плохое. Много чего такого, что прощать тяжело, он наделал, много чего и я. Не ангел, знаю. Только я никому никогда ни о чём не говорил. И своё прошлое не ворошил, и его былое не трогал. Зачем вам, молодым, это знать? Вы не должны пережить всего того, что мы пережили. Не надо, чтобы наше вам мешало. Потому всё и держу в себе. Оно со мной туда пойдёт (Ефим ткнул пальцем вниз). Да, я жду Иосифа. Ещё как жду! Иной раз, когда вспомню наш последний с ним разговор, там, на пригорке возле сарая (Ефим показал рукой в сторону реки), когда я ему такое сказанул, что мне и на том свете не простится, хочется закричать так, чтобы мир вздрогнул: "Иосиф, отзовись!"

Но не закричишь, силы нет. Пытался, крик вот тут каменеет (постучал себя в грудь), не продохнуть. И вот — ниточка... Не-е-ет, мужики. Не-е-ет, девушки. Сейчас меня и на цепи дня не удержать — разорву! Завтра же поплыву. Дорога, говоришь... Да я с закрытыми глазами каждый поворот реки преодолею! Да я каждую плаху, спрятанную в болоте, ночью найду! Дорога к хутору плахами вымощена. Хаживал там, и не раз. Ещё в молодости ходил, и — ничего. А когда пошёл туда в тридцать седьмом, так кладки те мне всей своей тяжестью на душу легли: по ним выводили с хутора Антона и его детей и внуков. Его хутор был. Много лет хозяйничал он там со своей семьёй. Жил, никому дорогу не перешёл, никого не трогал. И что? За это всю семью своего гнезда лишить? Ладно, самого — ещё ничего, мы старые,

за свою жизнь много горя хлебнули, пострадались, мы уже ничего не боимся. Но детишек за что?.. Там же, на кладках и мимо них следы от лапотков видел я. Маленькие, некоторые на такую ножку, как у Катиного Петрика. За что, а?.. Здесь уже не только кресты на душе. Здесь уже раны кровоточат, да ещё как... Я же сам сызмальства в лапотках с чужими людьми по земле ходил, ни мать, ни отца не знал. Спасибо, среди людей не сгинул, хотя всякое бывало... И теперь думаю: а что, когда детишек тех от родителей оторвали и от деда с бабой, да куда подальше от них увели? Что это такое, детей от отца-матери оторвать? Не дай Бог!..

Меня тогда, когда людей раскулачивали, моя Марфушка к Антону направилась. Велела: “Детей приведи, пусть у нас поживут, а то чего доброго — отберут от родителей, да от деда с бабой. А мы, коли что, скажем, мол, родичи”.

Понимала, и я понимал, что старых и взрослых нам не спасти. Не была бы женщина, Марфушка, — за чужих детей её сердце кровью обливалось. Но опоздал я. Хотя, если бы и попал туда, как выводили детишек с хутора, вряд ли смог бы чем помочь. Раньше бы мне на день-два появиться там. Я Иосифу говорил, что туда иду. Он со мной идти хотел, да не взял я его. Может быть, в лодке по течению, да вдвоём попеременно на веслах и успели бы. А если успели бы, что бы там ни было, детишек увести не дали бы. И он, как и я, сиротского хлеба наелся, правда, пока его отец не привёз мачеху, заменившую ему мать. Удивительная женщина была, мачеха его, тут ничего не скажешь... Нет, мы бы с ним детишек в обиду не дали бы, я его знаю. Вот и должен я знать, Антон там или Иосиф. Конечно, хорошо было бы, если бы и тот, и этот...

Ефима слушали, не перебивая. Светка и Петрик пошли домой, понесли покушки. Валик стоял около отца, внимательно смотрел на старика. Его рассказ затронул каждого: страшные кровавые следы в душах людей оставила война. Время идёт, а следы те не затягиваются, не залечиваются раны. Особенно каждого трогает, когда говорят о детях. Нет ничего более святого на свете, чем они. И оторвать их от родителей... Здесь для меня чужое — как своё. И неважно, кто детишек отрывал от родных, свои или иноземцы: и те, и эти — варвары!

Ефим умолк, долгим взором обвёл мужчин, дескать, поймите меня... Те молчали, понимали, что старику надо было выговориться. Понимали, что на душе его тяжесть особенная — детишек мог уберечь, да не смог. Понимали, что тяжесть эту, чувство вины он давно в себе носит — облегчение ему надо. Понимали, считает себя виноватым не только за то, что не смог забрать детишек, но и за Антона, которому не смог помочь, и за Иосифа, которого в паводок “столкнул” в воду с кусочка суши, на котором нашёл себе спасенье. И вот появилась надежда сбросить хоть какую-то часть тяжести. Но для этого надо убедиться, что Иосиф жив. И вот когда подвернулся случай облегчить душу, оказывается, люди, с которыми столько пережил, с которыми живёт, как в одной семье, — против.

Ефим стоял и думал, что делать. Подчиниться односельчанам, которые, конечно же, желают ему добра, волнуются за него, просят не спешить плыть к хутору, подождать, пока у них появится возможность помочь ему в такой далёкой дороге, или сделать по-своему — не терять время... Для него сейчас дорога каждая минута. Ведь мало ли что не сегодня, так завтра может случиться и с ним, и с Иосифом, или с Антоном, если тот на хуторе. Ведь все трое они люди старые и, как говорят, для каждого день — век... И в общем...

А плыть ему есть на чём. Возле пригорка на реке у берега качается привязанная к столбику его, Ефима, лодка. Двухвёсельная, хорошо просмоленная, с широким дном. В ней, если надо, можно вдвоём прилечь, причалив в укромном месте. В ней могут плыть четыре человека. Хорошая лодка, ни у кого такой нет.

И есть вторая лодка, Иосифа. Её тот оставил односельчанам в ту весеннюю ночь сорок пятого года, когда взорвалась дамба, и вода накрыла Гуду, когда здесь творилось такое — не дай Бог никому слышать и видеть. Оставил Иосиф свою лодку, а сам после словесной перепалки с Ефимом как в воду канул.

Утром в лодке, которую оставил Иосиф, мужчины обнаружили еду, мешок ржи и завернутую в скатерть икону Божьей Матери. Когда человек идёт из дома и берёт с собой еду, а ещё и икону, конечно же, возвращаться он не собирается. Одно и сегодня непонятно Ефиму: Иосиф сам поджёт свой дом, или из печи выпал уголёк?.. Хотя может быть и такое: кто-то из мужиков с Забродья, воспользовавшись неразберихой, приплыл сюда да таким образом расквитался с отцом полиция за его сына — тот, случилось, и там лютотавал... Впрочем, сам поджечь вряд ли мог: говорил же тогда ему, Ефиму, чтобы люди плыли к его, Иосифа, дому. Дескать, тёплый ещё...

Хорошо, поплыли бы. Дом был крепкий, но затоплен до подоконников... Что, ночевали бы на чердаке, а днём к пригорку плавали?.. А Иосиф как?.. И почему он тогда еду и икону забрал из дома, куда собирался податься, если на пригорке спасения искал?..

Одни вопросы без ответов...

Пожалуй, Иосиф тогда всё говорил и делал сторяча. Наверное, хотел любой ценой им помочь, потому и суетился, бросался, как загнанный в клетку. Вот и спросит Ефим у него: “Скажи, что тогда тебя из дома гнало, ибо я и сейчас не знаю”.

Той едой тогда долго детей поддерживали, Валика и Светку. И Катю — дитя родила. Зерно чуть позже в Забродье на жерновах смолоти, на лодке Иосифа — их лодки наводнение снесло — Ефим и Николай туда плавали. Надя тут же на пригорке в печке пекла хлеб, с голоду не пухли. Да и Савелий Косманович приплывал сюда, привозил свой паёк и ещё что-нибудь из продовольствия, люди передавали. А икону забрала Надя и отдала Кате. Теперь икона в её доме в красном углу, иной раз Ефим тайком перекрестится: “Боже, сохрани и помилуй рабов твоих”. И назовёт поименно: “Петрика, Валентина, Светлану, Катерину, Надежду, Игнатия, Николая, Михея...” А потом: “Никодима и Ивана”.

Называл их отдельно, ведь они где-то далеко, как отрезаны от всех. Себя не называл. Губы будто слипались: пожалуй, за свою долгую и очень непростую жизнь немало чего сделал такого, что не надо было бы делать. И Иосифа не называл, тот тоже, как и Ефим, — большой грешник. А почему грешник Ефим за других просит, так ведь этим самым свою душу очистить хочет: пошли на меня любую кару, если в чём виноват перед Тобой и людьми, а их сохрани и помилуй. И они, как все люди, в чём-то грешны, да каждый по-своему, так прошу, на меня положи грехи их.

И сегодня утром, собираясь в дорогу, Ефим трижды лоб перекрестил. А потом издали, с пригорка, дрожащей рукой крестным знаменем осенил деревню да всех, кто здесь живёт: место это многострадальное, святое, вот и задрожала рука, задрожали пальцы, сложенные в щепоть. Есть или нет Бог, не его ума дело. Только перекрестился Ефим и деревню перекрестил не на всякий случай, а с надеждой и верой: должен быть, а кто же создал небо и землю, само по себе ничего не бывает. И душа, пожалуй, есть, иначе не болело бы так в груди — настрадалась, натерпелась...

И лодку перекрестил: Валик в ней будет плыть, большой уже, а всё равно дитя.

Лодка Иосифа немного поменьше, чем у Ефима, и более лёгкая. Но так же хорошо просмоленная. Ею мужчины не пользовались. Тогда, когда Иосиф оставил лодку, утром, не найдя его, Николай и Михей затащили её на пригорок — обязательно вернётся за ней, куда ему без неё, когда окрест всё затоплено.

Но не вернулся Иосиф и в тот день, и через день, и через неделю, да и через семь лет... До ледостава желтело на пригорке суденышко Иосифа, потом мужики занесли в сарай зимовать: “Пусть здесь дожидается хозяина”, — сказал тогда Николай...

Из-за неё, из-за лодки, у Ефима, Николая и Михея были неприятности. Вскоре после того, как исчез Иосиф, участковый Савелий Косманович, увидев его лодку, заподозрил их в том, что они присвоили её. Но как? Не иначе, как совершив над ним самосуд — отец полиция.

Савелий приплыл сюда через две недели после того, как взорвалась дамба. И его понять можно: все здесь, а одного человека нет. Где он?.. Где-где, чтобы мы знали...

Участковый был злой. Решил, что убили они Кучинского. Но жалел их, как тогда считал, преступников. Будто между прочим подсказал им, дескать, лучше было бы, чтобы лодку снесло наводнение.

Нет, Савельюшка, если бы так, то всё просто решилась бы, легко развязался бы этот узел: исчез Иосиф, и лодки его нет, значит, сам где-то сгинул. Наводнение же было досель невиданное, всё вокруг на многие вёрсты накрыло, благо пригорок и сарай на нём миловало. Здесь тогда такое творилось — ребяташек спасти бы да самим уцелеть, не до Иосифа было, он особняком в своём доме жил. Хотя было, приплыл сюда, но не приняли его. Исчез бесследно... А если так, как ты посоветовал, так какой с нас спрос?

От лодки они не избавились и после подсказки Савелия. Знали, что этим вызывают на себя подозрение. Пусть! Когда-то же должен отыскаться Иосиф. Только живым, или... А грех на нас есть, мы его, вернее, я, Ефим Боровец, изгнал, но не более того. На мне и вина.

А лодку его Савелий потом много раз видел, не прятали. Но ничего не говорил. Ефим однажды, когда просмаливал её на пригорке (было это после того, как искали тело Иосифа, но не нашли), молвил:

— Вернётся Иосиф — бери, в целостности да в сохранности!

Савелий ничего не ответил, но заметил Ефим, стал мягче лицом, подал ему руку и, поскрипывая хромовыми сапогами, пошёл к Михею и Николаю, курившим в отдалении.

Семь лет никто не пользовался лодкой Иосифа Кучинского. Хотя каждую весну на день-два спускали её на воду. Перед этим Ефим постукивал по бортам и по днищу, прислушивался к звуку и, убедившись, что доски крепкие, древоточцем не повреждены, просмаливал. Только не может так быть бесконечно, когда-то истлеет, пусть бы до этого времени хозяйина дождалась, Иосифа... Вот только, собираясь в Кошару, Иосиф думал: “А вдруг там действительно Антон”.

Было в этом что-то не совсем искреннее, словно выбирал, кто ему нужен. Уже вслух продолжал: “Хорошо было бы, чтобы там — и тот, и этот. Хотя, конечно же, Иосиф на хуторе”.

— Дядя, — почти раздражённо сказал Михей, — если ты не уверен, так, может...

— Нет, Михеюшка, в том-то и дело, что уверен, — перебил его Ефим. — Антоном Иосиф назвался. Думаю, хотел, чтобы Катя не узнала его. Но почему? Неужели всё ещё обижается на меня, на всех нас? А что с хозяйкой на хуторе жил — так жалостливый он был. Я знаю. Может, где встретил какую страдальцу, их же после войны, да ещё и сейчас много на земле, все в утешении нуждаются. Так что занимайтесь своими делами, а я как-нибудь потихоньку завтра и уйду.

Ефим повернулся и неторопливо направился к пригорку у реки, на котором стоял старый сарай. Когда отстраивали деревню, его не разобрали, оставили рыбакам. Они в нём прятали снасти. Не разрушили и печку на пригорке: место удобное, рядом река, мужики часто собирались здесь, варили уху, брали “фронтные” сто граммов, разговаривали.

Мужчины молча смотрели вслед Ефиму. Молчали и Надя с Катей: что ты ему скажешь, когда заупрямился. Хотя Катя думала, что всё-таки вечером отговорит старика, попросит подождать, пока кто из мужчин сможет плыть с ним. За столом попробует поговорить со стариком. Он, как всегда, придёт ужинать. Ефим, хоть ему уже давно поставили дом, каждое утро, в обед и вечером приходил к Кате, к Петрику, которого называл внучонком. (Мальчик считал его своим дедушкой. Катя смотрела за стариком, как за отцом.)

Когда Кате первой в Гуде построили дом, она согласилась пойти туда только с тем условием, что с ней будет жить и Надя с детьми. Сразу же после того, как заселились в новый дом, мужчины начали возводить сруб Соперским. К зиме дом возвели, и Надя со своими детишками перебралась туда, где и ждала мужа, а они отца: Игнатий писал, что скоро вернётся,

а пока задерживается в армии. Вернулся он только осенью сорок шестого. Уже в свой дом.

А зимой сорок пятого Катя едва ли не насильно привела к себе Ефима, он вместе с Николаем и Михеем жил в сарае, к которому сейчас направлялся старик.

Мужчины по-прежнему молчали, не знали, как быть. Вдруг Валик, он стоял возле них, сказал:

— Мама, отец, пустите меня с дедом Ефимом. Как же он один поплывёт?.. Да и мне нужно увидеть деда Иосифа. — И крикнул вдогонку Ефиму: — Деда, возьми меня с собой!

Ефим, не пройдя и десятка шагов, остановился, не торопясь повернулся, неопределённо пожал плечами:

— Валентин, надобности такой нет. Дорога мне известная. Ничего страшного: туда по течению легко доберусь. А назад как-нибудь потихоньку шестом около берега буду отталкиваться. Думаю, назад будем плыть вдвоём. Пусть с Иосифом, пусть с Антоном. А может быть... А тебе что, Иосиф нужен?

Что имел в виду старик, сказав “а может быть”, мужчинам было непонятно. И Валику — тоже.

Он ответил не сразу, подошёл к старику, остановился рядом, произнёс:

— Обидел я деда Иосифа. Мальчишкой был, а помню.

Ефим внимательно посмотрел на парня, затем решительно положил тому руку на плечо, молвил:

— Помнишь, оказывается.

— Как же...

— Ты обидел старика Кучинского? — удивился Игнатий. — Как? Когда?

— После войны. Зимой. Говорю, ещё мальчишкой был. Лёд в деда бросал...

— Дурачился, — рассудительно сказала Катя, вступаясь за парня. — Я видела, Иосиф не обиделся, понимал, что Валик хочет поиграть.

— Ну что, мать, пустим? — Игнатий глянул на жену. — Конечно, если дед возьмёт.

— Пустим, если возьмёт, — ответила Катя и уголком платка вытерла непрошенную слезу.

— Возьмёт, а как же, — сказал Ефим. — Коли так, ещё как возьмёт! — И, заглядывая Валику в глаза, добавил: — Значит, помнишь. А как на весах сидишь, знаю, рука у тебя уже давно крепкая. Что скажете, мужики?

Старик, ожидая ответа, внимательно посмотрел на мужчин.

— А мы, Ефим Михайлович, хорошо знаем, какая у Валентина Игнатьевича рука, — сказал Костров. — Парень он самостоятельный, на машине научился ездить, на тракторе. Были у меня в батальоне такие ребята: с ними — хоть в разведку, хоть в бой.

— И я давно это знаю! — сказал старик. — Да мы с Валентином — ого!..

Не договорил, запнулся, отвернулся — непрошенная слеза вдруг старика пошибла... Парень решительно обнял его, сказал:

— Мы с дедом куда хочешь доплывём!

Раньше Валик никогда не видел слёз на глазах старика...

И вот Николай, Михей, Игнатий, Надя, Светка, Катя с Петриком провожают Ефима и Валика в дорогу. Катя, хоть и собиралась вчера вечером отговаривать старика, когда он пришёл на ужин, передумала: коль решил, значит, надо ему... Ставя на стол ужин, пока Ефим мыл на кухне руки, сказала, что ему с Валиком собрала в дорогу сала, головку масла, клин сыра, варёные яйца, хлеб и даже ведро картошки.

— Ты нас туда словно зимовать отправляешь, — улыбнулся старик, — зачем всего столько?

— Зимовать не зимовать, а дорога неблизкая. Да и дядя Иосиф домашнего отведаёт, откуда у него такая еда, коль стоял с протянутой рукой.

— Ну, тогда возьму всё, — сказал старик, садясь за стол.

Петрик и Катя уже поужинали, и теперь мальчик спал в небольшой комнате, которую, как только поставили дом, ему отгородил Ефим.

Ужинал один. Катя упаковывала корзинку, укладывая туда, как заметил Ефим, и бутылку. Подумал — пригодится...

...И вот теперь Ефим и Валик отпльвали.

— Ну, с Богом, — сказал Ефим, убедившись, что всё как и надо: и лодка не протекает, и вещи хорошо размещены в ней, и весла уже в уключинах, и даже шест лежит на дне — пригодится, как будут плыть назад против течения.

Старик, даже не пожав никому руки, дескать, ненадолго плывём, нагнулся, обнял Петрика. Тот попробовал заплакать, но Ефим успокоил его, сказав: “Ну-ну, ты же мужик, мамке помогай, большой уже...” — и потихоньку зашёл в лодку. Она качнулась, он устоял, затем уверенно прошёл вперёд, устроился на носу судёнышка.

Валик не спеша сел на вёсла, мужчины оттолкнули лодку от берега, река подхватила её, понесла.

— Дядя! — не сдержалась Катя. — Смотрите, не задерживайтесь там. И Иосифу скажи, что ждём его.

— Неужто не скажу! — крикнул Ефим. — Обязательно скажу. Без него не вернусь.

2

...Долго лежал на земле Иосиф. Вспоминал, как привёз сюда Теклю. Хутор ей нравился. Он заменил ей дом. Нравился лес вокруг хутора. Река нравилась. Ведь Дубосна протекает недалеко и от её деревни, в которой она родилась, жила с родителями, из которой когда-то за Авдея замуж пошла. Но знала Текля, что теперь ей туда пути нет и, пожалуй, уже никогда не будет. Знала, если бы и пришла в деревню, опять очутилась бы в Сибири: никто за неё не заступился бы, как не заступился и тогда, когда ссылали.

И болота здешние любила: клюквы, голубики, по берегам — брусники — россыпи бессметны. А ещё болота оберегали ее и Иосифа от тех, кого они боялись. Если бы не было болот, сюда уже давно добрались бы люди... Здесь с Иосифом ей было спокойно. И она радовалась этому спокойствию, к которому, кажется, привыкла сразу, как приплыли сюда. Хотя спокойной она была уже вскоре после того, как убежали из города, где Иосиф нищенкой встретил её на базаре и, как говорила, спас от погибели.

Кажется, успокоилась сразу, как только город исчез за первым же поворотом реки. Наверное, её успокоило то, что за ними никто не гнался. Позже как-то сказала, что была уверена, что, если бы их даже и догнали те, от кого сбежала, Иосиф кровушкой умься бы, но её не отдал бы.

Значит, тогда она думала, что Иосиф не боится, а он боялся, и ещё как, только не показывал этого. Он уверенно правил своим судёнышком, заставлял себя не оглядываться, хотя время от времени вкрадчиво косился назад, думая, как и чем будет отбиваться, если догонят. Веслом, шестом?.. А Текля, обессиленная, истрадавшаяся, как легла на дно челна на его стёганку, так сразу и уснула.

Какое же это было дорогое для него мгновение, когда она, укладываясь на стёганку, говорила: “Мне с тобой, Иосиф, ничего не страшно, даже смерть...”

Он тогда ещё ничего не знал о том, что было с ней все эти долгие годы их разлуки, не представлял того, что она пережила за Авдеем и здесь, и в Сибири. Но когда говорила, что ей с ним, Иосифом, ничего не страшно, понимал: жизнь её с Авдеем была ужасная. Понимал, что Теклюшка решилась убежать из ссылки не только потому, чтобы его увидеть, — очень тяжело ей было на чужбине, — а потому, что на своей земле хотела умереть. Понимал также, как нелегко ей было идти по чужой земле, понимал, если бы не добрые люди, встречавшиеся на её пути, давно бы ей лежать где-то там...

К хутору плыли долго. Хотя река осенью уже не такая быстрая, как весной и в начале лета, местами даже мелкая, но челнок назад толкала, и не слабо. Уже и тогда не очень сильный Иосиф — годы брали своё — ощущал это хорошо. Хотя сразу же, как посадил её в челн, напрягаясь всем телом

и чувствуя мощь в руках, решительность и даже какую-то злобу, будто бросаая вызов реке, словно живому существу, которое вознамерилось препятствовать ему, понимал, что уходит силушка, уходит...

Реку он хорошо знал с детства. Как говорят, на реке родился. Её нельзя было изъять из его жизни, отобрать, запретить к ней приближаться, как нельзя было отобрать землю, лес, воздух, небо.

Раньше река всегда разделяла его и Теклюшку. Он жил на правом берегу Дубосны, она — на левом, далеко, за десяток вёрст от него. В молодости, когда встречались, летом он плывал к Текле на лодке, прятал её в заводи, подальше от деревни, чтобы не заметили местные парни, потом шёл к ней на встречу. Обычно встречались где-нибудь в укромном месте, заранее договариваясь.

Бывало, простаивали под каким-нибудь деревом ночь напролёт. А утром, когда она бежала домой, Иосиф против течения плыл в Гуду, усталости не чувствовал, грёб так, что гнулись весла...

Плавал он к Теклюшке и такую порою, как сейчас. В такое время, ещё не осеннее, но уже и не летнее, когда вёз её в челне по реке из города на хутор. Дубосна была спокойной, словно выдохлась за весну и лето. Она уже не бежала, а тихо, будто в каком-то раздумье, катила свои воды, слабо толкая чёлн назад, хотя всё равно чувствительно для него.

Тогда Иосиф, как только мог быстро, гнал чёлн, но всё равно его судёнышко скользило по реке осторожно, почти беззвучно. А сам он всё время был в напряжении, натянутый, словно тетива, готовый ко всему, что только могло произойти с ними на реке.

Весло, а где надо было, и шест держал сильно, часто поглядывал на Теклюшку, на её лицо — спокойная ли... Смотрел на неё, седовласую, смуглую, со сплетением морщинок под закрытыми глазами и на опавших щеках, вокруг обветренных и местами потрескавшихся губ, а видел совсем иную — молодую. Видел ту далёкую, которую так сильно любил: светловолосую, со всегдашней лёгкой полуулыбкой на пухлых губах, розовощёкую, с весёлым блеском голубых глаз... И, кажется, ощущал, как вокруг неё колеблется какой-то неуловимый, еле заметный свет, тот свет, который когда-то пьяняще манил к себе, с которым он очень хотел соединиться, но так и не смог...

Этот неуловимый свет он помнил всегда. И всегда ощущал его, даже когда Теклюшки не было рядом. Хотя, кажется, свет тот иногда куда-то исчезал, особенно тогда, когда ничто не тревожило и не пугало Иосифа. Свет исчезал, словно растаивал, а он всё равно ощущал его где-то рядом... И каждый раз появлялся, когда Иосифу было тяжело. Тогда он, словно в бреду, тянулся к этому свету, и когда казалось — вот-вот дотронется, свет развеивался, вновь куда-то исчезал, такой желанный и такой неуловимый...

Постепенно вечерело. Вода сначала на перекатах, затем на стрежне осветилась сверкающей желтизной. И желтизна та, постепенно тускнея, ещё долго бежала против движения челна, пока, наконец, не спряталась под отяжелевшей тёмной водой. И сразу же на реку легла сверкающая краснота. На воде проявились зелёные, в жёлтых пятнах кроны деревьев, закачались вместе с коричневыми, будто размытыми стволами. Наконец, все эти цвета потускнели, слились в нечто тяжёлое, тёмно-серое.

Утихли птичьи голоса. Умолкли лягушки. Солнце ещё полностью не скатилось за лес, а на небе выявилась бледно-жёлтая огромная луна. Река вздохнула прохладой, над ней за клубился сизый лёгкий туман и вскоре начал раскручиваться над уже тёмной, густой водой.

Иосиф понимал, что никто их не преследовал. А те, кому Теклюшка была нужна, наверное, не заметили, когда и куда она исчезла. Иначе река давно бы несла пустой чёлн...

И уже устоявшимся вечером, когда вокруг становится всё тише и тише, они приплыли туда, где Дубосна не спеша проходит возле болота, за которым и находится хутор Кошара. В этом месте в заводи он всегда прятал чёлн.

Напротив хутора, затерянного на высоком клочке земли за неширокой, но плотной полосой леса, за большим болотом, за колючей грядой сосняка попеременно с можжевельником, Иосиф завернул своё судёнышко к старице,

заросшей высокой, в человеческий рост, травой. Острый длинный нос челнока тихо раздвигал плотный травяной покров, который потом соединился сразу же за кормой, и вскоре долблётка, еле слышно шаркнув дном по земле, остановилась. Теклюшка открыла глаза, сказала, глядя на Иосифа:

— Наконец-то выспалась. Хотя спала и не спала. Всё слышала: и воду, и птиц, и какой-то всплеск. И ощущала, как садится солнце, но глаз не раскрывала — кого мне бояться, когда ты рядом?

— Вот и хорошо, что выспалась, — сказал он. — Небось, устала.

Он посмотрел на её босые ноги, стянул свои сапоги, размотал портянки, подал ей:

— Обуйся. Сначала по лесу пойдём. Корни, шишки, да мало ли что под ноги попадёт. Потом — через болото. Топь. Затем — опять лес. Гряды.

Она взяла портянки, обернула ноги, осторожно, морщась, натянула сапоги и будто удивилась:

— А ты?

— Мне всё равно, что в сапогах, что так. Я больше так хожу. Везде. У меня и лапти есть. Мягкие. И не одна пара. Пока у тебя заживут ноги, в лаптях ходить будешь. А потом я тебе из города мягкую обувь привезу. — Помолчал немного, вернулся к прежнему: — Говоришь, устала...

— Ещё как. И от страха, и от бессонницы. Если бы ты знал, сколько ночей я уже не спала. Ночью меня в каком-то сарае держали. Отстояв день на ногах, не уснёшь. Ноги окаменеют, да так болят, хоть вой. Но не завоешь, рот быстро заткнут. Вот и катаешься ночь по земле на соломе. А утром — снова на базар.

Ты можешь спросить, почему не убежала. Ответу: куда? Знала, догонят, убьют или в милицию отведут: берите, беглая!.. Вот и стояла, ждала, когда дух из меня выйдет... А если бы и убежала, так не встретились бы мы с тобой, дорогой ты мой Осипка.

Правда, признаюсь тебе, всё ждала, когда убьют меня, я же совсем ослабла, изнемогла. Зачем им немощная? Знала, что просто так не отпустят: вдруг пойду к властям, не побоюсь, что беглая, расскажу, как издевались надо мной да над такими, как я. Ведь они в каком-то другом месте держали ещё двух старых мужчин, тоже заставляя просить подаяние и отдавать им деньги.

А знаешь, как я к ним попала?

— Откуда мне знать?..

— Приехала я в город, вышла из поезда — одна-одинёшенька, нет у меня здесь никого. Стою, растерялась. Долго стояла, какие-то двое мужчин рядом прохаживались, нехорошо на меня посматривали. Сердце обмерло, подумала, ищут беглянку. Поезд какой-то пришёл, из него люди высypали, я и скрылась в толпе, толпа и вынесла меня в город. Долго по улицам ходила, думала, куда идти? Домой? Так дома у меня нет. Кто где приютит?.. К тебе?.. У тебя своя семья... Вернулась на станцию, стою, размышляю. А тут те двое и подошли. Ну, и повели. Думала, назад отправят, а они меня — сначала в сарай, а потом на базаре у ворот поставили подаянье просить.

— А власть? Людей кликнула бы.

— Люди, говоришь... Люди видят — ведут! Открыто ведут. А кто так может вести? Конечно же, власть. Кто бросился бы на помощь? Боялась власти и боюсь. Шла и боялась, что назад в Сибирь дороги не выдержу. Умру. Где умру, там и заруют. Видела, как зарывали тех, кто умирал в дороге, — хорошо, если в какой ящик положат... Думала, коль суждено мне умереть, с тобой не повидавшись, так пусть на своей земле. Чужая земля — она тяжёлая, холодная. Помнят её мои руки, не раз и не два падала на неё, когда домой шла. А уж как ноги помнят, так и говорить не надо!.. Веришь ли, душа кровью обливалась: всё, конец тебе, Теклюшка! А когда в сарай заперли, поняла: не власть это. И надежда было появилась: жива буду. Покорилась.

— Как же так? — сказал он тогда. — Над тобой издевались. Коль не тогда, так позже могла людей позвать. И где те негодяи?

Внутри у Иосифа всё кипело. Ему не хватало воздуха, пересыхали губы, говорить было тяжело.

— А что люди? — пожала она плечами. — Люди такие, чем больше страдальческий вид у нищего, тем больше подают. Одни — сочувствуя, другие — будто откупаясь от чужого горя. Третьи проходят мимо, даже не взглянув на тебя. В твою душу никто не лезет. У людей и своих забот хватает. А сколько ещё горя у людей! Видела, долго по земле шла. Правда, если бы не люди, не дошла бы. Люди — они разные. И там, где была, и здесь, у нас. А кто издевался надо мной, откуда мне знать? Мужчины какие-то и женщина. Только зачем они тебе? Ни ты, никто ничего не сможет изменить. Давай не будем об этом. Не хочу и тебя тревожить, и сама не хочу вспоминать то, что было. Одно скажу: может быть, если бы ты сегодня не увидел меня, то я недолго пожила бы на этом свете. Или они меня уничтожили бы, или сама не выдержала бы, прости меня, Господи. Такие страдания терпеть невозможно. Не раз об этом думала. Бывало, наберу глупости в голову, а когда рука уже к чему-то страшному тянется, чтобы на шею набросить, — перекрещусь и как очнусь: какая же я дура!.. Что удумала! Зачем же тогда убегала? Зачем столько страдала, пока добралась сюда?..

А теперь знаю, ради чего... Нас же с тобой, Осип, сегодня сам Бог свёл. За твои и мои страдания.

— Свёл, Теклюшка, свёл, — глухо произнёс он.

— Но где мы? Ты же так и не сказал.

— В укромном месте. Считаю, дома.

Молвил и вздрогнул: нет у него своего дома. Есть приют в чужом жилище. Причём он сам себе его определил.

Она заметила, что Иосиф засмутился, спросила:

— Что-то не то?

— Почему же. То, то. Там, за грядой леса, за болотом — дом, — Иосиф показал рукой вперёд. — Хутор там. Чужой. Я на нём давно живу, с весны сорок пятого. Хозяина, как и тебя с Авдеем, раскулачили, с семьёй сослали. Детей у него много было и внуков много. И совсем маленькие были, и большие. Всех вывели с хутора. Вот я и живу здесь, и по своей воле хутор берегу. Где что подлажу, где что почию. Словом, смотрю, чтобы ничего не развалилось, не истлело. Может быть, со временем появится или хозяин, или кто из его семьи. А может, и нет. А всё равно хутор берегу, не только живу на нём. Часто думал: придёт хозяин или кто из его семьи, застанет меня ещё живого, повинюсь, скажу, что не испоганил я ваше жилище, не разграбил. Скажу, так уж вышло, что было у меня тяжёлое время, и ваш хутор стал мне спасением. И ваше право прогнать меня или оставить доживать в уголке в кошаре, я же сам себя содержу, обузой не буду. А нет — так пойду по миру, пока ноги носят.

— Что же это такое — пойти по миру? — ужаснулась тогда Теклюшка и прильнула к нему, прижалась всем телом, да так, что чёлн, хотя и был наполовину на земле, закачался, словно на воде.

Иосиф пошатнулся, но устоял, крепче обнял её, ощутил, как она вся трясётся, словно в лихорадке. Долго не отпускал, ожидая, когда она успокоится. Чувствовал, как под его сердцем трепещет её сердце. А когда дрожь унялась, проговорил:

— Ну, ну, успокойся. Больше никто тебя не обидит. Пошли. Говорю же, считай, дома ты.

— А твой дом что? — спросила она, немного успокоившись.

Иосиф не сразу ответил, с минуту помолчал, шумно вздохнул, сказал:

— Мой? Нет его. Сгинул. Потом расскажу, потом, — и, придерживая Теклю под локоть, легонько подтолкнул вперёд.

Когда она ступила на землю, нагнулся, взял с челна стёганку, осторожно набросил Текле на плечи:

— Пока хоть так согрейся. Дома печь протопим.

— Но...

Он взял Теклю за руку, повёл за собой, сказал:

— Может быть, как-нибудь своё жилище приобретём, подожди маленько. У меня кое-какие деньги есть, собрал за это время, пока здесь живу. Друг помогал. Архип. Я тебе о нём уже говорил. Ему я возил грибы, ягоды,

зайчатину, заячьи шкурки. А он сбывал в городе на базаре. На еду мне хватало, и на одежду — тоже. Что-то ещё оставалось. А о своём жилье не помышлял. А сейчас с тобой вместе решать будем. Может, в какой деревне домик присмотрим.

— Нет, нет, — замахала она руками. — Придём к людям, кто-то найдётся да спросит, кто мы, откуда. Да и власть — сельсовет...

— Оно-то так, — согласился Иосиф. — Правду говоришь, кто-то найдётся. Помню, у нас Фаддей был. Старый человек. Набожный. Всё Писание читал. Никому дороги не перешёл. Жил сам по себе. Но если надо было, людям помогал. Говорил, как сейчас помню: "...Если упадёт один, то другой подымет товарища своего. Но горе одному, когда упадёт, а другого нет, который поднял бы его".

Молвил однажды это при людях, никого чужого не было. А через сутки его — за ворот да в машину, из района приехала. Помню, вели, один молодой в длинной шинели, старика наганом в спину толкал: "Давай, давай, товарищей нашёл! И где? Там, где опиум для народа. Контра!"

А Фаддей ему: "Детки, товарищ — это слово Божье. Нельзя его так понимать, как вы понимаете. Все мы товарищи. Все должны подавать руку тому, кто вдруг упадёт".

А те взбесились: "Будут тебе товарищи!"

Запомнилось мне, что никто из нас, мужиков со всей деревни, даже слова за Фаддея не молвил. Боялись. И я там был, и Ефим, и другие такие же пожилые мужики, как мы. Я посмотрел на Ефима, а тот на меня: что делать?.. Хотелось сказать тем парням, которые вели Фаддея: "Что же вы так со старым человеком? Он же никому зла не чинил. И не стыдно вам?" Не сказал, Ефим не позволил: "Молчи! И Фаддея не спасёшь, и сам в беду попадёшь".

Вот оно что, Теклошка!.. Так что ты правду говоришь, в деревне люди. Хотя и они разные. Теперь бы я за Фаддея заступился, ничто не остановило бы меня. А тогда...

— Лучше здесь поживём, сколько сможем, — сказала она. — Ты вот уже сколько живёшь, и ничего. Тебе кто подсказал сюда идти, или сам это место отыскал?

— И да, и нет. Дамбу около Гуды перед войной военные насыпали, говорят, где-то недалеко от нас в лесу полигон хотели делать. Наводнения им препятствовали, вот они и отгородили реку. Дамба воду держала. И до войны, и в войну. А в сорок пятом было такое наводнение, какого я на своём веку и не видел. Взорвалась дамба. Я после понял, заминирована была. Как-то видел в войну, когда наши уже близко были, немцы на дамбе копали. Думал, окопы, а оно вон что — мины укладывали. А я и не догадался после никому сказать об этом. Хотя наши солдаты по ней прошли, ничего не нашли. А всё равно себя вину: почему не сказал, может быть, прислушались бы, более внимательно дамбу осмотрели. Вот и взорвалась она. Вода хлынула. Смела землянки — Гуду летом сорок третьего немцы сожгли. Один мой дом тогда только и уцелел. Людей столько погибло... Мало кто выжил. Ефим, если помнишь его, прежний мой друг, Надя Соперская и двое её детишек, мальчик и девочка, и Катя Журовец.

— Помню Ефима, а как же, и Надю помню. А Катю — нет.

— Из Забродья она.

— А ты как с домом остался?

Сморщился Иосиф, как от боли:

— Мой сын заодно с немцем был. Вот и уцелел мой дом. Всё, Теклошка, нет его, нет, дома-то. Я, когда вода на деревню пошла да затопила её, долго в доме сидел. Много передумал. И о себе, и о тебе, и о Марии, и о сыне. И о людях — тоже. Сердце кровью обливалось: я в тепле, а люди, да ещё с детишками, в холоде и голоде. На пригорке за деревней они себе спасения нашли. Мужчины ещё раньше там сарай собрали. Вода и в мой дом пришла. Я посидел, посидел в нём да к ним. Кричу: "Дом у меня тёплый!.." А они — вон!.. Вон так вон, ушёл я. А потом в ту ночь дом и занялся. Сгорел. И знаешь, сгорел, и у меня на душе легче стало: опостытело мне в нём... Чужой.

Своей, а чужой. Как вспомню — просыпаюсь, будто и тепло в нём, а холод душу пронзает. Хожу по половицам, будто по толчёному стеклу, места себе не нахожу. Спать ложусь — чужое. Глаза сомкну, тебя вижу. Кажется, руку протяну, дотронуся. Протягиваю — нет тебя... На Марию натыкаюсь, хотя её давно уже нет. Вот как было, Теклюшка.

— Знаю такое, Осипка, знаю. Но на Марию не злись. Она же насильно тебя к себе не тянула. Слыхала я, парень у неё до тебя был. Говорили, любились. Сами расстались, или кто их разлучил, не знаю. Может быть, если бы она с тем парнем жила, так и горя не знала бы. А так — ты с ней, она с тобой — чужие. Не каждый такое выдержит. Может быть, и ей так же было больно, как и тебе, и мне. Поэтому и ладу между вами не было. Если мужчине своя женщина нужна, так и женщине нужен свой мужчина. Так что не злись на неё, не бери грех на душу. Тем более, там она... — Текля еле заметно подняла голову вверх. — Чужая она тебе была, потому и был ты чужой в своём доме. Только ты же мужчина, мог, если Мария не любя была, один спать ложиться. А я же — баба, жена. Венчана с Авдеем. Кровать у нас с ним всегда одна была. Нечего сказать — насиле каждый раз... А я всё тебя помнила. Ты всегда рядом со мной был. Хотя вот как у нас с тобой вышло — телом я никогда твоей не была, и ты телом не был моим, но всегда моя душа чувствовала возле себя твою душу. По дому хожу — рядом ты. К кровати иду — тоже рядом.

Авдей, когда молодая была, сгребёт меня в охапку, на кровать бросит, своего добивается, а я давлось слезами — всхлипнуть не даст: “Что, о нём думаешь?” А что я ему скажу?.. Молчу. Бывало, и руку на лицо опустит. А она у него тяжёлая.

— Не надо, не надо, родная.

— Не буду. Но ведь говорю тебе, и мне легче. Я вот что думаю: не надо было тебе из своей деревни уходить. Поссорился с односельчанами, а после помирились бы. Стучается. Никто тебя из своего дома не гнал... Чужой, говоришь. Ну, чужой дом был, когда там Мария хозяйничала. А после что? Прости меня, Господи, Мария же умерла, тебе больше глаза не мозолила. И его... сына, говоришь, уже не было. А сгорел дом почему? Поджог? Подожгли?

— Нет. Пожалуй, загорелся от свечи. Уходил, зажжённую на столе оставил. Крепко трещала она. Помнил, сказывали люди, коль свеча трещит — не чисто в доме. Думал, хоть эта, последняя свеча наконец-то очистит его, уж сколько сгорело их, пока в доме маялся! Думал, приплывут ко мне люди, а в доме чисто. Сейчас знаю, тогда я словно в бреду был. Метался, не зная, как быть. Может, что и не доглядел. Может, вода стол подняла, опрокинулась свеча, загорелась скатерть, огонь перебросился на занавеску, на мох между бревнами — стол у стены стоял. А может, когда я ушёл, поджёг кто: меня все в округе сторонились.

Что тебе ещё о моём доме сказать... Да, давно уже не было в нём Марии. И Стаса давно не было, а мне всё казалось, что они в нём, рядом со мной. Чувствовал я их, нехорошо чувствовал. Мешали они мне или я им, не знаю. Но состояние было такое — хоть живой в гроб ложись, а всё равно от них не спрячаться.

Говорил уже тебе, Теклюшка, и о Марии, и о Стасе. Говорил, но не жаловался, ибо сам во всём виноват. И ещё больше скажу: что-то неподвластное мне гнало меня тогда из дома. К односельчанам толкало. Толкало, плыл к ним и понимал, что назад не вернусь. Я даже мешок ржи и всю еду, которая у меня была, в лодку взял. Тяжело было плыть, а плыл. Печи сгоревших хат при лунном свете видел. Жутко было. Ещё недавно здесь люди жили, мои односельчане, каждого знал, и меня они знали... Голоса слышал, лица видел...

К пригорку приставать тяжело было, а пристал. Людей звал, Ефима, Николая и Михея, Катю и Надю, ответа не было. В сарае на пригорке они от воды прятались, может, не слышали. Хотя Ефим-то услышал, прогнал меня. Тогда я лодку им оставил, а сам в воду вошёл, поплыл прочь, и мне легко стало. Вот как, Теклюшка. Поплыл, и будто валун с плеч столкнул: вода

холодом обжигает, а мне хоть бы что. К бору доплыл. Переночевал, обсушился, а потом уже сюда, на хутор. Тоже словно кто вёл меня сюда, хотя знал о нём от Ефима. Сейчас думаю, если бы всего этого не случилось, вряд ли мы с тобой встретились бы.

Говорил Иосиф глухо, не спеша. Каждое слово будто отчеканивалось. Текля молча слушала, а когда он высказался, сказала:

— Тогда я сама тебя нашла бы, конечно, если бы смогла убежать от тех, кто держал меня в городе. Ведь я, когда шла из ссылки, всё думала: вот увижу тебя, семейного или одинокого, если признаешь меня, расскажу, что со мной Авдей сделал, прежде чем в снопы затащить, а потом и умереть с лёгким сердцем не страшно. Уж больно обидно мне было, что правду ты не хотел знать. У нас с тобой всё так складывалось, что рано или поздно мы должны были сойтись. И вот сошлись. Наверное, так нам с тобой на роду написано.

— Может быть, и написано. Только за что нам такие горестные судьбы дадены? С какого времени? С младенчества? С детства или с молодости?.. Да ещё на всю жизнь. И ты не больно нажилась за бедными родителями, и я сиротой настрадался. Пока отец не привёз мачеху, в слезах утопал. Святая была женщина, высушила мои детские слёзы. Но всё-таки за что страдания?

— Не надо, не вспоминай. Никто не ответит, за что. Я же вижу, как тебе тяжело. И мне тяжело. Не надо шевелить угли, пусть угасают. Сейчас нам с тобой хоть немного спокойно пожить бы.

Сказав это, Теклюшка умолкла. Иосиф, по-прежнему держа её под руку, шёл осторожно. Не потому, что боялся поранить свои босые ноги, — за Теклюшку опасался. Ещё бы: её ноги в язвах, больно ей и в сапогах ступать по земле. Он, была бы у него сила, понёс бы её на руках, но ощущал, что и шага с ней не сможет ступить.

Начинало смеркаться. Влажная серость опускалась на деревья, на землю, хотя местами на редколесье было ещё достаточно светло, стволы сосен отсвечивали желтизной.

— Путь у меня здесь тайный, — сказал он, заметив, как она неуверенно ступает по ещё твёрдой земле. — Рядом иди. Я тебя крепко держать буду. Пока стемнеет, дойдём...

Когда преодолели болото, поднялись к гряде, за которой начинался хутор, и перешли её, было ещё светло. Лес, опоясывающий усадьбу, напоминал неровную высокую тёмно-серую полосу, по которой сверху спускались жёлто-розоватые разводы. Также сверху по всей темной полосе, по ее кривизне еле заметно трепетала желтовато-багровая лента. Трава под ногами была тёмная, местами на ней блестела тяжёлая крупная роса, от неё тянуло холодом.

Они стояли на меже между хутором и грядой леса, откуда, пока ещё не совсем смерклось, довольно чётко были видны очертания дома и хозяйственных строений. Как только вышли из леса, Текле сразу бросились в глаза два чёрных креста на двух окнах, зловеще блестящих в лунном свете. От неожиданности она, споткнувшись, отпрянула назад, непроизвольно ойкнула. Иосиф вздрогнул, крепко обхватил её за плечи, хотел спросить, что случилось, но не успел, она, опередив его, произнесла дрожащим голосом:

— Кресты... Два. Нехорошо это.

— Перекрестись, Теклюшка! — словно спохватился он. — Какие кресты? Это же доски, окна заколочены. Не знаешь, что ли, так люди всегда делают, когда вынуждены оставить дом.

— Нет... Когда нас с Авдеем ссылали, так даже окна заколотить не дали. А это — как какой знак.

— Чудится тебе, знак. Не сорвал, не я заколачивал, хозяин. Он и должен сорвать. Но если уж так вышло, сниму.

— Сними. Возвратится, ругаться не будет: живой дом. Хотя, если хозяин где-то там, где я была, то вряд ли вернётся. Один, может быть, и смог бы убежать. А с семьёй не убежишь. Да и зачем искать новых бед? Семейные и там обживаются, если в семье лад.

— Хорошо, хорошо, пойдём, — сказал тогда Иосиф, понимая, что Текля вновь тревожно и боязно, несмотря на то, что он рядом и ведёт её туда, где столько лет живёт.

Текля с трудном оторвалась от Иосифа, и они по траве, усыпанной холодной колючей росой, направились к дому.

Иосиф понимал, что Теклюшка не просто будет жить в чужом доме: женщине, как птице, своё гнездо надо иметь. Понимал и надеялся, что через какое-то время они где-нибудь попробуют приобрести своё жильё. А пока надо ей привыкать к тому, что сейчас будет у них. Сам он к чужому жилью привыкал долго, чувствуя себя не то, что непрошеным гостем, а вором. Долго подавлял в себе это угнетающее чувство, долго сам себя стыдился, кажется, и сегодня полностью не утратил его, но ничего не поделаешь — пока нет у них иного выхода, как жить здесь. А жить здесь — постоянная неизвестность: что будет дальше? Хотя есть утешение: сейчас они вместе. А вместе, если что, так хоть в странники. Но это — если вдруг вернётся хозяин и придётся оставить его жильё. Конечно, летом можно и идти, просить подаяние, а каково в холода, зимой?

Думая об этом, он, казалось, не замечал сгущающихся сумерек. Он шёл к дому, держал Теклю за руку и не ощущал босыми ногами холода. Он видел только её. Он чувствовал, как она вся дрожит, как горит её рука в его руке, и вдруг ему стало жутко — дикая, будто ниоткуда взявшаяся мысль пронзила его: а если я первым умру...

Вздрыгнул от этой мысли, остановился, опешил... Взор наткнулся на два уже еле заметных креста на тёмных окнах. Были они совсем близко, и от этого на душе стало ещё более жутко.

— Ты что? — испуганно спросила она.

— Ничего, — еле сдерживая дыхание, проговорил он слипающимися губами. — Во рту пересохло. Да и холодом пахнуло, сыростью тянет.

Кресты уже совсем близко видела и она. Вон они, прямо перед глазами. А может быть, сколько шла от межи к дому, столько и не спускала с них глаз. Иначе почему спросила:

— Та что же это будет, Осип?

Спросила растерянно, глухо, словно обречённая на что-то неисправимоплохое.

— Всё будет хорошо, — успокоил он её тогда, двинулся с места, подвёл к крыльцу — окна с крестами исчезли слева, — первым ступил на доски, просевшие под его ногами, а потом и под Теклей.

Второй раз на чужой усадьбе ойкнула она, взойдя на крыльцо вслед за ним, и едва не упала, но Иосиф поддержал её, сказал:

— Новое крыльцо слажу. Доски есть.

— Сладь.

Он, поддерживая одной рукой её под руку, другой решительно толкнул дверь в сени. Дверь тихо и широко открылись. И сразу же в сени, выдавливая тьму, влился блеклый лунный свет, на пол упали их две вытянутые тени.

— Домом пахнет, — сказала она, переступив порог. — Помню этот запах. У нас дома, когда с родителями жила, тоже так пахло. Грибами, ягодами, хлебом. Домашним теплом веет.

Не ответил Иосиф. Хлебом у него давно не пахло, не привозил, разве что ржаные сухари были в полотняном мешочке, висевшем на гвозде в сенях возле его лежака у стены. А вот грибы, ягоды были — сушёные в связках, тоже на стене на гвоздях, да в кадучках, здесь же, в сенях. А тепло — протапливал печь, а иначе дом омертвеет.

— Полати у тебя тут, — сказала она, глядя на лежак.

— А как же, смастерил. И тебе смастерю. А пока на моём лежаке будешь спать. А я рядом, на половицы что брошу.

Полубила Теклюшка это место, надёжно спрятанное природой от чужого глаза. А тогда, осмотревшись, сказала: “Чтобы своё, так лучшего и не надо. И дом, и печь, и постройки. И огородик можно посадить. И лес вокруг”.

Говорила это она на следующий день, когда он, как и обещал, сорвал кресты с окон. Доски долго не поддавались, протяжно и отвратительно трещали, он едва не сломал топор, отрывая их, — гвозди длинными были, въелись в сосновые венцы. А когда сорвал, в дом через тусклые стёкла, покрытые серой пылью, влился мутный свет, упал на почерневший пол, на тёмные стены, на давно не белённую печь у порога.

Текля, когда он срывал доски с окон, молча стояла в сенях у порога, словно боясь войти в дом. Когда же в доме всё осветилось, не воздержалась, сказала сама себе: “Вот и ожил. Теперь в нём и жить можно...”

3

...Два года тому назад, когда Иосиф привёз сюда Теклю, они проговорили всю ночь, сидя в сенях на лежаке. Когда зашли в сени, хотя здесь и был разлит лунный свет, Иосиф зажжёт свечу, поставил её в жестянку из-под консервов на столике возле лежака. Подвёл к нему Теклю, посадил, осторожно стянул сапоги с её ног, развернул портянки. Затем осмотрел раны на её ногах и еле сдержался, чтобы не закричать: как она могла не то, что целый день стоять, но и ходить!..

Не закричал. Сморщился, вздрогнул, боль пронзила всё тело, потом молча достал из-под лежака чистые портянки, подал ей. Теклюшка не взяла их, сказала, что пока не надо, пускай заживут ноги. А до зимы заживут они, подорожник ещё не высох, будет прикладывать его. Была бы здесь трава молодила и сало, сделала бы мазь, и горя с ногами не знала бы.

— Сало есть, а такой травы не знаю, — сказал он.

— Женщина, которая в России подобрала меня обессиленную, в свой дом привела, согрела, накормила, а проще говоря, спасла, потом в дорогу такой мази дала. В котомке та мазь была, с едой. Начальник, который вёз меня в поезде, забрал котомку.

Текля подвинулась, давая ему место рядом с собой. Иосиф сел, она положила голову ему на плечо. Он обнял её, ладонь обдало теплом, тем, давним, её, Теклюшки, полузабытым им, хмельным — легко закружилась голова. Не сдержался, с благодарностью и нежностью дрожащими губами молча прильнул к её щеке.

— Как хорошо мне с тобой, — тихо сказала тогда она. — Вечно бы так...

Сказала и смолкла, закрыла глаза, он чувствовал это, чувствовал, как горит её щека, как горят его огрубевшие губы, тоже молчал, ни о чём не хотелось думать, кроме одного: они вместе...

Иногда они молчали, иногда тихо говорили...

Тогда у него было такое ощущение нежного родства с Теклюшкой, что, казалось, они от рождения были одним целым. Казалось, что когда-то вот так вместе пришли в этот мир, вместе прожили жизнь, вот только промелькнула она так быстро, что и не заметили в ней своей невыносимо длинной разлуки, всего того горестного, что было у них вместе и порознь...

Язычок пламени свечи горел ярко и еле заметно колебался. Иосифу на мгновение вспомнилась, как трещали свечи в его доме, когда в наводнение зажигал их одну за другой. Трещали, а он не знал, что делать, куда броситься в такую адескую ночь. Тогда ему казалось, что по дому слоняются привидения Марии и Стаса: от людей слышал, свечи трещат, значит, рядом не всё чисто...

Он захотел сказать об этом Теклюшке, но свеча не трещала. Сдержался: зачем, она же сочувствует Марии, у которой, как считает, также не сложилась судьба с ним, Иосифом. Конечно, Теклюшка права: Мария была не его женщиной, а он не её мужчиной, не то что любви, уважения между ними не было. Жила с ним Мария и как будто мстила ему за то, что нелюбим, за того, которого любила. А он тихо терпел всю её ненависть к себе и месть. И как тогда просто и доходчиво объяснила ему Теклюшка всё то, что было между ним и Марией: чужие, он — не её, она — не его... Вот только почему всё должно было быть через зло между ними, не сказала.

Двери в сени не закрывали. Вечер был тёплый. В сени глядела луна. Уже не бледно-жёлтая, как ещё недавно, а ярко-жёлтая, огромная. Она висела над лесом прямо напротив крыльца и лила вокруг жёлто-голубой свет. Он еле заметно покачивался на гриве леса, лёгкими волнами плыл по лужайке, трепетал на крыльце, серебристой тропинкой входил в сени, ковриком застывая возле лежака, на котором они сидели.

Вокруг было таинственно-тихо, всё как будто вымерло. О чём бы они ни начинали говорить, всё сводилась не к горестному, а ко всему тому светлому, что окружало их в молодости...

Но тогда у них были совсем другие, чем сейчас, чувства: у него — к ней, у неё — к нему. И состояние душ было такое, что никакими словами не выразишь, разве только так: нежность... Какая-то неземная, как этот лунный свет, падающий на них. Да, да, нежность, неуловимая, необъяснимая и, как сейчас вспоминалась Иосифу, с печалью...

А в общем, тогда, в молодости, состояние это и у неё, и у него было одинаковым: везде — он, она, где есть наяву, и где нет. Во всём видится он, она. На всё смотришь его глазами, её глазами. А иногда было невыносимо обидно, когда долго не видишь её, его: где же ты, любимая... любимый...

Особенно обидно было тогда, когда кто-то посторонний скажет о ней или о нём недоброе слово. И не хочется верить этому, а всё равно жжёт внутри, бередит душу — терпеть невозможно.

Тогда он, кажется, ни разу даже словом не обмолвился об этом, стеснялся своих чувств, будто они кем-то были строго-настрого запрещены.

И она не говорила ему, что любит. Одно говорила: “Как же я тебя жалею, Осипка”. А он не понимал смысла этого девичьего признания, обижался, не хотел, чтобы она его жалела, это вроде как бы унижало его.

Тогда же он вдруг тихо сказал:

— Любил я тебя, Теклюшка, и теперь люблю. Ничего, поживём ещё.

— Поживём, Осипка. Поживём и, даст Бог, ещё наживёмся.

Вспоминали родное, дом, свои деревни. Что касается Теклиного отчего дома, так он перестал быть для неё родным с первого дня, как только слухи о её бесстыдстве с Авдеем в снопах пронеслись по деревне из конца в конец. Отец кричал: “Или в омут, или выходи за него, если ещё возьмёт!..” “Иди к нему, просись, девка! — толкала её мать в плечи. — Возьмёт, так и стыд смоеет. А нам с отцом какой-никакой клочок земли перепадёт. Беги, падай на колени!”

Что ни слово — кипиток в лицо. Стыд руками не закроешь. И ей тогда действительно было хоть в омут, хоть в огонь. Выхода никакого. На улицу выбежала, как была, растрёпанная, а старые женщины пальцами тыкали: “Бесстыдница, блудница!” Те, что помоложе, и совсем молодые отворачивались, ехидно посмеиваясь. Ещё бы: не было в деревне, чтобы девушка вот так, как она, при всех в снопах голая с парнем забавлялась. Было, таскала Авдей девок по углам, так таясь. Было, гуляли вдовы с мужиками, с женатыми и бобылями. Тоже скрытно. Было, даже детишек “находили”, безотцовщину. Не любили тех детей в деревнях, нагулянными называли. Но ведь никто вот так-то, как она, открыто блуду не предавался. А здесь — как вызов тем женщинам, которые жили с нелюбыми и украдкой гуляли с каким-нибудь мужиком, и тем, которые хотели гулять, да боялись: а я вот какая чистая!.. А ты...

Да никакая!.. Обманул её Авдей! Подмял под себя, будто придорожный цветок в грязь перед всем миром втоптал. А потом смотрел да потешался, как она в той грязи катается, плачет, стонет, пытается подняться и не может, да ждёт, подаст ли ей руку Иосиф, эта голь, которую Текля вместо него, Авдея, выбрала. И дождался Авдей своего: не подошёл к ней Иосиф, руки не подал, из грязи не поднял. Тогда Авдей, утолив самолюбие её горем, поднял — спаситель. А как не поднять? Сам же втоптал, сам же первый ею натешился, давно к ней приглядываясь: и работница, и с лица ничего, и фигура словно точёная; с такою женщиной не грех и на люди показаться, многие мужчины на неё глядят так, что, кажется, съели бы...

Не прибежала к нему — пришла. По деревне брела сама не своя. Слезы глаза закрывали, земли под собой не видела. Взоры баб спину насквозь

прожигали, слова вслед, словно камни, летели: “Идёт к нему, блудница. Неужто возьмёт Авдей её? Да-а, везёт некоторым...”

Пришла... У калитки стоял, бросил сквозь зубы: “Умойся! Да в дом!.. А на них плюнь!” — махнул на баб, посматривающих из-за своих плетней: “Кыш!”.

Может, любил её Авдей? Как сказать... Хотя... какая любовь, если так? Сколько жили, столько и бил её, Иосифом глаза колот. Так что же это за любовь такая?.. У Текли, да и у Иосифа ответа на это не было. И у Авдея — тоже. Не раз спрашивала у него: “За что? Я девкой была”. Отвечал: “Было бы за что — убил бы!” Наверное, порода их, Юхновцов, такая: с женщиной жить да над женщиной той издеваться. Настродалась за Авдеем Теклюшка. Знала: её свекор, старый Юхновец, жену свою всю жизнь, как в узде, держал. В синяках ходила, никто не видел её обнажённых рук, ног до колен — одежда закрывала. А за что издевался, пожалуй, и сам не знал. Понимала, что и ей такого не избежать. Но всё же лучше с ним, зверем, жить, если берёт, чем в омут. С ним хоть надежда есть: когда-то откроется правда и ему, Иосифу, и родителям, и людям, смоеся позор с души. С позором жить тяжело, ух, как угнетает! Хотя, если кто-то не захочет поверить, так не заставишь. Да и зачем? Вот и получилось, что, сколько Теклюшка с Авдеем жила здесь, пока не раскулачили, и там, куда сослали, она одна была. Разница только в том, что одной среди своих быть невыносимо, а среди чужих — так как само собой понятное: кто она им, чужим людям?.. Это с родителями связь кровная, и когда рвётся, кажется, не пережить такое... А с соседями, односельчанами связь жизненно будто необходимая, но без неё легче обойтись... И когда она рвётся, так боли особой нет, обида есть: как же так, столько лет жили рядом, и вдруг... А с чужими и не надо искать никакой связи: у них — своё, у тебя — своё...

Время всё ставит на свои места. Обида на родителей забывается, начинаешь жалеть их: горемычные, не могли понять, что тогда было у неё на душе... Сплетниц слушали. Простила их Теклюшка, давно простила, ещё когда живы были, часто домой приходила... И баб-сплетниц простила, думая, не дай Бог никому из вас моей судьбы, не вникая, какая судьба у каждой из них. Одно зная, что своя судьба и у неё, и у Иосифа...

И об этом говорили они тогда, в ту их первую ночь на хуторе, в чужом доме. Говорили без обид, не упрекая друг друга в том, что с ними случилось. Пожалуй, и он, и она подсознательно одной фразой находили оправдание всему тому, что у них случилось не так, как надо: “Молодые были, в головах — ветер...” И этим якобы всё было сказано. Здесь твоё будто и не твоё: фраза-то укоренилась в жизни людей неизвестно с каких времён, бытует, надо — бери, ни у кого не спрашивая... А если твоё, так это то, что с тобой было до того, как за эту спасительную фразу ухватишься... Только не очень-то она спасает. Ведь то, что когда-то очень больно скользнуло по душе, будто выжгло всё там, оставив на многие годы пустоту, со временем всё равно напомнит о себе. И тогда вновь всколыхнется душа, пусть слабо, еле заметно, или, точнее сказать, когда почувствуешь внутри себя боль, пусть не такую жгучую, как в молодые годы; тогда казалось, мир рушился, значит, жива она, душа твоя... Тогда и жалость появляется, к себе и другим...

— Как же я жалела и жалею тебя, Осипка, чтобы ты только знал, — который раз говорила она. — Когда ты, как Авдей вёз меня венчаться, упал под копыта лошадам, я так за тебя испугалась, что думала, умру на месте. Хотела так закричать, чтобы всё на земле перед тобой разверзлось, а не могу звука исторгнуть... А когда увидела, что лошади взвились над тобой и останулись — отнула: живой мой Осипка, живой...

Хотя и до этого без тебя была если не мёртвая, так сама не своя. Как заговорённая, словно очумелая была. Когда родители от меня отвернулись, сама к нему пришла. Не помню, говорила ли что ему. Одно помню, усмехнулся он очень нехорошо, смял меня, на кровать бросил, кофту на грудях разорвал... Я слезами давилась, глаза лоскутьями кофты закрывала... А потом делала всё, что он велел: куда идти, ехать, что говорить...

После поняла, что покорила ему во всём, — одна я на всём белом свете, отвернулся ты меня. А тогда, когда увидела, что ты живой, — всё во мне вспыхнуло, оживило окаменевшую душу... Помнишь, как к тебе бросилась?

— А как же, помню.

— Бросилась я тогда к тебе — вот моё спасение!.. А ты из-под лба глазами презрительно глянул, будто пламя меня окатило, — никогда я тебя такого не видела, — и отвернулася. Я прошу, только позови, с тобой останусь. А ты не позвал. Авдей всё видел, злорадствовал: “Ты ещё ноги мне целовать будешь, что подобрал. Зачем ты ему такая?..” Угасла я вся, подумала, зачем же тогда прибежал, если так? Нехорошо подумала: чтобы напоследок поиздеваться.

— Нет. Хотел последний раз тебя увидеть. Хотя и вырвал Авдей тебя из моего сердца, но не с корнем. Долго рана там кровоточила, она и сейчас не затянулась как следует, жжёт... Думал тогда, тебя увижу — легче будет. Выходит, не о тебе думал — о себе. А если так, то был зол на тебя, в который раз говорю, прости.

— Не надо, тоже какой раз говорю тебе. Я на тебя никогда зла не держала. А вот обижалась долго: почему не поговорил с мной, когда всё случилось? Почему отвернулся? А когда ты отвернулся от меня, во мне уже и угасать было нечему: что будет, то пусть и будет. Думала, может быть, так будет лучше и тебе, и мне. Помнила, как женщины говорили, когда какая-нибудь девушка за нелюбимого шла: “Баба всё стерпит, со всем сживётся, а мужчина — нет. Мужчина от нелюбимой через любые сети пробьётся, а к той, которая любя, придёт”.

— Получилось так, что я не пробился, — тяжело сказал он. — Думал, что я тебе никто. Обида меня захлестнула.

— А я поняла твою обиду. Правда, как забеременела. Поняла, как тебе тяжело было представать рядом со мной Авдея. Ты же, как мы с тобой ходили, только дотронешься до моей руки и едва не млеешь. А тут — он. Между вами никогда согласия не было, хотя вместе на вечерки ходили. Он богатый, а ты нет. А вообще-то он на всех парней свысока смотрел. Он такой был, когда удумает у кого девку свести — сведёт. Липли к нему девки, было. Но не все поддавались ему, я — тоже. Я тебе не говорила тогда, что он и ко мне подбирался, только я ему: “Пошёл прочь!..” А это ещё больше мужика бесит. Ну, и опол, память отшибло. А ты, когда всё случилось, решил, что я сама к нему пришла.

— Да... Вот и ключ ко всему нашему...

— Всё, что было с нами, Осипка, когда расстались — миновало. А теперь настало наше с тобой время. Только надолго ли? — вдруг вздохнула она. — Когда-то кто-то один останется... Что тогда?.. Надо, чтобы я раньше...

— Не думай об этом, — глухо, будто издали, сказал он. — Нам ещё жить да жить.

— Если бы так...

Текля на какое-то время умолкла. Молчал и Иосиф. Её голова по-прежнему лежала на его плече. Он боялся пошевелиться, ощущая, как тихо и спокойно пульсирует жилка на её виске.

Текля была внешне спокойна, но он чувствовал, что на душе у неё тревожно. Понимал, Теклюшка не может избавиться от мысли, что когда-то кто-то из них останется один, боится, вдруг — она. Понимал, что сейчас не надо её утешать, только разбередишь душу и ей, и себе. А так посидят молча — развеется та тревожная мысль, исчезнет. Вот только надолго ли?

— Месяц скатился, — неожиданно сказала она. — Угасает. Пожалуй, скоро начнёт светать. Как же давно я не видела наших рассветов! Помню, такою порой они чистые, будто росой умытые. Свежо у нас. Легко... А там, где я была, рассветы какие-то тяжёлые, сырые. Там — лес и лес. И небо там какое-то иное, низкое, к земле давит. И месяц не такой: у нас — жёлтый, а там какой-то бледный, как выжатый. Хотя, может, так только кажется — всё там чужое.

— Скатился, — будто подтвердил он.

В открытую дверь по-прежнему лился лунный свет, но уже слабый, и со стороны, сбоку — луна склонилась к гряде леса, к реке, отсюда, из сеней она всё ещё была видна, поблёкшая. Звёзды на небе таяли, было оно уже не тёмное, а синее. Если перевести взгляд вниз, к земле, то можно было увидеть, что поблекла лунная тропа к крыльцу. А ещё, что она отодвинулась вправо от двух берёз напротив него, туда, где над тёмной грядой леса, на меже между болотом и хутором, висела печальная луна.

Иосиф видел, что кроны этих двух берёз заметно посветлели, хотя всё ещё были невыразительными на фоне тёмно-синего леса напротив, что на его гребне по-прежнему, как и ночью, еле заметно трепетала жёлтая лента, но уже подёрнутая лёгким красным цветом.

Присмотрелся — лента уже не та, не вечерняя, а утренняя — от солнца, которого ещё не было видно, но которое уже ощущалось. Приближался тот момент в жизни природы, когда оно скрыто ещё где-то далеко-далеко, но вот-вот должно вспыхнуть, зажечь гребень леса. И вскоре зажгло, высветился первый луч, заиграл на нём, словно сполох далёкого огня...

Иосиф вздрогнул, будто пахнуло жаром.

— Что с тобой? — испуганно спросила она и сняла голову с его плеча. — Вспомнилось, как уходил из деревни. Не по себе стало.

— Не вспоминай. Уже ничего не изменишь.

— А я и не хочу ничего менять. Зачем? — Текля вновь склонила голову ему на плечо, и он вновь ощутил, как пульсирует жилка на её виске. Но уже не так спокойно, как раньше, а быстрее, сильнее. — Только вспоминается. Знаешь, — продолжал он, — я тогда не от людей уходил, а от себя самого, от того, каким был в то время. Долго не понимал этого. А когда здесь очутился, много о себе и о них думал. Времени хватало. Ночи в одиночестве длинные. Особенно зимой. Думал и понял, что уходил я и от вины перед ними. Большая вина перед односельчанами на мне лежит. И не только за Стаса. Иной раз думаю, как только земля меня держит.

Давно и не раз порывался к властям прийти. Мол, такой-то и такой-то объявился. Может, ищите? А когда и не ищите, всё равно судите меня: отец преступника, да ещё какого — людей с немцами жёг... И ещё: у нас дамба после войны взорвалась, заминирована была. Так я видел, как немцы, когда отступали, по ней ходили, что-то рыли там. Знать, минировали, а я никому не сказал. И разве оправдание мне, что не знал об этом? Позже, как взорвалась, догадался... Хотя, кажется, как наши пришли, дамбу проверяли.

А потом думаю: а что власти? Перед ними вина одна: осудят, и всё здесь. Отбыл срок, вернулся домой, если там не сгинешь, — нет вины, искупил. А перед людьми вина вечная. Умрёшь, а всё равно не простят. Она как вопьётся в людскую память, так ничем, никакой тюрьмой её не вытравишь. Люди и должны меня судить своим судом. За то, что Стаса таким вырастил. Видел же, каким растёт, но ничего не сделал, чтобы уберечь парня: дед, баба, Мария не давали. Им подчинялся, мужчина, называется. За то, что...

— Не надо, Осип! — сказала Текля. — Как хорошо было, а ты вновь — вина!

— Может быть, и не надо, но всё же доскажу. Перед людьми виноват, они и осудили меня. Только как?.. Тем, что не приняли к себе? Больше они никак меня не затронули. Ну, крикнул Михай Ефиму, чтобы тот закрыл передо мной двери в сарай, когда я к пригорку приплыл, где они спасались. Конечно, слышал Михай, как Ефим упрекал меня, дескать, приплыл, ибо страшно одному в наводнение, и всё... И весь суд? А мне надобно знать, что я, если по совести, заслужил, какое мне должно быть наказание. А то: прочь...

— Пожалуй, и этого тебе хватило, — сказала Текля. — В ледяную воду тогда бросился, сгинуть мог...

— Но ведь не сгинул.

— Значит, вину свою преувеличиваешь. Если в чём и виноват, то есть же иной суд. Он один справедливый. От него не откупишься, его ничем не проведёшь. Его никому не миновать. Ни богатым, ни бедным. Ни властелинам, ни нам с тобой. Есть же суд тот, Осипка?

— Чего не знаю, того не знаю. Может, и есть, — ответил он. — Но всё-таки, может быть, тот, кто в том суде за мной наблюдает, нечто моё уж очень ужасное просмотрел. А может, и пожалел меня, дал шанс подумать и самому себя осудить, вот и выплыл.

— Слушаю я тебя и вижу, что ты сам себя и судишь, — сказала она. — Даже теперь. Мы только встретились, ещё не наговорились, а ты уже... Не убивайся, Осипка. Зря всё это. И себя не суди, и людей. А если, как ты говоришь, они тебя не судят, так не за что. И если даже и было бы за что, так прощали тебе. Значит, понимали всё, что с тобой приключилось, люди просто так ничего никому не прощают. Говорю, поняли, что нет твоей вины перед ними. Страдалец ты. И они страдалцы.

— А ты?

— Была страдальцей, теперь нет. Я же с тобой. Нам теперь надо жить, а не страдать. И не надо ни на кого обижаться. И никакие суды тебе не нужны: ни от власти, ни от людей. Если бы ты кого уж очень интересовал, давно нашли бы — и власть, и люди. Не здесь, так в городе. Ты же раньше часто туда плавал. А так живи, зачем, чтобы душа страдала? Она же не каменная, может и не вынести.

Иосиф слушал её тогда и не понимал, почему он вдруг начал такой разговор. Не ко времени он. А вот что-то качнулось в душе, вывернулось, и её прорвало, как ту дамбу... Вновь замолчал, теперь уже надолго. И Теклюшка молчала, пожалуй, что-то своё вспоминала, о чём-то своём думала. Затем, словно очнувшись, приподняла голову, пристально посмотрела на него и начала осторожно проводить рукой по давно не бритой щеке. Гладила молча, нежно, рука её дрожала, он ощущал, как всё тело наливается теплом, ему, кажется, как никогда за многие годы, было хорошо и спокойно, глаза сами закрылись...

Вдруг она вздохнула, обняла его, прильнув щекой к его щеке, и тихо сказала:

— Выговориться тебе хотелось. Но не было перед кем. Взволновался.

— Откуда знаешь?

— Да по себе знаю. Поговорили, и будто гора с плеч. И у тебя, и у меня.

— Оно так, Теклюшка. Как захотелось жить! А то душа усыхала. Исстрадался. А ты меня оживила. Теперь, Теклюшка, мы, как ты сказала, должны жить, а не страдать.

— Говоришь, оживила я тебя. Если бы ты знал, как ты меня оживил!.. Как тебе сказать... Видел, как в зной при дороге какой-нибудь корешок усыхает? Пылью его занесёт, люди стопчут-перетопчут, кажется, в нём уже нет ничего живого, и вдруг пройдёт дождь, и — ожил он, ожил. Так и я, как только тебя увидела, сразу и ожила: мой Осипка, мой! За мной пришёл, чтобы спасти.

— Удивительно, что узнала. Состарился. Лица нет, щетина на нём. К земле гнусь.

— Как узнала... Появился — почувствовала: ты!.. А меня как ты узнал? Я же уже так состарилась, что...

— Брось! Какая была, такая и есть. Глаза твои. Тепло твоё. Вся такая, как была. Тоже тебя почувствовал. Да я тебя с завязанными глазами узнал бы: моя Теклюшка.

Сказал и вновь подумал о том, что с ней будет, когда останется одна? Когда-то же это случится. Он стар, слаб. А женщин страдания делает сильней, выносливей. Страдальцы дольше живут. Вон сколько было примеров в Гуде, да и в Забродье, когда страдальцы-женщины жили долго-долго. Только зачем так, через страдания?.. Женщины без страданий жить долго должны. И Теклюшка должна жить долго-долго. Но не здесь в одиночестве, а среди людей, с людьми, хоть и он, и она их боятся. Особенно она: в ссылке могут вернуть...

Ему захотелось сказать Теклюшке о том, что если вдруг он умрёт, то ей непременно надо идти в Гуду и обязательно найти там Ефима. А если того уже нет (всякое может случиться, тоже, как и он, Иосиф, в летах), — Николая или Михея, да сказать им: “Я жена Иосифа Кучинского. Он умер.

Осталась одна. Помогите”. Пусть расскажет им всё о себе и о побеге из Сибири. Они поймут её, не выдадут, не оставят в беде, если надо будет, спрячут. Как бы плохо ни относился Ефим к Иосифу, всё равно невинную Теклюшку в обиду не даст, конечно, если живой.

Не сказал, будет ещё время. И это её, дескать, нам теперь надо жить, а не страдать, будто вдохнуло в него надежду на добро.

4

Вместе они были почти два года. И радостные, и тревожные для них. Непросто двум столь пожилым людям жить отдельно от всего мира. Непросто не только потому, что уже нет здоровья, что надо как-то добывать еду, а ещё потому, что каждый день боишься: вдруг сюда кто зайвится... Нет, нет, не хозяин, с ним они сладят, тот сам ни за что пострадал. Лесники могут прийти, милиционер или ещё кто из власти.

Казалось бы, власть — это тоже люди. Только почему-то, сколько Теклюшка ни сталкивалась с теми людьми, не видела от них ничего хорошего для себя. Раскулачили, со своей земли изгнали, когда не хотела идти, в спину толкали, матерились, оскорбляли, и сколько ни плакала — никакого сострадания.

Казалось, что те люди не имели сердца. Казалось, их родили не матери, а звери. Казалось, они никогда не были детьми. И ещё: они никогда никого не любили. Казалось, они ненавидели весь мир, в каждом человеке видели врага.

Она рассказывала Иосифу, как в районе на площади перед каким-то строением, где и была власть, собралось немало таких же раскулаченных, как они с Авдеем. Были семьи с детьми. Дети плакали, но и на них, как и на взрослых, стариков и старух, те, кто тогда был властью, смотрели, как на своих заклятых врагов.

И поняла тогда Теклюшка, что ты в этом мире ничто перед такими людьми. И также понимала, если бы тебя не было, то они были бы никем, потому что им надо, чтобы были бесправные и обездоленные.

Бесправной и обездоленной была она и в ссылке, куда их везли долго-долго. Везли, как животных, в каких-то зарешёченных вагонах, где ни сесть, ни прилечь — столько людей. И относились к ним, как к животным, — об этом тяжело было вспоминать, но она не могла забыть весь ужас пережитого. Говорила, что видела и по дороге, и в ссылке много человеческого горя и страданий. И видела, как в этом горе люди помогали друг другу: делились последней краюхой хлеба, глотком воды. Также видела и тех, кто был готов отобрать у голодного последнее. И отбирали.

Такие без очереди, распахивая слабых, лезли с миской к котлу, когда на какой-нибудь остановке приносили похлёбку. И ели такие не по-человечески — по-волчьи, глотая еду, а потом вылизывали миски. Такие крутились возле сопровождающих, по-собачьи заглядывали им в глаза...

Таких не любили, но и не трогали: себе хуже...

О владельце хутора, не известном им Антоне, именем которого называл себя Иосиф, когда плавал в город к своему товарищу Архипу, она думала, как о хорошем человеке. Хозяин. Смог же в глуши среди болот расчислить площадь, возвести дом, поставить кошару, сарай, другие строения.

Говорила об этом Иосифу, и он соглашался: “Известно, лентяй такое хозяйство не содержал бы. И Ефим сказывал, что Антон был хозяином настоящим и хорошим человеком. Ефим, когда был молодой и бродил по земле, на какое-то время к нему пристал, у него работал, а Боровец брехать не будет”.

Если такой человек и вернётся, то разве не посочувствует им?..

Вера в доброту хозяина хутора обнадёживала: как-нибудь и при нём доживут они тут свою старость. Вот только бы умереть вместе, такое с мужем и женой случается. Но это от них не зависит...

И понимал Иосиф, что Теклюшка здесь одна без него не выживет. Понимал, что никуда она отсюда не пойдёт, ни в город, где настрадалась,

ни в свою деревню, где у неё уже давно никого нет. И в Гуду к чужим людям не пойдёт.

— Как Бог даст, так и будет, — говорила она, когда рассуждали об этом. — Живём и живём. И нечего Бога гневить: мы же вместе. Ты хоть сейчас, да мой хозяин. Как же я этого хотела!

Со временем постепенно, привыкнув к хутору, к чужому дому, Текля стала ощущать себя здесь хозяйкой. Не спеша, словно боясь нанести урон чужому жилью, вымыла с песком местами потемневший от времени пол. Ужасалась: откуда столько песка? Иосиф пояснил ей, что это высохший болотный ил, принесённый когда-то ворвавшимися сюда людьми. Они-то и истоптали пол грязными сапогами, прежде чем изгнать отсюда Антона и его семью, а кто ещё? Семья в лаптях ходила, вон они, до сих пор в кладовой, старые и новые, целая гора, большие и маленькие.

Затем Теклюшка вымыла окна, с углов, из-под печи смела паутину, тщательно провела метлой по серому потолку, словом, привела дом в порядок. Иосиф помогал ей, носил из родничка воду, передвигал стол и лавки. Глядя, как она управляется, представлял, что они в своём доме. Представлял, прекрасно понимая, что в чужом они, что своего угла им уже никогда не иметь, и холодное щемящее чувство обиды охватывало его. Стараясь не показывать этого, как мог, молча улыбался: пусть она хоть на миг почувствует себя хозяйкой.

А она, если и чувствовала себя такой, то только тогда, когда руки были чем-то заняты да когда он был рядом. Убирая в доме, Теклюшка сетовала, что в нём нет иконы: в левом углу, на полке, где обычно их ставили в её деревне, лежало смятое потемневшее, чуть ли не истлевшее полотенце. Хозяин ли забрал иконы или пришлые люди — как знать.

В доме убирала, но по-прежнему они жили в сених — пусть ждёт хозяйна, семью. А вот печь Теклюшка протапливала, как и раньше протапливал Иосиф, — без теплой печи жильё умирает. И в печи варила еду. Было из чего, Иосиф по-прежнему время от времени выбирался в город, покупал только самое необходимое: крупа, соль, хлеб. А мясо и рыбу, как и прежде, добывал сам: устанавливал в лесу петли на зайцев, тетеревов, рябчиков. А на реке в заводях всегда стояли верши.

Когда приплывал в город, чёлн, как и раньше, привязывал к ольхе недалеко от Архиповой бани. Случалась, на берегу встречал кого-нибудь из местных рыболовов, пожилых мужиков, но были и парни. Их лодки покачивались на воде недалеко от его чёлна. Здесь, как и при Архипе, мужчины, жившие у реки, держали свои судёнышки. Иосифа они знали в лицо, не раз видели его вместе с Архипом.

Иосиф ещё с лодки, здороваясь с ними, молча кивал головой. Затем не спеша подымал ореховые удочки, перекладывал (нарочно сделал их и брал в чёлн). Котомки с рыбой или ещё с чем не доставал, ждал, пока останется один, чтобы взять их и двинуться к базару, где у него ещё у ворот перекупщики за бесценок забирали, как говорили, “товарец”. Заберут, дадут деньги, а он — назад, к реке, к магазинчику, стоящему почти напротив Архипового дома, где и покупал, что было надо.

Случалась, мужики и парни подходили к нему, спрашивали, клюёт ли рыба и где, если не секрет. Отвечал с готовностью, но не спеша: “Поклёвывает, и неплохо. Лучше всего на утренней зорьке, когда тихо, когда над рекой ещё стоит туман. Хорошо берёт в заводях, возле травы, у обреза. Попадаетея линь и лещ. Есть крупная плотва, густера с ладошь. На дно надо опускать насадку. Если в полводы — мелочь не даст подойти крупной рыбе. Крупная берёт только со дна. Клюёт на червя, на пучок. Подсекать надо, когда поплавок (у него из пера аиста) ляжет. Но и здесь не надо спешить, пусть немного потянет, тогда — бери его! Когда лещ, даже крупный, идёт легко. Но надо поднять его на поверхность, дать глотнуть воздуха, тогда он на некоторое время застынет — и тяни его спокойно к лодке, бери за жабры, бросай на дно. А вот с линею тяжелей, хотя его также надо тянуть поверху, леску нельзя расслаблять. Там же, у травы, в полводы попадаетея и крупная плотва. Ну, это уже на любителя”.

Рыбаки любят, когда кто-то рассказывает, где, как и на что ловится. Таких уважают, угощают папиросой. Могут предложить и стаканчик. И угощали, и предлагали. Благодарил. От стаканчика отказывался, как и от папиросы: не пью, лета уже не те, да и на воде опасно. И не курю, давно бросил.

Случалась, кто-то из парней просил продать рыбу: “Дома похвастаюсь, какой я рыбак! А вы говорите, мелюзгу приношу”. Продавал. Когда спрашивали, сколько дать, отвечал: “А сколько дадите”. Обычно расщедривались: а старик не скупой... Тогда и мы не пожадничаем: возьми! Много? Ничего, батя, когда и где ты ещё заработаешь...

В такие дни, когда встречал неудачных рыболовов и отдавал им свой улов, а они за это щедро расплачивались деньгами, в город заходил ненадолго. Причём только в тот же магазинчик напротив дома Архипа, чтобы купить самое необходимое, и сразу же — назад, к челну.

Посетителей там всегда было мало, в основном старики, жившие поблизости, женщины да детишки. Никто на него не обращал внимания.

Здесь он купил Теклюшке валенки, плюшевую жакетку, платье, лёгкий и тёплый платки. Себе из одежды ничего не покупал — есть, что носить.

Когда привозил Теклюшке обновки, укоряла: “Зачем так деньги транжирить?” Но по глазам видел — светлели, по улыбке — радуется покупкам. Особенно радовалась она цветастому лёгкому платку, который сразу же набросила на плечи и спросила, шутя:

— Помолодела ли?

Улыбнулся, ответил:

— Ты у меня всегда молодая...

Улыбался, а на душе было тревожно: каждый поход в город — волнение, да ещё какое! Плыл отсюда, волновался: а вдруг со мной что случится...

Возвращался из города — также тревожился: как там Текля...

Знал, боялась и она, провожая его к челну, успокаивала:

— Не волнуйся, Осипка, ничего со мной не случится. (Она всегда так его называла, когда-то придуманное Ефимом “Иосиф” ей никогда не нравилось — чужое.) Я вот здесь затаюсь (показывала в густую заросль можжевельника недалеко от родничка на меже между хутором и болотом) и буду тебя ждать. Надо тебе плыть, ничего не поделаешь. Продашь всё, да сразу назад, не задерживайся. Город есть город, чужой он нам с тобой, и люди там разные.

Соглашался, говорил:

— Я мигом. Ты уж себя смотри, Теклюшка, а за меня не бойся. Я осторожно, ни один бес за мной не уследит. А пока в доме побудь, ночь ещё не сошла, холодно. А когда тепло станет, можешь и по меже походить.

— Перекрестись, — говорила она и, собрав три пальца вместе, творила над ним крест: — Боже, сохрани и помилуй раба Твоего Осипа.

И он спешил и туда, и назад. Как только начинал резвиться рассвет, выходил из дома, направляясь к болоту, к кладкам. В это время, если бы кто и хотел проследить за ним, когда шёл по трясине по кладкам, не проследил бы: за два шага ничего не видно. А ему что, он и с закрытыми глазами пройдёт здесь: это его болото, и кладки его.

Плыть в город по течению, конечно, легко. Назад хуже. Каждый раз, плывя против течения, чувствовал, как убывают его силы. Боялся, что вскоре вообще не сможет грести против течения и не сможет отталкиваться шестом от дна. Боялся, но Теклюшке не говорил об этом, не хотел её тревожить.

Возвращался из города всегда ещё засветло. Прятал чёлн в тростнике в заводи, набрасывал на плечи мешок с покупками и, как только мог, спешил к ней. По плахам, по болоту, кажется, шёл тихо, сапогами не шлёпал, а она ещё издали слышала: он, её Осип. Шаг у него осторожный, размеренный: туп, туп, туп... Кажется, и дыхание его слышала: тяжеловатое, будто придерживает его.

Когда Иосиф поднимался к родничку, выходила навстречу, спрашивала:

— Небось, устал, Осипка?

— Да нет, — говорил он, снимая с плеч мешок и останавливаясь возле неё. И, чуть отдышавшись: — Дай я тебя обниму, соскучился.

Она стыдливо шурилась — не молода, чтобы обниматься, — но лицо подставляла. Он обнимал её, прижимал к груди, огрубевшей рукой гладил по голове. Она молчала, не шевелилась, будто боялась спугнуть ту кроткую нежность, которая наполняла его.

Ему казалось, что эта нежность исходит откуда-то издалека, наверное, с того времени, когда они были молодыми, когда ещё ничто не предвещало той беды, которая их так надолго разлучила...

— Как же мне хорошо, — говорила она. — Век бы так с тобой стояла.

Это была поздняя нежность. Это было не утихающее эхо их далёкой любви, вспыхнувшей однажды между ними много лет тому назад на сенокосе в Демковских болотах, когда вдруг встретились их взоры, и всё вокруг озарилось ярким светом, встревожило, взбудоражило души, и не известная им до той поры щемящая сладость чувств опьянила и его, и её...

А было так: шёл он солнечным утром, чтобы скосить дужок между зарослями лозняка, а навстречу ему — она с кувшином в руках...

...И встретились глаза — его и её... И озарились души дивным, не известным доселе им светом... И у него, и у неё вскружилась голова... И он, и она ощутили одно: как же жил он и жила она на свете, не зная такого чувства, которое когда-то люди называли любовью...

И ни время, ни холода и метели, ни расстояние между ними в тысячи километров, ни длинная жизнь порознь, когда у каждого были свои горечи и беды, ни обиды его на неё, а её на него не смогли погасить в их сердцах то пламя любви...

...И вот, когда он приплывал из города, она, услышав его шаги, выходила из можжевельника навстречу. Иосиф обнимал Теклюшку, и они долго стояли обнявшись, будто прислушиваясь, она — к тому, что сейчас делается у него на душе, а он — к ней. Случалась, она могла пошатнуться, тогда он, поддерживая её, говорил:

— Пойдём. Ноги твои...

— Да не ноги это. Мне так хорошо, просто голова кружится. А ноги вылечились и уже отдохнули — где же они здесь находились бы? — не болят.

Язвы на её ногах действительно зажили. Она долго прикладывала к ним подорожник, затем, когда язвы зарубцевались, парила ноги отварами из берёзовых почек. По усадьбе ходила в мягких лаптях. Точнее, ходили они вместе, она осматривала усадьбу и всё качала головой, дескать, сколько же лет пустует такая хорошая земля.

А земля действительно пустовала. За то время, как её не обрабатывали, она густо заросла травой, и чтобы сеять, надо было бы иметь лошадь и плуг.

Иосиф видел, как Теклюшка скучает по крестьянской работе. Скучал и он. И не только теперь, а все эти годы, живя здесь. Конечно, он давно мог бы обрабатывать какой-нибудь кусочек земли. Мог бы косить — косы в сарае были, между прочим, как и плуг, и борона, и лопаты, и грабли. Наверное, когда отсюда уводили семью, новым “хозяевам” жизни надобности в инструменте не был. Не косил, боялся: вдруг пролетит самолёт, заметит...

5

Случилось это через месяц после того, как Иосиф привёз Теклю на хутор.

Однажды, когда он пошёл к реке проверить вентери, она, ожидая его, ходила по усадьбе. Ей было интересно узнать, чем занимались хозяева хутора, осмотреть постройки: может быть, в какой следовало бы навести порядок, ведь прошло много времени с тех пор, как семья ушла отсюда. В доме она уже давно всё прибрала. Окна светятся, лежаки застланы тем, что Иосиф привёз из города, возле печи — вилы и ухваты, на полке, приделанной к стене справа от двери из сеней, — глиняная посуда, в запечке — чугуны. Словом, заходи и живи...

И в сенях был порядок. Здесь Текля также всё вымыла и даже разбрасывала по полу польнь, как обычно делали женщины в её деревне, чтобы не было мух. А вот крыльцо сколько ни натирала, не посветлело, как было чёрным, таким и осталось, доски подгнили. Иосиф собирался сделать новое.

Ходила Текля по усадьбе, осмотрела пустую покосившуюся кошару, из которой давно уже выветрился запах, разве что ощущалась горькая пыль — мёртвое без животных строение. Потом подошла к сараю, стоящему чуть дальше. Покосившиеся ворота были прикрыты, ощущение такое, будто кто-то недавно был там, но вышел, чтобы вскоре возвратиться. Постояла перед ними в нерешительности, затем потянула за засов, ворота пронзительно закричали, да так, что по телу пробежала дрожь. Отпрянула, хотела уйти, но любопытство остановило: внутрь влился солнечный свет, упал на доски, сложенные у противоположной стены, на длинный невысокий ящик, стоящий на двух кругляках. Возле ящика, словно жёлтая дорожка, рассыпана свежая стружка.

Застыла, в глазах потемнело, в висках застучало, жаром пахнуло в лицо — гроб ладил Иосиф. И недавно, пожалуй, перед их встречей закончил, ещё даже стружки не убрал. Для кого?.. Неужто для себя?..

Тяжёлый вздох вырвался из груди, поняла, кому предназначалась домовина — так гроб в Демках называют. Не вскоре в себя пришла, подумала, что готовился Осип к уходу. Ну, что ж, если отстранённо рассуждать, так здесь нет ничего удивительного, старый человек. Помнила ещё с детства: случалась, в деревне старики мастерили себе гробы. При этом меж собой спокойно говорили, как о чём-то обычном, необходимом, дескать, сам сделал, так буду знать, во что положат...

Был гроб и у её дедушки по отцу. В клетке стоял несколько лет, прежде чем по назначению пригодился, он рожь в него насыпал. И ничего, привыкли. Так это же в деревне, там другое, там люди. А здесь Осип что думал, на что рассчитывал, когда делал?

Пошатываясь, словно на чужих ногах, вышла Текля из клетки, направилась к меже, к родничку его встречать. Стояла там, ветер шумел, где-то рядом скрипело старое дерево, дятел стучал, никак не могла прийти в себя, понимая, каково ему было все эти годы. А через какое-то время из кустов неслышно показался Осип, неся весомую сумку рыбы. Глянул на Теклюшку, остановился, заметил, что она растерянная и какая-то встревоженная, испуганно спросил:

— Что случилось?

— Ничего, — вздохнула она, качая головой, — в клетку зашла...

— Вот оно что, — сказал он. — Было. Заскучал. Набрал в голову. Ну, и сладил. Думал, пусть будет. Думал, почувствую, что время моё на исходе, затаю куда подальше, лягу и буду ждать... Изрублю!

— Зачем? Не руби. Пусть долго не надо будет. Забудь...

— Забуду. И ты забудь.

— Хорошо...

6

...Вспомнил сейчас всё это Иосиф, лёжа на земле, вновь попробовал подняться. И вновь полоснула мысль: “Как быть дальше?..” Больно полоснула, сжался, помнил, какой ужас охватывал, когда, случалось, в голове навязчиво возникало: а кто же первый...

И хотя прочь гнал эту мысль, но редко когда получалась избавиться от неё. Особенно угнетала она в тот день, когда Теклюшка увидела гроб. Укорял себя за то, что не разобрал его сразу же после того, как привёз её сюда. Хотя и помнил о нём, совсем не уместном сейчас, но как-то не находил времени его уничтожить.

Конечно, иногда забывал о нём, особенно когда были вместе, когда сидели за столиком в сених или на старом крыльце и говорили, когда им было хорошо...

Пришли они тогда к дому, Иосиф молча высыпал рыбу в корыто в сених — четыре больших, словно боровы, линия, огромная щука — и не знал, о чём говорить. Теклюшка тихо подошла к нему, понимая, что у него на душе, сказала:

— Да выбрось из головы, Осипка. Что Бог даст, то и будет.

— Выброшу...

Больше она в клеть не ходила. Не ходил и Иосиф, будто забыл. Хотя забудешь ли, не для того делал. Делал, поторапливаясь, рассудительно, будто что-то очень нужное, без чего человеку вскоре нельзя будет обойтись. И никаких особенных чувств не было: сделаю такой, какой хочу, себе делаю. Казалось, руки давно отвыкли от столярного дела. Ведь сколько лет миновало, когда вместе с Ефимом возводил людям дома. Вот и размял руки. Ощущал, как поддается дерево. Не забыли, как держать инструмент. Не дрожат, когда ведёт по доске сначала рубанок, затем фуганок. Делал несколько дней. Кажется, даже позабыл, что делает, доски строгал с какой-то успокаивающей одержимостью, наслаждался запахом смолы, свежей стружки.

Хотя доски были старые, но не подгнившие, хорошо высохли, лёгкие, лежали в штабеле, по-хозяйски переложённые реечками, чтобы между ними ходил воздух. Всё честь по чести, отвердели, смола застыла, взворошил её рубанком — лесом пахнет... Снял первую стружку, вторую — жёлтая доска, ровная — загляденье!

Должно быть, хозяин когда-то намеревался пустить эти доски на пол, или на какую-нибудь пристройку к дому. Ещё бы! Толстые, пятёрка (пять сантиметров). Пилили их тут же, около сарая. Здесь до сей поры стоят высокие чёрные козлы. Наверное, пилил с кем-то из старших сыновей. Говорил же Ефим, что ещё когда он юношей работал здесь у Антона, у того детишки уже были: двое мальчишек, одному лет семь, другой чуть постарше. Доскам же не более лет пятнадцати — двадцати. Иосиф видел это по тому, как они почернели, — не очень глубоко. Сосна хорошая, зрелая, жучком не поточена. Конечно же, Антон знал в дереве толк, сразу видно.

Пожалуй, сам стоял наверху, а сын внизу. Вверх тянуть пилу легче, а вниз — силу приложить надо. Обычно молодого снизу ставят, пусть показывает, на что способен, пусть учится, пока отец в силе...

Лиц хозяина и его сына Иосиф не представлял. Представлял только, как двое, старший и молодой, затаскивают на козлы хорошо просохший окоренный сосновый чурбак. Не длинный, двухметровый, с таким вдвоём не так уж и тяжело справиться. Сначала подают наверх комель, укладывают, чтобы не соскользнул, затем — второй конец. Конечно, перед этим подалеже отогнав малых, которые крутятся рядом, — дети такое дело не пропустят. Кору собирают в корзинки, несут матери. А она из той коры, подбросив щепы, под таганком разведёт огонь, чтобы сварить в горшке картошку. Очень вкусная она будет, когда и малые заняты делом.

Таким временем весело около дома. А когда делали гроб, детишек — подалеже из подворья!..

Вот как задумано природой: доски из одного дерева можно и на жилище пустить, и на гроб. И работа у человека — дом возводить и гроб делать — одними и теми руками.

Иосиф вместе с Ефимом домов поставил немало. А вот гробы они не мастерили. Случалась, просили люди, отказывались они с Ефимом, дескать, иди, человек, к тому-то и тому-то, те умеют, они немало за свою жизнь их сколотили.

Эта было привычным делом. Жизнь есть жизнь. Такие и себе заранее делали гробы. И хотя немного было таких мужчин, на деревню два-три, но были. В Гуде, помнится, дед Фёдор и дед Кондратий. Погибли в войну, сгорели. Людям гробы ладили, а сами... Ветер их пепел развеял, как и всех остальных гудянцев, кого фашисты согнали в клуб, когда жгли деревню...

Ну, что ж, думал Иосиф, если сделал, пусть будет. Только как-то нехорошо получилось. Да и чужие доски взял. Одно оправдание, что не было, у кого спросить. Хотя, когда вернётся хозяин, ему вряд ли объяснишь свою прихоть. Разве что попробует выкупить, деньги же есть. А если случится, что не дождётся хозяина, деньги лежат в доме на полочке, с которой сняты иконы и над которой висит потемневшее полотенце — найдёт. Место заметное.

Пожалуй, Текля ощущала, что он страдает из-за этой вещи, которую она неожиданно увидела, и на следующий день сказала ему:

— Может, по дрова пойдём, Осипка. День-два, день-два — и не заметишь, как дожди пойдут, похолодает. А там и зима ляжет.

— Пойдём, пойдём, — обрадовался он, рассчитывая, что такое занятие развеет грустные мысли.

А дрова, пока ещё тепло, действительно надо было заготовливать — собирались здесь зимовать. А где же ещё...

Дрова заготавливали около болота, этого, большого, которое сегодня перешёл Иосиф. Сушняка здесь было много. Хороший сушняк: сосенки, березняк. Пилили двуручной пилой вдвоём. Носил же он один под навес, Текле не позволял: не женское это дело.

Перезимовали, как она говорила, горя не зная. Крупа была, рыба была, зайчатина, сушёные и в кадушках грибы, ягоды. Хутор не оставляли. Правда, однажды натерпелась страха. Как-то открыл Иосиф двери из сеней, а из-за реки катится эхо выстрелов: бух, бух... Глухое, далёкое, еле слышное, но ведь стреляют...

Понял Иосиф, что там, за рекой, кто-то охотится. Не дай Бог, сюда явится. Хотя понимал, что вряд ли: болота вокруг хутора засыпаны снегом, но лёд тонкий, умный человек не будет погибели искать. А всё-таки...

— Что там? — испуганно спросила она из сеней. — Люди?

— Охотится кто-то. Не бойся, сюда не придёт.

Вернулся в сени, захлопнул дверь, изнутри набросил защёлку, долго сидели молча. А под вечер разыгралась метель, снег залепил окна. Радовался Иосиф: заметёт их следы на усадьбе, и человека сюда не пустит, если у того есть голова на плечах, домой пойдёт тем же путём, что пришёл...

После этого с хутора далеко не уходили. Если и удалялись, так раза три, когда Иосиф ставил петли на зайцев. Вдвоём ходили, не мог он оставить одну Теклюшку. Он — на лыжах, она — в снегоступах. Лыжи у него были. Сделал ещё в первый год, как остановился здесь. Из берёзовых плашек сделал, широкие, лёгкие. Обстрогал плашки, затем хорошо распарил в чугуне, чуть пригнул заострённые носы, приладил крепление из резины — нашлась и она в сарае, не лыжи — кукла.

Текля на них не стала. Ей сделал из еловых лапок, как она говорила, снегоступы. Сама подсказала, делали люди там, где жила в высылке. Удобные. Ходила в них в валенках, что ещё осенью он привёз из города, последний раз перед зимой выбравшись на базар.

А оставил он её одну на усадьбе весной, в конце марта: надо было ему петли проверить. День солнечный был. Тогда последний раз видел её живой...

7

...Внутри у Иосифа не утихала буря. Сталкивались, смешивались, вихрились и грустные, и радостные воспоминания. Всё смешивалось, и горестное затягивало всё хорошее, что когда-то было в его жизни. Хотелось хоть немного света. А его не было. А когда и был, так не здесь, не рядом с ним, а где-то далеко, неуловимый и чужой, из чужих жизней. Из тех жизней, которые проходили мимо него в довоенной Гуде. Там люди жили. Детей рождали, дети росли, женились, выходили замуж... Сами рождали и растили детей, становились старыми, умирали... Вот такой извечный круг, вот так задумано Тем, кто создал землю и всё на ней, в том числе и человека...

Казалось, что у каждой семьи, только не в его, всё было в ладу. Казалось, там, в чужих семьях, любят и дорожат друг другом муж и жена, жена и муж. Казалось, там дедушки и бабушки радостно доживают своё, находя утешение во внуках.

Радость, неизвестную ему человеческую радость за детей и внуков, видел Иосиф у соседей и односельчан в довоенные времена. Видел и вчера в городе, когда неизвестная женщина, чем-то похожая на его мать-мачеху, говорила ему о своей дочке и внуках.

Несомненно, радость была и у Кати, и у Нади, когда вчера они со своими детишками шли из города через мост к шоссе, чтобы остановить попутную машину и поехать домой, в Гуду, где их ждут.

Радость за них наполняла Иосифа, когда увидел, что никто за ними не идёт... И долго его согревала та радость: живут, как и все люди, детей растят.

А сейчас у него никакой радости: одиночество, леденящее душу, да угнетающая беспросветность. Вот и всё, что владеет им.

“Боже, что же это за наваждение на меня”, — прохрипел он.

В ответ — ни звука.

Да и не ждал он ответа! От кого? Один он здесь среди непроходимых болот, среди густого леса. Хрипи не хрипи, никто тебя не услышит, и даже эхо не отзывается. Чтобы отозвалось, кричать надо, да так, чтобы не то что лес, мир вздрогнул. Но нет мочи...

Лежит на земле, над ним — небо, голубое, хрупкое, с белыми перистыми облаками. Земля под ним, кажется, уже тёплая, телом нагрел, что ли... Значит, душа ещё теплится. А может быть, душа здесь ни при чём. Наверное, всё же за день нагрелась земля-матушка пока ещё не ослабевшим, хотя уже почти осенним солнцем.

Лежит, а вокруг него гряда леса, с которым сжился за эти годы, за лесом — болото справа и слева. И с ним сжился, да ещё как...

С правой стороны, километров за десять отсюда, — шоссе. Оно за большим болотом. Добираться через болото к шоссе, по которому два раза в неделю из области в район и назад ездит его хороший знакомый шофёр Сергей Говорков, Иосифу с каждым разом всё труднее. А сейчас, должно быть, он уже и не сможет, совсем обессилел, износился, как старая одежда.

Проезжает Говорков и около Гуды, правда, далеко от неё, но проезжает. Слева за болотом, намного меньшим, чем то, которое он сегодня преодолел, река. Дубосна. Она протекает возле Гуды.

По реке против течения, если бы и хотел Иосиф, в Гуду ему не добраться, не хватит силы шестом править, чтобы завести чёлн к деревне, очень далеко она.

Конечно, можно сказать самому себе: “Иди берегом, Иосиф”. Сказать можно, только идти надо будет неделю, если не более, и только до холодов, иначе быстро окочуриться.

И в город он не поплывёт, никто Иосифа там не ждёт, уже два года как нет его товарища Архипа, человека, который поддерживал, который ему помогал и которому Иосиф так и не открыл своего настоящего имени.

В западне Иосиф. Когда-то искал на хуторе избавления от людей, а вышло, сам себя загнал в ловушку: отсюда ему, если бы и хотел, вряд ли вырваться. Да и не будет он вырываться!

Сергей Говорков теперь единственный во всём свете сочувствующий Иосифу человек. Сергею можно было бы и горе своё открыть, но не открыл, что-то сдерживало, наверное, стыд: не хотел Иосиф, чтобы тот жалел его. Много раз пытался Сергей разузнать, с кем Антон (и ему своё настоящее имя Иосиф не открыл) живёт после того, как умерла его “хозяйка”, но тот отвечал: “Живу пока живётся”. Говорил, но боялся, что Говорков возьмёт и перед зимой насильно потащит его в свой город или в свою семью, или в дом престарелых пристроит: говорил же, что есть в области такой, где содержат одиноких пожилых людей.

Нет, не надо Иосифу такой заботы, не будет он мешать чужой семье. И дом тот для стариков не для него.

Вчера, выбираясь в город, Иосиф Говоркова не ждал. Пришёл к шоссе намного раньше, чем тот должен был проезжать у того места, куда выходит Иосиф, направляясь в райцентр. Впервые не хотел встречаться с ним, не хотел, чтобы Сергей заметил, что Иосиф сам не свой. От Говоркова ничего не спрячешь, кажется, видит, что у тебя на душе. Начнёт выспрашивать, что, почему да как. Не скажешь же, что за Теклюшку мстить едет. Мало того, что осадит, так, чего доброго, ещё и замкнёт в кабине, повезёт в область и не спросит, хочешь ты того или нет. И будет Говорков прав: не на пирушку Иосиф в город выбрался, а на дело преступное.

Если бы вчера не встретил женщин и их детей, наделал бы Иосиф глупостей. Должно быть, столкнулся бы с теми, кто Теклюшку обижали. И что бы он им сделал? Соли на хвост насыпал? А вот они, что хотели бы, то с ним и сделали бы.

Получается, что какая-то неподвластная сила, какое-то предопределение не позволило ему взять грех на душу. Значить, не зря Теклюшка просила, чтобы не мстил за неё, когда однажды проговорился, что никому не простит издевательств над ней. Просила не трогать не только её обидчиков, но и вообще никогда ни на кого не обижаться. Повторяла:

— Люди говорят, тому, кто прольёт чужие слёзы, они рано или поздно отольются своими.

— Слышал, — говорил он. — Когда-то тоже среди людей жил, но почему-то, кажется, не видел этого.

— А если бы и видел, так какая радость? — пытаюсь урезонить его, продолжала она. — И мои слёзы отольются всем, кто меня обижал. И твои — тоже. Только, говорю тебе, Осипка, утешаться чужими слезами не надо. Какое утешение тебе, если кому-то плохо?.. И не вправе мы с тобой судить людей. А хорошие люди по всей земле живут. Я же столько прошла по ней, прежде чем тебя встретила. Если бы не они, не быть бы нам вместе. Помнишь, говорила, что уже умирала, когда меня одна женщина подобрала. Я даже не знаю её имени, и веры она не нашей была, а спасла меня. И когда молюсь, за неё хочу помолиться, а за кого, не знаю. Молюсь за неё, лицо её представляю, говорю: “За спасшую меня рабу Божию”.

— Говорили когда-то старые люди, — Иосиф приподнимал голову, показывал на небо, — когда есть Он — разберётся, кто какой. За человека можно молиться, не называя его имени, представляй его, и этого достаточно.

Я тебе также рассказывал, как зимой сорок четвёртого года видел встречу двух братьев-воинов. Один — инвалид, ехал с фронта, второй — здоровый, на фронт. Так вот, тогда я слышал такую молитву, в которой имена не назывались. “...За раба Божеского солдатака”, — так молилась одна женщина. За него, а значить, за всех, кто воевал, молилась. Может быть, и за сына своего или за сыновей. Пожалуй, надо, чтобы вера была у человека.

— Не будет веры, Осипка, не будет и человека. Сам человек, конечно, будет, но полый. Без души. Нет души, кто ты тогда такой, когда ни сочувствия к другим, ни боли у тебя, ни радости — ничего тебе не надо, только живот набить. Вот и вся жизнь.

Когда не веришь в Бога, то надо верить в людское добро. Это я также от женщины, спасшей меня, запомнила. Наверное, если бы я не верила, когда меня еле живую те мужчины и женщина поставили на базаре просить подаяние, не выжила бы, тебя не дождалась бы. Стояла, из-за слёз света Божьего не видела. Столько людей мимо меня ходило, и, пожалуй, никто не задумывался, почему я здесь. Бросали медяки, и каждый — как камень в душу. Насквозь её пробивали. А я на них не злилась. Верила, кто-то же найдётся, спасёт меня. А это же — ты! Ты и должен был это сделать. Вот и верь, и не верь после этого.

— А я и верю, — говорил он. — Раньше не верил, а долго пожив в одиночестве да тебя встретив, верить стал. Иначе как истолковать всё, что со мной и с тобой произошло?

— И не надо истолковывать. Есть то, что есть, свыше написано нам так. Вот и всё толкование.

Когда она так говорила, понимал Иосиф: мысли Теклюшки уходят куда-то глубоко, туда, куда его не доходят, и её покорность судьбе — какая-то тайная, уж очень по-женски личная. Может быть, эта её жизненная мудрость — быть покорной — и сберегла Теклюшку.

Если так, то эта мудрость проявлялась и в том, что Теклюшка просила его, когда она умрёт, не идти в город и не мстить за неё, и вообще ни на кого не злиться. Говорила одно: “В Гуду иди...” Значит, верила, что там его место, среди своих людей. Вот как: он просил её, если что с ним случится, идти туда, а она его. И конкретно к кому? К Ефиму, прежде всего, на него надежды более, чем ещё на кого.

Говорила она это часто. Особенно в последнее время. Пожалуй, что-то предчувствовала.

Он с ужасом представлял, что будет с Теклюшкой, когда не станет его. Иосиф и вообразить не мог, что может случиться так — он похоронит её...

...Пока с лодки была видна Гуда, Ефим и Валик молчали. Валик вывел лодку на стрежень, поставил её носом по течению, и сейчас деревня была перед Ефимом, как на ладони. Отстроенная, не такая, как до войны, не в одну улицу — от реки, от того её изгиба, где пригорок, и до того, где дамба, — а в три. Одна длинная, довоенная улица, и две новые, пусть и не такие большие, как та.

Вдоль улиц дома стояли ровными рядами. Большие, как на подбор, глухой стены нет ни у одного строения, с двумя-тремя окнами на улицу, с четырьмя — на подворье, с двумя — к соседу, на той стене, где печь и кухня.

Это были дома приезжих, рабочих лесоучастка. Дома же Кати, Игнатия и Нади Соперских, Ефима, Михея и Николая, поставленные раньше, в первые два года после войны, выделялись: поменьше, пять на семь метров, и окон не столько, хотя также все без глухих стен.

Возводили жилища Ефим, Михей и Николай, правда, им помогали несколько мужчин из Забродья, Савка привозил. Срубы ставили сразу после того, как построили дом Наде. Дома возводили на своих усадьбах, но не на месте сгоревших, а чуть в стороне: Ефим говорил, что на сгоревшем строиться не надо, нехорошо это.

Но прежде чем строиться, разбирали обгоревшие печи, ровняли их с землёй, закладывали дёрном площадки, на которых когда-то стояло жильё.

С реки хорошо была видна и дамба. Длинная, подковой, высокая, серая земляная насыпь, покрытая бетоном; около неё покачивалось на воде с десятков лодок.

Когда насыпали дамбу, там, где она заканчивалась, у пригорка на сгибе реки отходила от деревни, мужчины сделали, как сказал кто-то из приезжих, бывших моряков, причал, где и держали лодки — это был длинный мостик из досок вдоль берега.

Солнце уже стояло высоко, вокруг было светло. Сиял залитый желтизной дуг. Он был слева и тянулся до самого Забродья. Оно так же, как и Гуда, отстроилось, разрослось, но там, как и до войны, остался колхоз.

От реки веяло холодком, но Ефим, кажется, не ощущал этого. На его плечах была военная, без погон, ношенная шинель. Её ему как-то дал Савелий, увидев, что старик в холода носит немецкую. И вообще одет Ефим был в военное, с плеча Савелия: гимнастёрка и галифе, на голове — фуражка без кокарды, на ногах — сапоги.

В военном был и Валик. В отцовском. Парень ростом уже догнал отца, взрослый, школу в Забродье оканчивал, отлично учился, педагоги радовались за такого ученика.

Ефим гордился, что Савелий дал ему обмундирование. Как и большинство деревенских стариков послевоенного времени, он носил то, что давали бывшие воины. Купить штатское денег не было. А когда и появлялись, откладывал, собирал Кате и Петрику: вдова, и мальчик без отца растёт.

Иногда Ефиму казалась, что эту одежду ему через Савелия каким-то образом передали сыновья: после победы они задержались где-то по воинским делам, пожалуй, в каком-то секрете, писем оттуда писать нельзя, а вот обмундирование для отца можно переслать. И передают, заботятся о нём.

Когда Савелий дал своё воинское обмундирование Ефиму, он положил немецкую шинель на колоду, изрубил, бросил в печь у сарая на пригорке. Жёг так, чтобы никто не видел, хотя при Валике это было. Тот в свободную минуту всегда ходил с Ефимом. Многому учил парня старик: и как рыбу ловить руками и вентерями, и как править лодкой по течению и против течения, и как её просмаливать, и как правильно держать топор. Да как в лесу ориентироваться, находить к дому дорогу, и как не замерзнуть, случись искупаться в ледяной воде...

Мальчишкой тогда ещё был Валик, но всё его интересовало, всю бесхитростную дедову науку, как и что делать, усваивал быстро и удивлялся, если кто из сверстников из Забродья с нею был не знаком: как так, мы же на реке живём, да и в леса ходим, а река и лес суровые, человека не балуют,

случись с ним что. И объяснял, что нужно делать, если невзначай попадѣшь в беду.

А тогда, глядя, как Ефим рубит немецкую шинель, затем бросает в печь, Валик ничего не спрашивал, молча взял палку и ворошил сукно, чтобы скорее горело. Понимал, как опостылело деду Ефиму вражеское, ворошил и морщился, отворачивал нос, а когда сгорело, как взрослый, вздохнул с облегчением. Было это в сорок пятом...

Плыли, деревня всё отдалялась и отдалялась, пока не исчезла за поворотом, когда река вошла в лес. Тогда Ефим подумал, что зря не предупредил Савелия, отправляясь в такой непростой и далѣкий путь, в Кошару. Тот, как только узнает об этом, набросится на мужчин, дескать, зачем пустили старика, да ещё немощного, в такой путь, пусть и с Валиком. Мало ли что может случиться, река, как только войдѣт в леса, безлюдная. И как любил говорить Савелий, когда ему надо было кого-то убедить в своём: “И вообще...”

Это: “И вообще...” означало многое. И такое: вдруг старику станет плохо, кто поможет парню? Знали, в последнее время Ефим нередко хватался за сердце, морщился от боли, садился где-нибудь, ждал, пока отпустит.

Когда ему говорили, чаще всего женщины, что надо ехать в Забродье к фельдшеру, отмахивался: “Ничего страшного, износился, случается”.

Женщины чуть ли не ссорились с ним: “Дядя, что ты себе думаешь!” Опять отмахивался.

Однажды Савелий привѣз фельдшера, пожилую женщину, чтобы послушала старика. Ефим заупрямился, но та прикрикнула: “Что за отношение к своему здоровью? Если бы на фронте — вредительство, и под трибунал! А ну в дом! Я вас немедленно обследую”.

Ефим думал, шутит: под трибунал!.. Но посмотрел на её не то что строгое, а не по-женски суровое лицо и растерялся... Не была бы военврач, не подчинился бы. Что она бывший военврач, все знали. Фѣдоровна — так её называли — жена председателя тамошнего колхоза, фронтовика Жолнеровича. Их прислали из города восстанавливать сельское хозяйство. Также знали, шутить с ней не надо, отбреет так, что потом хоть не попадайся ей на глаза. Фѣдоровну и муж побаивался. И знали, что в медицине она разбирается, послушает больного, посмотрит, поставит диагноз и, если надо, отправит в районную больницу, а там скажут: “Если Фѣдоровна определила, так и есть...”

Фѣдоровна, прослушав тогда Ефима, велела: “Не волноваться, ничего тяжѣлого не поднимать, покой, из дома никуда не отлучаться”. Словом, если следовать её указанию — ложись старик и умирай. Дала ему каких-то таблеток, сказала, как принимать, пообещала договориться в районной больнице с очередью, чтобы определить туда Ефима: “Надо пройти курс стационарного лечения”.

Поехала, а Ефим сам не свой: только её не хватало на его голову. А здесь ещё Катя: “Дядя, таблетку возьми!..” И так три раза в день. И вот чудеса — помогло, не знает теперь Ефим, где у него сердце, а раньше тряслось, будто хвост у зайца. Болит, не болит сердце, а, как думал Ефим, Савелий, узнав, что он поплыл, всыплет мужикам: “Как же вы могли отпустить старика в такую дорогу, зная, что нельзя ему отлучаться от дома?!”

Ну, и пусть! Переживут. А Ефим, как только вернѣтся, скажет ему: “Зря ты так на них, Савельюшка, зря. И даже ты меня ничем не остановил бы! И какая может быть вина, если всё хорошо? Вот и Иосифа привѣз. А ты говоришь...”

То, что назад они приплывут с Иосифом, Ефим не сомневался. И Савелию будет облегчение: он ещё много лет назад говорил, что было возбуждено дело — исчез человек на его участке. Да не исчез, нашѣлся! Хотя сколько людей исчезло, не вернулось с войны домой, пропало без вести, как его сыновья, — не счастье. А что его Никодим и Ваня “пропали без вести”, так Ефим давно знает — бумажка такая есть. Савелий её от него долго утаивал. Утаивал и боялся, что когда-то это откроется, что тогда Ефим скажет ему? И что скажут Николай и Михай, да и другие сельчане?

Ефим понимает, что Савелий не имел никакого права скрывать документ. Знал, если это откроется начальству, участкового накажут. Может быть, даже исключат из партии, снимут с должности, отдадут под суд.

Давно знал. Каждый раз, встречаясь с ним, Савелий как-то виновато, словно мальчишка, отводил глаза. Но Ефим не показывал вида, что знает о бумажке. Понимал и оправдывал Савелия: оберегает меня, хочет, чтобы я верил, что парни живы, хочет, чтобы я ждал их. И сам верит, что вернуться.

Не догадывался участковый милиционер Савелий Косманович о том, что Ефим всё знает. Ничего ужасного здесь не было бы, если бы Савелий не втянул в это дело почтальонку Галию из Забродья — она обслуживала и Гуду. У Гали трое ребятишек. Если бы Ефим поднял шум, и ей не поздоровилось бы. Но Ефим молчал, понимая, что и Савелий, и Галина горе от него отводили. Был уверен, что они тоже не верили казённой бумажке.

Но как-то почтальонка не выдержала, призналась Ефиму. Было это вскоре после того, как домой, перед этим даже не написав письма, вернулся её Фока, мужчина старше Савелия лет на десять. Говорили, что после освобождения Галя на него получила такое же извещение: “Пропал без вести”. Видел Ефим Фоку. Изуродованное лицо, и без ноги. Говорили, Фока раненый попал в плен. Говорили, Галя бумажке не верила, ждала, и вот он, муж долгожданный, отец её детишек...

Перед тем, как Галя призналась Ефиму, что у Савелия есть казённая бумага на его имя, он приплыл в Забродье проведать старого друга Леонтия Кечика. Тот уже был очень слаб, через Савелия передал: “Хочу повидаться с Ефимом Михайловичем. Кликни его, да не медли. Наказ у меня к нему есть как к другу. Мы же с ним с молодых годов знаемся. А когда я партизанил, Ефим связным нашим был”.

— Знаю, Леонтий Киреевич, всё знаю, — сказал тогда Савелий. — Только не надо спешить. Василия дождись.

— Передай!..

Передал Савелий Ефиму просьбу Леонтия. Ефим сразу — в лодку, да к нему, к Кечику. Приплыл, лодку вытянул из воды, вышел к улице, навстречу Галя с сумкой идёт. Поздоровалась да прибавила шагу. И когда привозила почту в Гуду, Ефима избегала. Неспроста, думал Ефим, но прочь отгонял эту мысль: не так уж и хорошо знакомы, он старик, она молодая женщина, о чём говорить. Окликнул:

— Галь, что ты всё словно избегаешь меня?

— Не избегаю, тороплюсь, дядя Ефим. Всю деревню оббежать надо, а у меня детишки, муж ещё от ран не оклемался, хозяйство на мне.

— Ну, тогда поспешай!..

Нехорошо как-то стало внутри, кольнуло в сердце. Постоял с минуту, глядя, как удаляется Галя, к Кечику пошёл, дом его рядом, у реки. Тот встретил, лежа в постели, попробовал улыбнуться, сказал, словно оправдываясь:

— Видишь, Ефим Михайлович, скрутило меня, извиняй, что лежа тебя приветствую.

— Ничего, Леонтий Киреевич, случается. Как скрутило, так и открутит.

Нагнулся к постели, обнялись. Не очень щедрые на слова, молча поняли друг друга: как там сыновья наши...

Долго говорили тогда Ефим и Леонтий. Дочка его, Верка, вместе с отцом была в партизанском отряде, после войны уехала учиться в Москву.

Говорил отец, на поэта. Стихи сочиняла, до войны их даже в газете печатали. Говорил Леонтий Киреевич, Верка куда только можно направляла бумаги, брата искала. Определённого ответа не имела. Но надежду не теряла, и отец не терял (жена его в войну умерла).

— И мой живой, и твои живые, Ефим Михайлович. Умру, так ты и моего сына дождись, — говорил Леонтий Ефиму. — Придёт мой Василий, не застанет меня, поговори с ним. Скажи, что отец ждал. Расскажи ему, как у нас здесь в войну было. Пусть знает, что и мы не сидели сложа руки, как могли немца били. Да скажи, что ты помогал мне, что мы не взяли тебя к себе в лес потому, что нам свои люди в деревнях были нужны.

— Вместе дождёмся и моих, и твоего, — отвечал ему Ефим.

Говорил и понимал, что прощается с ним старый друг. Неожиданно Леонтий спросил об Иосифе — когда-то они не сторонились друг друга.

— О Кучинском слышно что или нет?

— Ничего, как в воду канул.

— Явится, прочь не гони. Досталось ему. Мы следили за ним, по лесу ходил, как сын в гарнизон подался. Не иначе, как связи с нами Иосиф искал. Побоялись, мало ли что. А сейчас думаю — зря. Тяжело ему было одному. Человек он неплохой, ты не хуже меня это знаешь, дружили когда-то вы.

— Знать-то знаю, но каково...

Не ответил ему Леонтий Киреевич, наверное, подумал, что Ефим сам для себя должен решить, как с Иосифом быть, если вернётся.

А уже после, как Кечика похоронили, Ефим, направляясь к своей лодке, вновь встретил почтальонку. Только начал спускаться с улицы к реке по тропинке среди ивняка — Галя перед ним. И откуда только взялась? Не успел поздороваться, ошепил: упала перед на колени, взметнула над головой руки, запричитала:

— А мой ты дяденька! А родненький! Нет мне покоя. Грех ношу. Савелию бумагу на твоих сыновей отдала. Никому не говори, ещё посадят меня. А у меня же дети, трое, и Фока инвалид. И Савелию попадёт, да ещё как, он же милиционер.

— Но-но, — спохватился Ефим и склонился над ней. — Встань, дочка. Успокойся. Не надо, чтобы кто чужой это видел и слышал. Поймёт, в чём дело, ещё донесёт куда. И ты молчи. Я сыновей жду. А бумага — ошибка.

Говорил вроде спокойно, а в груди — огонь.

Поднялась женщина, схватила за руку Ефима, хотела поцеловать её, но он выдернул, обнял Галину за плечи, прижал к груди, как родную.

— Галинка, дочка, ты же не со зла. Хотела, чтобы мне легче было. И мне было легче, и сейчас легко: я же их жду. А как же? Вон и Фока твой пришёл. А бумага...

Махнул рукой, повёл женщину к реке. У лодки остановились, подождал, пока она успокоится, пока высохнут её слёзы, опять попробовал успокоить:

— Говорю тебе, Галинка, не бойся. Даже если бы кто и раньше допрашивал меня, клещами слова не вытянул бы. А теперь иди к семье, небось, ребятишки мамку ждут, и муж в окошко глаза проглядел.

Пошла. Смотрел Ефим ей вслед и думал: как же она страдала, пока не призналась ему... Ужасно, когда кто-то хочет кому добра, а потом сам страдает.

А через несколько дней в Гуду пришёл Савелий. Пристал к пригорку. Ефим лодку Иосифа осматривал, вынесли из хлева мужчины. Поздоровался, топчется рядом, порывается что-то сказать, но не решается.

— Савелий, давно вижу, ты со мной словно сам не свой.

— Почему же, Ефим Михайлович?

— Наверное, бумага на Ваню и Никодима тебе карман прожигает.

Смутился Савелий, заморгал, вздохнул.

— Брось, — продолжал Ефим, — знаю. И не виню тебя. Правильно ты сделал. Пусть она у тебя и будет, бумага та. Придут парни, вдрут к тому времени умру, тогда им отдашь её. Скажешь, отец ждал.

Отвернулся от старика бывший воин Савелий Косманович, долго молчал. Молчал и Ефим. Наконец, не выдержал Савелий, подошёл к старику, обнял.

— Прости, отец. Хотелось, как лучше... А что бумага?! Живые они.

Ефим осторожно освободился из его объятий, молвил:

— Вот что скажу тебе, дорогой ты мой Савелий Аркадьевич. Очень дорога мне твоя вера. Без неё я, может быть, давно б уже крылья опустил бы. Окончательно слёг бы. Иногда кажется, что падаю, нет больше мочи терпеть, а ты не даёшь, верой своей подымаешь. И не только ты, мужчины верят, что вернутся мои сыновья. И Катя с Надей верят.

— Говорил же, след их есть! — воскликнул Савелий. — Почти уверен, что Ваня, Никодим и Василий, сын Леонтия Киреевича, однажды ночевали на Страже. Говорила мне хозяйка, что в начале войны трое солдатиков,

выходя из окружения, у неё были. Старуха и сейчас там живёт. Я заезжаю к ней, когда в район еду или из района, проведываю, одна живёт она. Трое её сыновей в городе, и две дочки там, не часто к матери приезжают. Работой заняты, но мать к себе зовут. Не хочет ехать, говорит, человек мой здесь похоронен, куда я.

Так вот, зайду к ней, посидим, поговорим. Сказывала, похоже, что те парни из наших мест были. Слышала, говорили, родители их где-то недалеко от Стражи живут. Переночевали, собрала она им то-сё, и пошли они на фронт.

Как она их описывает, думаю, двое — это Иван и Никодим. Тёмные, как ты. Говорила, эти двое признались, что братья. А третий — их товарищ. Имен парней не помнит. Кажется, одного называли Василием. Хотя говорила, что точно сказать не может, за войну у неё много людей перебивало, много имён слышала, память уже не та, путается. А Василия запомнила: нос, говорит, пипкой. Он это, дядя Ефим, он. Я же помню, у Василия был перебитый нос. Сестричка, Верька, перебила заслонкой от печи. Малые были, играли, она заслонкой той почему-то крутила в воздухе, а он и подлез.

— Да, точно, у Василия нос пипкой.

— Вот только не понимаю, почему парни не пришли домой, если так близко были.

— А я тебе скажу, почему. Не могли Иван и Никодим меня послушаться, Савельюшка, — сказал тогда Ефим. — Я запретил, когда провожал их на фронт, говорил, что без победы дороги домой нет. А третий, если это Василий был, один не мог прийти: что отцу сказал бы? Говоришь, из окружения выходили. Могло быть. Хотя что-то не очень сходится, их же везли в поезде на какие-то то ли сборы, то ли на учёбу. Не на фронт, от фронта, так?

— Могли и не довести. Всякое на войне случалось. Так что будем ждать и искать.

— Будем. Только дай мне, Савелий, на день-два бумагу. Я в район съезжу, в военкомат схожу или ещё куда надо, подскажи. Скажу, чтобы не вздумали пенсию, если она мне положена, за сыновей насчитывать. Живые парни, живые.

Дал тогда ему Савка бумагу. Ефим даже не развернул её, дрожащими руками положил в карман. В район он съездил. Оказалось, не один он такой: какая-то старуха отказалась от пенсии за погибшего сына и даже не объяснила, почему.

Не спрашивал военком у Ефима, почему и он так сделал. Сказал, если отец так решил, надо написать бумагу, что от пенсии отказывается. Признался Ефим, что букв не знает. За него написали. Расписаться попросили, признался, что не умеет. Раньше вместо росписи крестик ставил. Теперь так нельзя, как это — поставить крест на сыновей?.. Тогда какая-то девушка взяла ручку, обмакнуло перо в чернильницу, затем, зажав тонкое древко в неуклюжую руку Ефима, положив на неё свою, вывела, вернее, вместе они вывели несколько букв. Прочитала: “Боровец”.

Седой, пожилой подполковник молча взял Ефима под руку, провёл к легковушке во дворе, приказал шофёру, молодому солдатику: “Доставить отца воинов к дому и доложить!” А на прощание пожал руку: “Крепись, отец, и жди”.

Вспоминая это, Ефим ещё не решил, будут ли они останавливаться напротив Стражи. По его расчётам, завтра, может, немного раньше полудня они с Валиком будут проплывать километрах в пяти от неё...

9

Текля умерла неожиданно. На его глазах. На новом крыльце, которое он, разбросав сгнившее старое, сладил из Антоновых досок.

Не сразу сделал. После того как привёз сюда Теклю, долго не брался за работу. Объяснял:

— Погоди, дай собраться, сделаю. Не крыльцо будет — кукла. Придёт Антон — залобуется. Скажу ему: вот крыльцо тебе, хозяин.

— Вряд ли придёт, — сказала тогда Текля. — Такому старику, как теперь он, убежать тяжело. А если бы и убежал, где будут искать? Там, откуда забрали. Они это знают, слышала. Человека, как и птицу, где бы ни был, к своему гнезду тянет. Душа чувствует, где её корень.

Иосиф не отвечал: с этим не поспоришь, его и самого в Гуду тянет. Там пуповина его, и больше ничего. Дома нет. Может быть, и сирени нет: выкорчевали. И лодку его, может быть, давно сожгли, за это время, конечно же, рассохлась.

Нет там ничего, что связывало бы Иосифа с деревней, а всё равно хочется пройтись по некогда своей земле, лицо с реки умыть, там она, в лугах, — светлая, а здесь, в лесу, — тёмная. Особенно сейчас хочется пройтись по Гуде, когда Теклюшка с ним. Но путь им туда заказан...

Почему-то долго медлил с крыльцом, за инструмент взялся только в пору первого бабьего лета, в осеннюю теплынь...

Чудесная пора стояла над землёй. Лес был охвачен колышущимся красно-жёлтым пламенем. Всё таинственно светилось. Не переставая, среди жёлтых берёз на гряде у родника трепетала красная листва осин и клёнов. Красными гроздьями были усыпаны кусты калины там, где гряда спускалась к болоту. Жёлтым пламенем были охвачены две берёзы, стоявшие напротив крыльца недалеко от дома.

Чисто и светло было вокруг. А иногда, когда из-за гряды леса между хутором и болотом выбегал шаловливый ветерок, путаясь в высокой жёлтой траве, в воздухе плыла прозрачная паутина. Конечно же, Иосиф знал, что его бывшие односельчане давно уже сметали на сухом стога второго укоса в Демковских болотах, где обычно косили. И рожь давным-давно сжата, обмолочена, засыпана в закрома. И картошка выбрана, теперь можно и немного отдохнуть. А выпадет снег — направятся в лес по дровам...

Интересно, как сейчас они там, в Гуде? Отстроилась ли деревня? Возродилась ли? Кто вернулся, а кто — нет? Что с Надиным Игнатием, с сыновьями Ефима? А с Ефимом что, как он там? Держат ли ещё руки топор, рубанок, фуганок? Должно быть, держат, сила у Ефима ещё должна быть. Отдыхать ему, пожалуй, некогда, люди повсюду строятся, и его уменье ставить дома в этом деле не лишнее.

А что на месте его, Иосифа, дома? Сгорел же, а когда из деревни уходила вода, конечно же, унесла пепел, головешки, вот только, наверное, остался фундамент, он из камня, да два-три венца, которые в воде были.

Иосиф в мыслях часто навещал Гуду. Но не мог вообразить, какая она сейчас. Прежде всего, представлялась или довоенная, хоть и небольшая, одной улицей, но людная, наполненная детскими голосами, скрипом колодезных журавлей, мычанием коров, ржанием лошадей, криком петухов, стуком топоров...

Вспоминал и ту, которую увидел после того, как её сожгли немцы. Ужасался, закрывал руками лицо, будто в него бросался огонь, еле сдерживался, чтобы не закричать, особенно когда рядом была Теклюшка.

Как было в войну в Гуде и в окрестных деревнях, подробно рассказывать ей не хотел. Она такого ужаса не видела. Зачем теперь ей знать об этом? Потом, потом, будет ещё время. Только сказал: “Не дай Бог слышать и видеть”.

Он знал, что она по-своему представляла войну, так как не видела её: рассказы людей — это рассказы, а свои глаза — это свои. Думал, что высылка высылкой, а от ада, который пережили его и её земляки, а может быть, и от гибели она и спасла его Теклюшку. Говоря о войне, в подробности не вдавался, дескать, всем было нелегко.

Уже потом, когда начал ладить крыльцо, а Текля принялась помогать ему, говорил:

— И моя Гуда, и твоя деревня, пожалуй, уже давно отстроились. И мы с тобой могли бы там что-нибудь делать. И в своём доме, и людям помогали бы, если бы жизнь наша пошла, как надо. А так...

Текля не отвечала, понимала, что он очень скучает по деревне, по земле, да и по своей плотницкой работе, переживает, что не с людьми. Но что поделаешь, если у них сейчас нет иного выхода, как быть здесь?

И она грустила по деревне, по земле, по крестьянской работе. Женщине-крестьянке без неё очень тяжело, а такой осенней порой — особенно: год, должно быть, урожайный, ведь весна и лето были тёплые, с хорошими, в меру, дождями.

— Смотри, как светятся берёзы, — говорила она ему, желая хоть как-то развеять его мысли о деревне, о своём доме, которого у них нет.

Иосиф откладывал топор или пилу, смотрел вокруг на всю эту осеннюю красоту, останавливая взор на двух берёзках, которые были недалеко от крыльца, и думал, что природа, если хорошо к ней присмотреться, всегда подаёт человеку какие-то свои знаки, только надо уметь их разгадать. Как эти две высокие, обсыпанные осенним золотом берёзы, стоящие рядом. Они словно люди, встретившиеся однажды и не расставшиеся, несмотря ни на какие дожди, снега, морозы, бури и суховеи. Их можно разлучить, только уничтожив одну или сразу две, а так будут стоять столько, сколько отпущено им природой.

Может быть, и у деревьев, как и у людей, есть он и она. Кто знает... Откуда они здесь? Самосейки? Хотя, может быть, и нет: когда-то эти берёзы мог посадить Антон как знак того, что он здесь вдвоём с женой.

А могло быть и так: придя сюда вместе с любимой, раскорчёвывавая место под усадьбу, среди бурелома заметил Антон два слабеньких побега. Озарила его душу их красота, восхитило желание жить, и он осторожно, огрубевшими от работы руками погладил их, окликнул жену, показал ей: “Смотри...” А потом она молвила, а может, и вместе они молвили: “Растите...”

Кто знает, как было, но выросли две берёзки. Наверное, они и Иосифу с Теклюшкой какой-то знак подают.

Много было знаков в его жизни. Перед тем как встретиться с Теклей, был сон-знак. Видел Иосиф Архипа на большой воде, вода его и забрала. Не умея плавать, бросился он в реку спасать девочек, лодку с которыми перевернули парни-шутники, и... В том же сне птицу видел, над водой летела. Вместо крыльев — руки у птицы были, и прилетела к нему Теклюшка... И два креста на двух окнах чужого дома — знак. Кресты над их судьбами, которые наяву сорвал Иосиф. Вот только странно, кресты те не иначе, как хозяин хутора приколачивал, а он никакого отношения к Иосифу и Теклюшке не имел. Хотя... как на это посмотреть. Можно и так, мол, и у Антона с женой кресты судьбы тяжкие, и у него с Теклей. И эти две берёзы не иначе, как некие знаки...

Крыльцо Текле нравилось. Впрочем, как и всё на хуторе и вокруг него. Небольшое, в три ступеньки, но широкое и длинное — большая семья разместится, чтобы посидеть на нём после дневных забот. Сидели тёплыми вечерами на нём и Иосиф с Теклюшкой. Чаще всего — придя из леса с ягодами или грибами. Садились на крыльцо, поставив возле себя корзинки, перебирали чернику или голубику, бруснику, грибы.

— Как дома, — говорила она. — Я дома, когда ещё девчонкой была, приду из леса, принесу что, на крыльце и перебираю.

— Вот как, — улыбался он. — И я тоже на крыльце перебирал.

— А сейчас мы вместе перебираем, — улыбалась она.

Печь обычно протапливали ночью, чтобы с реки не было видно дыма, если вдруг кто будет плыть по ней. Ночью варили грибы, затем складывали в кадушку: Иосиф давно их сделал, да и корзинки он сплёл.

С крыльца всегда была видна одна и та же картина: гряда смешанного, векового, нетронутого человеком леса и две берёзы напротив дома. Лес менялся только цветом в зависимости от поры года: зелёный, жёлто-зелёный, красно-жёлтый, белый, но всегда светлый ясным днём. А когда пасмурно, дождливо — серый, пожухлый...

Текля постепенно сживалась с хутором. Иосиф понимал, что ей как женщине, как хозяйке без своего дома никак нельзя. Понимал, как ей хочется иметь своё жильё. Иногда, когда сидели вдвоём на крыльце, говорила:

— Вот, Осипка, считай, жизнь прожила, а всё без своего угла. И дом большой был у Авдея, а мне — не свой. И в Сибири дом был, через год он его поставил, а тоже постылый мне. А вот здесь, в чужой хате, с первых

дней ощущаю себя как в своей, потому что сейчас я с тобой. И как же мне хорошо, когда вдруг обнимешь!.. Кажется, большего счастья и не надо. Тогда я ничего и никого не боюсь, все мои страхи исчезают.

Иосиф, слыша о страхах, говорил ей, что сюда никому постороннему не добраться. Да и никто, кроме него, Ефима и, конечно же, прежде всего, хозяина хутора Антона, пути сюда не знает. Конечно, когда-то знали те, кто выселял Антона и его семью. Наверное, прежде чем добраться сюда, проследили, как он ходит через болото, только кто знает, где сейчас те люди. Ко всему он, Иосиф, Антоновы плахи перебросил в топи на новое место, припрятал так, что смогут догадаться только Антон и Ефим. Они сообразительные, жизнь их многому научила, как ни маскируй, а, подойдя к болоту, присмотревшись, определяют, что здесь кто-то ходит, поймут, где начинаются плахи. А для посторонних — места эти гиблые.

Текля, слушая его, успокаивалась, а может быть, и не подавала виду, что всё равно боится, не хотела, чтобы он волновался. Иосиф сам иногда был не уверен: как ни опасайся, а всякое может случиться. Поэтому, когда ходил проверять в заводи верши, никогда долго не задерживался. И ступал он по земле осторожно, внимательно прислушиваясь, не слышно ли постороннего звука, да присматриваясь, нет ли где человеческого следа. А ягоды, грибы, орехи они всегда собирали вместе.

Как-то Текля спросила, приходит ли к усадьбе зверь: глухомань, пожалуй, и волки здесь есть. Ответил, что в лесу зверь есть: кабаны, волки, косули, но сюда им хода нет, потому что время от времени он вокруг хутора сыплет порох, зверь слышит запах и уходит. Откуда порох? Этого добра возле шоссе хватает. Там когда-то шли тяжёлые бои, там ещё можно наковырять патронов. А вообще-то, порохом он давно запасся, как говорят, пусть не надо будет.

А вот оружия у него нет. Оружие там также можно найти, только зачем оно ему? Человек с оружием — уже другой человек.

Случалось, иногда в стороне от хутора, над рекой пролетал самолёт. Из-за гряды леса его не было видно, но слышался шум мотора. Тогда они прятались в дом, в кошару, в кусты или под деревья — смотря где в это время были.

Иосиф понимал, рано или поздно власти станет известно, что на хуторе кто-то живёт, лесники доберутся сюда или ещё кто. И тогда ему с Теклюшкой придётся худо.

За себя он не боялся: что они ему сделают? Будут пытаться, допрашивать: “Кто такой?” Пусть. Он любые пытки выдержит. Только её не трогали бы. Понимал, что тогда Теклю ему не защитит: арестуют, поведут. Да она и сама не будет сопротивляться, смиренно пойдёт, и винтовку наставляя на неё не надо будет.

Иосиф часто думал о том, что надо было бы поискать ещё более недоступное, чем Кошара, место. Но сейчас вряд ли такое найдёшь: люди строятся, леса надо много и городу, и деревне, вот и углубляются лесорубы всё дальше и дальше в чащи. Так что вскоре могут добраться и сюда.

Чем дальше жили здесь, тем чаще задумывался о том, что будет с Теклей, когда его не станет. Умрёт он тут — ещё ничего. Погорюет она, поплачет, может быть, сможет кое-как его похоронить. Хорошо бы под берёзами, а если и у крыльца (она его к ним вряд ли сможет дотянуть), тоже неплохо было бы. Главное, земле предать, а то раньше он думал, мол, почувствую, что уходит время, в домовину лягу и... А потом, похоронив, она непременно должна пойти в Гуду, ей одной здесь не выжить. Берегом пойдёт — река в деревню приведёт, не заплутает.

А если он упадёт где-нибудь в лесу или на реке?..

Тогда Теклюшка, не дождавшись его, бросится искать. Начнёт звать, выдаст себя рыбакам или кому другому, кто будет проплывать по реке. Конечно, люди бросятся к ней: “Что случилось?” А потом, когда узнают, сообщат в милицию: пропал человек. А милиция к ней: “Кто?..”

Случалась, будто между прочим, Иосиф говорил ей, что было бы неплохо иметь собаку. Втайне рассчитывал, что тогда Текле будет смелей без него, Иосифа, и какое-то время побыть здесь, и идти в Гуду.

— Нет, нет, нет, — испуганно говорила она. — Зачем? Ты без собаки столько лет жил, и ничего. Зачем брать грех на душу? Собака быстро привыкает к хозяину, а тот, не дай Бог умрёт, так пёс ждёт человека, пока не околеет. Как же он тоскует! Нет, нет, нет...

Конечно, собаку он мог бы взять давно. Даже подумывал об этом, плавая в город к Архипу. Тот нашёл бы ему щенка. С собакой было бы смелее. Только и другое могло быть: лай на заброшенном хуторе мог бы подсказать людям, время от времени плавающим по реке, что где-то за болотом кто-то живёт, значит, не такое оно и гиблое. А во-вторых, и такая мысль появлялась тогда у него: “Если что, так как же он без меня?”

Теперь, когда он остался один на земле, когда односельчане, наверное, даже имя его давно забыли, Иосиф подумал: пусть бы была у него собака, пусть бы лаяла, одному без Текли невозможно жить. Тяжело возвращаться на хутор, зная, что там никто тебя не ждёт. Как сегодня...

Сегодня он еле добрался сюда от шоссе. Изнемог. Вот лежит на земле, исстрадавшись и душой, и телом, и как ни пытается подняться, а не может. Будто прикованный... Хотя нет, не прикованный, а словно придавленный тяжестью всех тех тропинок и дорог, которые прошёл за свою долгую и такую горестную жизнь... И какая же угнетающая эта тяжесть, если вся сразу на душу и тело... И — люди на тех тропинках и дорогах, знакомые и незнакомые, свои и чужие, перед которыми в чём-то виноват и перед которыми нет его вины...

Казалась бы, с такой тяжестью и с такой болью в душе вообще невозможно жить, а он всё же как-то жил и живёт. И даже свыкся со всем свалившимся на него с того самого раннего детства, как осознал себя, что он есть. С того времени невзгоды и беды окружают его, правда, случаются, нет, случались у него и светлые времена, хотя и короткие.

Сначала — раннее сиротство. Жуткое время, когда осознаёшь, что у всех детишек есть мама, а у тебя — нет. Как так? Почему? И хуже нет ничего на свете. И осознание этого и сейчас берedit душу: был не такой, как все мальчишки и девчонки. Маленьким мальчиком видел, как хорошо тем, у кого есть мама. Она приголубит, утешит, если кто-то обидит на улице, — так всегда было с соседским Сашкой, таким же маленьким, как и Осипка, — и сразу же высохнут слёзы, забудутся обиды, опять побежит по улице весёлый и радостный.

Мальчиком он много раз видел, как мама утешала Сашку, завидовал ему, представлял себя на его месте. Представлял, как ему тепло и хорошо, когда мама обнимает и целует его. И понимал: как ни представляй, а не быть тебе на месте Сашки, и, забывшись куда подальше от людских глаз, плакал в одиночестве, никак не понимая, почему у него нет мамки? У всех мальчиков и девчонок есть, а у него — нет...

Однажды папа привёз откуда-то на телеге (Иосиф и сейчас, вспоминая это, слышит сухой грохот колёс по подмёрзшей улице) чужую тётю с тремя детьми, ещё меньшими, чем он, — двумя мальчиками и девочкой. Осипка тогда, стоя на крыльце их старенькой покосившейся хатки, сжался от ужаса и, ещё не видя вблизи черт лица той женщины и её детей, будто окаменел. Ему хотелось броситься прочь, убежать подальше отсюда, а потом провалиться сквозь землю, исчезнуть, чтобы никто никогда и нигде не нашёл его, и в одиночестве тихо плакать: всегда, когда выплачешься, легче.

Но он не побежал, что-то сдержало его. А потом Осипке захотелось узнать, что будет дальше, ведь папка ещё раньше говорил, что поедет за мамкой. Говорил это и вчера утром, запрягая лошадь, собираясь куда-то ехать.

Так Осипке сказала и соседка бабка Авгинка, к ней его отвёл папа, велел слушаться её во всём. А ещё отец сказал, что у него, Осипки, будут братики и сестричка.

И тогда, когда Осипка это услышал, внутри у него от ужаса всё сжалось, он предчувствовал, что папа привезет не свою, а чужую мамку. И братики, и сестричка тоже будут чужие: его мамка лежит на кладбище за деревней, там, где бор — сам же папка показал ему серый бугорок, над которым стоит небольшой почерневший крест с белым полотенцем на нём.

Весной на Радунцу папка водил его туда — там было много бугорков с крестами и много людей...

Правду говорят, что в старости люди очень хорошо помнят то, что было с ними в детстве, при этом, между прочим, не всегда помня, что было совсем недавно. Так и Иосиф детство своё не то, чтобы помнил, а не забывал: сначала горькое-горькое, потом, когда у него появилась мама-мачеха, совсем иное...

...Иосиф помнит, как отец тогда на кладбище дал ему полотенце, поднял сынишку и сказал, чтобы он повесил его мамке на крест.

Тогда Осипка не плакал, но никак не мог понять, почему его мамка здесь. И совсем не понимал, почему она одновременно и под бугорком, и на небе. Думал, что под бугорком ей тяжело, и она не видит его, а вот с неба смотрит на своего сыночка, хочет уберечь от обид, но не может: очень далеко он...

Матери своей Иосиф не помнил, она умерла, когда он был совсем маленьким, но она очень нужна была ему, и вот мама, не своя, чужая, слезает с телеги и идёт к нему, Осипке. Тем временем отец поочередно снимает с телеги каких-то мальчиков и девочку, осторожно ставит их на землю, затем направляется к крыльцу, возле которого стоит испуганный Осипка, не зная, что ему делать...

Сейчас Иосифу казалась, что он помнит всё это, как ничто из пережитого за всю жизнь. Помнит над собой низкое, с тяжёлыми серыми тучами небо... Помнит щербатый частокол двора, крышу над крыльцом, соседские хатки... Тогда ему казалась, что небо всё ниже и ниже опускается на землю, чтобы накрыть его, такого маленького и незащищенного. А как только накроет, ему уже никуда не убежать... Но где же его мама? Она же — на небе. Она должна спасти его!.. Ему уже хотелось кричать, бежать куда глаза глядят, чтобы выскользнуть из-под этого тяжёлого полога, но через мгновение между ним и небом стала эта женщина. Постояла, улыбнулась. Светло-светло... Тёмный полог затрепетал, отодвинулся от земли, взлетел ввысь, растаял, а она опустилась на колени, обняла Осипку, сжавшегося в комочек, осторожно прижала к себе, стала целовать в щёчки, в головку, в худенькую шейку, в зажмуренные глазки и прошептала: “А мой ты сыночек... А мой ты Осипка. Не бойся, я мамка твоя. Я никогда-никогда тебя не обижу и никому не позволю тебя обижать”.

Затем, уже крепче прижав к груди, поднялась с колен, держа его на руках, выпрямилась и спросила: “Как же ты был здесь без меня, мой маленький?”

В то же мгновение тяжёлое тёмное небо поднялось, отодвинулось за частокол, за соседские хаты, взлетело высоко-высоко, и он ощутил, что уже ничто не угрожает ему. В груди сразу же стало тепло, и он беззвучно заплакал от этого неизвестного ему доселе тепла, которого ждал столько, сколько себя помнил, прошептала: “Мама”.

Отец, наблюдая за ними, подошёл, остановился рядом и, как сейчас помнится, облегчённо вздохнул.

Лицо мамы-мачехи Осипка рассмотрел потом, когда к ним подбежали совсем маленькие два мальчики и девчонка и, дёргая её за подол юбки, стали звать: “Мама... мама!”

Он вновь испугался, вновь сжался, ему показалось, что они отбирают у него маму, со страхом глянул ей в лицо, увидел добрые глаза, и ему опять стало хорошо. А мама, держа его на руках, опять опустилась на колени и, не отпуская его от себя, обняла и осторожно придвинула к нему своих детей, затем всех четверых — к себе, словно соединяла в одно целое.

— Ну, вот и ладно, — сказал тогда отец и смолк.

И удивительно, в то же мгновение Осипка ощутил, что мальчики и девчонка не чужие ему, и всё то болезненное и обидное, что всегда шло рядом с ним, западая в чувствительную детскую душу, мгновенно исчезло, словно его и не было. И Осипка поверил, что это его мама. Он даже не подумал о том, как она могла подняться из-под тяжёлого серого бугорка на кладбище или спуститься с неба, откуда наблюдала за ним, стараясь, как говорил папка, отводить от него все беды.

И эта мама-мачеха отводила от него беды и горести, пока не умерла, оставив сиротами и своих детей, и Осипку. Потом родственники мамы-мачехи забрали к себе, увезли куда-то его сводных братьев и сестру, и связь с ними утратилась. Отводила, как могла бы отвести родная: когда вырос, понял, что мачеха для него действительно была мамой... А кто еще, если не мама, способен голыми руками схватить змею, поднимающуюся из-под ножки ребенка, зная, что яд, предназначенный ему, достанется ей?.. Случилось такое на сенокосе, где маленький Осип был вместе с папой и мачехой-мамой, которая и спасла его от гибели.

Вспомнил всё это обессилевший Иосиф, лёжа возле крыльца чужого дома, который на долгие годы одиночества стал ему пристанищем, а потом на два, прожитые в нём вместе с Теклюшкой, — своим, и вдруг почувствовал какой-то внутренней толчок, ощутил, как тело постепенно наполняется силой. А через мгновение показалось, что из души уходит тот неземной, леденящий её холод, который, пока Иосиф лежал на земле, сковывал её. Уходит медленно, но уходит, а вместо него в душу вливается полузабытое человеческое тепло, такое нужное и такое недоступное Иосифу после того, как не стало Теклюшки, самого родного и самого близкого ему человека на земле.

Всё это пробуждало в нём ощущение того, что его жизнь по каким-то высшим, неподвластным ему законам не может вот так просто закончиться: лёг и умер. Она не может закончиться, не коснувшись жизней некогда близких ему людей. Он должен открыть им свою боль. Он должен поведать им о страданиях, пережитых им после того, как ушёл от них, о тех кратковременных радостях, осенивших его с появлением Теклюшки, а также сказать им, что нет у него на односельчан зла, да и никогда не было. А если что и было, то только обида, а зло и обида — разное.

Он должен всё это сказать им не для того, чтобы они его пожалели, а для того, чтобы никто из них не считал себя виноватым в том, что произошло между ними. Он чувствовал, что Ефим считает себя виноватым в его исчезновении, что женщины переживают из-за него, Иосифа (Катя признала, увидев на базаре, знает, что жив), что и дети, повзрослев, его не забыли...

Тепло человеческой доброты наполняло его душу, такое необходимое ему и полузабытое, и, казалось бы, утраченное им навсегда. Но случилось так, что вопреки всему позавчера в городе оно неожиданно вспыхнуло, когда встретил женщину, хозяйку дома, возле которого сел отдохнуть на лавочку — эта женщина чем-то напомнила ему его мачеху-мать.

Оказывается, это тепло не стирается из памяти ни временем, ни невзгодами. Его ничем не погасить, оно есть, где-то живёт, и если тебе хочется, чтобы возвратилось, однажды обязательно возвратится...

Позавчера, проследив за Катей с сыночком и за Надей с дочерью (они без преград покинули город, затем спокойно миновали мост, а значит, к вечеру добрались домой), убедившись, что им ничто не угрожает, Иосиф присел на лавочку у последнего дома на окраине райцентра, чтобы отдохнуть. Там к нему и вышла хозяйка дома, наверное, приняв его за бродягу, пригласила поужинать и даже переночевать.

Мачеха-мать и эта женщина были чем-то похожи. Хотя мало ли на свете женщин, в сердцах которых, несмотря ни на какие невзгоды, сохраняется тёплое отношение к людям, женщин, излучающих тепло и доброту.

Вот и Катя такая же, с какой-то своей внутренней добротой, с каким-то своим светом.

Иосиф помнит, никогда не забудет, как зимой в первый послевоенный год Валик, сынишка Нади и Игнатия Соперских, бросал в него лёд с таким выражением на личике, словно расстреливал заклятого врага.

Тогда Иосифу не за себя было страшно, а за мальчика: если так, то каким же человеком он вырастет...

Помнит, как Катя, увидев Валика, готовящегося ко второму броску в Иосифа, перехватила детскую ручонку, а потом что-то долго говорила несмышлёнышу, заступаясь за него, Иосифа. А что заступалась за него, так Иосиф слышал...

Помнит, как какая-то особенная просветлённость тронула тогда его, старого, одинокого человека, от которого отвернулись люди. Помнит он Катину доброту, помнит.

А какое тепло тронуло его тогда на базаре, когда стоял с протянутой рукой на том месте, на котором Теклюшка просила подавание, когда Катя узнала его и закричала: “Дядя Иосиф! Это ты, ты!..”

Кажется, тогда он мог бы захлебнуться от радости: узнала, называет как своего, близкого ей человека, о котором не забыла и через столько лет после того, как видела в последний раз. Значить, думала о нём: “Где же он, живой ли...” И, наверное, жалела его: это же надо так окликнуть, не боясь обозваться, утвердительно, с уверенностью: “Ты, ты!..”

Как сейчас дорого ему это её душевное тепло! Помнит Катя его, помнит... Может быть, и сынишке скажет: “Это дедушка Иосиф, наш дедушка, из нашей деревни”.

Но сбежал Иосиф, приняв всем сердцем её теплоту, которая тогда, кажется, наполнила всю душу, не мог признаться: “Я, Катя, я”. Боялся за Катю и её сыночка. И эта боязнь словно вдохнула в него жизнь. Он почувствовал себя человеком, на которого ложится ответственность за неё и за мальчика, он понял, что может и должен их защитить, если им будет угрожать хоть какая-нибудь опасность. А это чувство, что и ты человек, возвышает, оно словно очищает от той жизненной грязи, в которой волею судьбы вывалил. А коли человек, значит, не очерствел, не озверел, отвергнутый людьми и долго живя в одиночестве. И та обида на односельчан, конечно же, на мужчин (Катя и Надя, и дети ни при чём), за то, что не нашлось ему места среди них ни в войну, ни после, ни тогда, когда взорвалась дамба, обида, так долго выжигавшая его душу, постепенно начала утихать: а почему же ты не стремишься их понять?.. Тебе горе, а им, может, горе вдвойне...

Прозвучало это сейчас спокойным Теклюшкиным голосом, и её голос стал его внутренним голосом. Её мысли стали его мыслями. Понимал, что сам, без неё, до такого осмысления не дошёл бы. Не дошёл бы, если бы не увидел Катю и Надю. И, несомненно, если бы не та женщина, которая вчера напомнила ему его мачеху-мать.

Текля, Теклюшка... Страдалица из страдалиц. Сколько и как только её не обижали люди!.. Но ведь ни на кого не озлобилась. Она всем прощала. И прощала ему, Иосифу, из-за которого и разрушилась и её, и его жизнь...

Иосиф опять попробовал встать, оттолкнуться от земли. Ощутил, как в руки впились камешки, ощутил такую силу, какую не помнил в себе с юности, оттолкнулся, стал на ноги и, пошатываясь, не спеша, направился к крыльцу. И чем ближе было крыльцо, тем уверенней был его шаг, он уже не шатался. Подойдя к крыльцу, опустился на него и долго смотрел на лес, окружающий хутор.

Весной, когда сойдёт снег, когда всё вокруг зазеленеет, прогреется под ярким солнцем. Летом и осенью, пока не пойдут дожди, любили они с Теклей посидеть на новом крыльце, любили понаблюдать за окрестностью, послушать, как под лёгким ветром задумчиво шумят деревья. Любили послушать пение птиц. Любили, вспоминая молодые годы, когда к ним пришло это огромное чувство любви, поговорить о том, как могла сложиться их жизнь вместе, если бы не было ничего того ужасного, что случилось в их жизни...

А было бы тогда у них всё, как у людей. У них были бы дети, внуки и уже, может быть, даже правнуки... Тогда и умирать можно было бы спокойно.

И когда говорили об этом, представляя, как всё было бы, словно проживали ту несбывшуюся свою совместную жизнь, в которой любовь друг к другу открылась бы сполна, в которой, если бы и была горечь, то обыкновенная, как во всех семьях, где царит любовь и уважение. Но проживали её мгновенно, не успев насладиться жизнью. А так...

— Не печалься, Ошибка, — тихо молвила она. — Зря говорят, что в одну реку нельзя войти дважды. А мы вошли, пусть через много лет, но вошли. Любила я тебя и сейчас люблю. И хватит мне дней, прожитых рядом

с тобой, чтобы сказать себе: и я знаю, что такое счастье. Как ни скупа была и твоя, и моя судьба, а напоследок расщедрилась.

— Оно, может, и так, Теклюшка, — будто соглашался он. — Но знать бы, что там (показывал рукой в небо) мы будем вместе, а больше ничего не надо. Говоришь, знаешь, что такое счастье. И я знаю, ты мне его подарила. Вот только всё равно мало нам того, что было с нами здесь, и горько и больно, что утраченного уже не вернуть. А иной жизни у нас с тобой уже не будет. И есть ли жизнь там — неизвестно, ведь оттуда ещё никто не возвратился...

— Осипка, а ты благодари судьбу за то, что здесь между нами было. Ведь могло и не быть, могло случиться так, что разминулись бы наши судьбы. Вот что было бы страшно...

— Да... — уже соглашался он с ней.

Иосиф сидел на крыльце.словно через туман смотрел окрест. Справа и слева видел желтовато-серую, неровную сверху, широкую полосу осеннего леса, опоясывающего хутор, а впереди, прямо перед ним — две жёлтые берёзы и жёлтый бугорок, ещё не затянутый травой.

Как-то в первый год, когда пришёл сюда, немного освоившись, выйдя из сеней такою же порой, Иосиф увидел жёлто-зелёный лес, а на его фоне — две чуть наклонённые жёлтые-жёлтые берёзы, а под ними — пожухлую, высокую, в пояс, траву. Какая печальная картина...

От этой печали природы защемило сердце: природа увядает, потом обновляется. Человеку такое не дано.

Тогда вспомнилось, как не однажды, когда ещё жил в Гуде в своём доме, выходя на крыльцо, наталкиваясь взором на землянки односельчан, которые считали его заклятым врагом, и думал: “Может быть, сойти куда подальше, забраться в какую-нибудь глухомань, сделать там землянку и жить, сколько отпущено, никому не досаждая. А когда почувствую, что приближается мой последний час на земле, выйду из неё, лягу под деревьями лицом к небу и буду ждать...”

И эти берёзы тогда показались ему такими деревьями, под которыми он и умрёт, когда придёт срок.

Теперь почему-то подумалось, что мог бы и он в молодые годы, когда встретил Теклюшку, посадить вместе с ней на своей земле две берёзки. Или уже без неё мог бы посадить их. Неважно — где, в поле, в огороде, возле леса сейчас шумели бы две берёзы. Пусть бы хоть такая память о них была. А он посадил сирень. Посадил тогда, когда стал жить с Марией. Посадил два маленьких ростка сирени на своей усадьбе. Посадил вопреки ей и её родителям. О Теклюшке тогда думал.

Ростки сирени прижились. Через годы они превратились в два больших ствола, давших множество побегов. Каждую весну до войны много лет подряд цвёл огромный куст, благоухал. И это было до того, пока в войну не случилось самое страшное и непоправимое с его, Иосифа, односельчанами... Тогда и куст иссох.

А берёзы живут. Не его берёзы...

“Не печалься, Иосиф, и ни на кого не обижайся и не злись. Ни на себя, ни на Ефима, ни на Николая с Михеем, слышишь? И на Марию — тоже. Ни на кого. И на себя не злись. Слышишь?”

Текля села рядом с ним на крыльцо. Но не прильнула к плечу, как всегда делала раньше, когда садилась рядом, а чуть поодаль. Голова её была непокрытая. Волосы её — как в молодости, длинные, русые, а не седые, как тогда, когда встретил её на базаре, — легко трепал ветерок.

Он сидел и не поворачивался к ней. Он и так ощущал её, свою Теклюшку. Он видел её светлое молодое лицо не глазами, а каким-то иным зрением — душой, что ли... И нежность к ней, такой любимой и родной, кажется, даже не известная ему в молодые годы, наполнила всё его существо.

Иосиф боялся пошевелиться. Ему казалось, тогда из души исчезнет это ощущение, исчезнет тот волшебный свет, через который вырисовывалось Теклюшкино лицо, а за ним — лица Кати, её сыночка Петьки, Нади и Светки, Валика, Ефима, Михея, Николая, Архипа...

“Ну, что же ты, Осипка? Не бойся, — вдруг молвила Текля. — Иди, иди к ним. Не обижайся на людей. Им, как и тебе, тяжело. Им, как и тебе, больно. Слышишь меня? Иди”.

Он повернулся, хотел ближе подсесть к ней, спросить, как же она здесь будет одна, если он уйдёт? Но не успел, Текля легко поднялась, отошла от него. Иосиф хотел взять её за руку, но её уже не было...

Он ещё не успел осознать, была ли она здесь наяву или ему показалось, как вновь услышал уже откуда-то издалека: “Иди, не обижайся на них. И не бойся. А я уж как-нибудь здесь буду”.

Свет в его душе мгновенно померк, сердце пронзила острая щемящая боль...

10

А тем временем всё дальше и дальше от Гуды отплывала лодка с Валиком и Ефимом. Им ещё долго надо было плыть по реке, чтобы причалить к её левому берегу, на котором находился хутор Кошара. Точнее, находился он далековато от реки — за болотом, которое считалось непроходимым, за грядой леса, отделяющего топь от усадьбы, опустевшей много лет тому назад и заросшей травой и бурьяном...

Через трое суток Ефим и Валик приплыли к Кошаре. Впрочем, перед тем как отправиться в дорогу, парень так и рассчитывал. То, что Ефим говорил, будто туда можно доплыть за день, были слова, не более. Может, раньше, в его молодые годы, как он говорил, когда река бежала быстрее, чем сейчас, справились бы за сутки, но не сейчас.

Обмелела за последние годы Дубосна, бежала не так быстро, как когда-то, а местами, казалось, совсем остановилась.

Ефим удивлялся: как же так?

Валик слушал старика, пожимал плечами. Так далеко по реке он выбрался впервые. И удивлялся он другому: какая же она красивая, особенно в лесах, на не заболоченном пространстве, а в высоких берегах, поросших величавой сосной.

Удивлялся, что на всём пути им не попадались деревни, хотя иногда чувствовалось, что где-то не так и далеко от Дубосны они есть: местами через лес к реке спускались дороги, тропы, на берегах были видны шалаши, старые и ещё с непожухлой листвой, недавно поставленные. Конечно же, сюда приходят рыбаки, но сейчас их не видно. Это было понятно: уже стоит почти осенняя пора, у людей иные заботы — поля, урожай.

Миновали и Дубосну, деревню с таким же названием, как река. Деревня была с левого берега за лесом, недалеко от реки: на воде покачивалось с десятков челнов и лодок, привязанных к вбитым в землю кольям.

Когда подплывали к этому месту, Валик заметил, что старику не сидится. Он приподнимался с сидения, молча поглядывал то на реку, то на берег, то на Валика. И только когда миновали песчаный берег, сказал:

— Дубосна. Церковь там. Как-нибудь свозишь меня. Можно, конечно, на попутной машине по дороге подъехать, ближе и намного быстрее, но не хочу дорогой.

— Почему? — спросил Валик.

— Не люблю её. Та дорога когда-то нас с Иосифом развела в разные стороны. Ещё когда мы молодыми были. Ты уже взрослый, поэтому скажу тебе, чтобы знал, чтобы не повторил в своей жизни ошибку моей молодости. То, что я тогда сделал, и сегодня не даёт мне покоя. Вот послушай.

У Иосифа девушка была. Из Демков. Текля. Любились они. И однажды её обесчестил один плохой, богатый, наглый парень. Бабы это видели, долго сплетничали, мол, Текля до того догулялась, что среди бела дня с Авдеем (так звали того парня) голая в снопах качается.

Иосиф места себе не находил. Как так?.. Отвернулся от неё, а я, дурак, на всё со стороны смотрю, будто меня не касается, будто никто он мне.

Текля красавица была, работающая. Так вот, обесчестил её Авдей, а через какое-то время разузнал Иосиф, что тот повезёт Теклю в Дубосну венчаться. Пришёл Иосиф ко мне, мол, пойду на дорогу, перегорожу. Смотрит на меня, а я молчу. И пошёл. А я не пошёл с ним. И девку Иосиф не вернул, и Авдеевы дружки едва его не убили. Мне надо было тогда с ним пойти, Валик, надо было, а я...

— Он же не звал.

— А на такое дело не зовут, если друг, сам должен пойти.

— Наверное, друзьями не были.

— Были, Валик, были.

— Тогда я не знаю, дед, ничего не понимаю.

— Здесь понимание одно: жизнь у него и у неё сломана. А пошёл бы я с ним — вдвоём отбили бы Теклю.

— Потому и в церковь тебе надо? Ты же, дед, кажется, не очень веришь.

— Нет. Церкви это не касается. Просто хочу зайти, постоять, посмотреть, как люди верят. Старый уже. Много грязи за жизнь на душе накопилось, церковь грязь не смоешь, если сам не смоешь. И люди не смоят.

— Какие люди, деда? Тебя уважают. Чуть что: Ефим Михайлович сказал, Ефим Михайлович знает, Ефим Михайлович посоветовал...

— Ну, это те, кто знает, какой я сейчас. Но и другие люди есть. Тот же Иосиф, Текля, если жива... Сослали её с мужиком не известно куда, раскулачили его.

— С тем, что обесчестил?

— С ним. А куда же ей было деться, как не с ним? В то время, если кто выжжет на девке клеймо блудницы, так до гроба. А девку можно и обманом обесчестить. Позже я узнал, что Авдей опоил Теклюшку какой-то гадостью и обесчестил.

Смолк старик. Молчал и Валик. Долго молчали. Не представлял парень, что столько лет деда Ефима может так тревожить то, что когда-то было в его молодости: не поддержал друга в беде. Хотя тяжело представить, что за такая большая беда: ну, вышла девка за другого, если бы не хотела, так не ехала бы с ним венчаться. И зачем было Иосифу идти на дорогу, вмешиваться в судьбу уже чужой ему девушки? Но если послушать деда Ефима, получается, что не так всё просто: Иосиф и Текля любили друг друга, но случилось ужасное: не разобрались, расстались. А он, Ефим, оказывается, мог бы помочь им, но не захотел. Почему?.. Вот в чём вопрос.

На следующий день (ночевали на берегу у костра), собираясь плыть дальше, Валик спросил старика, почему он тогда не пошёл с Иосифом.

— И я, как и все, сплетням поверил, — сказал Ефим. — Не хотел, чтобы Иосиф с ней был, раз она такая. А правда в том, что смалодушничал я, мне это позже открылось, и уже ничего нельзя было изменить.

К Кошаре подплывали в полдень. Что до хутора недалеко, Валик понял по тому, как Ефим начал внимательно всматриваться в левый берег, поросший деревьями. Смотрел, будто боялся не узнать место, где надо пристать: а вдруг они его уже миновали.

— Валик, табань! — крикнул старик, да так громко, что тот от неожиданности вздрогнул. — Говорю, гребь назад. Проскочили протоку. Видишь? Поворачивай, давай кормой в траву. И осторожно, следа в траве от лодки не видно, сильно не мни траву. Не надо, чтобы кто-нибудь посторонний знал об этом месте.

А через какое-то время, спрятав в заводи в тростнике лодку, даже не взяв с собой рюкзаки с едой и тёплой верхней одеждой, Ефим и Валик по припрятанным в топи плахам шли через болото к хутору.

Плахи Ефим отыскал быстро, нащупав длинной палкой твёрдое в топи, затем на шаг сбоку — вторую, третью. Так плахи могли положить только три человека: хозяин хутора Антон, он, Ефим, который когда-то работал у него и знал секрет пути, и Иосиф. Иосифу о том, как пройти через болото, рассказал Ефим, вернувшись с хутора, когда ходил сюда, чтобы забрать к себе детишек. А надо ли было? Ведь детишек от родителей оторвал бы.

А тогда думал, что надо. О том, что дорогу сюда знают дети и внуки Анто-на, Ефим не думал.

II

Они долго стояли на пригорке, за которым лежала усадьба. Стояли там, где когда-то начиналась тропка через поле к дому. По той тропке, когда был молодым, ходил и Ефим. Но теперь она была еле заметна, заросла травой. Справа, шагах в пяти от тропки, струился родничок. Из него вытекал руче-ек, бежал вниз к речке.

Родничок был обложен камнями, этакой подковой, что удивило Ефима: при Антоне здесь был сруб в два веночка, а под ним — желобок. Помнил, что уже в тридцать седьмом, когда приходил сюда за детишками, сруб во-круг родничка был подгнивший, рядом лежали свежие плахи. Наверное, Ан-тон собирался его заменить, но не успел. Знал, что Антон любил всё делать из дерева, говорил: “Дерево дышит”.

Ефим посмотрел вокруг — плашек не было, не иначе весною по склону снесла талая вода. Конечно, камни не Антоновы, и обложен родничок после того, как Ефим приходил сюда, может, Иосиф обложил.

Помнил, что Иосиф, когда ставили дома, советовал хозяевам делать ка-менные фундаменты вместо деревянных, как тогда было принято в Гуде и окружающих деревнях, говорил, что камень вечный. Говорил, что так де-лают в городе, где как-то был на заработках.

— Иосифа работа, — кивнул Ефим на родничок, — вишь, обложил, на-верное, век доживать здесь собрался. У Антона в сарае дерева хватало, он хозяйственный был, все у него было приготовлено заранее.

Валик не ответил. Всё болото — жутко. И разве здесь кто живёт? Всё заросло травой, нигде не видно даже лоскутка обработанной земли. Вон длинный дом, крыша седловиной, просела, того и гляди — обвалится. Про-гнившимися были крыши и ещё двух строений, чернеющих вдали от дома, ближе к лесу.

— Деда, — наконец, сказал Валик. — Нежилое. И никого здесь нет.

Ефим долго молча смотрел на хутор. Он хорошо помнил его. Помнил ко-шару, сарай — когда-то он помогал Антону их ставить. Помнил дом, кото-рый тот построил ещё до него, кажется, говорил, что помогали родственни-ки. Помнил просторные сени. Помнил широкое крыльцо. Впрочем, помнил здесь всё до мелочей и теперь узнавал и не узнавал. Да, нежилое. Вот толь-ко, кажется, к сеним приделано новое крыльцо, дерево, столбики ещё жёл-тые, и площадка, доски — тоже. И на окнах нет досок. А были заколочены, когда Ефим в последний раз навещал хутор. Значит, здесь кто-то жил или живёт. Если жил, то не так давно.

Ефим перевёл взгляд вправо от крыльца, увидел недалеко от него две большие берёзы. Их он тоже помнил. Помнил ещё совсем маленькими, по-мнил уже и деревьями. Дорожил ими Антон, помнил Ефим, как он когда-то сказал хозяину, мол, можно было бы выкорчевать, мешают косить, а тот от-ветил:

— Пусть растут. Жалко.

Теперь берёзы были большие, в деревне сказали бы — зрелые. Берёза вырастает за каких-то лет пятьдесят — самое дерево. Кроны их широкие, жёлтые косы опущены почти до земли, колышутся на ветру, кажется, что-то закрывают.

Взгляд скользнул вниз, под косы берёз. Под ними — узкий, длинный жёлтый бугорок, а над ним — свежий, дерево ещё жёлтое, крест с трепещу-щимся на нём белым полотенцем. Ветер колыхал ветви, открывая его, такой большой для могилы. Подумал, что такие большие кресты раньше обычно ставили у входа в деревни. Были особые мужики, которые умели их делать добротно. И десятилетиями стояли они в начале деревень, как считалось, оберегая людей от нечисти. Женщины украшали их полотенцами — святость излучалась от таких крестов. В новые времена, принесшие повсеместную безбожность, отрицающие добро, сталкивающие брата с братом якобы во

имя какого-то светлого будущего, проливающие невинные людские слёзы и кровь, таких крестов уже не ставили. А старые эти обереги выворачивали, изничтожали — находились среди людей и такие, которые почитали кощунство за честь, впрочем, не зная смысла самого этого понятия, как и понятия совести, без чего существу, именуемому человеком, нечего делать среди людей...

Ефим и Иосиф слыли хорошими и плотниками, и столярами. Когда были помоложе и ещё дружили, домов окрест поставили немало, в том числе и в новых поселениях, а вот мастерить такие обереги не брались, мол, для этого мастера есть постарше... Правда, однажды они крест всё же сделали. Помнится, умерла одинокая старушка Прасковья. На отшибе жила в хатке-развалюхе. Убогая и не убогая, вроде странная и не странная, но всякого привечала — и странника, и местный люд. Детишек заговорённой водой лечила. Помогало, многие болезни как рукой снимало... Умерла, бабы к Ефиму с Иосифом: “Старики домовину ладят, помогите им с крестом. Крест ей большой надо, потому как страдала большая...”

Помогли, сделали такой же большой, как этот, — старикам не поднять...

Сказывал шофёр Кате и Наде, у Антона, который живёт на этом хуторе, и которого он время от времени подвозил в город и из города, хозяйка была. Конечно же, Иосиф Антоном представлялся, наверное, затерявшись в одиночестве, и среди людей хотел затеряться.

Сказывал, хозяйка его умерла. Умерла. Неужели?.. Так её же сослали. Вернулась? А если и вернулась, так как могли встретиться? Как всё понимать?..

Вздрыгнул Ефим, прочь хотелось гнать эту мысль: нет, не она. Сморщился от боли, сердце в груди словно кто-то сжал в кулак — не продохнуть, ноги подкосились, едва не упал, но удержался: нельзя, парня испугаю.

Кое-как успокоился, еле поднимая ноги, медленно направился к берёзам. Каждый шаг давался с трудом. Не дойдя несколько шагов до берёз, не сводя затуманенных глаз с бугорка, желтевшего под ними, остановился, прошептал: “Опоздал. И кто же тебя похоронил?.. И кто ты? Иосиф, Антон? Мне бы самому поговорить с тем шофёром, который тебя подвозил, я бы точно определил, кто. А то женщины как-то неопределённо: “Иосиф — не Иосиф...””

Валик стоял позади, слов старика не разобрал, но понял: тот что-то говорил сам себе. Знал, в последнее время у деда Ефима бывают такие мгновения, когда он сам с собой разговаривает. А тем временем старик начал медленно опускаться на землю, на колени. Валик подхватил его сзади под руки, поддержал, пока старик опустится, и, глядя, как тот дрожащей непослушной рукой стягивает с головы фуражку, впервые пожалел, что приехали сюда. Нельзя было этого делать, нельзя! У старика болит сердце, какие его годы... Вдруг с ним что случится, где и у кого тогда искать помощи?

— Деда, деда, — приседая возле него, позвал Валик. — Тебе плохо?

Ефим молчал. Валик опустил руку в карман брюк, нащупал там таблетки от сердца, которые ему перед дорогой сунула тётка Катя, достал, подал старику.

— Не надо, внучек, — проговорил тот, отклоняя руку Валика. — Лекарства душу не лечат. Само пройдёт. Не обращай внимания, бывает.

Ефим не торопясь поднялся, пошатываясь, сделал шаг к бугорку, остановился: песок свежий, жёлтый.

Он не знал, что сегодня утром песок на бугорок насыпал Иосиф, чтобы подновить могилку, осевшую за лето. Не знал Ефим, что эти три дня, пока он с Валиком плыл сюда, бывший его друг и односельчанин Иосиф Кучинский подолгу сидел возле могилы. В мыслях разговаривал с Теклей, чтобы подсказала, что делать дальше, ведь очень тяжело ему здесь жить одному. Хотя знал Иосиф, что ему надо делать, Текля много раз говорила: “Когда вдруг упаду, так в Гуду иди”. Но легко сказать — иди, а как оставить её здесь одну?..

Текля для Иосифа была будто живая. Он ощущал её рядом с собой, где бы ни был, что бы ни делал. Он в мыслях всегда разговаривал с ней, когда надо было — советовался. Он видел её облик, видел её глаза, лёгкую,

печальную улыбку. Он, кажется, жил под её властью, такой доброй и нежной, такой необходимой ему, что и не высказать.

Он знал, если она вдруг когда-то оставит его, тогда закончится его жизнь — тогда вообще не будет никакого смысла жить ему дальше на земле, и думал об этом с холодным спокойствием.

Да, Текля просила его, чтобы шёл в Гуду. Знала, что там его спасение. А ему надо было только сходить туда, посмотреть, что там и как, и вернуться к ней. Спасение ему уже было не нужно: свыше отпущенный срок проживёт здесь. После того, как она умерла, Иосиф подготовился к своему последнему часу на земле, о котором не однажды думал, оставив Гуду: где-нибудь подальше от людей лечь в то, во что кладут тех, кто ушёл из жизни, и ждать (в сарае “то” стоит).

Есть у него то, во что лечь, сделал новое. И место есть — рядом с ней, Теклей. Почувствует, что близок его последний час, притянет “то”. И ещё: могилу он успеет выкопать, сходит в деревню или не сходит. В Гуду ему надо только потому, чтобы опять увидеть Катю, её сыночка, Надю, её детей. Увидеть, что всё у них хорошо, что не надо за них опасаться, как опасался в городе.

И мужчин ему надо увидеть: Ефима, Михея, Николая и всех тех, кто вернулся. Не обязательно признаваться им, что это он, Иосиф Кучинский, пришёл. Ему просто пройтись бы по деревне, прикинувшись старцем, чтобы не узнали, посмотреть, как они... Ему бы деревню увидеть, какая она сейчас. Ему так хочется вдохнуть тот воздух, которым дышал всю жизнь, пока не очутился тут.

Но он боялся идти в деревню, хотя очень хотелось. Боялся, что может и дойти, а вот вернётся ли сюда, к своей Теклюшке, неизвестно. Пойти туда ему надо совсем по иной причине, чем она хотела. Текля считала, что только там его спасение, а оно ему было не нужно. Ему нужно иное — людей увидеть и запомнить такими, какие они есть сейчас, какими они были — помнит... А потом — назад, к ней. А спасение от самого себя, заплутавшегося в жизни, освежив душу, очистив её от всего наносного, налипшегося на неё за долгие-долгие годы, он найдёт, вернее, нашёл ещё тогда, когда с Теклюшкой встретился. Но понял это только сейчас, увидев свою жизнь. Как говорят, не издалека, а изнутри самого себя...

Иосифу хотелось и не ослушаться Теклю, и сделать по-своему. Так сказать, соединить в одно два желания: её и его. Только всё это очень и очень непросто.

Иосиф страдал, не зная, что делать, как соединить эти два желания, да и можно ли их соединить?..

В то время, когда Ефим и Валик были возле могилы, Иосиф, ещё ничего не решив, как и три дня подряд, собирал в сених мешочек, складывал в него то, что могло бы пригодиться в долгой дороге: спички, банку консервов из старых запасов, брусочек сала, сухари. А собрав, думал, как уже делал трижды, выйти из сеней, направиться к берёзкам, подойти к бугорку, остановиться, в который раз спросить у Теклюшки, что ему делать.

Знал, что и сегодня она не даст ответа: говорила же, слышал, что надо в Гуду идти...

Ладно, уйдёт он, но как она здесь будет одна?.. Уйдёт, и тем самым в очередной раз предаст её, самого дорогого ему человека, или самое дорогое, что было у него за всю длинную и такую горькую жизнь...

Иосиф, как было и раньше, собрав мешок, развязал его, высыпал содержимое на лежак, повернулся, взял в углу самодельный костыль, ткнул его под мышку и решительно направился к двери.

А Ефим по-прежнему стоял на коленях возле могильного бугорка под двумя берёзами. Берёзы шелестели жёлтыми листьями, ветер трепал белое полотенце на кресте, лёгкий туман, ещё минуту тому назад закрывавший глаза, рассеивался.

Валик внимательно следил за стариком, готовый, если потребуется, в любое мгновение подхватить его, поддержать. Он даже сделал шаг, чтобы быть ближе к нему, и вдруг застыл на месте: сзади закрипела дверь. И сразу

же оттуда слышались шаги, сначала звучные, по доскам, потом глухие, по земле.

Валик резко повернулся к дому и на мгновение словно окаменел: к ним, шаркая сапогами по земле, приближался старик. Сгорбленный, без шапки, с самодельным костылём под мышкой. Он спешил сюда. Казалось, ещё мгновение — старик подойдёт и набросится на них: “Что вам здесь надо? Кто вы такие?”

Старик, сделав несколько шагов, тяжело выпрямился, поднял голову, посмотрел на Валика и Ефима. Что-то полубыто-знакомое увидел парень в облике старика. И сразу же внутри всё сжалось, а потом вспыхнуло: он!.. Валик сдвинулся с места, сначала медленно подался ему навстречу, взглядываясь в лицо: редкая седая бородка, редкие седые волосы, и глаза, кажется, знакомые глаза. А когда между парнем и стариком оставалось шага три-четыре, Валик рассмотрел их: выцветшие, но не пустые, грустные, истрадавшие, в них застыли боль и страх — такими они были зимой сорок пятого, когда он бросал лёд в лицо деду Иосифу Кучинскому.

Старик, взглядываясь в парня, в Ефима, который поворачивался, поднимаясь с колен, остановился, в его глазах появилось что-то похожее на слабый огонёк, прохрипел:

— Валик?.. Ефим?..

— Деда Иосиф! — парень бросился к старику, подбежав к нему, остановился растерянный, опустил глаза.

— Узнал ты меня, Валичек, узнал. Дай я тебя обниму.

Старик выронил костыль, сначала осторожно обнял парня, а потом решительно прижал к себе.

— Осип? — слышалось глухо от бугорка. — Ты? Боже, живой!

— Я, я, Ефим...

...На третий день на рассвете Валик отплывал из Кошары. В лодке он был один. Он хотел возвращаться в Гуду в челне, но старики сказали, что он им сподручней, что на челне они ещё могут хоть всю реку пройти от начала до конца. Конечно, в этом им нет надобности, но обязательно сплавляют на нём, куда надо.

Когда Валик заинтересовался, куда именно, Иосиф сказал, что прежде всего — на Стражу, благо дни стоят ещё тёплые. А потом сплавляют в город, у них там тоже есть дело, или ещё куда. Под словами “ещё куда” Валик понимал — в Гуду. Он надеялся, что это будет скоро: побудут день-два на Страже, расспросят у хозяйки о солдатах, ночевавших там, и поплывут в свою деревню, ведь не так уж и далеко она оттуда. А насовсем приплывут, или только перезимовать, будет видно...

Прежде чем проводить Валика к лодке, старики сказали ему, чтобы запомнил путь через болото.

Конечно, если бы у стариков была сила, надо было бы положить новые плашки, и не по две в ширину, а по четыре, а то и по пять, и не прятать их в топи, а поверху. Пусть бы люди шли, кому надо, вон охотники зимой постреливали... Может, ягодники прибьются или ещё кто. А если вдруг заявятся Антон с женой, его дети или внуки, так Ефим всё возьмёт на себя, скажет, почему они с Осипом здесь. А там будет видно. Может, хозяевам хутора нужна будет помощь, так пожалуйста: в Гуде пустует дом, который мужчины построили Ефиму.

Когда Валик собирался назад, Иосиф дал ему весомый мешочек с орехами, сказал, чтобы передал Кате, она всех угостит. Просил парня всем, кто ещё помнит Иосифа Кучинского, передать поклон. А потом сказал:

— Я, Валентин Игнатьевич, вот о чём тебя попрошу: если у нас растёт трава молодила, отыщи её мне. Мы с Теклошкой хотели её здесь найти, но не знали, растёт ли она у нас, да и как она выглядит, трава эта. Одно знаю, что целительная. Теклошка говорила, что мазь из этой травы, когда она из ссылки шла, где-то в России, кажется, ближе к нашим землям, ей одна старуха дала. У Теклошки ноги были в язвах, мазала, помогало. Хотя, может, и не растёт она у нас.

— Растёт, — сказал Валик, — по ботанике читал. У нас много чего растёт, а мы и не знаем, как называется. Отыщу. Да, лечебная она.

— Вот, вот, Теклюшке посажу. По весне как-нибудь заберу, под солнцем и посажу.

Прощались старики с Валиком по-мужски, без лишних эмоций. Пожали ему руку, мол, в добрый путь. А когда оттолкнули лодку от берега, не сговариваясь, перекрестили.

И он прощался с ними так, как прощаются ненадолго. Даже не обнял, сдержался, только пожал руки, сказал: “Ну, держитесь”, — и больше ничего.

Валик верил и не верил, что старики вскоре появятся в Гуде. Думал об ином: когда он пришлывёт в деревню и расскажет обо всём, что здесь произошло, Савелий сразу же направится в Кошару. Он это так не оставит, настолько, данной ему властью заставит стариков вернуться в деревню. Удумали: остаёмся!..

Конечно, без Валика ему сюда не добраться. И, выплывая из заводи, не обращая внимания на то, что за лодкой в траве остаётся след, Валик старался запомнить этот поворот реки, её левый и правый берег. С левого берега, по течению, метров за двести перед заводью к самой воде свисают старые ветви ив. Этакая плотная гряда. Местами через неё в реку упали деревья, толстые и очень старые. Лежат давно, может, десятилетия, стволы постепенно исчезают под водой, над которой возвышаются толстые почерневшие ветви. Наверное, деревья подрезали бобры, иначе нельзя представить, как они, такие сильные, упали.

Гряда ивняка заканчивается около полосы травы, уходящей влево к лесу на возвышенность, за которой, как Валик уже знает, начинается болото. Правый берег высокий, обрывистый, весной вода его сильно подмывает, в реке тоже лежат поваленные деревья.

Валик выплыл на середину Дубосны, взялся за весла; знал, что ивняк вскоре закончится, и дальше река пойдёт прямее, поворотов мало, и он направит лодку ближе к берегу — так плыть легче и быстрее.

Так и было. Плыл он быстро, хотя и против течения. Около берега оно почти не ощущалось, где работал веслом, а где шестом — дело для него привычное. Он рассчитывал, что дня через два приплывёт к тому месту, где от берега проложена тропа к Страже. Ефим об этом говорил и просил, чтобы Валик сходил на хутор, переночевал у старухи, сказал ей, что вскоре сюда должны навестись двое стариков: дело у них к хозяйке есть.

Если бы Иосиф не сказал ему о том, что старики собираются навестить Стражу, Валик один домой не уплыл бы. А так рассчитывал, что оттуда обязательно поплывут в Гуду. Понимал, что Стража — единственное место на земле, где, как думает, он может обнаружить следы своих сыновей.

Валик плыл и впоминал разговоры стариков. Были они, на первый взгляд, логически будто и не связаны между собой, но только на первый взгляд. В этих разговорах был какой-то свой глубокий смысл, и был он словно припрятан. От кого? От себя? От него, Валика?

От себя — едва ли. От него? Тогда с какой целью? Старики таким образом пытались уберечь его от всего обидного и жестокого, что было между ними?.. Как сказать...

Фрагментарно звучало так...

— Знаешь, Ефим, что я понял, считай, прожив всю жизнь возле людей, а может, и с ними, а сейчас вот уже сколько лет один?

— Откуда мне знать? Говори, Осип. Только позволь, всё же я тебе о своём прежде сказать должен, ибо виноват перед тобой. Из-за меня мы чужими стали, а когда-то как братья были... Кто знал, что жизнь такая извилистая?.. По-глупому разошлись мы с тобой. Я, я во всём виноват. И пошло: у меня — своя дорога, у тебя — своя. И мне было больно и обидно без тебя, пожалуй, и тебе без меня. Помнил я всю жизнь, как ты, когда я, чужой, сирота, бродяга в Гуду пришёл, ты первый из парней руку мне подал. А после я, когда тебе моя рука нужна была, от тебя отвернулся. И помню: не пошёл с тобой Теклюшку защищать. Наверное, больно тебе было, не смог ты её один у Авдея отбить, вдвоём отбили бы.

— Было больно, Ефим, было. А как же? И обидно было. И я сирота. И я один. Так вот, что я, прежде всего, понял: нельзя человеку быть одному на земле, каким бы он ни был — грешником или праведником, бедным или богатым. Земля ведь, когда туда люди уходят, всех как бы выравняет, все для неё одинаковы. Это здесь мы ссоримся, враждуем, ненавидим друг друга и даже уничтожаем... А там... Но вот что над всем этим стоит: какая память о тебе останется? Ну, ещё ладно, если от кого росток остаётся, а если, как у меня, — нет его, тогда что?.. Казалось бы, какое мне до этого дело? Ведь нет меня и никогда не будет. Но ведь болит душа, болит: добром ли вспомнят люди или словом худым, а может, просто забудут... А забудут — как и не жил, не было тебя на земле... Какая-то тайна нашего бытия в этом скрыта, колы не даёт покоя...

— И мне знакомо это. И мне нет покоя. Иной раз кажется, что та память, о которой ты говоришь, как продолжение жизни.

— Это ты точно говоришь... Нам бы с тобой, Ефим, по одной тропе до конца идти, а мы по разным пошли. Хотя, сколько живём с той поры, столько наши тропы рядом выются. А когда пересекались, к добру не приводили. Тяжело, очень тяжело было ощущать это. А вот опять сошлись. Не знаю, как ты, а я, как только тебя увидел, подумал, что наконец-то всё между нами изменится.

— С тем и приплыл, Осип.

— Как хорошо, что с Валиком приплыл. Вырос парень. Мужчина. Узнал меня. Обнял. Так сын никогда не обнимал, когда ещё человеком был. Хотя, может, он им и не был никогда. А почему? Не смог я человеком его воспитать.

Валик, когда они разговаривали у крыльца, присел на колоду, смотрел вдаль, хотел понять, как мог здесь так долго жить дед Иосиф сначала один, потом с женщиной, которую любил, и не представлял этого. Думал, наверное, только страшная обида на односельчан держала старика здесь: не мозолу вам глаза.

— Оно так и не так, — говорил Ефим. — Никто не знает, каким рождается человек. Как говорят, и яблоня может быть хорошая, а яблоко...

— Никому не говорил, а тебе скажу: не с моей он яблони, не моего корня. Но за это я Марию ни разу не упрекнул. Когда с плодом взял её, так спрос с меня за то, каким плод тот созрел. Так что, отвечай, Осип!.. Вот и отвечай и перед людьми, и перед самим собой.

— Нда. Сложно всё это. Очень.

— Я тебе больше скажу. Валик не слышит? Не надо ему это. (Валик хотел подняться, уйти, но что-то будто привязало его к колоде.) Нет, не слышит. Тогда, когда деревню сожгли, когда людей уничтожили, я сына своего хотел застрелить. Палач он, с врагом был. Винтовку на него наставил и — не смог. И здесь моя вина перед людьми. Он же после этого ещё столько зла сделал.

Иосиф надолго умолк. Молчал и Ефим. Валик сидел ошеломлённый, не знал, что делать. Он хорошо помнил полицая Стаса, сына деда Иосифа. Помнил, что Стас не однажды наставлял на малышей винтовку, пугал. Помнил, как горела деревня...

— Здесь тебе никто не судья, — наконец сказал Ефим. — Здесь сам себя или осудишь, или оправдаешь.

— И я так думаю. А что выбрать, и сейчас не знаю. Бывает, злось на себя. Хотя знаю — нельзя. И Теклюшка всегда говорила, что злиться на людей нельзя. Нельзя, как бы тебя ни крутила жизнь. Понимаешь? Ослепнешь, человека в человеке не увидишь. И в себе — тоже. Озвереешь. Я, может, ещё недавно от злобы незрячим был. В город шёл людям за Теклю мстить. Теклю у себя держали, издевались над ней, как хотели. Говорила, если бы не грех, так руки на себя наложила бы. Зверем к ним шёл, хотя не знал, что будут делать, но — зверем. Может, зверем и остался бы, если бы не встретил Катю с мальчиком, а потом — Надю со Светкой. Увидел их, и опустили руки, душа оттаяла. Вот оно как.

— Так что, Осип, простил? Или, как когда-то Фаддей говорил, молись за обижающего тебя? Да — по левой щеке бьют, правую подставляй? Да так изверги всё заполонят, всё изничтожат. Нет. Моего согласия на это не будет! Я с тобой за Теклю хоть сейчас, старый, заступлюсь, если молодым не заступился. В город хоть завтра пойдём!

— Пойдём. Только самосуд чинить не будем. Не нам других судить — это я тоже понял. Сам понял, хотя слышал, в Писании так сказано. Сказано-то сказано, а каково понять?.. Очень непросто понять, знаю. А поймёшь — по- иному на мир смотреть будешь... К власти пойдём, пусть их и судит, на то она власть. И меня пусть судит, коль за сына виноват.

— Дурак ты, Осип! Виноват... Ни в чём ты перед властью не виноват, Савелий сказывал ещё тогда, как ты исчез. И я дурак, судить тебя брался. А право у меня какое? Когда ты ушёл из деревни, долго я сам себе в душу заглядывал, пытаюсь понять, что там и как. Оказывается, там столько всего такого, за что меня ты должен судить.

— Брось, Ефим! Судить... Хватит того, что сами себя судим. Судить легко — понять трудно. А коль поймёшь самого себя так, как с твоих слов понимаю, лад в душе найдёшь.

— Вот, вот, точные твои слова...

Умолк Иосиф, молчал и Ефим. Долго молчали, наверное, каждый думая о чём-то своём. Наконец, Иосиф, словно пробудившись, молвил:

— Ты вот что, Ефим, скажи о Катином и Петровом мальчонке, как он там без отца? Видел я его на базаре, на отца, на Петра похож.

— Похож, вылитый отец. Петьюкой Катя назвала, Петриком. В школу идет нынче, в первый класс. Дедом меня кличет, Валика — братиком, Светлану — сестричкой. И ты ему дедом будешь, а как же. А парни мои придут — дяди. Жду.

Ефим смолк, задумался. Иосиф посмотрел на него, сказал:

— Жди. Придут. Много кого ждут?

— Ждём? Много кого. Игнатий Соперский пришёл, знаешь уже. Митроша Сдоба, Фёдор Жевлак, Никита Печенев, Борис Иванов, Степан Кравченко. А кто никогда не придёт, так имена тех на обелиске рядом с именами тех наших с тобой односельчан, которые дома погибли. Обелиск там, где клуб был. И Марфушка моя там, как знаешь. Ты вот могилку своей Текли каждый день видишь, сам её земле предал, а от моей Марфы ничего не осталось, даже пепел ветер развеял. Как же ты один Теклю смог похоронить?

— Так и смог... Сидела на крыльце, ждала меня, как всегда. Я из леса шёл, она увидела, поднялась, что-то хотела сказать и упала... А похоронил, так не буду говорить как, тяжело было, очень тяжело, гроб на кругляки положил, тащил. Был у меня, себе смастерил. Себе, а получилось...

— Тогда и не говори. Лёгкая смерть у неё, Царство ей небесное. А у моей Марфы — не человеческая. Узнал я, где Марфушка последний раз на земле была, по обгоревшей пуговице с её кофты. Пуговица та заметной была — посередине на голубом выбита роза. Я ту пуговицу подростком нашёл на дороге, когда по миру ходил. Очень мне нравилась она, красивая была. А когда с Марфушкой сошёлся, подарил ей — вот и всё моё богатство на то время. Пришила она себе пуговицу на кофту, говорила, к счастью: на дороге найдена. И потом перешивала с кофты на кофту. По этой обгорелой пуговице с оплавленной розой и нашёл я свою Марфочку — горстка пепла во круг пуговицы. Хотел сгрести, налетел ветер, развеял, смешал с прахом остальных наших односельчан, сгоревших вместе с ней.

На том месте, когда с войны вернулись Павлик Юркевич, Мишка Ивановский, Коля Трофимов, а потом Игнатий, мы сначала крест поставили. Большой, больше, чем этот, издалека он виден. А потом мужчины решили, что обелиск надо. Ведь люди наши разных наций и разной веры были — кресты рознятся.

— Говоришь, один на всех крест ставили, и обелиск один... И я один крест нам с Теклюшкой поставил. Большой, страдалница она.

— И ты, Осип, страдалец. Я так понимаю, крест у вас один, хотя долго врознь жили. Мне бы с моей Марфушкой один крест.

— С нами всё понятно, Ефим, — сказал Иосиф. — Как жили, что делали... Закат наш близок. О молодых надо подумать. Прости, но я опять о твоих парнях спросить хочу. Ты же толком о них ничего и не сказал, одно — ждѣшь. Вести подают?

— Парни? Почему толком не сказал... Мне за своих больно, тебе за своего. У тебя, может, в сто раз горше душа болит, чем у меня. Что особенного можно сказать о моих? — Ефим уже рассуждал. — Говорил и говорю: жду. Но пока молчат. Бумага на них была, будто без вести пропали. Ещё давно была, как район освободили.

— Как это была? Порвал?

— Нет, не порвал. Есть такая бумажка, есть. Только не верю я ей. Савелий Косманович, помнишь такого, её у почтальонки перехватил. Он у нас участковый.

— Помню, хороший парень.

— И он не верит.

Валику хотелось крикнуть, что он тоже не верит, но сдержался. Впервые в своей взрослой жизни, а он считал себя взрослым, получается, подслушивает чужой разговор. Хотя почему — чужой? Дороги ему старики, столько пережили они на своём веку, что и вообразить невозможно. И если он без разрешения становится свидетелем их искреннего и очень непростого разговора, то, наверное, ему простительно: ничего не поделаешь, рано или поздно уйдут они из жизни, и что, на этом всё кончится? Нет, он должен знать, ему жить да жить, как иногда говорит дед Ефим, рассказывая, мол, не повторяй моих ошибок, Валик...

— Вернутся, — сказал Иосиф и повторил прежнее: — Будем ждать.

— А как же? — словно удивился Ефим. — Все ждут, всех ждут. И тебя в Гуде все ждут. Женщины наказывали: “Дядь Ефим, без дяди Иосифа не возвращайтесь”.

Сказав это, Ефим внимательно посмотрел на Иосифа. Тот молчал. Казалось, даже затаил дыхание. Наконец, вздохнув, заговорил:

— Нет, Ефим, не вернусь. Возле Теклюшки буду. Не могу я её оставить одну, крест у нас один, это ты верно сказал. Ты вот что, нашим поклон от меня передай и скажи, что не могу. Заботы здесь у меня есть. Скажи, что у меня всё хорошо, крепкий ещё. Вот нашёл ты меня с Валиком, и всё тяжёлое, что угнетало, к земле прижимало, да так, что света Божьего не видел, подальше ссунулось. А больше мне ничего и не надо.

— Почему не вернёшься? — возмутился Ефим. — Мы же все тебя ждём с того времени, как исчез, словно в воду канул. Семь лет минуло: где человек делся?.. Утонул?.. Вода снесла, что и следа нет?.. Сгорел, как дом занялся?.. Где мы только тебя не искали, как только не звали!.. А ты вон где!.. И как это я раньше не догадался?.. Хотя, признаюсь, не представляю, как ты в такой паводок, в такой холод смог выбраться на сухое.

— Как видишь, выбрался. Выбрался не потому, что очень хотелось жить, нет. Наверное, выбрался потому, что не мог умереть, не повидав Теклюшку. Наверное, какая-то неподвластная мне сила вела меня сюда. Может, судьба.

Выбрался, может быть, потому, что хотелось повидать Петрово и Катино дитя, всех вас... И может быть, для того выбрался, чтобы когда-то дожидаться вот такого момента, когда мы с тобой обнялись, дорогой ты мой друг. Так что теперь мне с Теклюшкой надо быть. Как же я её одну здесь оставлю? Три дни собирался в Гуду, хотела она этого. Хотела, чтобы к вам шёл, если она вдруг первой умрёт. А я говорил, чтобы к тебе, Ефим, шла, если что со мной случится. Говорил, что ты её в обиду не дашь, спрячешь, беглая же.

— Значит, верил в меня.

— И злился на тебя, а всё-таки верил тебе. И Михею с Николаем верил, и Кате с Надей. А теперь и Валику верю. Повидал вас, и ничего и никого не боюсь. Разве что одного: Теклюшку одну оставить.

— А я много чего боюсь, Оси, — сказал Ефим. — Боюсь, что сыновей своих не увижу: вернутся, а меня уже похоронят. Боюсь, чтобы с детьми не повторилось то, что с нами было. Боюсь, что ты, как сказал, не поедешь со

мной. Прошлого нашего с тобой боюсь: я же тебя бросил, когда ты Теклю шёл забирать, когда Авдей вёз её под венец. Боюсь своих слов, которые когда-то сказал сыновьям, провожая их на войну, словно проклял их. Также, как и ты Теклюшку, боюсь одну Марфушку оставить. Хотя не одна она там, с такими же мученицами и мучениками, как сама, а всё равно боюсь... За себя боюсь — правильно ли по земле шёл... За тебя, Осип, боюсь: как же ты здесь один будешь?..

— Ничего не бойся, Ефим, особенно за меня и Теклюшку. А слова, которые ты Никодиму и Ване говорил, когда они на войну шли, так правильные они были. Я их помню, с тобой же на фронт наших сыновей провожали. Моему бы Стасу их в наказ, да чтобы он их услышал, может, и я его, как сына, как человека ждал бы.

Я здесь буду, а вы домой плывите, не прогоняю, но и не задерживайтесь со мной, скоро начнутся осенние дожди, тяжело будет плыть. Даст Бог, увидимся. Сыновья твои вернуться, будет желание, приплывайте ко мне, уж очень хочется повидаться с ним, какие они сейчас, Никодим и Иван. Наверное, настоящие мужчины!

— Наверное, Осип, наверное. Скорее бы вернулись. — Сказав это, Ефим замолчал, медленно поднялся с колоды, сделал несколько шагов к берегу и остановился. Долго стоял, глядя на них, потом повернулся, подошёл к Иосифу, сказал: — Я вот что, с тобой и Теклюшкой останусь. Мне вас одних оставлять нельзя. А Марфушка меня поймёт и подождёт. А когда мои парни придут, так Валик им к нам дорогу покажет. Погостят, назад вместе уплывём. Валик, а Валик, слышишь? Привезёшь сюда парней?

Валик не ответил, будто не слышал. Его сердце гулко стучало, он не знал, как быть.

12

Валик плыл домой в лодке Иосифа Кучинского... Тот разговор двух стариков, близких и дорогих ему людей, всё всплывал и всплывал в его памяти. Он слышал их голоса. Видел их лица. Были старики седые и мудрые. Видел их глаза, будто выцветшие, но всё равно с какой-то просветлённостью. Пусть и печальной, но настоящей, той, которая ненавязчиво передаётся тебе, овладевает твоими мыслями. И ты задумываешься о том, что нет ничего простого в отношениях между людьми и что очень важно понимать друг друга, поддерживая на извилистых и крутых дорогах жизни.

Он ещё не знал, что и его жизнь будет непростой, а дороги — извилистыми и крутыми. Не знал, что на этих дорогах среди людей и к людям он много раз будет падать. Не знал, что тогда будет вспоминать этот разговор двух односельчан, судьбы которых тогда тронули его ещё по-настоящему не окрепшую душу, бросили в неё много и горечи, и тепла, а вспомнив, будет подниматься и помогать подняться другим, тем, кто упадёт один...

На всю свою долгую и очень непростую жизнь запомнит Валик, Валентин Игнатович Соперский, и свою, и старика Ефима встречу с Иосифом Кучинским, состоявшуюся на хуторе Кошара, надёжно спрятанном в лесной глуши природой от людей. Многое из увиденного и пережитого затеряется в его памяти, сотрётся, а это будет на самом верху, чтобы выживиться, выясниться, озариться в нелёгкие, а то и тяжёлые моменты жизни.

А пока он плыл по реке против течения домой, к родителям, к людям.

АНАТОЛИЙ АВРУТИН



ПРОСТОР УВИДИТСЯ СКВОЗНОЙ

ПРОЩАНИЕ С АВГУСТОМ

Позднее светает... Уносят тепло
Смущённые аисты.
Пока что не осень, но время пришло
Прощания с августом.

Молоденькой прелью пропахший овраг
Грустит в одиночестве.
Приходит к нему только Ванька-дурак...
Растрёпа... Без отчества...

Чадит костерок.
— Подходи, посидим —
Вот здесь, под берёзою...
Но Ванька питается духом грибным
И дымкою розовой.

— Эй, Ванька, чего это в душах свербит,
Вот ёлки зелёные!

АВРУТИН Анатолий Юрьевич родился в 1948 году. Окончил БГУ. Автор более двадцати поэтических сборников, изданных в России, Беларуси, Германии и Канаде. Лауреат Национальной литературной премии Беларуси и многих международных литературных премий. Академик Международной Славянской Академии (Варна, Болгария), член Общественной Палаты Союзного Государства. Главный редактор журнала "Новая Немига литературная". Почётный член Союза писателей Беларуси и Союза русскоязычных писателей Болгарии. Живёт в Минске.

Он лишь отмахнётся и что-то бубнит
Свое, забубённое.

О чём ни спроси, Ванька врать не мастак:
“Не знаю... Не ведаю...”
Прощается с августом Ванька-дурак,
А мы тут с беседою...

Тридцатое августа... Голос далёк.
Редее дубравушка.
А истину знают лишь ванькин киёк
Да вдовый журавушка.

* * *

Когда отзовётся холодным и сумрачным вечером
Всё то, что осталось
На донышке стылой души,
Вдруг вспомнишь внезапно,
Что в общем-то вспомнить и нечего —
Исписаны перья да сломаны карандаши.

И сколько сквозь полночь
В кромешную даль ни поглядывай,
И сколько на полке среди старых блокнотов ни шарь,
Припомнится только
Оконце под плёночкой матовой,
Да радужный полдень, где с неба течёт киноварь...

А так — ничего...
Хорошо хоть, что узкая стёжечка
Могла, но не стала
Коварной дорожкой кривой...
И юная мама всё кормит сыночка из ложечки,
А папа смеётся, чтоб кануть в дали заревой...

Что было, то сплыло...
Все дали слезой затуманены.
Скатилась слезинка... Размыла на справке печать...
Остались строка...
Переулочек...
Драники мамыны...
Ладони любимой... И что-то, о чём не сказать...

* * *

Чуть курчавится дым от воткнутой в салат папиросы.
Не идёт разговор... И не пьётся... И мысли не в лад.
Все ответы даны... Остаются всё те же вопросы:
“Что же делать теперь?..” И, конечно же: “Кто виноват?”

Да, характер таков у смурного от жизни народа,
Всё: “Авось, перебьёмся... Авось, доживём до поры...”
Будут мёд добывать, а себе не останется мёда,
Воздвигают палаты, а хаты кривы и стары.

Угорая в чаду, что дарит позабытая вьюшка,
Всё боятся чего-то, и вечен тот давящий страх.
Но наутро из хаты — чуть свет! — выбегает девчушка,
И сама, как росинка, и солнце несёт в волосах.

И её узнают и деревья, и рыбы, и птицы,
И листок золочёный всё тщится в ладошку слететь..
Крикнет: “Папа, гляди!..” И отцы забывают про страхи,
И шеломистый купол на Храме спешит золотеть.

Засочится смола вдоль недавно ошкуренных брёвен,
Мужики пожалеют, что вечером слабо пилось..
— Кто виновен? — спроси. И ответят: — Никто не виновен..
— А что делать-то нужно? — Так выживем, людцы... Авось...

* * *

Она всего лишь руку убрала,
Когда он невзначай её коснулся.
Он пересел за краешек стола..
Налил фужер... Печально улыбнулся.

Она в ответ не выдала ничуть,
Что прикосанье обожгло ей кожу.
Сказала тихо: “Поздно... Как-нибудь
Увидимся... Я вас не потревожу...”

И поднялась... Напрасных мыслей рой
Пульсировал артериею сонной.
Ушёл он... С обожжённою душой..
Ушла она... С рукою обожжённой...

* * *

В струенье жизни быстротечном
Слышнее грома — только тишь.
Вовек не станет слово вечным,
Когда о вечном говоришь.
Но если, предваряя звуки,
Вдруг захлебнёшься тишиной,
Немым предвестником разлуки
Простор увидится сквозной.
И так — от выдоха до вдоха,
От первых дней до серых плит..
И кем ты стал — решит эпоха,
А вечность — кем не стал, решит...

* * *

Черта... Забвения печать
В просторе пегом..
Исчезнуть?.. Или снегом стать?..
Я стану снегом!

Чтоб вьюга закружила всласть
Под ветер грубый,
Хочу снежинкою упасть
Тебе на губы.

Чтобы, хмелея без вина,
Не сняв косынку,
Ты удивилась — солона
Одна снежинка...

То просто вымолив себе
Твою простуду,
Я буду таять на губе,
Я таять буду...

.....
*Поздравляем нашего давнего друга и автора, замечательного
поэта Анатолия Аврутина со славным юбилеем!*

Редакция

ЕЛЕНА КРИКЛИВЕЦ



КУПОЛА КОЛОКОЛЕН

* * *

Посмотри, как дрожит этот лист на берёзовой ветке.
Полпути до зимы нам отмерят вот-вот Покрова.
Прорастает тоска, словно детство из песен советских,
и сбиваются в стаи бескрылые прежде слова.

Улетают к теплу облака, журавли, паутина —
неизбежный исход накануне больших холодов.
Пусть для всех моисеев найдётся своя Палестина.
Нам достанет юдоли и вне Гефсиманских садов.

Журавлиное эхо в озябшие заводы канет...
Проплывут над рекой непрожитых столетий клубы,
там, где Пушкинский мост обреченно бряцает замками
и рискует прогнуться под тяжестью чьей-то судьбы.

Посмотри: этот город из ветра и времени соткан.
Нам подсыпала осень в карманы звенящих денег.
Обнажённая ветка скребётся в закрытые окна.
Я держу тебя за руку крепче, чем можно держать.

КРИКЛИВЕЦ Елена Владимировна родилась в 1983 году в г. Витебске. Кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы Витебского государственного университета имени П. М. Машерова, член Союза писателей Беларуси и Санкт-Петербургского городского отделения Союза писателей России. Автор сборника стихов "На грани света". Победитель Международного конкурса "Литературная Вена-2013" (Австрия) в жанре поэзии. Живёт в Витебске.

* * *

Поутру на попутке собравшись отчалить,
уложив беспокойную память в суму,
ты смотрел через розовый дым иван-чая:
не дымится ли печка в знакомом дому.

И шептала криница тебе в изголовье,
между явью и сном размывая мосты,
что не скажется гость в опустевшем гнездовье,
не нарушит суровой его немоты,

чугунок не поправит тяжёлым ухватом,
прохудившийся невод не сядет плести,
не заглянет в глаза покосившейся хаты,
возвратясь из обжитых своих палестин.

...Может быть, не об этом журчала криница,
но печаль, как травинку, сминая в горсти,
ты сегодня зашёл по-соседски проститься —
и молчишь покаянно, не в силах уйти.

* * *

Это запах весны? Это гари и засухи запах...
Разорвёт облака вопрошающе-долгое “Каррр...” —
ошалевшая птица с надеждой посмотрит на запад,
но в застывшем зрачке отразится пылающий шар.

Потемневшая даль ей опять ничего не ответит.
Заплутавший ручей пересохнет, как слёзы Рахиль.
Прошуршит по кустам изведённый бессонницей ветер
и взметнёт над дорогой прогорклую серую пыль.

В непроглядной ночи приоткроются памяти недра:
ты узнаешь в лицо распостёртых в горячей пыли
и, сухими глазами уставившись в мёртвое небо,
будешь с ними молить ниспослания лучшей земли.

Эти вязкие мысли под утро почуют во Бозе.
Разленившийся дождик пробьётся из душных перин.
И дурная ворона отыщет гнездо на берёзе,
где её желторотик проклюнет яйцо изнутри.

ВЕТРОГРАД

Всякие птицы гнездились в озёрном краю.
Всякого люда сюда приходило немало...
Старое дерево слышало: пел Гамаюн,
жёлтое солнце на ветке упругой качало.

Здесь по оврагам желтеет теперь девясил,
скалятся трещины чёрных разохшихся судеб.
Старое дерево, помнишь ли, кто приносил
чёрствыи крохи беды в немудрящей посуде?

Квѣлый осинник дрожащие руки воздел,
тянется к солнцу — наивно, светло и нелепо.
Прежнее лето намедни ушло по воде —
кануло в озеро, стало быть, кануло в Лету.

Старое дерево скрипнет ему: “Исполать!”
Эхо свернётся в дупле квартирантом угрюмым.
Ветер сомнёт потемневшую водную гладь,
на бересте процарапает тайные руны.

Сколько отчаянья в этих худых туесах!
Время на веру и веру молитву расколет...
А на востоке в набрякших грозой небесах
новым ковчегом плывут купола колоколен.

СЕРГЕЙ ТРАХИМЁНОК



СУЕТА СУЕТ

РАССКАЗ

Странного вида мужчина в шляпе и демипальто шёл покачиваясь вдоль трамвайных путей к остановке. По мере его приближения к нескольким десяткам людей, стоящих на асфальтовом возвышении, раскачивания мужчины увеличивались, словно некий механизм каждый раз добавлял им дополнительное ускорение. Всё это необъяснимо походило на прогулку по краю пропасти, которая не могла закончиться благополучно.

Из-за поворота появился трамвай. С неотвратимостью судьбы приближался он к остановке.

“Так-так, так-так”, — стучали на стыках его колеса.

Когда трамвай поравнялся с мужчиной, тот ещё раз качнулся и оказался в пространстве между рельсами...

Семенчук увидел испуганные лица людей, стоявших на остановке, и так же, как они, испугался, и... проснулся...

“Так-так, так-так”, — стучали на стыках колеса поезда, возвращая Семенчука из эфемерного царства сна в осязаемую реальность. Вячеслав Антонович Семенчук, полный лысоватый мужчина сорока семи лет, работал снабженцем в бывшем НИИ полимеров и ехал в город в командировку. Вячеслав Антонович посмотрел на часы — можно было ещё поваляться, но он поднялся и направился в туалет, понимая, что легче туда попасть сейчас, а не через

ТРАХИМЁНОК Сергей Александрович родился в 1950 году в городе Карасук Новосибирской области. Служил в армии, работал на заводе. Окончил факультет правоведения Свердловского юридического института, Высшие курсы КГБ СССР. С 1990 года живет в Минске. Член Союзов писателей России и Белоруссии, секретарь Правления Союза писателей Белоруссии. Автор повестей и романов, не раз публиковался в журнале “Наш современник” и других изданиях.

полчаса, когда проводница станет будить всех: начнётся вагонная суета, а он не любил суеты, в том числе и вагонной.

Умывшись и побрившись, Семенчук вспомнил сон, но тот не вызвал у него чувства тревоги или опасности. В детстве мать запрещала ему купаться в реке. А чуть позже девятилетний Слава узнал, что цыганка, ходившая по дворам, нагадала матери “гибель сына от воды”. Семенчук, став взрослым, о гадании не забыл и воды сторонился: купался с оглядкой и даже зимой в сильные морозы не ходил кататься на коньках на реку. Зато всего остального он не боялся: до тридцати лет ходил в горы, спускался в пещеры, прыгал с парашютом.

Перед городом поезд замедлил ход, и Семенчук, поторопившийся выйти в тамбур, был вынужден долго и терпеливо ждать, пока плетущийся, как судак по Енисею, состав минует посёлок “новых русских” с трёх- и двухэтажными домами и черепичными крышами; старые дачи, построенные в семидесятых годах, небольшие домики на шести сотках; городскую окраину с предприятиями, которая называлась промзоной; стоящие на путях зелёные вагоны — свидетельство приближающегося вокзала и, наконец, перрон с его суетой и беспорядком тех, кто ожидает посадки, тех, кто встречает, и тех, кто “кормится” встречающимися, предлагая им такси в любой конец города или тележку в любой конец перрона и даже на привокзальную площадь.

“Но что человеку чужая суета — она не достойна его внимания, поскольку никоим образом его не касается, а является лишь фоном, на котором происходит всё, что предписано ему судьбой”, — думал Вячеслав Антонович, обходя двух таксистов, крутивших на указательных пальцах ключи от машин, и спускаясь в подземный переход.

На привокзальной площади его опять атаковали таксисты, безошибочно понимая, что мужик с двумя сумками — их потенциальный клиент. Понимал это и Семенчук, но направился к машинам частников, стоящим в отдалении от стоянки такси. В городе он бывал часто и знал, что частники берут за проезд меньше.

Устроившись на заднем сиденье старых “Жигулей”, Семенчук немного расслабился, так как знал, что ехать ему не менее двадцати минут.

В командировку он приехал на один день — достать своему начальнику очистной фильтр на машину. Фильтр можно было купить, и не мотаясь в город, но начальник полагал, что в городе эти самые фильтры стоят чуть ли не в два раза дешевле, а Вячеслав Антонович не стал его переубеждать, тем более что в город ему нужно было позарез по своим делам.

Сам Семенчук тоже жил в городе, но небольшом, тысяч на шестьдесят жителей. В перестройку институт, в котором он работал, перестал существовать, точнее, от него осталась лишь вывеска, “под крышей” которой продолжала работать одна лаборатория, заключившая в своё время выгодное соглашение с рядом коммерческих фирм, выпускающих и продающих полиэтиленовую пленку для дачников.

Семенчук достал из кармана куртки толстую записную книжку, просмотрел всё, что было записано на 20 марта.

Книжка была гордостью Вячеслава Антоновича. Наряду со многими полезными сведениями и телефонными номерами она имела 366 страничек для записей неотложных дел. На странице двадцатого марта значилось двенадцать пунктов, каждый из которых означал маленькую или большую проблему, которую ему предстояло решить в городе.

Семенчук ещё раз сверил адрес и попросил шофёра остановиться возле облезлой пятиэтажки.

— Я сейчас вернусь, — сказал он водителю и направился к крайнему подъезду, волоча за собой одну из сумок.

Водитель, мужичок в куртке коричневого цвета, кожаной кепке и с бритым днём два лицом лениво кивнул ему в ответ головой, понимая, что клиент не скроется от него, не расплатившись, раз уж оставил в машине вторую сумку.

Семенчук поднялся на третий этаж и позвонил в дверь нужной квартиры. Почти сразу же после звонка раздались шаркающие шаги, и дверь открыла

среднего роста старушка с расчёсанными на две стороны седыми волосами, во фланелевом халате и тапочках.

— Не пугайтесь, пожалуйста, — произнёс он обычную в таких случаях фразу, поскольку на лице старушки появилось удивлённое выражение, — Лидия Петровна заказывала.

— А она мне ничего не говорила, — ответила старушка

— Знаете, она, видимо, замоталась, сами понимаете, студенты, нагрузка, — говорил Семенчук, протискиваясь в прихожую и осторожно ставя сумку на пол так, чтобы не звякнули находящиеся там банки.

— А что там? — строго спросила старушка.

— Если бы я знал, — сказал Семенчук, обворожительно улыбаясь, — я всего лишь передаточное звено, посредник, как модно говорить сегодня. А точнее, оказия, так что вы не обессудьте. Лидия Петровна разберётся, да там и записка ей есть.

— А там нет ничего скоропортящегося? — так же строго спросила старушка.

— Да что вы, там всё рассчитано на долгое хранение.

Вторую сумку Сидоревич завёз ещё проще. Жена декана факультета “Мосты и тоннели” приняла дар как должное, даже не поинтересовавшись, от кого он поступил.

Вернувшись в машину, Семенчук вновь уселся на заднем сиденье и попросил шофёра подвезти его к вокзалу.

Водитель, слегка взволнованный, когда клиент покинул его второй раз, не заплатив за проезд и не оставив ничего в залог, успокоился и начал разговор о погоде и ценах на бензин. Семенчук поддакивал ему, размышляя, однако, о своём.

Он думал, что уж больно гладко начался этот визит в город. Опыт подсказывал, что так не бывает и что дальше у него что-то должно сорваться. Но вместе с тем, он радовался тому, что самые значимые дела в его списке успел сделать: передал маленькие подарки преподавателю английского языка своего сына и создал “материальную основу” для будущего разговора с деканом факультета “Мосты и тоннели”, на котором учился его оболтус.

Тот мало того, что имел хвост по какой-то технической дисциплине, название которой никак не давалось Семенчуку, но и умудрился получить “хвост” по английскому.

— А вчера был такой случай, — продолжал разговор таксист. — Шёл пьяный по улице и упал в лужу. Упал и лежит. Подходит сердобольный старичок, вытаскивает его из лужи и ставит на ноги. Мужик какое-то время стоит, качается, а потом — бац! — выходит на проезжую часть и попадает под машину. Вот это помог. Да?

— Угу, — почти автоматически ответил Семенчук, которого не тронула история с пьяным мужиком. Каждому уготован свой конец. Одному — умереть “от железа”, другому — “от воды”. Стоит ли тратить время на размышления, почему и как кто-то погиб.

— Вот так живёшь-живёшь, — продолжал водитель, — и — бац! А главное, если тебе написано на роду умереть сегодня, то ты сегодня и умрёшь. Вот как тот мужик. Ну, не вытащи старик его из лужи, он бы захлебнулся бы. А так под машину попал... Точно?

— Угу, — не особо вдумываясь в эти слова, ответил Семенчук и попросил остановиться поближе к зданию вокзалу.

Рассчитавшись с водителем, Семенчук направился в кассу и встал в очередь, чтобы взял обратный билет. Он уедет вечером, даже если все остальные проблемы останутся нерешёнными. Чёрт с ним, начальственным филитром и прочими мелочами, главное было сделано, и не стоило оставаться в городе ещё на один день.

Очередь была небольшой, человек семь. С учётом того, что кассирша пользовалась компьютером, дело шло споро. Но стоящий рядом мужчина с рюкзаком за плечами решил сократить время в очереди разговором с Семенчуком.

— На выходные? — спросил он, пытаясь завязать разговор. Семенчук сделал каменную физиономию, и мужчина отстал, оставив его наедине со своими мыслями.

Купив билет на обратную дорогу, Вячеслав Антонович трамваем добрался до железнодорожного института.

В приёмной декана факультета “Мосты и тоннели” он просидел почти два часа, не желая раздражать секретаршу — худую девицу в огромных очках со стёклами цвета слабой йодной настойки. Весь вид его, покорность, с какой он пропускал вперёд себя представителей профессорско-преподавательского состава, сделали, наконец, своё дело, и даже невидимые за йодными стеклами глаза секретарши заметили столь терпеливого посетителя.

— Дмитрий Степанович, — произнесла она в какое-то устройство, похожее на телефонный аппарат, только без трубки, — к вам товарищ из провинции.

Зайдя в кабинет, Семенчук представился, и от него не ускользнуло, что выражение лица декана слегка изменилось.

— Да, — подумал Вячеслав Антонович, — видимо, Игорёша действительно достал всех на этом “тоннельном” факультете.

У Семенчука было двое детей: погодки Алла и Игорь. Но если старшая дочь окончила институт и училась на первом курсе аспирантуры, то сын прошёл в политехнический только с третьего раза, а проучившись год, бросил его и поступил в железнодорожный. Семенчук не был против этого, хотя и не мог понять причин такого поступка. И только недавно узнал он, что Игорёша ушёл на “мосты и тоннели” вслед за своей однокурсницей. Какое безрассудство! Семенчук в его возрасте не позволял захлестнуть себя ни чувствам, ни эмоциям.

Вячеслав Антонович понимал, что декан ждёт от него действий по защите отпрыска, но он не стал защищать сына, точнее, не стал защищать столь примитивно.

— Дмитрий Степанович, — начал он, — я не отниму у вас много времени. Я пришёл к вам, как отец к отцу, в некотором роде, за советом.

Такое начало было беспроигрышным. Он явился “не права” качать и даже не “бодаться” с деканом, он просит всего лишь совета.

— Некие обстоятельства, которые юноши в таком возрасте вовсе не желают озвучивать, помешали Игорю сдать эти экзамены.

— Вы знаете, — ответил декан, — у нас инструкции, минообраз...

— Я предложил ему уйти из института. Но он настроен учиться, учиться и закончить вуз. И в этом я его не могу не поддержать. Я не прошу у вас делать ему поблажек. Нет, но дайте ему шанс. И что греха таить, ведь это английский. Так уж получилось, что в школе, где он учился, профилирующим был немецкий, и, наконец, появилась учительница английского языка. Но она тут же вышла замуж, и все пять лет, пока мальчик учился в школе, она время от времени уходила в отпуск по беременности и родам. В результате за пять лет она имеет двух здоровых детей, а её ученики так и не знают английского. Дайте ему шанс.

Расчёт был правильный. Декан не сможет ему отказать прямо, даже если его оболтус использовал все предусмотренные инструкциями шансы. Он, разумеется, даст согласие. Так проще и спокойнее, чем тратить нервы на то, чтобы сказать папаше-просителю “нет”. Ну, подмахнёт он ещё одно разрешение на сдачу экзамена. А сдать его он всё равно не сдаст: знаний-то у студента не прибавилось. Так, видимо, думает декан. Думает и не знает, что он попал в капкан Семенчука, впрочем, так же, как и англичанка, ведь именно ей и декану Вячеслав Антонович отвёз подарки.

Выходя от декана Семенчук, вспомнил анекдот о кавказце, который вёз в Москву барана.

— Зачем барана в Москву везёшь? — спрашивал его проводник вагона.

— Это не баран, это подарок, — отвечал кавказец, — а баран в институте учится.

Семенчук присел на скамейку в парке, вытащил записную книжку и вычеркнул три позиции в списке. Он не любил суеты и беспорядочности. У него

всё всегда было расписано по пунктам. И сегодняшний день, и завтрашний. Причём на завтрашней страничке всегда оставались свободные места для тех дел, что появятся, и тех, что по каким-то причинам не были сделаны сегодня.

К концу года Семенчук исписывал очередную книжку, но не выбрасывал. Те, что служили хозяину последние три года, просто лежали на письменном столе, остальные связывались по пять штук и хранились в том же столе, но в дальних ящиках. Хозяин записных книжек не любил неожиданностей, экспромтов, импровизаций, называя всё это неорганизованностью. Но больше всего не терпел он неорганизованности, исходящей от других. Всё, что другими делалось не по его меркам и стандартам, раздражало Вячеслава Антоновича.

Семенчук посмотрел на часы. Было время обеда. До отхода поезда оставалось пять часов.

Он забежал в кафе под каким-то латинским названием, не спеша отобедал куском пиццы, запил её стаканом пепси-колы и вновь занялся делами.

К шести часам он успел сделать всё: купить жене и любовнице духи, очистной фильтр начальнику, решить по телефону все вопросы со смежниками и... удивиться этому. Такое случалось редко, если не сказать большего... Можно сказать, не случалось никогда. Из двенадцати ежедневно планируемых дел редко удавалось сделать больше десяти. Уж больно необязательный был вокруг Семенчука люд, не желавший жить и работать так, как это делал Вячеслав Антонович.

До поезда оставался час с небольшим, и Семенчук позвонил сыну. Но на вахте в общежитии сказали, что жильца двести второй комнаты не видели со вчерашнего вечера, и Вячеслав Антонович, мысленно выругавшись, повесил трубку. Отсутствие сына можно было предположить. Но в данном случае логика поведения парня в возрасте двадцати лет не стыковалась с родительской.

“Мог бы сегодня и не шляться, где попало, раз уж знал, что я приеду”, — подумал Семенчук, и ему стало грустно.

Совершенно случайно взгляд его натолкнулся на вывеску “Пивбар”.

В баре было чисто, светло, за стойкой возвышался молодой человек в жилете и белой рубашке с чёрной бабочкой. Семенчук уселся на высокий стул и заказал горячий бутерброд и кружку пива. Он жевал бутерброд, запивал его пивом, ожидая, что алкоголь снимет неприятное чувство, возникшее после звонка сыну. Но нужного результата не наступало. Тогда он заказал себе сто граммов водки. Пока бармен доставал бутылку, наливал содержимое в мерный стакан и переливал его в другой, к стойке подошли два парня и по-хозяйски уселись на стулья. Бармен тут же подал им пиво в двух бокалах, и те, отхлебнув по глотку, закурили сигареты.

Семенчук махом выпил водку, закусил остатками бутерброда и окончательно понял, что ожидаемого результата не дожждётся. Наверное, эффект этот наступает не столько от алкоголя, сколько от чего-то другого, и это другое в данное время напрочь отсутствовало. Недаром, видно, русский человек не пьёт в одиночестве.

Он рассчитался и пошёл к выходу.

На улице грусть, которую он пытался залить выпивкой, вдруг переросла в жалость к себе. И всё, что он делал сегодня, вчера и много лет до этого, показалось ему никчёмным, пустым и главное — не оставляющим никакого следа в жизни... Постояв на крыльце бара, Семенчук направился к остановке трамвая, отметив, однако, что всё-таки опьянел от кружки пива и рюмки водки. Он шёл к остановке, не чувствуя под собой ног. Было начало седьмого, заканчивался очередной мартовский день. Солнце уже касалось антенн многоэтажек, с крыш которых свисали огромные сосульки. Красноватые закатные лучи отражались в них.

Странное чувство нереальности происходящего, возникшее не то от опьянения, не то от ощущения, что всё это с ним уже когда-то случалось, появилось у Семенчука.

Он двигался вдоль трамвайных путей к остановке, удивляясь тому, что несколько десятков людей, стоявших на асфальтовом возвышении, смотрели

на него так, словно он, в отличие от всех законопослушных граждан, ждущих зелёного сигнала светофора, переходит улицу на красный свет.

Перед самой остановкой Семенчука против его воли сильно качнуло, он сделал шаг в сторону и оказался в пространстве между рельсами. Раздался звон трамвайного сигнала. Удивление на лицах людей, стоявших на остановке, сменилось испугом, и Семенчук в мгновение ока вспомнил сон и понял, что сейчас должно случиться. Он внутренне напрягся, ожидая удара бампером в спину. Но в последний момент, когда, казалось, столкновение неизбежно, какой-то мужчина ударил Семенчука в плечо, вытолкнув за рельсы. Тяжёлая масса вагона, чиркнув его по спине, пронеслась мимо. Вздох облегчения раздался на остановке, и про Вячеслава Антоновича, чуть было не попавшего под трамвай, тут же забыли и стали концентрироваться возле дверей вагона.

Семенчук обошёл трамвай сзади и поплёлся к ближайшему зданию: он боялся упасть и решил на что-нибудь опереться. Добравшись до угла пятиэтажного дома, он прислонился к стене. Немного отдышавшись, он хотел было двинуться дальше, но не смог этого сделать.

Странные мысли, похожие на фразы без начала и конца, а следовательно, без смысла, копошились в голове. Семенчук вдруг с ужасом осознал, что если сейчас он не сможет разобраться в них, перевести эти мысли-уроды сначала в полноценные мысли о действиях, а затем положить их в основу поступков, он навсегда останется у стены этой панельной пятиэтажки.

Правда, тут же до него дошло: если он понимает это, значит, он уже мыслит, и из множества мыслей-калек он всё же собрал одну, и таким образом сделал первый шаг к спасению. Но порадоваться этому Семенчук не успел. Огромная мартовская сосулька, висевшая над ним на высоте пятого этажа, отломилась и понеслась вниз.

МИХАСЬ ПОЗДНЯКОВ



МОЁ БОГАТСТВО — ШУМ БЕРЁЗ

* * *

Моё богатство — шум берёз
И майских яблонь пышноцвет,
И светомузыка стрекоз,
И луговых цветов букет.

Моё богатство — звон зари,
Озимых волны — до небес,
Ночные яркие костры,
Задумчивый и чуткий лес.

Моё богатство — птичья трель,
Приятный холод родника,
Весной расцветшая сирень,
В кувшинках быстрая река.

Моё богатство — детский смех
И взгляд любимых, нежных глаз,
Моя страна, её успех
И счастье, что не напоказ...

ПОЗДНЯКОВ Михаил Павлович родился в д. Забродье Быховского района Могилёвской области. Окончил Белорусский государственный университет. Работал главным редактором издательства «Юнацтва», журналов «Вожык», «Нёман». Председатель Минского городского отделения СП Беларуси. Поэт, прозаик, переводчик, критик, языковед, публицист. Автор более 80 книг. Член Правления Союза писателей Союзного государства. Лауреат Национальной литературной премии Беларуси и многих других литературных премий. Живёт в Минске.

Немало прожито уже,
Но не устану повторять:
Моё сокровище — в душе,
И мне его — не потерять.

* * *

Неужто тихо отгорят
Ночные звёзды в травостое,
Не позовут меня назад,
В тот край, где детство золотое?

Неужто тихо отзвучат
Аккорды радостных мелодий,
Что в сердце трепетно журчат
На лоне сказочной природы?

Неужто тихо отплывут,
Цветы любви куда-то канут,
Что и зимой в душе цветут,
Что и в палящий зной не вянут?

Неужто тихо отболит
Моя душа в ночи бессонной,
И я смогу на свете жить
Не беспокойный, не влюблённый?

Неужто...

* * *

Приеду я на склоне лета
Туда, в родимые места,
Где, солнцем юности согрета,
Цвела ромашками мечта.

Пройду по выжженному полю,
Ромашек встречу дружный ряд.
Застыну, будто пред тобою.
Так рад я встрече иль не рад?

Пройдусь заросшею тропинкой.
О край родной, любимый мне!
А помнишь, летом соловьиным
Мы были счастливы вполне.

Нас небо радугой встречало,
И от дождей нас кутал зонт.
И дни малиновым нектаром
Текли за синий горизонт.

Теперь зову я, как когда-то.
В ответ — лишь только тишина...
О нас уже не помнит хата
И даже липа у окна.

* * *

— Пстой же, лето, не спеш, —
Прошу тебя я по старинке.
Желтеют истово кувшинки,
Колышет ветер камыши.

Хочу нарадоваться вволю
Лугов душистой красотой,
Пока сонатою живой
Звучит волшебное раздолье,

Пока тоску не утолю
По тем местам, родным навеки,
Пока любви бушуют реки,
Покуда слышится “люблю”...

Пстой же, лето, не спеш...

ПОМНИШЬ ЛИ, МИЛАЯ?..

Помнишь ли, милая, время чудесное:
Домик в деревне в тени у дерев,
Лето волшебное, рожь поднебесную,
Луг, где костёр наш прощальный горел?

Даль необъятную, небо высокое,
Лес вдалеке, что малиной пропах,
Чувства такие, казалось, глубокие,
Буйство налива в созревших садах?

Трав шелковистых печаль многострунную,
Синий туман, золотую росу,
Наши с тобою гулянья подлунные?
Их и сегодня я в сердце нес.

И не забыть никогда это лето мне:
Чудится дивная трель соловья...
Где же ты, милая, песня неспетая?
С кем ты, мечта молодая моя?

*С белорусского перевёл
Микола Шабович*

МИКОЛА МЕТЛИЦКИЙ



ЧТОБ ОЧИЩЕНЬЕ СВЕТЛОЕ НАСТАЛО...

ЖЕРНОВА

Забрёл на старосветское гумно
И будто окунулся в час пещерный.
Там жернова, забытые давно,
Лежали среди мусора и скверны.

Который год их каменную плоть
Ничья рука не греет терпеливо,
И в августе им нечего молотъ,
Какой бы хлеб ни уродила нива...

И только время капает с лотка
На верховик, навек одетый в холод.
Но век ушедший, будто сонный волот*,
Внезапно крикнул...
Памяти мука́
Вдруг заструилась... И тотчас предстало
В воображенье прошлое опять...

* Волот (бел.) – богатырь.

МЕТЛИЦКИЙ Николай Михайлович — поэт, переводчик. Родился в 1954 году в д. Бабчин Хойникского района Гомельской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета имени В. И. Ленина. Работал корреспондентом еженедельника “Літаратура і мастацтва”, старшим редактором в издательстве “Мастацкая літаратура”. В 2002–2014 годах был главным редактором старейшего белорусского литературного журнала “Польмя”. Автор многих поэтических книг. Поэзия Н. Метлицкого переводилась на русский, болгарский, сербский, таджикский языки.

И я сказал камням: “Вам лет немало,
Но и без дела нечего лежать.
Перемелите лучше на муку
Всё горе, что случилось на веку,
Чтоб очищенье светлое настало”.

ПОГРЕБ

Душное лето дыханье плавило,
Вниз по ступенькам шагало, светлое.
Бабушка, верная вечным правилам,
Погреб меня позвала проветривать.

Как я бежал с огорода... Как же я
Счастью навстречу ладони выставил!
Не говорил, что ступенька каждая,
В погреб ведущая, страхом выслана.

Весь в паутине, во мраке, в плесени,
Погреб казался мне чёрной нишею.
Вот уже бочки наверх вознесены,
Лезут на солнце их лики рыжие.

Цербер, что света не видел белого,
От холодрыги-воды в сумятице.
Миска, на солнышке разомлелая,
Встав на ребро, удирает-катится.

Вымытый погреб, где воздух с привкусом
Всех разносолов, на зиму спрятанных,
Где ни страшилищ, ни бед... Лишь йскусы —
Только ступень запоёт под пятками.

Только вздохнёшь — огурцы солёные
Так ароматны — слышать на улице.
...В сторону сдвинув вершки зелёные,
Батя черпает рассол... И жмурится...

* * *

Порыжел огуречник давно,
Притаились туманы за вётами.
Солнце рано зайдёт... И темно.
Поле голое. Холодно. Ветрено.

Чёрный грач, будто чёрный монах,
Ковыляет межой перепаханной.
День болотом и рыбой пропах,
И ужи выползают на запахи.

Приросло к перелеску сельцо,
Тишину нарушая убогую.
И качается-едет сенцо
На возах полевою дорогою.

Бор в осенней дремоте затих,
Серым совам безмолвие нравится...
И от этих видений родных
Мне уже никогда не избавиться.

ФЛЮР

Очей-черничин остренький прищур,
Чуть смуглое лицо и чуб смоляный.
Я позову его, как в детстве: — Флюр! —
И он придёт с Даниловой поляны.

Мы в Бабчине с ним лазили в сады,
Ходили в лес — с потёмок до потёмок.
Товарищ мой, татарской той орды
На всё село единственный потомок.

Отец его весь день на буровой,
А с ним и мать... В дому лишь пара кошек.
У пацанов соблазн известный, свой:
Пошли грибы — набрать бы полный кошик!

Любители ребячьих авантюр,
Мы свой “улов” сбывали для закуски.
И говорил мой друг-приятель Флюр
С другими — и со мной — по-белорусски.

Родимых слов немаленький процент
Обогатил его запас словарный.
Ну, а акцент... Конечно, был акцент...
Смешной и лёгкий... Вовсе не вульгарный.

Хватал тетрадки. Думал про своё
И спрашивал с загадочным прищуром:
“Скажи по правде... Это... Двойки ё?..”
Ну, что таким ответишь балагурам?

Прошли года... Немало горьких бурь
Мы видели... Сердца — и те не в ритме...
Приди, дружище, черноокий Флюр,
Как хочется с тобой поговорить мне!

Опять скажу неправду: “Двойки ё!..” —
Не всем по нраву отчей мовы чары.
И вновь, и вновь талдычат про своё
Иных времён “монголы и татары”.

Как бы желали “мове” новых бурь
Родных краёв забывшиеся дети!
Ты овладел за месяц ею, Флюр.
А что они? За жизнь не овладеть им!

Летят года... Все уже братский круг.
Для многих “мова” — только вид нагрузки.
Приди из детства, мой татарский друг,
Поговори со мной по-белорусски.

*Перевёл с белорусского
Анатолий Аврутин*

ЮЛИЯ АЛЕЙЧЕНКО



ГЛАЗА ЗИМНЕГО БОГА

РАССКАЗЫ

Марийка любит зиму. Как-то самоотверженно, до боли. Ей нравится, когда кончики волос становятся седыми, как у бабушки, а изо рта идет тёплый пар. Когда воздух в груди словно застывает и подходит к горлу твёрдым комком. Когда сотни маленьких иголочек пронизывают холодные руки на батарее. Но больше всего ей нравится всматриваться в ясное (на мороз!) ночное небо. Летом такого не бывает... Глубокое в своей чернильной дымке, с яркими, даже, кажется, колючими, звёздами, оно почему-то всегда пугает и интересует Марийку. Как-то бабушка рассказывала ей, что звёзды — это глаза. Тех, кто умер, или тех, кто ещё не родился. Миллионы, миллиарды любопытных глаз! И все они видят тебя. Сонного, беспомощного.

“Поэтому и нужно на ночь завешивать окна. Чтобы никто на тебя не смотрел!” — командует проворная бабушка, когда обходит на ночь дом, подбирает неубранные вещи, закрывает ящики, поправляет скатерть. И неожиданно становится ласковой, старенькой-маленькой, когда гладит Марийкины волосы. А может и спеть тихо, если очень попросишь. Про старый сад, про войну, про Яся...

Марийка любит слушать те песни, хотя все уже знает, может повторить. На волнах бабушкиного надтреснутого голоса подплывает она близко-близко к звёздам. И видит, что самые большие из них — глаза существа, которое идёт по земле, а голова его — в облаках. Существо это доброе, Марийка чув-

АЛЕЙЧЕНКО Юлия Александровна родилась в 1991 году в г. Орша Витебской области (Беларусь). Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета, сейчас учится в аспирантуре. Работает ответственным секретарём литературного журнала “Польмя” (Минск). Победитель Республиканского конкурса молодых литераторов “Першацвет” (2016). Автор книг “Пад чароўным шкельцам”, “Вецер у валасах”. Живёт в Минске.

ствует. И хочет её обнять. Да не может: девочка с ним в сравнении — крохотная, раздавит ещё. Существо идёт себе упорно через заснеженное поле. За ночь надо обойти всю землю, посмотреть, хорошо ли людям живётся. Мес-сяц цепляется за ветки, снега наметает всё больше. А зимний бог не останавливается...

То, что это он, Марийка поняла сразу. В школе им рассказывали о каком-то Зюзе, белом старичке, боге холода и морозов, которого представляли себе предки. Ходит он босой по дворам, стучит в стены колотушкой, насы-ляет метелей и стужи. А ещё — они вместе с мамой молились тому Богу, что на иконах. Он красивый, худой, серьёзный и про всех всё знает. “Он тебя любит”, — часто повторяет мама. А ещё говорит, что Бог может быть ог-нём, птицей, мыслью. Бог — в каждом из нас. Почему же тогда нет Бога в снеге, ветре, звезде? Значит, есть он! Огромный, добрый, вездесущий. Вес-ной — он уже другой. Летом, осенью... Но снится Марийке только зимний. Зимний бог не раз защищал её...

Когда погиб Марийкин папа, стоял душный, дождливый май. Отец по-ехал снова в командировку. Часто стали отправлять. И внезапно. Мама тог-да шутила, что не успевает ему пирожков испечь. А когда уезжал — долго стояла у закрытых дверей, тайком вытирала слёзы. Но, как ни странно, ког-да провожала в последнюю командировку, была весёлой, шустрой. Напевала что-то, гладила папин костюм. Кокетливо поправляла волосы. Папа обещал, что по возвращении отвезет её в Одессу, на место их знакомства. Дата какая подходит — пятнадцать лет вместе! И мама ждала. Вплоть до того дня, ког-да не услышала новости по телевизору. “Взрыв в метро. Двадцать человек в тяжёлом состоянии, семеро погибли на месте”...

То, что происходило после, Марийка помнит смутно. Бесконечные звон-ки, слёзы, незнакомые люди в квартире. Соблезнования, венки, незнако-мый запах, который чувствует, кажется, и сейчас...

“Хорошо держалась девочка на похоронах, свечу из рук не выпускала, и личико такое серьёзное — как будто всё понимает!” — говорила потом не-знакомая Марийке женщина, папина троюродная сестра. Только почему “как будто”? Она ведь и действительно всё поняла. Что если папу засыпа-ют землёй, то больше никогда он не придёт домой, не принесёт Марийке са-харного петушка или мандаринов. Не пригласит маму на танец — они так любили! Не поругает за “двойку” и не похвалит за красивый рисунок. Ни-ког-да! И от этого страшного слова щекочет в носу, пересыхает в горле и хо-чется сбежать куда-то далеко от всех этих добреньких, которые жалеют “бедную сиротку”. И Марийка часто сбегала. С уроков, от незнакомых тёту-шек, от подруг, которые не понимают, почему ты не смеёшься с ними... Так прошёл май, длинное печальное лето, осень без папы на линейке и на роди-тельском собрании.

А мама... Мама тоже стала другой. Тихой, понурой, невнимательной. Она часто забывала помыть посуду, приготовить ужин, сводить Марийку на тренировку. Сидела всё время в своей комнате и невидящими глазами смот-рела на экран телевизора без звука. “Не мешай!” — отвечала сердито доче-ри на её просьбы. А потом вместе с ней плакала и просила прощения.

Немного легче стало только зимой. Когда приехала сестра мамы. Весё-лая, большая, но очень подвижная тётя Тамара. Она Марийку не жалела. А наоборот: и за плохое поведение могла хлёстко отчитать, и прибраться во всей квартире заставить. Но — беззлобно. Всё с шуточками, с кнутом и пря-ником. А какие интересные истории рассказывала! О своей молодости, о сту-денческих приключениях, о знаменитых друзьях-художниках. Ведь и сама тётя училась на художницу. И громкие выставки у неё были, и признание... Забросила после это — бизнес, семейные заботы. Да только талант остаёт-ся! Вот и учила Марийку рисовать зимние пейзажи, яблоки на блюде, ту-фельки на пёстром коврикe...

Мама с ней тоже как-то ожила, повеселела. Начала снова готовить свои фирменные котлеты и пироги. Возвращаться раньше с работы. Сходила да-же как-то с сестрой в кино. И все вместе они готовились к Новому году. Правда, мама обмолвилась как-то, что не следовало бы в этом году отмечать.

Но тётя Тамара — тут же в крик: “Ты что, у родной дочери единственную радость хочешь отнять?” И мама перестала возражать.

31 декабря мама с тётей куда-то таинственно исчезли. Марийка сидела одиноко в празднично убранной комнате и ждала. Час, два, три... Сначала спокойно рисовала снежных коней, читала книжку, слушала музыку. Потом не на шутку разволновалась. “А если и с мамой что-то случилось? Если я останусь совсем одна?” — тревожные мысли гудели в голове назойливыми мухами, не давали успокоиться. Она несколько раз подходила к двери, ждала: вот-вот должна открыться. Затем бежала к окну и вematривалась до боли в глазах в заснеженный, с искусственной ёлочкой двор. НИКОГО! Только гнетущая тишина квартиры звенела...

“Мама, приходи! Мама, приходи!” — начала уже вслух произносить напутанная Марийка. И тут — вспомнила вдруг о нём. Большом, добром, всемогущем. Зимний бог! Он ведь и сейчас смотрит на неё — уже появились на вечернем небе первые звёзды... Мгновение — и маленькая, хрупкая Марийка забралась на широкий подоконник. “Бог, добрый бог, верни мою маму! Я никогда не буду ссориться с ней! Я буду помогать! Я исправлю все отметки...” — не выдержав, девочка горько, безутешно разрыдалась.

— Доченька, что ты там делаешь? — мама на ходу срывала шарф, подбегая к окну. — Как ты меня напугала!

— А ты — меня! — отвечала заплаканная, но счастливая Марийка.

Тем временем из прихожей послышался какой-то шорох и тихое повизгивание.

— Кто это там? — взволнованно спросила Марийка, предчувствуя большую радость.

— Кто-кто? Твой новый друг. Как назовёшь? — отозвалась тётя Тамара и внесла в комнату смешного неуклюжего щенка.

...Ральф рос не по дням, а по часам. Болел, правда, немного. Но это для щенят обычное дело. Марийка терпеливо давала ему капли и витамины, вычёсывала. Заботы о собаке сблизили девочку с матерью. Она тоже полюбила сообразительного пса. И не могла сдержатъ смеха, когда видела новые Ральфовы шалости. Уже через месяц собака весело носилась по двору, перепрыгивая снежные сугробы. Марийке даже завидовали друзья: какой друг-красавец у неё есть! А Ральф и правда вырос в большого, с блестящей чёрной шерстью лабрадора. Умел лапу подать и как будто с весёлой улыбкой глядывался в глаза людей. Если Марийка иногда скучала, приходил к ней и клал на колени голову, искренне сочувствовал. Летом ходил с девочкой на речку, плавал, ловил мяч в воде, а потом смешно чихал и отряхивался на берегу.

Но вот снова настал сентябрь. Марийка, серьёзная, взрослая, шла в седьмой класс. Добавили к обычному расписанию новые предметы, удлинился школьный день. Временами, когда дочь готовилась к серьёзным контрольным и писала сочинения, с Ральфом ходила гулять мама. И вот с одной из таких прогулок мать пришла поздно, растрёпанная и взволнованная, с дрожащими руками.

— Мама, что случилось? Где Ральф? — закричала Марийка.

Мама подошла к столу, горестно обняла дочурку.

— Прости, родная, Ральфа больше нет. Я виновата, не уберегла, — заплакала мать в невыносимых рыданиях.

Оказалось, что она не удержала сильного пса на поводке, и тот выбежал на проезжую часть как раз перед огромной фурой.

В ту ночь у Марийки от потрясения поднялась температура. Врачи в больнице сказали, что у девочки нервный срыв, назначили лекарства. Дома Марийка смотрела в потолок невидящими глазами и ничего не говорила. Даже когда выздоровела, в школе почти перестала разговаривать с друзьями, закрылась, отвечала только на вопросы учителя на уроке. Мама страшно переживала, звонила часто тёте Тамаре, бабушке, советовалась, что делать с дочерью.

— Что же тут удивительного? — сочувственно отвечала бабушка. — Девочка за свою короткую жизнь столько горя пережила. Добротой её нужно лечить, добротой. Привози ко мне на зимние каникулы, постараюсь внучку порадовать.

...Марийка лежит в тёплой постели в деревенском доме, слышит, как бабушка гремит ложкой, и постепенно проникает в её комнату пряный, волнующий запах рождественского пирога. Он заставляет немедленно встать, пожевать на кухню.

— Что тебе не спится, не лежится? — с улыбкой спрашивает румяная от огня в печи бабушка. — Отдохнула бы, пока пирог спечётся, потом на службу пойдём. В церкви сейчас, знаешь, как красиво! И все радуются, потому что наш Спаситель родился.

Бабушка и внучка идут по глубокому снегу. Вокруг — красота! Заснеженные лапки елей так и норовят ухватить за воротник, в небе из-за прозрачного облачка выглядывает месяц, горят празднично окна домов. Марийка любит заглядывать в них, видеть весёлые лица, пёстрое убранство комнат. А бабушка всё рассказывает удивительные истории про Вифлеемскую звезду и мудрых волхвов... В церкви тепло, мерно потрескивают свечи. Марийка ставит свою, купленную на собранные деньги, свечу — за упокой папиной души. Слушает торжественную службу, рассматривает иконы и начинает потихоньку дремать. Бабушка это замечает и тихо говорит:

— Ну, пошли-пошли, моя помощница дорогая. Утомилась ты за день.

...На волнах бабушкиного голоса долетает Марийка до чернильных небес и видит заветные большие глаза.

— Боже, почему я теряю самых дорогих? — спрашивает испуганно Марийка.

— Больше не будешь! Предрекаю тебе счастливую жизнь, — громогласно отвечает зимний бог. И спешит, спешит дальше через сказочный лес...

I WANT TO BREAK FREE*

— Привет! Так что, идём сегодня?

— Хэлоу! Конечно! На проспекте, в семь.

— Сигареты бери, тонкие!

— Хорошо, они со мной.

Таня решительно откладывает тетрадь с надоевшей химией, включает “I want to break free” и открывает большой шкаф. Из его просторного нутра летят измятые платья, джинсы, кофточки... Вот та, с блестящими нитями, в которой была на дне рождения Вадима. Он тогда проводил её домой... Вот юбка мамы, которую “украли” втихую и не возвращает. Что надеть сегодня? Диана пригласит на прогулку своих знакомых. “Ну, знаешь, серьёзные уже мужчины, с тачками. Не то что эти, сопляки...” Тане так хочется стать своей в Дианиной тусовке. И это хорошо получается. А при её многолетней репутации “ботанки” — так и вовсе большая победа. Правда, ребята всё больше клеятся к Диане, но и её берут с собой! В кафе или клубы. Даже маму после долгих спор смогла убедить, что можно возвращаться и после одиннадцати. Не шуточки — школу дочка заканчивает!

...В узких джинсах, короткой кофточке, курточке с малиновой опушкой Таня выбегает-таки из дома. Опаздывает, едва успевает прыгнуть в автобус — и едет уже спокойно на проспект. Люди возвращаются с работы — её тётя тоже.

— Таня, а в таком постреле (это она о куртке, конечно) не холодно будет?

— Нет, тётя Света, я только к репетитору — и домой...

Сама же бежит к их привычному месту встречи — городскому парку, что у проспекта Мира. Диана пьёт кофе из пластикового стаканчика и курит, не дождавшись тонких... Таня, прячась за деревьями, берёт у подруги зажигалку и пускает дым в скучное зимнее небо.

— Эх, хорошо как! Хоть расслабимся сегодня. Мать достала уже об экзаменах напоминать.

* “I Want to Break Free” (с англ. “Я хочу освободиться”) — песня английской рок-группы “Queen” из альбома “The Works”.

— И не говори... А ко мне сегодня снова физик клеился, представляешь? Я пишу на доске, а он рукой моей водит, чтоб на мел сильнее нажимала. И тут — классуха в дверь. А он же ей нравится! И глазами как сверкнёт!

— Ох, не видать тебе хорошей оценки по русскому!

— Ничего, прорвёмся!

Разговор прерывает визг тормозов. Возле парка приостанавливается чёрное авто, громкая музыка нарушает тишину.

— Красавицы, едем или как?

Таня и Диана искусственно смеются, слушают байки мужиков (а те и вправду — мужики, лет ладно за тридцать). Неудобно и страшновато, но и отказываться уже не приходится. Один из них, Паша-Паштет, огромный, в кожаной куртке, с золотой “печаткой” на пальце, обнимает Таню на заднем сиденье. От него пахнет резким одеколоном и коньяком. Хочется снять руку — да где там!

Вскоре они подъезжают к серой многоэтажке в новом районе. За ней уже — лес, где Таня гуляла как-то с родителями в детстве. Потеряла там новую куклу и проплакала всю дорогу домой...

В лифте Паша и Артём (такой же крепкий и решительный) как-то странно переглядываются, молча улыбаются. В квартире начинаются шутки, на столе появляется вино, а девушки помогают нарезать закуски. За столом Таня немного успокаивается. Мужчины смотрят телевизор, спрашивают о том, где подруги учатся, куда ходят в свободное время. Они, конечно, придумывают... Об университете, подработках, знакомых. И складно выходит, легенда уже давно придумана. А бокалы наполняются в очередной раз. Голова становится тяжёлой, а мысли, наоборот, — весёлыми и невесомыми.

— Я курить на балкон. Таня, пошли со мной, — зовёт настойчиво Паштет.

Снег снова идёт с тяжёлого лилового неба. Ветер воев в щелях окна. Хорошо, что они дома... А на балконе длинными рядами стоят заготовки: капуста, огурцы, лечо... Перехватывая взгляд девушки, Паша с улыбкой замечает:

— Это мама передаёт. Мне, такому бейбусу. Всё малым считает, значит. Но хорошо заходит! Вот на прошлую встречу выпускников взял — все заценили. Пятнадцать лет как школу окончили...

Затем тушит сигарету и сильно, уверенно прижимает Таню к себе, впирается в губы. Тане хочется нежности, а он нагло лезет под одежду, зажимает в угол. Вырвавшись, девушка решительно возвращается в комнату. На диване целуются Диана и Артём. Страстно, жарко.

— Я, пожалуй, пойду, — растерянно говорит Таня. — Ключи от квартиры забыла, надо заехать забрать. А то поздно будет...

Паштет настойчиво просит остаться, предлагает переночевать у него, сердится. Таня будто не замечает. Медленно завязывая шарф, ожидает, что её хотя бы проведут. Но разъярённый хозяин и не собирается.

...Таня подходит к остановке. Ветер срывает старую афишу летних гастролей цирка. Пёстрая бумажка теряется в колючей темноте. Автобус в её сторону уже, конечно, не ходит. Закрывая лицо от снежной крупы, девушка двигается мелкими перебежками. Ничего-ничего, каких-то минут двадцать — и дома. Пройти тихонько, чтобы не разбудить маму, уснуть, забыть этот дурацкий вечер, неприятный поцелуй, небрежные касания...

Слёзы на глазах высыхают быстро. И месяц выглядывает из-за облаков молодой и резкий. В квадратике света на полу будто играют мелкие мушки... По стенам бегут странные тени. Хорошо лежать в постели и мечтать. О том, что завтра всё будет иначе...

Перевод с белорусского автора

АННА МАРТЫНЧИК



ПОВЕРИТЬ И ПОЛЮБИТЬ

ПОМНИШЬ

— Помнишь о жизни?
— Помню...
Крошится в руках земля...
И небо за пеленою
Прозрачнее хрусталя...

В жару горячи одежды,
Дыхание и песок...
Во Спас под рубахой свежий
Полощется ветерок.

На привязи конь спесивый —
Стоялец степных широт,
Увенчанный буйной гривой,
Склонившись, запруду пьёт...

Я помню: крошили штормы
Отвесный сухой утёс,
А прежде, нерукотворный,
Едва не касался звёзд!..

МАРТЫНЧИК Анна родилась в 1994 году. Училась в БГЭУ. Автор двух поэтических сборников, член Союза писателей Беларуси, лауреат международной литературной премии им. Сергея Есенина “О, Русь, взмахни крылами...” и нескольких других поэтических конкурсов. Живёт в Минске.

Вода стирает камни,
Так мудрость смиряет прыть...
— А время? — Почти хватает
Поверить и полюбить...

МЕШАЕТ МОЛИТЬСЯ

Мешает молиться голодная птица...
Неровно стучит серым клювом в окно.
Насыплю зерна... Пусть клюёт по крупичкам...
Ей нынче нужнее. Мне нынче дано.

Мешает молиться нерадость на лицах
Прохожих, с разлитой тревогой в глазах.
Чужая... Запомню и буду томиться,
Блуждая в сторонних сердечных делах!

Мешает молиться забот вереница:
Как дальше? Где лучше? Кто прав? Что к столу?
Чему миновать? А чему должно сбыться?
И что наговорено в гневном пылу?..

И всё, не до слов! Солонеют ресницы...
Скрипит половица!.. Мешает молиться!
Не время! Не случай взывать средь сует!..
А в грудь воздаётся безмолвный ответ...

СВЕКРОВЬ

— День добрый в дом!
— Ну, здравствуй, дорогая!

“Обнять?”
“Прильнуть?”
Как несуразен встречный шаг!
Но в суете, объятий избегая,
В двери застыли. И в углу сквозняк.

А во дворе ни отзвука, ни звука.
И сухолистье разбросало по ветрам.

— А почему наведались без внука?
— Гостит у бабушки...
— Не плохо бы... и к нам.

— Неважный вид.
— Всему виной дорога.
— Что ж исхудала? Глянь, как платье велико!..
Замаялась?
— Ну, разве что немного...
А впрочем, стоит ли?..
Кому сейчас легко?
— А сын ухожен! Выглядит чудесно!..
Да разве ж был так счастлив с... первой женой?
— Что я вторая — всем давно известно!
— Прости. Обидела...
— Да ладно! Не впервой.

— Пора. Поедем.
— Отчего ж так скоро?
Дождитесь, выну из печи домашний хлеб!
— Благодарю... за всё!..
— Да ради Бога!
— Не провожайте: дождь.
— Прогулка не во вред!

— Коль что не так...
— И вы не обессудьте...
Немыми взглядами о том, что сто́ит слов.
Улыбка. Вздох. Прощальное распустье:
“Прильнуть?”
“Обнимет ли?”

Калитка на засов.

ПЕРЕТЕРПИМ

Не вытерпеть терзаний:
По взгляду взгляда плеть!
Мне этими глазами
Тебе в глаза смотреть!..

Слова постыдной брани
Да обернутся вспять!
Нам этими губами
Детей благословлять!

“Что в сердце,
Кто под сердцем?!” —
Гадалка, отойди!
В мольбах ладони эти
Мы держим на груди!

Из грязного истока
Не ждать глубинных вод...
Давай потерпим... стойко...
И прежнее пройдёт.

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

В последний путь забирайте память!..
А там — бросайте в конце пути!
И рада бы при себе оставить,
Да непосильно одной нести.

Конечно жаль, но в пустой надежде
Нет-нет, а мельком пробьётся мысль,
Мол, нынче время не то, что прежде!..
И — взгляд обрядный в немую высь.

Смотреть в глаза... и ладони гладить
Тому, кто явен и возвратим.
А впредь ушедшим... Пусть пухом память
В последнем... вынужденном пути!

ВИТА ПШЕНИЧНАЯ



ГОРИТ СВЕЧА, ЗВУЧИТ СОРОКОУСТ...

* * *

С небосвода упавшие звёзды
Меж холмов и крестов не найдёшь.
Разрастаются в поле погосты,
А когда-то здесь сеяли рожь...

Тишиной величавого Крома
Вновь на сердце тревога легла...
Мне во Пскове всё с детства знакомо —
Сеть проулков, сады, купола...

Как зимою июльское солнце,
Средь прохожих встречаются те,
Кто открыто в ответ улыбнётся
В невесёлой мирской суете.

И душа отворится без стука,
Сразу станет невидим порог...
Как же мало мы знаем друг друга,
Как же каждый из нас одиноч!..

ПШЕНИЧНАЯ (Шафронская) Вита родилась в 1969 году во Владивостоке. Публиковалась в изданиях: "Литературная Россия", "Слово", "Родная Ладога", "Север", "Письма из России", "День и Ночь", "Венский литератор" и др. Автор нескольких поэтических сборников и книги прозы, критических статей, эссе. Член СП России. Живёт в Пскове.

НА РЕКЕ ПСКÓВЕ

Краткие встречи, долгие проводы...
В тёмные воды сентябрьской Псковы
Старые башни Окольного города
Падают, неба глотнув синевы.

Долгие проводы, краткие встречи...
Просит душа, умоляет не мчть
Время, которое губит и лечит,
Ясли судьбы продолжая качать.

Долгие проводы. Лёгкая морось...
Пригоршней — солнце — от лета привет...
День убывающий, встреченный порознь...
Ночь, как надежда, что скоро рассвет...

* * *

В. К.

А знаешь, как сбываются мечты?
Когда февраль забредит снегопадом,
и в дом войдёт не кто-нибудь, а ты...

Когда в июле небо заискрит,
швыряя молний мощные заряды,
моя рука твою взять поспешит...

И я прижмусь, спасаясь от дождя,
к тебе, как в церкви припадают к Лику,
в беспамятство, как в дивный сон, летая...

Когда сложу все письма от тебя
в единую, как наши души, книгу,
не проронив ни слова, но... любя.

ИХ БОЛЬШЕ НЕТ...

Их больше нет. Засохших листьев хруст,
Качели, храм Василия-на-Горке,
Свеча, за упокой Сорокоуст,
Шершавый крест на маленькой просфорке...

Их больше нет. Что теревить платок,
Я никого не вымолю из списка,
От облаков отставший лоскуток
Плывёт над колокольной низко-низко...

Окуривает ветви сизый дым,
Покорно осыпаются каштаны,
Поникий тополь стариком седым
Вдаль провожает птичьи караваны.

Мгновение... И горизонт вновь пуст.
Но как уют, как спас от мыслей горьких —
Горит свеча, звучит Сорокоуст
Под сводами Василия-на-Горке...

* * *

Нынче не в почёте донкихотство,
Мельниц по Руси зато не счесть,
Тянет лямку нищего сиротства
Мой народ, который я и есть.

Только на себя одна надёга,
Будто впрямь рождён ты просто так,
В Храм войдёшь, попросишь сил у Бога,
У ворот пьянчужкам дашь пятак,

И пойдёшь не солоно хлебавши
По околю, чтобы заодно
На обезображенные башни
Не смотреть... Но смотришь всё равно.

А на фоне роскоши и скотства,
Что продолжит множиться и цвесть,
Пожинает нищее сиротство
Мой народ, который я и есть...

ОЛЕГ РЯБОВ



НЕ ЗОВИ ПРОШЛОЕ

РАССКАЗЫ

1

Очень растерялся Михаил Иванович Шульпин, когда, примерно через год после смерти жены Лизы, понял, что практически все его контакты, все его связи, все его знакомства в этом мире существовали только благодаря ей, и организовывала их она, его ненаглядная. Да и всю жизнь его устраивала супруга, а он только существовал в этой жизни. Даже его контора “Нотариус Шульпин”, его “частная лавочка”, как он её называл, постепенно перешла под крыло какой-то дальней Лизиной многогородной племянницы, которую он когда-то по рекомендации супруги и приветил, и пристроил, и в дело ввёл. А теперь вот — не интересна стала вдруг ему его же работа.

Заходил Михаил Иванович в свой офис всё реже и реже: сначала старался бывать там каждый день, пусть хоть на час, а со временем стал появляться в своей “лавочке” раз в неделю и то “внехотячку”. И видели все сотрудники, что не работаете Михаилу Ивановичу. Но не догадывались они, что и жить ему не больно-то уж и хотелось. То есть так жить, как сейчас все живут, не хотелось, а хотелось как-то по-другому: тянуло его куда-то в прошлое. Ностальгировал он, что ли, таким специфическим образом.

Улицы он стал называть на советский манер: вместо Варварки — Фигнер, а вместо Покровки — Свердловка, начал снова в киосках газеты покупать,

РЯБОВ Олег Алексеевич родился в 1948 г. в городе Горьком. Окончил Горьковский политехнический институт имени А. А. Жданова. Редактор-издатель альманаха “Земляки”, председатель Нижегородского отделения Литературного Фонда России. Автор нескольких поэтических сборников и книг прозы. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

а в библиотеке, в которую записался, взял книгу Семёна Бабаевского “Кавалер Золотой Звезды”, которую в детстве читал.

Жил он теперь один в своей двухкомнатной квартире, но грустно было ему и скучно в ней одному. А вот гулять по улицам Михаилу Ивановичу вдруг полюбили: нравилось ему вспоминать, что было на месте того или иного нового дома пятьдесят лет назад, и кто из друзей или знакомых здесь жил когда-то, где располагались какие магазинчики продовольственные или книжные, или какие кинофильмы и в каких кинотеатрах в добрые старые времена крутились. Глядя на идущие трамваи, вспоминалось ему, как ловко он умел на ходу запрыгивать и спрыгивать с подножки. Представлял Михаил Иванович себе и будки телефонные, стоявшие раньше на каждом большом перекрёстке, из которых он в молодые студенческие годы звонил знакомым девушкам, да и Лизе тоже, когда жениться начал. А то так и вовсе: стали ему мерещиться номера телефонов пятизначные, к которым буквы потом стали прибавлять. И что ведь память делает — номер подкинет, а рядом лицо! А друга этого или девушки этой любимой давно уже нет.

И вот тут, с памятью, надо было что-то делать — побаиваться начал Михаил Иванович, что однажды она может его подвести: не то чтобы откажет, а наоборот — подкинет какую-нибудь каверзу, с которой надо будет бороться. Ведь уже случилось раз: он встал около кафе “Дружба”, или как-то оно по-новому теперь называется, и стал дожидаться, когда троллейбус подойдёт, забыв, что не ходит троллейбус по этой улице уже почти сорок лет. Хорошо, что не стал, как дурак старый, у прохожих спрашивать, где тут троллейбусная остановка, — сам вспомнил, что нигде!

Появилась у него ещё одна новая домашняя забава: перелистывая старую книгу городской телефонной сети, находил Михаил Иванович много знакомых фамилий, вспоминал что-нибудь про их обладателей интересное и набирал этот старый пятизначный номер. Конечно, там никто не отвечал, но и не рассчитывал он на то. Просто это игра такая.

Хотя предупреждал его старый товарищ с детских лет, Вовка Охотов, профессор, замечательный хирург, рыбак, охотник, бабник, единственный человек, с кем Шулпин продолжал поддерживать отношения уже лет пятьдесят, что игры с прошлым очень опасны: в прошлом хранятся такие секреты, которые лучше не вытаскивать. Охотов прямо-таки обеспокоился этим новым увлечением Михаила Ивановича и, каждую неделю отзваниваясь с очередным приглашением съездить на рыбалку, просто умолял его бросить эту новую дерзкую, как он сам её называл, забаву.

Домашние телефоны почти все снимали уже: мобильными пользуются. Только старики по привычке хватаются дома за телефонную трубку. Михаил Иванович относил себя уже к категории стариков и любил свой старый дисковый телефонный аппарат, хотя и с айфоном, и с компьютером, и с другими гаджетами он был на “ты” и от их услуг не отказывался. Однажды, листая телефонный справочник, он и Лизин старый номер домашнего телефона в нём разыскал, там ещё её девичья фамилия была пропечатана, и жила она — этих домов-то уже и нет.

Михаил Иванович набрал в тот раз номер Лизин: В-3-79-58. После двух длинных гудков на другом конце сняли трубку:

— Баня! — сказал мужской голос.

— Как баня? — удивился Михаил Иванович.

— Так, баня.

Михаил Иванович положил трубку. Он удивился не тому, что там оказалась баня, а тому, что там подняли трубку. Но ответить сразу на этот вопрос: как это получилось? — Михаил Иванович не смог, а потом уже просто и забыл про такой казус.

Ну, и ещё — странные сны стали сниться Михаилу Ивановичу. Вообще-то ему редко сны снились — ну, там раз в год, и то одни и те же, к тому же простенькие: как он экзамены в институте без подготовки сдаёт и не может сдать, и ещё один, страшный — будто катится он с крыши высокой и крутой, но не падает, а просыпается. А чтобы философские какие-то, как Татьяна Лариной или Вере Павловне, или у Достоевского которые описаны, —

нет, не бывало. Ну, понятно — писатели напридумывают такого, чего в жизни-то и не дождёшься.

А тут вдруг приснилось, будто он женится, и женится снова на своей Лизоньке, только на молодой, той — двадцатилетней. И такая нежная она с ним, и кожа у неё бархатная, и губы сочные, и талия упругая и податливая. А что со старой Лизой — не поймёшь: то ли она умерла, но почему-то не похоронена, то ли она всё же не умерла! Потому что она и не рядом, но недалеко стоит и не то что не одобряет новую женитьбу Михаила Ивановича, а просто корит его и взглядом, и мимикой. И стыдно Михаилу Ивановичу, и чувствует он, что ещё придётся ему с его старой Лизой объясняться. А что объясняться, если он на ней же женится, только на молодой, а потому ни измен, ни предательства в этом никаких нет. От стыда пришлось Михаилу Ивановичу проснуться.

2

То, что умом он немного тронулся, Михаил Иванович уже прекрасно понимал. Понимал он также и то, что на пенсию просто так не отправляют; правда, его и не отправляли — он сам ушёл и уже оформил все бумаги, и даже “ветерана труда” получил. Только всё равно кормился он со своей нотариальной конторы, и не только в финансовом плане, а в том смысле, что уж очень много секретов знал старый нотариус Михаил Иванович о своих любимых горожанах-согражданах.

Ведь не только примитивные доверенности на вождение чужой машины оформляют у нотариуса, что может сделать и зелёная девчонка, а и серьёзные наследства на бумажках, запёртых в сейфе у Михаила Ивановича, уже разделённые, лежат. Если подумать, то становится понятным, что к нотариусу обратится за оформлением завещания по наследству только тот, кому есть, что завещать, и есть, кому завещать, притом по-хитрому завещать, с условием. А если имеются скрытые семейные тайны, о которых до поры до времени не должен никто знать? Имеются в виду не измены и внебрачные дети, а примитивные обиды или симпатии, которые могут меняться, и меняются очень часто. А с возрастом эти обиды и новые симпатии могут возникать и пропадать каждый день.

И вот тут хлебом не корми Михаила Ивановича, прямо подштывается он на этих информациях и духовно, и физически. И материально, конечно, но это его последнее время уже не очень интересовало. А ведь все эти старухи, которые каждый день готовы менять свои завещания, хотя и не дворянки какие-то там столбовые, но всё равно, как “из бывших”, ходят уже плохо и просят обычно Михаила Ивановича приехать к ним домой для фиксации нового своего каприза. А живут они часто если и не во дворцах, то в таких хоромах, о которых простым нашим гражданам лучше и не знать. Ведь это по телевизору покажут особняк какого-нибудь министра-жулика или артиста-миллионера и что? Картинка и картинка. А внутри!.. Это всё равно, что по телевизору балет смотреть или аромат новых духов распознать, глядя на их же телевизионную рекламу, — сути и прелести не узнать! Надо эти чудо-избушки изнутри увидеть и разбираться в тех чудесах, которые в них припрятаны.

Живут эти старухи, а часто и не старухи, а молодые вдовы, в домах своих мужей или зятьёв, но записаны эти особняки и коттеджи на них, на старух. И тешат себя эти хозяйки тем, что могут пока что распоряжаться всем хозяйством, временно порученным им. И позванивают эти неожиданные владелицы несметных богатств Михаилу Ивановичу Шульпину, а тот — на такси и к ним уже летит. Сам за руль после смерти Лизы он не сел — тревожно и неудобно чувствовал себя на водительском месте. Машину свою племяннику отдал, и возит тот Шульпина на базар по выходным. А к клиентам важным лучше на такси — Михаил Иванович предпочитал клиентов своих в секрете держать.

Но странное дело — сразу после похорон жены и профессиональная активность, и интерес к чужой жизни у Михаила Ивановича стали пропадать.

Раньше в таких домах коллекции картин или икон, или фарфоровых статуэток мейсенских, или кинжалов восточных его не просто восхищали, а вызвали любопытство, и просил он хозяев просветить его. Такое внимание было хозяевам приятно, и читалась тогда Шульпину популярная лекция. Ведь приходилось ему давать рекомендации и по страхованию таких коллекций, которые хозяева не очень-то хотели светить.

Раньше такие визиты могли затягиваться на целый день, иногда с обедами, а уж чаю отпить или фужер хорошего вина — так это обязательно. Теперь Михаил Иванович к посторонним и малозначащим беседам стал не просто охладевать, а они его начинали тяготить. Он понимал, что такое его отношение активно мешает делу, что клиента надо расположить, чтобы тот мог довериться его, Михаила Ивановича, советам при принятии решения, но ничего поделать с собой не мог. Раньше он готовился к таким поездкам: подбирал галстук или бабочку, смотрелся в зеркало — хорошо ли повязано кашне, а теперь почему-то не думалось ему даже об этом. Часто, ещё только-только зайдя в прихожую и вытирая носовым платком пот со лба, он просил принести ему стакан холодной воды, а выпив его, начинал понимать, что напоминает сам себе чеховского дворника или извозчика, а в лучшем случае — постаревшего Ионьча. Но тут же Михаил Иванович брал себя в руки и, входя в гостиную, был предупредителен, галантен и вежлив.

3

В мае городской телефон зазвонил неожиданно. Первый раз за год, наверное. Михаил Иванович снял трубку.

— Миша? — с характерным акцентом произнёс дребезжащий и вроде бы знакомый, но всё равно неузнанный голос.

— Да, это я, Михаил Иванович Шульпин. А, простите, вы кто будете?

— Миша, это я, тётя Дора Штейн. Ты приедешь?

— Куда мне надо приехать, тётя Дора? — без раздражения и даже с долей иронии ответил Шульпин, спешно соображая, кто бы это мог его разыгрывать.

— Ты всё шутишь, Миша? Ко мне ты хотел приехать.

— А куда мне надо приехать, в Канавино или на Маяковку? — решил подыграть незнакомце или незнакомцу Михаил Иванович, вспоминая, что тётя Дора была хорошей портнихой и подругой его мамы, и, по самым скромным подсчётам, ей должно быть сейчас уже больше ста лет.

— Конечно, на Кооперативную, то есть на Маяковку, куда ты с папой и с мамой своими ещё приходил! Помнишь?

И тут до Михаила Ивановича дошло, что это не розыгрыш. Он даже оцепенел. Холодком неприветливым потянуло из телефонной трубки.

— Приезжай прямо сейчас, если сможешь. А не сможешь — приезжай завтра с утра. Дело серьёзное и спешное, и разговор у нас будет долгий и не телефонный.

— Тётя Дора, да я сейчас и приеду, только напомните мне адресок ваш — полвека уже прошло, а то и больше: запомнил я, где вы живёте.

— Миша, а ты знаешь ресторан “Волгу”?

— Помню, конечно. А что теперь там?

— Что теперь там, что теперь там! Я уж не знаю — что теперь там, а вот рядом с рестораном есть арка. Заходи в эту арку, увидишь гору ящиков деревянных, а дальше — кучу шлака, между ними вход в наш подъезд. Поднимешься на второй этаж, увидишь дверь, обитую жёлтой клеенкой, на ней марка номер шесть, это моя квартира. Дверь будет открыта, торкнись и заходи. Я тебя уже буду ждать. А ты лакаголь какой пьёшь?

— Да, нет, не пью я.

— Хорошо, тогда чай будем.

— Хорошо, тётя Дора, я приеду.

— Миша, я тебе до сих пор не сказала, что звоню я по поручению твоего папы покойного, должна я тебе передать бумаги кое-какие для тебя важные.

— Да, хорошо, тётя Дора, я к вам сейчас подъеду.

Наконец-то Михаил Иванович вспомнил тётю Дору Исааковну, подругу молодости папы и мамы, толстую портниху с базедовой болезнью, которая обшивала маму и многих маминых подруг, и её квартиру с постоянными в ней мелкими племянниками, сопливыми и орущими. Квартира та была трёхкомнатная, большая, но бестолковая: она просто под потолок была забита всякими ненужными вещами. Ещё Шульпин вспомнил, что в том же дворе-колодце, но в другом подъезде собирался многие годы городской неофициальный миньян, и приходил он в этот двор за компанию со своим школьным товарищем Мариком Шмуклером перед тем, как тот уехал в Израиль.

Вообще-то Маяковка в советские времена была на весь город известна не только своей еврейской общиной, но и тем, что от Ромодановского вокзала и до Ивановской башни Кремля она вся была беспардонно занята воровскими малинами, подпольными катранами, точками скупки краденого и ночными шинками — этакий истинный центр городской теневой жизни. И почему, если уж кому-то так захотелось, её в Рождественскую переименовали, если она раньше Кооперативной была? Кооперативная куда как больше ей подходило.

Михаил Иванович двинулся к тёте Доре пешком. Сначала по родным городским переулкам, потом через Кремль по Ивановскому съезду на Кожевненную. Мимо бывшего цеха разлива, где производился “Солнцедар”, самое жёсткое вино для самых суровых мужчин эпохи застоя. А там и Рождественская, уже отреставрированная или реконструированная и облитая майским солнцем, вся в брусчатке, в ресторанчиках и в кафе, и без привычного трамвая. А вот это обидно: трамвай — первый признак городской среды.

В своём длиннополом старомодном плаще и велюровой бежевой шляпе Шульпин несколько выделялся в праздничной весенней толпе молодёжи, тусившей на этой выставочной улице. Май безобразничал и гулял. Девочки красовались в ободранных шортах, потряхивая своими упругими завлекалочками, а молодые мужчины и пацаны в майках с вызывающими надписями обнажали напоказ свои накачанные за зиму в тренажёрных залах бицепсы.

Михаилу Ивановичу всё здесь было любопытно. По непонятной причине не появлялся он на этой почти центральной улице города уже пару лет, а может, и больше. И сейчас, внимательно приглядываясь к обновлённым фасадам, платным парковкам, заставленным машинами, ярким витринам, широким тротуарам, Шульпин не мог определить, нравятся ему такие перемены или нет! Эти противоречивые чувства боролись в нём до тех пор, пока он не дошёл до нужного ему двора. Чугунные ворота в арке были перекошены так, что нижние створки их были залиты асфальтом уже много раз и много лет назад.

Михаил Иванович даже невольно улыбнулся: что-то родное привиделось ему в этих воротах. Во дворе было мрачно и сыро, несмотря на жаркий солнечный день. Посреди двора лежала лужа. Два кота, рыжий и белый, но оба до безобразия грязные, стояли, выгнув спины и истошно орали. Ящики и кучу шлама Михаил Иванович разглядел без труда, и подъезд тёти Доры определил тоже.

4

В подъезде было темно. На второй лестничной площадке Михаилу Ивановичу пришлось достать мобильный телефон и с помощью включённого экранчика разыскивать дверь с цифрой шесть, обитую жёлтой клеёнкой.

Дверь была не заперта. Шульпин вошёл. В квартире никого не было. Из кухни негромко доносился голос Джоржи Марьяновича с его “Маленькой девочкой”.

Он снял шляпу, положил на полку при входе и прошёл в залу, большую комнату с квадратным столом посередине. В этой комнате, за этим самым столом когда-то давным-давно мама с папой играли в “козла” с тётей Дорой и её подругой, в то время как маленький Миша играл в комнате налево

с местными детьми. Мужа у тётки Доры уже не было: он погиб на фронте. Направо, помнилось Михаилу Ивановичу, была спальня тётки Доры.

На столе лежала записка на вырванном из ученической тетради листке, написанная корявым дрожащим стариковским почерком. “Миша! Дождись меня. Я скоро буду. Ушла за твоими бумагами. Тётя Дора”.

За какими бумагами — Михаил Иванович не понял.

Он подошёл к окну, заклеенному ещё с зимы газетными полосками, плотно заклеенному — с улицы не было слышно никаких звуков. Потом он заглянул в обе смежные комнаты, но заходить не стал: впечатление было, что туда никто не заходил уже много лет, там было сумрачно и пыльно. Шульпин провёл пальцем по крышке пианино, стоявшего у дальней стены, — слой пыли и на нём был более чем изрядным. Наверху инструмента стояли два подсвечника, фарфоровый бюст Чайковского, серебряная ханукия и множество выгоревших фотографий каких-то незнакомых людей в старинных рамках.

Он осторожно поднял крышку, разглядел сверкнувшую тусклым золотом надпись *Diederichs Freres* и дотронулся до клавиш — раздался противный дребезжащий звук расстроенного напрочь инструмента.

Он закрыл крышку и как-то интуитивно понял, что никогда не дождётся тётки Доры.

Аккуратно водрузив на голову шляпу, Михаил Иванович посмотрелся по привычке в мутное зеркало, но ничего в нём не разглядел.

Выходя, открыв дверь на площадку, он увидел, что у лестничных пролётов перил не было совсем! Нет — они когда-то были, но вот уже много лет... Пятнадцать минут назад он мог тут и ногу сломать, и голову свернуть, поднимаясь в темноте. Спускался вниз Михаил Иванович, держась за стенку.

Котов во дворе уже не было, зато на куче мусора радостно жировали воробьи. Он вышел сквозь арку со двора. Солнышко зашло, но было ещё светло. По всей улице лежали огромные лужи, — видимо, прошёл дождь. Мимо продрезжал трамвай.

Михаил Иванович внутренне улыбнулся и, сообразив, где находится, развернулся и вошёл в ресторан, в тот незабываемый ресторан “Волга”, которого, поговаривали, что уже и нет...

В зале пахло кухней, было почти пусто, за одним столиком сидели двое командированных с графинчиком водки, на нависающем балкончике играл маленький оркестрик и ярко окрашенная певичка пела что-то про ландыши. Прыщавый мальчик-официант с блокнотиком в руках и в белом несвежем переднике подскочил тотчас. Михаил Иванович заказал осетрину с хреном, цыплёнка-табака, двести коньяку и “боржом”.

Осетрина была замечательная: не переваренная, кусочки толстенькие, хрен острый и в меру сладкий. “Табака” был великолепный: прекрасно отбит, но косточки не переломаны, с поджаристой корочкой и сочный, а подрумяненный во фритюре чеснок, которым цыплёнка посыпали, был очень ароматен и кстати.

Командированные за соседним столиком сначала были очень возбуждены, пока пытались привести тройной интеграл по замкнутому контуру к табличному с помощью формулы Грина. Но по мере более углублённого изучения содержимого графинчика, их речь становилась значительно осмысленней: заговорили о рыбалке, и Шульпин понял, что лов чехони в Ярославле, откуда те прибыли в командировку, в самом разгаре.

Выходя из ресторана и отдавая мелочь, затерявшуюся в кармане, “на чай” швейцару в гардеробной, Михаил Иванович подумал, что в чём-то его друг детства Вовка Охотов прав. А в чём-то — неправ! Однако к тётке Доре Штейн Шульпин не пошёл, а пошёл пешком домой, решив, что срочно снимет свой стационарный телефон, и в эти выходные он с Вовкой Охотовым на рыбалку обязательно поедет, на любую рыбалку поедет. И, кстати, надо будет ему подсказать, что чехонь пошла, — пусть думает, куда ехать, чтобы не пропустить самый-то клёв.

КОСМЕИ НИНЫ ВЕРЁВОЧКИНОЙ

Каждый год, как только майские праздники на носу, я имею в виду День Победы, так у всех библиотечных работников и школьных учителей одна проблема: где найти ветерана войны, чтобы тот выступил перед ребятами. Всем этим ветеранам, которые если и воевали, то уже за девяносто, — чего они помнят? Насмотрятся кинофильмов по телевизору, а потом про себя и фантазируют. А ведь и те, кто родился после войны, могут вспомнить много чего интересного, к той великой войне отношение имеющее.

Случилось дело это, про которое я хотел рассказать, прямо после войны, ну, может, там несколько лет прошло. Жила у нас во дворе противная тётка, тётка Мария. Сама была она маленькая, но крепкая, и голос визгливый, когда орёт на кого, — до сих пор помню. Три дочки были у неё: одна довоенная, вторую родила в сорок втором, чтобы на рытьё окопов не посылали (с двумя детьми не посылали), а третья получилась на радостях, что муж живой с войны пришёл, её Ольгой звали, и она мне ровесницей была. Муж тётки Марии на заводе работал, а она сама нигде не работала — по двору целые дни шлялась и порядок наводила.

Дворы те деревянные, послевоенные, в центре крупных старых купеческих городов, надо знать, какие были: и домком обязательно был, и дворник свой, и участкового своего все знали. Двор, в котором жила тётка Мария, был проходным между двумя центральными городскими улицами и состоял как бы из трёх разных дворов, сильно различавшихся своими жильцами в социальном плане и соединённых тропинками. В центре этого жилого массива стоял щитковый двухэтажный довоенной постройки дом, который назывался “дом специалистов”. И двор этот назывался “двор специалистов”.

Проходным между сараями он соединялся с другим двором, вокруг которого стояли несколько деревянных развалюх с сырыми подвалами, в которых кое-как кто-то жил. К этим развалюхам или баракам лепились сортиры и помойные ящики, выкрашенные белой извёсткой, покосившиеся сараи, наспех сколоченные из горбыля, и назывался он “грязный двор”. На другую улицу из “двора специалистов” можно было пройти через третий двор, в центре которого стоял двухэтажный полукаменный купеческий особняк.

Если скандал какой или драка пьяная, то это в каждом дворе самостоятельно происходило. А как ребятам играть в прятки или в снежки, то это во дворе специалистов все дети собирались. В этом дворе и дорожки к подъездам красным кирпичом были выложены, и песочница с грибком была, и детские качели, и турник, и клумбы с цветами всякими; если в других дворах — золотые шары да лупиносы только, то тут и циннии, и аквилегии, и пионы, и всякие другие благородные цветы. И у каждой хозяйки — свой палисадничек или грядка, или клумба хотя бы.

Вот о такой клумбе и пойдёт у меня речь.

Жили в “доме специалистов”, кроме тётки Марии, ещё две замечательные женщины. Может, жили какие-то ещё известные люди в том доме, только я никого больше не запомнил конкретно. А вот Нину Верёвочкину из второго подъезда с первого этажа и Юлию Павловну, которая жила над Ниной и занимала две комнаты с дочкой своей, помню хорошо.

Юлия Павловна была женой полковника Кроля, лётчика, который служил где-то на Севере в засекреченной части, и приезжал к своей семье раз в год. Тогда она с Юлией Павловной и дочкой втроём покупали путёвки и ехали на месяц отдыхать в какой-нибудь санаторий на юг: или в Гагры, или в Пицунду. А целый год Юлия Павловна, женщина яркая и кокетливая, шила себе наряды и гуляла по городской набережной. Ну, правда, и дочкой своей занималась. Из-за мужниной фамилии звали все во дворе эту полковничиху “королевой”.

Раз в неделю к Юлии Павловне приходил мужчина — крупный, самостоятельный, в костюме и кепке. Правда, костюм был у него всегда потёртый и на локтях лоснящийся. Дядька этот садился во дворе на скамеечке, выкуривал папиросу и уходил. А почти сразу же из подъезда выплывала Юлия Павловна: потупив взор, на каблучках, виляя задом, пряча руки в чёрно-бурую

муфту зимой или придерживая под мышкой крокодиловую сумочку летом, она, как бы извиняясь перед всеми присутствующими во дворе, улыбалась, кивала головой и, не глядя в то же время ни на кого, уходила семеня вслед за тем, в кешке.

Женщины во дворе почему-то относились к этому её развлечению снисходительно. Почему — не знаю! Видимо, жалели её: при живом муже такая красота без употребления пропадает, да и больно уж жалостливо и виновато Юлия Павловна посматривала на соседей своих по дому, когда торопилась на свидание со своим инженером. Мы были уверены, что он инженер. Полковник Кроль с ней всё равно развёлся потом, и инженер этот её по фамилии Давыдов переехал жить к ней в “дом специалистов”.

К чему я так подробно про Юлию Павловну? А потому, что в том же подъезде, но на первом этаже жила в такой же коммунальной квартире Нина Верёвочкина, с дочкой тоже, но в одной комнате. Все во дворе эту Нину Верёвочкину уж больно не любили. Хотя и женщина она была не скандальная, и вдова фронтовика, и аккуратная такая. Не нравилась всем женщинам из “дома специалистов”, да и с соседних дворов Нина Верёвочкина за то, что заходил к ней изредка очень солидный мужчина в шляпе, которого мы, ребята, между собой называли “шкаф”.

Его всегда подвозил чёрный “ЗИМ”, который останавливался на улице перед воротами, а “шкаф” шёл к Нине Верёвочкиной через весь двор, ни с кем не здороваясь. И обязательно он нёс с собой заказной торт в специальной квадратной кондитерской коробке из щепы.

В общем, из-за этого “шкафа” и не любили многие во дворе Нину Верёвочкину.

Однажды, не знаю, по какому поводу, тётка Марья и Нина Верёвочкина подрались. Подрались они крепко, в кровь, да ещё и по-злому как-то. И вот вся разодранная и окровавленная тётка Марья сидит на земле возле входной двери в подъезд и кричит благим матом на весь двор своей младшей дочке Ольге:

— Беги бегом в милицию, веди их сюда, скажи, что мать твою убивают!

Маленькая пятилетняя Ольга, тоже вся в слезах, стоит перед мамкой своей и плачет:

— Мамочка миленькая, я не пойду в милицию, я боюсь.

— Иди, дрянь паршивая, а то я сама тебя сейчас убью!

Вот так примерно разговаривала тётка Мария со своей дочкой.

Бежала пятилетняя Оленька через две улицы мимо водной колонки, мимо магазина, где в очереди много раз стояла или сидела она на ящиках, разглядывая и запоминая циферки, написанные химическим карандашом на ладонке, мимо Дома связи. Прибежала она в отделение милиции, а там, в отделении, столпотворение какое-то и смесь из мужиков страшных и милиционеров сердитых. Стоит Ольга в уголке, в коридоре, и плачет, слёзы размазывает по щекам. Но тут заметил её какой-то начальник в красивой форме и спрашивает:

— Кто тебя, девочка, обидел?

— Меня никто не обижал, а мамку мою сейчас убивают, и она велела мне милиционеров привести, а то она сказала, что меня сама убьёт. А она и убьёт, я знаю и боюсь.

— Тебя как зовут-то, девочка?

— Оля, — ответила Оля.

— А где ты живёшь, Оля, и где твоя мама?

Но тут вышел в коридор Коля Крестов, наш участковый, и узнал Олю.

— Крестов, а ты знаешь эту девочку, что ли? — спросил у Крестова его начальник.

— Конечно, — ответил милиционер Крестов, — это с моего участка девочка, и зовут её Оля.

— Так вот, Крестов, — говорит ему начальник, — возьми табельное оружие и пойдёшь разберись, кто и кого у тебя во дворе там убивает.

— Хорошо, — отвечает Крестов, — только зачем мне табельное оружие? Я и так всех там знаю.

— Я сказал, возьми оружие, значит — возьми. Мне лучше знать, куда с оружием ходить, а куда — без оружия.

— Слушаюсь, возьму, — ответил Крестов и пошёл брать из сейфа оружие.

— А что, дядя Коля, — спросила Оля у своего участкового, которого она, конечно, хорошо знала, — вы в маму и в Нину Верёвочкину из пистолета стрелять будете?

— Нет, Оленька, не буду, — отвечал Костров, — у меня и патронов нет.

Когда участковый Крестов с пятилетней Ольгой пришли во “двор специалистов”, то, конечно, никакой тётки Марьи у подъезда, где видела её родная дочь в последний раз, уже не было. Но очень быстро выяснилось, что тётка Марья вместе с Ниной Верёвочкиной сидят у Верёвочкиной дома и пьют чай с тортом. Пришли туда участковый Крестов с девочкой Олей, а те две смотрят на них, как дуры наивные, будто и драки не было.

— Я чего-то не понял! — говорит Коля Крестов. — А кто кого из вас убивает, и почему я здесь?

— Ой, Коля, да ты присаживайся, — говорит Нина Верёвочкина участковому нашему.

И достаёт она при этом из шкафчика графинчик с беленькой, а в беленькой, в графинчике том, лимонные корочки плавают, настаивают её. Видимо, этот графинчик предназначался для “шкафа”, но вот и участковому нашему перепало.

— Хорошо, я выпью с вами, женщины хорошие, только вы мне должны рассказать, что за причина была у вашего конфликта, а то, не ровен час, он повторится, а я и не буду знать причин. Опять же — дитё в слезах, — говорит наш участковый Коля Крестов.

— Да, глупость всё это, — говорит тётка Марья, — не бери в голову, Коля.

— Ну, если я не буду такого в голову брать, то зачем я?

— Тогда слушай. Вот у нас тут во дворе под окнами все кусочки земли поделены, и у каждого тут клумбочки и палисаднички с цветочками. У меня нарциссы с тюльпанами, у Юлии Павловны — куст шиповника благородного. А у Нины нашей каждый год космеи цветут, самые простенькие цветочки на свете, ромашки разноцветные. Ну, я не знаю, как ещё это назвать. Она каждую осень семечки соберёт, а весной в ладошках их потрёт, бросит в землю просто и бездумно, и снова эти космеи растут, как ромашки полевые, только разноцветные. Вот и сказала я ей не подумавши, что на тот год её клумбу перепахаю и засажу сортавыми тюльпанами. Не знала я, что это за космеи у Нины! Оказывается, Нинин муж в танке сторел на Курской дуге, под Прохоровкой, в сорок третьем. Оказывается, она после войны туда на братскую могилу на Прохоровское поле ездила и семечки у отцветших уже космей собрала и здесь во дворе у себя под окошком посеяла. Так что эта клумба — как бы могила её мужа. А “шкаф”, который к ней ходит, у него в Белоруссии в войну всю семью — и жену, и детей — в деревне фашисты заживо сожгли. А воевал он с Нининым мужем. Он начальником большим сейчас стал, и там, на работе, его никто не пожалеет, а Нина жалеет. Мы его тыловой крысой звали, а он тоже танкистом был. Так что не помню, за что Нина меня, но за дело, наверное, поколотила. А что же ты, Колонюшка, не вышил-то?

— Тогда, давайте, дамочки, вместе выпьем, помянем не вернувшихся! Я один не смогу.

На следующее утро весь двор увидел, что клумба Нины Верёвочкиной наглухо вытоптана, старательно, ровно-ровно, хоть паркет клади.

Решили дрянные ребята с “грязного двора” наказать Нину Верёвочкину, отомстить ей за отцов своих погибших и за мужа её, не вернувшегося с фронта, за то, что встречается она со “шкафом”, ну, и за то, что она тётке Марье нос разбила. Были там такие братья-близнецы Кучкины, шпана перспективная, да ещё один с ними, Ваня, им всем лет по двенадцать или тринадцать было, все трое — безотцовщина. У милиции до них пока что руки

не доходили: жалели детей фронтовиков погибших, а так, конечно, по ним уже колония плакала.

Рано утром сидела Нина Верёвочкина на нашей дворовой скамеечке около своей вытоптанной, как выбритый, клумбочки и плакала, глядя сухими глазами поверх крыши сараев в голубое летнее небо. Не плакала Нина, а тихонько выла.

Нина сидела и час, и два, и больше.

Потом пришёл наш участковый, Коля Крестов, привёл пацанов с соседнего двора. Пацаны пришли гордые и независимые и остановились рядом с участковым, когда он встал перед клочком ещё влажной, в тени густого куста сирени, земли, хранящей следы детских башмаков.

— Вот вы втроем, — начал свою короткую речь участковый Коля Крестов, — ночью совершили, по вашему мнению, подвиг — вытоптали маленькую клумбу с простенькими цветочками. Вы решили так наказать Нину Верёвочкину. Ну, не любите вы её, ну, не нравится вам, что ходит к ней этот “шкаф”. Только эти цветочки Нина привезла с братской могилы на Курской дуге, с Прохоровского поля, где её муж-герой сторел в танке. Вы иногда вспоминаете своих отцов, которые не пришли с фронта, — они погибли! Вы сегодня ночью растоптали братскую могилу, в которой могли лежать ваши отцы.

Коля Крестов ушёл.

Потом ушла Нина Верёвочкина.

А пацаны не знали, когда и куда им идти.

*Поздравляем нашего автора и коллегу, главного редактора журнала
“Нижний Новгород” Олега Александровича Рябова с 70-летием!
Здоровья, творческих удач!*

ВАДИМ КОВДА



И ТОЛЬКО НА ДУШЕ —
СПОКОЙНО И ТЕПЛО...

ГОЛОС СВЫШЕ

Прости, что слабый ты и тленный,
хоть смел и горд не по летам.
Велик твой разум драгоценный,
но счастья Я тебе не дам.

Прости, что вверх тебя беспечно
в компьютерно-атомный век.
Прости, что время скоротечно,
прости, мой бедный человек.

Не улететь тебе ко звёздам,
не разорвать рассудка тьму.
Прости... прости — тебя Я создал
лишь по подобию Своему...

Как Я устал!.. Как мало проку!..
Сомненья бродят по пятам.
Я удаляюсь, слава Богу...
А ты ищи свою дорогу.
Попробуй сам... попробуй сам.

КОВДА Вадим Викторович родился в 1936 году в Москве. Член СП СССР с 1972 года, автор 11 книг стихотворений. Последняя книга вышла в Москве в 2012 году. Живет в Германии в городе Ганновер и в Москве.

ПОЛЕМИКА С ЛАО-ЦЗЫ

“Надо творить, пока ты не растрочен.
Тают и тают часы...
Выполни всё, для чего предназначен...” —
так говорит Лао-цзы.

Ах, Лао-цзы, косоватые глазки!..
Вдруг загляжусь в синеву...
Нет, не могу, не могу по-китайски —
нет! Я по-русски живу.

Знаю, что, может, не слишком умело
действовал праведный Бог.
Верно — не мало, не мало Он сделал...
Только ведь меньше, чем мог!

* * *

Ничего не меняют века:
та же радость и та же тоска.
Человеческий род уязвимый.
Облака и лесная река
не прекраснее лика любимой.

И в космический, ядерный век
жив курилка — растёт человек.
Жизнь дрожит, истончённей листочка.
И ни лунный, ни солнечный свет,
ни балет, ни крутой интернет
не прекраснее взгляда сыночка.

ВАЛУН

Огромный серый камень,
бугристый и рябой,
врыт в землю под ногами —
подброшен мне судьбой.

Взираю через силу.
Шальную мысль таю:
“Такой бы на могилу
грядущую мою!

Чтоб я не мог очнуться,
чтоб вечности вкусил...
И чтобы в мир вернуться
мне не хватило сил”.

* * *

Дыханья лёгкий пар. А рядом в старом доме
пар валит из дверей. Замёрзшее стекло.
Мороз дерёт лицо и переносье ломит.
И только на душе — спокойно и тепло.
А на снегу сидит, исполнена страданья,
ворона, до костей продрогшая насквозь.

И голосом глухим, простуженной гортанью
скрежещущее: “Кар-р!” — неведомое слово.
Но мы его поймём, поймём, коль захотим:
от той вороны пар, как от всего живого,
и перекошен клюв отчаяньем немым.

* * *

Не найдена, забыта, не воспета,
там, в подземельях древнего Кремля,
могила неизвестного поэта,
кем выдумана русская земля.
Подорваны, измучены, ослабли,
но всё ж покуда живы — не мертвы! —
те Суздали, Ростовы, Переславл...
И хищное могущество Москвы.

ВРАГ

Живу, себя, родного, не любя.
Не сотворю из себя кумира.
Я устаю от самого себя
поболе, чем от остального мира.

В неистовом, безжалостном бою
со лжи в себе срываю все покровы.
Но жизнь идёт. И снова устаю.
И снова ложью обрастаю новой.

МЕТАМОРФОЗЫ

Ненависть сменишь на милость.
И замыкается круг.
То, что недавно любилось,
возненавидится вдруг.
В бросовом времени давнем
вдруг замечаешь красу.
То, что считалось забавным,
вызовет боль и слезу.
И начинается темень
в мире за ближней межой...
Что же ты делаешь, время,
с ясной моею душой?

* * *

Всё же в чём-то я прав — понимаю житьё.
Понимаю, и как ни хулите —
поживите с моё, потерпите с моё,
пострадайте с моё, полюбите.

Жизни вашей свяжу и распутаю нить.
Уж поверьте. Не надо и сетовать, —
всем друзьям расскажу, как счастливым в
СТРАДАНИИ быть...
Лишь себе не могу посоветовать.

* * *

Чую, к худшему готовясь,
где корысть, обман и лесть...
Тренированная совесть.
Тренированная честь.

И от этих тренировок,
от зажатости души
стал хитёр, упрям и ловок —
выживаю на гроши.

Дымка лёгкая от дыма —
страсти жгутся, но терплю...
Как живу? — Невыносимо!
Жизнь приемлю? — Нет! Люблю!

СТРАДАНИЕ

На всякий век своих достанет бед.
За то, что в мир вошли — такая плата.
Страдают все — таков наш белый свет.
И, значит, для чего-то это надо.

И пусть никто страдание не зовёт.
Пусть каждый молит, чтоб промчалось мимо,
но каждому оно необходимо,
и каждый, если страждет, то живёт.

ПРЕКРАСНЫЙ ПТАХ

Прекрасный птах, он пел среди ветвей.
Он пел, его гортань не уставала.
И над могилой матери моей
та песня добрым ангелом витала.

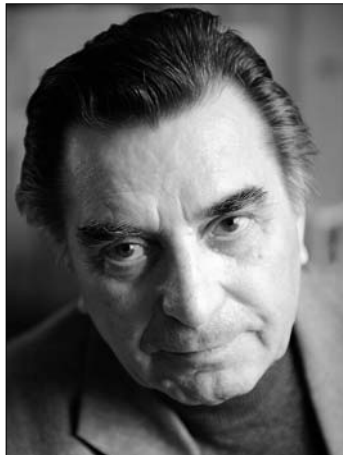
Он громко пел, невзрачен и убог,
лишь глаз горячей кровью наливался.
И слышал я такой высокий слог,
который мне ни разу не давался.

Такие звуки щедрые дарил,
так булькал, свистел и надрывался,
что я его, как мог, благодарил
и за него, за глупого, боялся.

Как столько звуков выдумать он смог?
Как в его горле столько поместилось?
Прекрасный птах, он пел, как птичий бог.
Он пел. И ничего с ним не случилось...

И каждый звук, весом, упруг и смел,
соскальзывал, в нутро мне проникая.
Прекрасный птах так исступлённо пел,
что слышала душа моя глухая.

ВЯЧЕСЛАВ ЩЕПОТКИН



ВОЗЬМИТЕ РЕБЁНКА НА РУКИ

РАССКАЗ

Родство братьев Царёвых мог не заметить только слепой. Да и тот узнал бы похожесть этих мужчин по голосу. Несмотря на большую разницу в годах — пятнадцать лет, — оба говорили, как будто трубили. Старший, Николай, правда, чуть с хрипотцой, словно трубу изнутри что-то карябало. А младший, Мишка, по прозвищу среди своих Минёк, гудел ровно, зычно и зачастую усмешливо. Будто не очень верил тому, что слышал.

Ростом они были ровень: по метру восемьдесят. Лицами — вроде как круглые хлебные караваи из одной печи. Только один каравай немного передержали: стал он коричневатый, с подсохшей корочкой, из-за чего на ней образовались складки, обещающие со временем превратиться в глубокие морщины. А пока, на удивленье, у сорокасемилетнего Николая морщин на лице было мало: от крыльев широкого носа к краям полных губ, выдающих добрый характер, шли два мелких царапка, ну, и на лбу, когда Николай удивлялся, появлялась пара тонких ниточек.

А младший — Минёк, — хоть и выглядел фигурой богатыристо: длинные руки с большими кулаками, большой размер обуви, одежда крупного размера, однако на лицо был нежнее старшего. На светлом каравайнном круглом лице — чёткие, словно нарисованные, чёрные брови, под ними, как и у брата, ясные голубые глаза. Только тёмные волосы, в отличие от Николая, стриг по-молодёжному, коротко.

Хотя жили братья друг от друга не так, чтобы далеко: Николай — в центре Москвы, Минёк — в близком подмосковном городе Мытищи, который уже собирались соединить метрополитеном со столицей, встречались они, од-

ЩЕПОТКИН Вячеслав Иванович родился в 1938 году. Окончил Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова. Журналист, публицист, прозаик. Живёт и работает в Москве.

нако, не часто. В основном, по большим семейным праздникам да при поездках к отцу с матерью в воронежскую деревню.

Правда, была ещё одна okazия, которая соединяла братьев. Рыбалка. Заводилой тут чаще выступал Минёк. А организатором — Николай. Он был журналистом. Работал в солидной государственной газете. Поэтому знакомых у него было много по всей стране. Под дружелюбным напором младшего брата Николай звонил в Астрахань или в Архангельск, в Саратов или в Ярославль и договаривался о рыбалке. Минёк, который был хозяином интернет-магазина по продаже автомобильных шин, сразу бросал работу, Николай оформлял командировку, и братья отправлялись в волнительную поездку.

Уезжали на поезде, потому что неподъёмные рыбацкие рюкзаки весили для самолётов очень дорого.

А тут братанам пришлось лететь самолётом. Николая пригласил на рыбалку бывший глава большого дальневосточного региона. Сейчас этот человек заседал в парламенте России и был заметным политиком. Когда-то журналист Царёв несколько раз писал об этом регионе, хвалил, и, надо сказать, заслуженно, его руководителя, в результате чего они вроде как бы сдружились.

Взяв только спиннинги в чехлах, небольшие ящики с рыболовными причиндалами и минимум вещей — основную одежду обещали дать на месте, — братья прилетели в главный город региона. В аэропорту вместе со встречающими мужчинами сели в микроавтобус и помчали на вертолётную площадку.

Там стоял готовый к отправке вертолёт. В него уже загрузили две резиновые лодки, моторы, тёплую одежду — хотя ещё сиял золотым солнцем август, ночи в этих местах становились холодными. Николай пообнимался с несколькими мужчинами, — видимо, знали друг друга с прежних его приездов, — и выдвинул впереди себя Мишку:

— Мой брат. Михаил. Свихнутый на рыбалке.

Минёк, благодушно улыбаясь, пожал всем руки, кивнул на слова одного мужика, который подтвердил свихнутость: “Мы тоже такие!” — и отошёл в сторону.

Вертолёт стоял в чистом поле. Это было даже не поле, а кусок нетронутой степи. Тёплый ветер налетал одинокими волнами, словно какой-то огромный, невидимый вентилятор импульсами посылал сжатый воздух. Пахло остатками выхлопных газов от микроавтобуса и двух больших внедорожников, остывающим маслом из остановленного двигателя вертолёта и ещё чем-то давно позабытым, но всё ещё знакомым. Минёк раздул большие ноздри, принюхался. Повернул голову на ветер, пытаюсь поймать запах, и случайно глянул вниз: ботинок стоял на смятом кустике полыни.

— Ты чего там нашёл? — окликнул Николай брата, который наклонился, чтобы вырвать крепко сидящую в земле траву.

— Детством пахнуло. Нашей Лозиновкой. Я запах полыни, наверно, никогда не забуду. Убежим с пацанами в степь, ковыля нарвём, навтыкаем в кепку, как султаны у рыцарей, а для запаха — полынь.

Минёк, наконец, вырвал кустик, отсёк ножом древеснистые корни.

— На, понюхай, — протянул брату серую травку.

Николай раздвинул крупным носом горько-пахучие веточки.

— Да-а... Такая ж, как у нас. А ведь за тыщи километров. Пошли. Уже зовут.

* * *

В вертолёте Минёк не отрывал глаз от иллюминатора. Чем дальше летели, тем заметнее сопки переходили в горы. Вертолёт временами стал пролетать между их вершинами. Горы были покрыты ещё зелёной тайгой, а между ними во впадинах коричневели какие-то пропелшины.

— Что это такое? — прокричал Минёк в ухо сидящего рядом мужика. Тот, так же наклонившись к его уху, ответил:

— Мэри. Эвенки так называют болота. Там растут карликовые берёзы, чахлая лиственница. Вечная мерзлота летом подтаивает и добавляет воды.

Минёк покивал, но спрашивать больше не стал: в вертолёте сильно гудело, и людям приходилось кричать.

Через два часа начали снижаться и сели на каменистом берегу небольшой быстрой речки. Пока несколько человек вытаскивали вещи, накачивали лодки, примеряли сапоги, переделались и братья. Все, кто должен был плыть, надели красные спасательные жилеты.

Рыбаки распределились по лодкам: четыре человека на каждую. Минёк хотел плыть с братом, но Николай отделился в другую компанию, и младший тут же забыл своё желание. Он вертел головой в разные стороны, удивляясь тому, что видел, и радостно впитывал окружающие пейзажи. Никогда в таких местах он не был. Река прорезала кустарниково-лесистую, не очень широкую долинку между горами. Вода неслась стремительно. Не прошло и трёх-четырёх минут с того момента, когда лодка с Николаем стронулась с каменистого мелководья реки, как она исчезла за ближним поворотом.

— Пускай уйдут подальше, — сказал мужчина лет около пятидесяти, притопывая резиновыми сапогами, чтоб хорошо сидели. Был он среднего роста, в очках, в глаза бросалось большое красное пятно почти во всю правую щёку. “Ожог, что ли? — с жалостью подумал Минёк. — Досталось, видно, мужику”.

Когда его знакомили с мужчинами возле вертолёта, он, как всегда, не запомнил имена-отчества. Такая привычка была у него. При знакомстве в больших компаниях, особенно с предстоящей выпивкой, многое пропускал мимо ушей: может, этого человека он никогда больше не увидит. И только если человек его потом чем-то привлекал, Минёк ловко выспрашивал, как того зовут, чтобы запомнить надолго.

Этого мужчину двое остальных называли коротко: Филиппыч. Тот, которому Минёк кричал в вертолёте на ухо, откликнулся на отчество Антоныч. Был он плотный, в движениях неспешный, с крупным, мускулистым лицом, с широким прямым носом и каким-то тепло-приветливым взглядом карих глаз. Четвёртого члена добычной команды — мужчину лет сорока, весёлого, неунывающего, стриженного так, что прямые чёрные волосы завешивали сверху почти половину лба, — местные звали Сергеем. Его сразу усадили на корму лодки, где был подвесной мотор.

Река, в основном, была мелкая, но бурная. И непредсказуемая. Сначала лодку несло в середине тугого потока. От берега до берега было метров по десять. Прямо к воде подходили, на воду клонились, а то и лежали дрожащими вершинами в воде разные деревья. Бросать блёсны надо было осторожно: зацеп за ветки согнутого к воде дерева — и моторист Сергей, чтобы спасти блесну неосторожного спиннингиста, должен мгновенно извернуть уносимую лодку носом против течения, резко прибавить газу, а потом держать резиновое судно на месте, пока веслом или другим удилицем не снимут болтающуюся на ветке блесну. Помня об этом, бросали с опаской.

Но проплыли с полкилометра по извивам реки, и узкий поток на глазах расширился, превращаясь в плавно текущий, зеркальный плёс. Тут уж все четверо изгалялись, как хотели. Бросали блёсны и вдоль плёса, и поперёк, и в отгороженную согнутой от течения травой заводинку, и к дальнему камню, выступающему из струйных завихрений, как лысая голова какого-то водяного.

— Мы куда вообще-то плывём? — прогудел Минёк, повернувшись к Филиппычу.

— На базу.

— Какую базу?

— Эта речка... — начал Филиппыч и вдруг дёрнул спиннинг. — Вот зараза! Думал, поклёвка... зацеп... Эта речка будет ещё километров двадцать и почти под прямым углом впадает в большую реку. На её противоположном берегу — база геологов. Это их вертолёт.

— А что тут есть? — спросил Минёк. — Рыба какая?

В ответ заговорили сразу все трое.

— Ленóк! — выкрикнул моторист Сергей.

— Таймень, — с уважением сказал Филиппыч.

— Да, таймень, — подтвердил Сергей, переводя мотор с холостого хода на движение. — Мы неделю назад летали здесь на вертолёте — видели сверху таймешка. Вода прозрачная — стекло. Метра полтора был парень.

— Метра полтора таймень? — взволнованно переспросил Минёк. Сердце у него заколотилось, он задышал учащённо. — Разве такие бывают?

— Бывают, — спокойно подтвердил Антоныч. — По тридцать и даже по сорок килограмм бывают.

В первое мгновение Минёк усомнился. Сколько он наслушался в рыбацких поездках таких рассказов! То метровых сазанов люди ловят, то окуни размером с сапог. Да как уверяют! Глаза навькате, в грудь колотят, не поверишь — обещают не знать тебя больше никогда. Но из придирчивого расспроса выяснится, что сазана такого какой-то мужик много лет назад выловил, да и был ли в реальности этот рыбак, не говоря о сазане. И окуней сам никто не видел, только рассказывали.

Хотя почему не поверить в таких тайменей? Минёк лично в астраханском омуте, по-тамошнему, в “котле”, поймал сома в два метра восемнадцать сантиметров. Привезли на верёвке на базу, положили на траву, Минёк лёг рядом. Его рост был известен. От головы начали мерить спичечными коробками. А скажи он сейчас об этом, могут не поверить.

— На что же такой слон ловится? — спросил он, думая о таймене.

— На блесну. На “мышку”... Искусственную, — сказал Антоныч, прищипывая спиннинг на дно лодки, потому что плёс они всё быстрее проплывали и близко впереди уже пенился и шумел порог.

Каменистая выпученность дна перегораживала две трети реки. Поток воды, упираясь в порог, клокотал, нёсся через камни, взбивал пену, бело-жёлтые хлопья которой кружились, сталкивались, уносились вправо, где образовывался небольшой водоворот, и уже спокойней колыхались там.

— Сергей! Забирай влево! — крикнул Филиппыч, тоже убирая спиннинг. — К прижиму держись!

Минёк сегодня уже не раз слышал это слово — “прижим”. Поначалу не разобрал, что означает. Но, по натуре сообразительный, вскоре понял и удивился точности русского языка. Река петляла, делала крутые повороты и, поворачивая, мощно прижималась к одному из берегов. Здесь она сильнее всего размывала берег, обрушивала ели, берёзы, лиственницы. Корни деревьев ещё держались в скальном грунте, но вершины уже нависали над самой водой, а часто и доставали ветвями потока. Такие места Сергей и Филиппыч называли “расчёсками”. Их надо было обходить так же осторожно, как и пороги.

Стояла середина августа. Перед тем пару дней поморосил дождик. Однако сейчас весь мир блистал, как умытый. На чисто-голубом небе отставшими от стада маленькими барашками курчавились белые облачка. Солнечные блики сверкали в переливах воды, свет их доставал до недалёкого дна, и шевелимые придонными струями камешки казались драгоценными.

Тем не менее, здесь последний месяц лета был не такой, как в Центральной России. Жары не было даже в середине дня. Тепло чувствовалось, когда река поворачивала чуть ли не в обратную сторону и лесистый берег загоразживал лодку от свежего ветра. Тогда мужчины в лодке распахивали камуфляжные куртки, снимали панамы и бейсболки, подставляли лица солнцу.

Судя по времени, прошли уже половину пути. Странное дело, но никто ничего ещё не поймал. Работали спиннингами и на плёсах, и перед порогами, и даже на некоторых ямах.

Заметив впереди устье какого-то ручья, впадающего в речку, Минёк решил, что здесь может стоять рыба. Ручей несёт всякую живность, рыбе есть, чем кормиться. Он ещё издали бросил к устью блесну и стал её подтягивать. Блесна была самая любимая. Он хорошо ловил на неё и в дельте Волги, и в архангельских речках.

Минёк успел сделать несколько оборотов катушки, как вдруг леску сильно дернуло, и там, в глубине реки, кто-то мощно засопровтивлялся.

— Есть, мужики! — воскликнул он, привставая в лодке.

— Сядь! Опрокинемся, — быстро сказал Сергей и, улыбаясь, добавил: — Закон природы: новичкам везёт.

Минёк недолго выводил рыбу. Подвёл к лодке, ловким рывком выдернул её из воды, устался на прыгающего, скользкого красавца. Спина у него была тёмная, а бока — в чёрных пятнышках.

— Хороший ленок! — одобрил Филиппыч. — Килá на три потянет.

— Как форель, — удивился Минёк, вспомнив рыбалку в Абхазии. — Только больше в несколько раз.

— Его и называют: дальневосточная форель, — сказал Антоныч. — Теперь за нами дело.

И только он это сказал, как спиннинг у него согнуло дугой. Через мгновение вскрикнул Филиппыч, наматывая леску на катушку:

— Есть голубчик! Сидит!

Сергей немедленно выключил мотор и тоже стал бросать блесну. Каждый из рыбаков поймал по два крупных ленка. Но Антоныч всех обошёл: взял трёх.

* * *

Лодку с неработающим мотором несло по быстрой реке. Оставались позади усыпанные камнями отмели, глядя на которые Минёк с сожалением качал головой. Вот где пропадают миллионы тонн добра! Начав по примеру Николая строить в подмосковной деревне дом, Минёк сильно потратился на материалы для фундамента. В том числе, на щебёнку. А тут вон её сколько! И почему природа так нерационально распределяет свои богатства, думал он, не забывая вместе со всеми облавливать несущую их речку.

Время уже нагнулось к вечеру. Солнце то било в глаза, то, при очередном повороте реки, высвечивало противоположный берег, оставляя в холодной тени тот, вдоль которого они плыли. Сергей, похоже, был умелый рулевой. Он находил нужную струю, чтобы с наименьшими царапаями пересечь кипящий порог, заранее уводил лодку от каменистой косы, на безопасном расстоянии проносился мимо нагромождения торчащих из воды мёртво-белёсых деревьев. Все они были без коры — её ободрали весенние ледоходы — и напоминали какие-то гигантские кости, выпростанные в разные стороны.

Вдруг мощный поток стал прижимать лодку к берегу, с которого низко к воде наклонились ели и лиственницы. Некоторые ветки полоскались в течении.

— “Расчёска”, Сергей! — криком предупредил рулевого Филиппыч.

— Вижу! А-а, чёрт! Несёт! Пригнитесь!

Минёк без всякого беспокойства выполнил команду, согнувшись ниже борта лодки. Для него это было привычно и даже интересно. В астраханских плавнях он с разными егерями нередко проходил на моторках по таким низким камышовым тоннелям, что приходилось почти ложиться на дно. Минёк мысленно увидел те камыши, как вдруг что-то выбросило его из лодки, тело мгновенно охватила пронзительно холодная вода, и ноги коснулись дна. Он оттолкнулся, вынырнул с выпученными глазами, силноул попавшую в рот воду и в тот же миг почувствовал, что кто-то схватил его за ляжку спасательного жилета. Это был Антоныч. Одной рукой он держал Мишку, другой — Филиппыча, который ногами был в лодке, а руками барахтался в воде, словно отбивался от неё. И Минёк, и Филиппыч орали во весь голос, отчаянно матерились, кричали друг другу и Антонычу, спрашивая того, что случилось. Но побледневший Антоныч ничего не говорил и только глядел на корму лодки. Там несколько секунд назад сидел Сергей. Теперь его не было. Зато, буд-то задев за что-то, взревнул мотор.

— Серёга! Где Серёга? — выкрикнул, наконец, Антоныч, чувствуя, как обрывается сердце. Он с ужасом представил, что рулевой попал под винт мотора и мёртвое тело его несёт по дну течение.

Всё произошло стремительно, никто опомниться не успел, только крик Филиппыча и рёв лужёной глотки Минькá разносились над водоворотной рекой.

Филиппыч первым упал назад в лодку, дотянулся до рукоятки мотора и выключил его. Следом, колотя ногами по воде, перевалился в лодку Минёк. И тут сзади из воды показалась мокрая голова Сергея. Лицо его было перекошено испуганно застывшей улыбкой, мокрые волосы прилипли ко лбу, но широко раскрытые глаза смотрели с удивлением. Все радостно загомонили, начали материть неудачного рулевого, но не зло, а весело, с грубоватыми шутками. Здоровый, крепкий Антоныч подал ему руку, сзади за мокрую куртку схватил Сергея Минёк, и так вдвоём они втащили рулевого в лодку.

— Эт чо было? — опомнившись, спросил Минёк.

— Чо-чо... Лодка наехала на ветки, — сказал Антоныч. — Если б была дальше от берега, проскользнула бы под ними, а тут наехала, поднялась боком... Хорошо, совсем не перевернулась.

— Но и этого достаточно, — сказал Сергей, оглядывая дно лодки. — Ружьё утонуло.

— Ружьё? — ахнул Филиппыч. — Такое ружьё!

— Подарок. Авиаторы когда-то подарили.

— Запомни место, — сказал Антоныч. — Вода прозрачная. Можно найти.

— А мою боевую панаму уже не найти, — грустно заметил Минёк. — Плывёт куда-нибудь. Сколько лет я в ней на рыбалках... на охотах...

— Не переживай, Миша, — успокоил Антоныч. — Найдём мы тебе панаму. Начнёшь в ней новую историю.

— А где мешок? — воскликнул Филиппыч. — Рыба где?

Всех ленков, кроме одного, который забился под сиденье, рыбаки сложили в мешок. Мешка тоже не было.

— Хорошо — сами живые, — проговорил Антоныч.

Он оглядел экипаж деловым, оценивающим взглядом. “Как будто начальник”, — подумал Минёк и тут же услышал его решительный голос:

— Давайте вон к той косе. Вам надо хоть выжать одежду. Может, до темноты попадём на базу.

На каменистой отмели вылили из сапог воду, выжали куртки, штаны и рубахи. Только собрались тронуться, пришлось опять возвращаться на косу. Филиппыч начал сталкивать лодку с мели и ухнул по пояс в невидимую яму.

Наконец, уже без всякой рыбалки помчали по реке. Вечер быстро густил сумерки в бережных зарослях. Воздух остывал, кажется, с каждой минутой. Сидеть в мокрой одежде было так холодно, что Минёк не мог удерживать дрожь. Антоныч заметил это:

— Прячься, Миша, за меня.

Он был широк в кости не меньше Царёва, но, чтобы получше загородить Мишку от холодного воздуха, распахнул куртку.

— Н-не ус-пе-ем мы на б-базу, — стуча зубами, сказал Минёк и дрожливо засмеялся: он никогда не замерзал так, как в этот раз.

Река впереди и по бокам ещё различалась, но лес на берегах уже сливался в тёмную стену. Минёк открыл свой рыбацкий ящичек — он не упал в воду только потому, что был закреплён под сиденьем, и достал фонарь. Дрожа от холода, стал обшаривать лучом то один, то другой берег.

— Н-надо к-куда-то прис-ставать, м-мужики. Антоныч, к-как считаешь?

— Да. Тем более, речка вон разбивается на рукава. По какому идти?

— Зачем приставать? — отбил предложение Филиппыч. — Пойдёмте влево.

— А ты знаешь, куда он приведёт? — ехидно спросил Сергей. — Может, в старицу. И там застрянем.

— В-вот, в-вроде х-хороший б-берег, — сообщил Минёк, водя лучом фонаря по небольшому каменистому возвышению слева. В этом месте лес уходил от воды. “Значит, будет ветерок, — подумал Минёк. — Если есть комар, отгонит”.

— Поворачивай, Серёга! — приказал Антоныч. Лодка ткнулась в берег, все быстро выскочили и вытянули лодку подальше от воды. Для надёжности Сергей ещё привязал её за ближайший куст.

Минёк с Антонычем немало прошли по берегу и увидели небольшую впадину. В одной стороне её хаотично громоздились сухие деревья, когда-то принесённые половодьем.

— П-порядок! Б-будет к-кос-стёр. У-у, п-падла, к-как х-холод-дно!

— А спички у кого есть? — спросил Сергей. Все промолчали.

— Что со мной произошло — не пойму, — осуждающе сказал Филиппыч. — На каждую рыбалку, на каждую охоту — всегда! — припечатал он интонацией последнее слово, — беру два комплекта запасного белья, спичек, всего, что потребуется в случае беды. А в этот раз выскочили из вертолётки, быстро накачали лодку, понесли... Как огонь добывать? Трением, что ль?

— У меня зажигалка есть, — спокойно сказал Антоныч.

— О-о! Молодец! Да здравствуют курильщики! — закричали дрожащие от холода мужчины.

* * *

Костёр разожгли быстро. Все были опытные и все, кроме Антоныча, мокрые. Ему тоже было холодно, но он давал место сушиться остальным. Возле костра устроили треноги, на них развесили, кто что. Минёк разделся до трусов. Камуфляжные штаны и куртка сохли тяжко. От толстой рубахи шёл пар.

С разных сторон костра понавтыкали рогатые ветки, на них где повесили, где приткнули сапоги. Минёк и Сергей носки сушили прямо на ногах, протянув к огню лапы. Филиппыч пристроил на палке. Когда в очередной раз ходили ломать дрова, учуяли дым. Филиппыч остался без одного носка. Сгорел.

— Возьми, — сказал Антоныч, снимая носок с ноги. — На мне по две пары.

Постепенно все стали обсыхать, но от костра не удалялись. Влажный холод наступал с реки, туманная стылость ползла от недалёкой залесенной горы.

— Эх, поесть бы сейчас, — задумчиво протянул Сергей. Оказалось, и остальные думали о том же. Последний раз ели в вертолётке часов девять назад.

— Давайте ленка, что ль, зажарим, — предложил Филиппыч.

Он сходил с Мишкиным фонариком к лодке, разделал на берегу рыбу. Сергей в это время при свете костра настрогал палочек вроде шампуров. Без соли, без хлеба съели по четвертинке плохо прожаренного ленка, и голод вроде отошёл.

Днём Антоныч сказал, что тайменя ловят ночью на искусственную мышь.

— Она плывёт поверху, и он её хватает. Его не зря называют тигром пресных вод. Он не только мышь, ондатру проглотит. Про утят, крупную рыбу говорить нечего.

Мыши у Минька не было. Зато Николай подарил ему поппер — деревянную рыбку, которую спиннингом ведут по поверхности воды, и она издаёт булькающие звуки. Минёк взял фонарь, пошёл к лодке, где оставался спиннинг и ящик со снастями. Огляделся и понял, что ничего не получится. Реку было слышно, но не видно. Он пошёл по берегу вдаль от костра, подсвечивая себе путь. И вдруг, пронзённый страхом, остановился. Филиппыч и Сергей, когда плыли, рассказывали, что в этих местах много медведей. Жизнь у них раздольная. Если не считать базы из двух домиков, куда они должны были приплыть, ближайший посёлок в ста двадцати километрах. Река сильно шумит. Не только медведя, мотор не услышишь. Минёк быстро повернул и скорой рысью рванул к костру.

Стылая ночь заставляла всех жаться к огню. Лежать на мелких камнях было холодно. Сходили к ближайшей ели, наломали лапника. Каждый сделал

себе лежанку. Только Антоныч пристроился по-другому. Он среди корней одного из принесённых половодьем деревьев соорудил что-то вроде кресла. Со стоном приоткинулся и замер.

— Спины, что ль? — спросил Минёк.

— Спины, спина. На стройке ударил.

— По пьянке?

— Да нет, по трезвости. Город восстанавливали после потопа. Бросился помогать бригадиру, ударился позвоночником.

“Прораб, наверно, — подумал Минёк. — Но серьёзный. Интересно, а кто остальные?”

Сергей всё больше у него выходил на авиатора. Ружьё подарили авиаторы. С вертолётчиками был вась-вась. А вот кто Филиппыч, никак не мог сообразить. Поворачиваясь возле костра то спиной к огню, то передом, Филиппыч что-то сказал Серёге про уголь. И добавил: “Пришлось с углём расстаться”. Потом они заговорили про каких-то известных им людей, заспорили, как лучше вести себя с ними.

— Нельзя быть для всех белым и пушистым, — сказал Филиппыч. — Разорвут на воротники. Надо иногда жалить.

— Что ж ты не жалил, когда отнимали уголь?

— Там миллиарды были, как бронезилет.

“Наверно, в шахте работал”, — подумал Минёк и сердито встрял в разговор:

— Откуда они, падлы, миллиарды взяли? Вчера ходили в штанах с пузырями на коленках — других не было, а через год — олигархи.

— Наворовали. Ельцин помог, — сказал Филиппыч. — Ему надо не памятки делать, а проклятию предать. Какую страну развалили с этой меченой башкой — Горбачёвым.

— Не дадут, — сказал Сергей. — У власти те, кто наворовал и кого Ельцин из безвестности вытащил.

— Да, — согласился Филиппыч и без всякого перехода заявил:

— Эх, зря мы сюда приткнулись! Сейчас бы уже ели-спали на базе. По сто грамм на каждый зуб приняли. А то вот лежим — зуб на зуб не попадает.

— И куда бы ты поплыл?

— Куда... Влево!

— Если и плыть, то вправо надо было! — крикливо не согласился Серёга.

— Хватит вам, — раздался строгий голос Антоныча. — Тоже мне, Колумбы. Дождёмся утра, а там вертолёт полетит нас искать.

Но ждать нужно было ещё долго. Ночь подбиралась только к середине. Никто не рассчитывал ночевать на реке, поэтому оделись в расчёте на дневное тепло. А холод доносила и близкая шумная река, и остывшие тысячи камней по берегу, и даже обрызганное звёздной сыпью небо.

— Вот приеду домой, сыну расскажу — интересно ему будет, — сказал Минёк.

— Ты сначала приедь, — посоветовал Филиппыч. — Только небыллицы не рассказывай. Дети отцам всегда верят. Даже если не знай чего наплетёшь.

— Это точно, — с усмешкой подал голос из своего “кресла” Антоныч. — Как-то отец оказался днём дома — вообще он в это время дома редко бывал: работа суровая. Сел почитать книжку. Маманя увидела, говорит: “Хоть бы когда детьми занялся, — а мы с братом здесь же сидим. — Не видят отца”. Он неохотно откладывает книжку. “Вот я вам сейчас случай расскажу. Идём мы под водой, вдруг лодка остановилась...”

— Отец, что — моряк был? — спросил Минёк.

— Моряк. Подводник. Да... “Остановилась лодка — ни взад, ни вперёд. Я, говорит отец, команду: “Полный вперёд!” — а она стоит. В чём дело? Гляжу в иллюминатор, а там осьминог. Обхватил лодку и держит”. Маманя ему: “Какой осьминог? Какой иллюминатор у подводной лодки? Чего ты детям говоришь? А они тебе верят”.

Все засмеялись, начали рассказывать разные байки про детей. Потом сходили за дровами — костру нельзя было дать потухнуть. Постепенно то

один, то другой стали затихать. Глубоко уснуть не получалось: холод не давал. Дремали.

Через какое-то время Минёк почувствовал, что хочет пить: сказывалась съеденная рыба. Он пошёл к реке, несколько раз зачерпнул ладонью воды, напился. Оглядел реку. Теперь она просматривалась до середины. “Утро, что ли?” — подумал Минёк, различая образуемые течением водовороты. Возвращаясь к костру, понял, в чём дело. Над горой поднялась луна. Она была неполной, обрезанной справа, но настолько яркой, что звёзды в той части неба стали совсем не видны.

— Вот так, что случись — и не знай, где помощь искать, — проговорил он, примащиваясь на своей лежанке из словых веток. — Если только у медведей. Они самые ближние здесь ребята. Хорошо, хоть вертолёт есть.

— А полетит ли он? — высказал сомнение Сергей. — Подумают, что мы специально остались, чтоб ночью половить.

— Да, будут сидеть там полдня, — с тревогой сказал Филиппыч. — Поплыли бы влево — не пришлось бы ждать вертолёт.

— Опять ты: влево! — воскликнул Сергей. — Я недавно тут летал. Вправо надо! Вправо! Хотя, что без толку говорить. Не полетят они с утра. Надо к этому готовиться.

— Интересно, вы бы так поступили? — спросил Антоныч.

— Не-ет! — дружно взревели оба спорщика.

— Тогда почему ж о них плохо думаете? Не оставят нас. Рассветёт — и полетят.

Пригревшись у огня, Минёк начал снова волнами уходить в дремоту. Но разгоревшийся костёр сильно пёк жаром лицо. Минёк повернулся к огню спиной и вскоре уснул. Проснулся от голосов Сергея и Филиппыча. Они хоть негромко, но всё же возбуждённо опять заспорили, по какому рукаву надо было плыть.

— Мужики, дали бы поспать.

— Какой спать! Уже светает. Скоро надо за берёзой сходить. Для дыма. Чтоб вертолёт увидел.

* * *

Вертолёт прилетел, когда ещё не взошло солнце. В восточной стороне небо сначала стало сиренево-розовым, потом снизу в эти цвета добавили ярко алого, и тут измученные трудной ночью мужчины услышали приближающийся гул. Из вертолёта выпрыгнули два молодых парня — они должны были перегнать лодку к базе, — а четверо робинзонов забрались в машину.

На базе им искренне обрадовались: чего только за ночь не передумали! Стали выспрашивать подробности, но Антоныч рыкнул насчёт еды, и уже за столом, пропустив по несколько стопок водки, разомлевшая четвёрка рассказала, как было дело.

Те, кто шли на первой лодке, оказались добычливее. Для них река была нетронутой. Поймали по три-четыре ленка. Но всех обошёл Николай Царёв: он взял пять штук.

После завтрака экипажи обеих лодок собрались ловить на этой, более крупной реке. Но начавшийся мелкий, как через сито просеянный дождик вскоре загустел, полил беспросветно, да ещё с налётами ветра. Возвращаться в главный город региона собирались вечером, однако, глядя из-под навеса, где завтракали, на серую дождевую пелену, решили не терять зря время.

К удивлению Царёвых, в столичном городе не только дождя, даже облаков не было. Светило солнце и было тепло.

— Как на другой земле, — сказал Минёк, оглядывая площадку, где приземлился вертолёт. Он твёрдо решил набрать полныни, чтобы отвезти домой в Мытищи.

— В горах погода капризней, — объяснил Антоныч и предложил старшему Царёву:

— Николай Сергеич! Вы ведь у нас давно не были. Не хотите посмотреть город? И Михаилу интересно будет. Он ведь у нас первый раз.

— Согласен, Владислав Антоныч.

Они доехали на машине до какой-то площади и вышли.

— Здесь у нас начинается пешеходная зона. Воссоздали старину. Так и назвали: Старый город.

“Ну, точно: прораб, — подумал Минёк, шагая рядом с братом и оглядывая интересные деревянные строения, про которые рассказывал Антоныч. — Хотя, может, и начальник строительства. Знает все дома”.

Улица, действительно, была необычной. Вместо асфальта её вымостили деревянными чурками. В разных местах стояли фонари, какие Минёк видел в фильмах о XIX веке. На скамейках — тоже под старину — сидели люди. По площади, которая начиналась впереди, гуляли женщины с детьми.

Вдруг одна молодая женщина подхватила ребёнка и быстро пошла наперерез Царёвым и Антонычу. Минёк, ни слова не говоря, бросился ей навстречу. Он уже протянул руки, чтобы выхватить ребёнка, которого женщина держала на руках, как в тот же миг услышал крик брата:

— Стой, Мишка! Остановись!

Минёк встал, как прилип к мостовой.

— Вернись!

— Владислав Антоныч! — громко сказала женщина. — Возьмите, пожалуйста, ребёнка на руки! Мы сфотографируемся на память. Он вырастет, будет знать, кто его держал на руках.

Минёк, ничего не понимая, смотрел то на Антоныча, то на брата. Антоныч широко улыбнулся, взял ребёнка — это оказался мальчик, — позвал женщину, чтобы встала рядом.

— Николай Сергеич! Сфотографируйте нас!

Увидев эту картину, стали подходить другие родители. Все просили: возьмите ребёнка на руки. Минёк стал догадываться, что Антоныч, наверно, не просто прораб. И даже не начальник строительства. Люди радостно улыбались, с большим почтением глядели на него.

— Он кто такой? — негромко спросил Минёк брата.

— Кто нас пригласил. Бывший руководитель региона.

— Что ж ты раньше не сказал? Я бы сейчас устроил здесь заварушку. Ты же знаешь: наше прошлое с нами остаётся навсегда.

— Знаю. Поэтому с испугу заорал.

— А почему охраны нет?

— Да он и раньше, когда был главой, ходил везде без охраны. Я сам это видел. На машине с шофёром едет и, как все, стоит на красном.

Когда желающих фотографироваться больше не стало, братья и хозяин пошли к машине. И тут Минёк опять был поражён. Они стояли на тротуаре, пропуская поток автомобилей. И почти каждая машина вовсе сигналила, приветствуя бывшего главу региона. А из открытых окон люди махали руками.

“Ну и ну, — с удивлением думал Минёк. — Какой здесь Антоныч популярный”.

Он теперь даже не знал, как называть своего недавнего спасителя, вóвремя схватившего его на реке за ляжку жилета: Владислав Антоныч, как Николай, или просто Антоныч, как звал в течение рыбацких суток.

От этих размышлений его отвлёк Антоныч.

— Миша, ты зачем побежал к первой женщине? Хотел помочь донести ребёнка?

— Донёс бы он, — сказал старший брат. — Минёк во время первой чеченской воевал в спецназе ВДВ, а потом работал телохранителем одного деятеля. Насмотрелся на приёмы террористов.

— Любимое дело: использовать куклу под ребёнка, — стеснительно проговорил Минёк. — Бросают в руки — нельзя ведь, чтоб на землю упал, и тут человека или взрывают, или расстреливают.

— Да, страшное зло породилось. Теперь, я думаю, надолго. Николай Сергеич, мы можем вас завести в гостиницу — самолёт рано утром, отдохните.

А я хочу съездить в Духовную семинарию. Из Москвы прилетел ненамного раньше вас, не успел побывать.

Он помолчал и, сдерживая волнение, сказал:

— Детище моё. Начиная с идеи... Шестнадцать храмов открыли. Большинство каменные... Красивые... Газовиков напрягал... Нефтяников... Филипыча подключал... Теперь своих священников начали готовить. А если не хотите в гостиницу, давайте со мной: посмотрите.

— Поехали, Миш?

— Давай, — согласился Минёк. — Выспаться и в самолёте успеем.

Они подъехали к ансамблю красивых зданий, образующих ломаный ромб. Вход и въезд во двор был под высокой надвратной церковью. “Загородить этот проём и можно держать оборону”, — по давней привычке воевавшего десантника, подумал Минёк. Как только группа подошла к арке, ударил колокол. Вслед за ним зазвонили другие колокола. Звон был громкий, торжественный и какой-то радостный. А во дворе уже выстроилась группа рослых семинаристов. Едва смолкли колокола, начался благодарственный молебен. Высокие парни в чёрных одеяниях произносили речитативом слова, большинство которых Минёк абсолютно не понимал. Разбирал только “Владислав Антонович” и “Многая лета!” Но и этого было достаточно, чтобы уразуметь: Церковь благодарит его нового знакомого Антоныча за какие-то большие дела и желает ему многих лет жизни.

Потрясён был и Николай Царёв. Он встречал разных властителей. Ещё застал застёгнутых на все пуговицы советских. Спорил с расхристанными демократическими. Видел их перерождение в божков. Узнал сегодняшних, главная цель которых — услужить вышестоящим, а не народу. Вертикаль власти стала вертикалью чиновничества. Многие, получив власть, сразу становились высокомерны, заносчивы, о народе говорили только с трибун, избегая встреч с ним лицом к лицу. Тех, кто не брезговал стоять в одной очереди с простыми людьми, Николай Царёв мог пересчитать по пальцам одной руки. Им народ платил большим уважением.

Но такого почитания Николай не видел нигде. Оно было стихийным и оттого правдивым, как сама жизнь. Женщины с детьми... Поток сигналящих машин...

Теперь вот встреча колокольным звоном и заздравным молебном. Моложавый для своего сана архиепископ, широколицый, в тонких очках, рассказывал почётному гостю и его спутникам о семинарии, заводил в комнаты для занятий и отдыха, которые язык не поворачивался назвать кельями, а Николай Царёв всё не мог выбросить из сознания картины последних часов. “Наверно, есть и те, кто не любит его, — думал он. — Может, даже ненавидит. Нельзя быть любимым для всех. Христа — и то не все любят. А тут — человек из власти. Тем более бывший. Таких особенно часто кланут. Но, видимо, всякое злое слово легче перенести, когда к тебе протягивают ребёнка, чтобы с ним сфотографировался, приветственно сигналят из машин или желают “многая лета”.

АЛЕКСАНДР РУДЕНКО



ПРИСТАНЬ

* * *

Небо хмуро обряжено в грубую чёрную ризу,
и не смотрит уже на тебя, и не вспомнит потом,
как ты с вечера пьёшь “Новосельскую” терпкую гымзу
в деревенской корчме с беловласым расстригой попом.
“Мы на этой земле новосёлы, — твердит он, — а значит,
новосёлы и на́ небе...”

Прав ли расстрига — не прав,
но ты видишь сквозь тьму, как усмешку надменную прячут
вековые курганы в колючие бороды трав.

Ты к стене у стола прислонил карабин зачехлённый,
твой охотничий пёс рядом дремлет — лохматый бандит.
Остро пахнет в корчме кукурузой, на углях печёной,
и огонь в очаге грубоватую нежность таит.

Снова чувствуешь, как —
с каждым прожитым днём, с каждым часом —
холодеет земля в ожидании снежных порош...

Прав ты или не прав, но — вино не допив с беловласым —
скоро выйдешь под небо и улочкой тёмной пойдёшь.

И вдова молодая с косой цвета тёмного золота,

РУДЕНКО Александр Анатольевич родился в 1953 году в Москве. Окончил Литературный институт им. М. Горького. Автор ряда книг стихотворений и прозы, а также переводов поэзии. Стихи переводились на болгарский, английский, испанский, французский, немецкий и другие языки. Член Союза писателей России. Почётный член Союза писателей Болгарии. Лауреат болгарской Международной Ботевской премии. Живёт в России и в Болгарии.

что, наверное, ждёт и стоит перед домом своим,
пусть боится в ночи твоего безоглядного взгляда,
ибо жизнь небывалая кроется в безднах за ним.

* * *

Под кровом снега навесного,
не устающего парить,
ты вызвал филина лесного —
о темноте поговорить.

По кругу облетов поляну,
он ветвь дубовую встряхнул,
в глаза твои пытливо глянул
и взгляд свой жёлтый отвернул.

И глухо пробухтел:
“Ты — старше.
И, звёзды многие сочтя,
в ночи умеешь видеть дальше,
куда пронзительней, чем я...
Добыча наша и утраты
рассыплются, как снежный пух.
Какой ещё взыскуешь правды,
ты, гордый человеческий дух?
Земное время, без оглядки
летя в клубящуюся тьму,
несёт догадки — не разгадки...”

“Неправда, — ты сказал ему. —
За снегом и за днём погасшим,
в пространстве этом или нет,
мы будем жить полётом нашим,
среди нами созданных легенд”.

“Нет, — вскрикнул он. —
В своём полёте,
как над землёю ни кружись,
однажды темнота поглотит
всё то, чему мы дали жизнь.

Глотнёт надежды и порывы,
и не ответят мудрецы:
и как, и сколько будут живы
легенды наши и птенцы...”

Ты промолчал. И снег неспешный
окутал филина...

А тьма
сгустилась, будто бы с насмешкой,
и вдруг ответила сама:

“В моей утробе только смелый
рождает новую зарю...

Поэтому что должно — делай.

И — будь что будет, — говорю. —

И сердце пусть не опечалит,
когда войдёт оно в полёт,
что и Господь не отвечает
за жизнь, которую даёт...”

* * *

Вдаль и вширь раздвигается жёсткая тьма,
поднимаются грабы по склону холма —
и корявы они, и упрямы.
Поднимается сокол над ними в полёт —
пьёт нектар поднебесья... И солнце встаёт
за холмом вдалеке.

И не зря мы
от земли вновь и вновь поднимаем свой взгляд
к высоте, от которой тревожно болят
всё сильнее глаза... Потому что
счастье — путь, восходящий наверх.

И на нём
будем мы крещены и водой, и огнём;
и, быть может, жестокое знание найдём —
то, что сердцу земному не нужно.

* * *

Звёздный уголь потух,
темнота в деревьях поредела.
Неохотно мой дух
возвращается в сонное тело.
Узнаёт он шалаш
у корявой берёзы... И злая
сука чёрная — страж —
вздрагнет, но
на него не залает.
Снова плоть обрета,
заморозит он в памяти где-то
всё, что видел, бродя
и летая по отмелям света.
Сам задремлет — к другой,
скрытной жизни ещё не готовый.
Но моею щекой
вдруг почувствует лапник еловый.
И, хвоей опоён,
вновь полюбит до лучшего часа
шум безлиственных крон,
в небе брачную песню бекаса...
Будет холод, роса,
чёрствый хлеб на крови —
несвобода...
Приоткрою глаза.
И — глядящее в сторону входа —
разряжу я ружьё...
Протяну
к жизни зябкую руку,
чтоб погладить её —
злую чёрную верную суку...

ПРИСТАНЬ

Затянуло безлуные поречные дали,
тополя берегов, островные пески;
только вдруг в стороне огоньки замерцали —
там, где только что не было видно ни зги.

И твой катер, подхвачен волною упругой
и внезапною тягою этих огней,
развернулся на выплывшую за излучкой
неизвестную пристань и двинулся к ней.

Кто — на ней? Что — за ней? — говорящей безмолвно:
“Оглядишь, к дальним целям своим не спеши...”

И — зовущей тебя, и волнующей, словно
это пристань судьбы, это пристань души...

Говорящей таинственно: “Ныне и присно —
сквозь безлунную темень, сквозь мгlistую муть
да святится надежда и светится пристань,
за которою новый откроется путь.

Попытайся понять её сердце и камни,
и — возьми, что дадут; поделись, чем богат...
Лишь добром да запомнишься на́долго там, где
ты привяжешь канат... и отвяжешь канат”.

* * *

Заму́тится даль, заму́тится,
ливни длинные тая...
Веселись, душа!

Распутица —
это молодость твоя.
Это утренники в инее
на размоинах дорог,
это чувство, что по имени
вдруг тебя окликнул Бог.
И на все четыре стороны
остро шуришься... И всё ж
знаешь: скоро ли, не скоро ли —
что поищешь, то найдёшь.
Пусть ещё под тучей-облаком,
ветром глубоко дыша,
своего не знаешь облика
настоящего, душа...
За надеждами-привольями
и за мглюю маеты,
за любовями, за болями
на себя ли взыщешь ты?
И зашепчет ночь-пророчица,
что сомкнутся даль — и высь,
и твоё веселье кончится...
А покуда — веселись!

.....
Поздравляем нашего товарища с 65-летием!

ИГОРЬ БЕЛКИН-ХАНАДЕЕВ



ГОРИЗОНТ
БЕЗ КОНЦА И БЕЗ КРАЯ...

* * *

Бабушка, мой милый ангел,
Мой хранитель на века.
Ты в каком небесном ранге
Так незримо далека...
В керамическом овале
Образ твой и чист, и свят.
Там, куда тебя позвали,
Адресов не говорят.
Где теперь тебя искать мне?
Здесь ли следующий дом?
Белый памятник из камня
Не сдаёт дома внаём.
Над могилкой месяц ранний
Озаряет город Брест.
Вновь сочтется старой раной
Нарукавный красный крест.
Под лихим огнём вставая,
Забывая боль и страх,
Воевала фронтовая

БЕЛКИН Игорь Анатольевич родился в 1972 году в Москве. В девяностые годы после службы в армии работал грузчиком, охранником, продавцом книг, внештатным корреспондентом в газетах, менеджером в коммерческих структурах. Учился на факультете истории искусства РГГУ. Художник и литератор. Печатался в журналах "Пограничник", "Смена" и других. Живёт в Москве.

Медицинская сестра.
Выносила с поля боя:
“Братец, миленький, держись!”
Снились небо голубое
И бинты длиною в жизнь
И в одну шестую суши.
Спит душа...
Проснись, страна!

Ангелы поют всё глуше...
Всё морозней тишина...

* * *

Помню поезда общий вагон:
Полка верхняя, полка нижняя;
Дед разохшимся сапогом
Подпирает корзину с вишнями.

Кто-то спит, калачом застыв;
Кто-то в карты всю ночь играет.
Телеграфных столбов кресты —
Горизонт без конца и без края.

Полустанок. Тревожная тишь —
Будто воздух из вечности соткан.
— Ты куда, шепутная, летишь?
Захотела под поезд, красotka?

Заскочила в вагон навзрыд:
— Я уж думала — всё... Не уеду.
Взвыл гудок, покатались двory
По колдобинам дымного следа.

Сверху — карт козырной переплётск,
Снизу — ягод дыхание пьяное.
А в стекле — отражение слёз
И подлунный пейзаж с бурьянами.

МАЙ СОРОК ПЯТОГО

Баракхолка в обугленной каменной крошке.
Суетливые фрау в переднем ряду:
— Дивандеки, наряды, губные гармошки...
— Битте, битте, зольдатен... — в обмен на еду.

Принимало трофеи голодной украдкой
Вещмешка холостое нутро:
Фройлен-кукла, чулки, перстенёк, шоколадка,
Портсигар. Позабытый патрон.

До Берлина с боями шагали три года,
А обратно — в теплушках за пару недель.
Подступали полком, а разъехались взводом.
Хорошо, что весна. Не метель.

Под напевную сказку медалей негромких
По пути вспоминал уцелевший отряд,
Как ходили в атаку и как похоронки
Устилали победный “Ни шагу назад!”

И души огневая бетонная точка
Наконец оживала, в боях прожжена,
Когда новую куклу баюкала дочка,
И в чужой фильдекос наряжалась жена.

* * *

Разрастается город — смыкает бетонную цепь.
Заковав небеса, стал безлик и высок он.
Потерялась душа, и на новом стеклянном лице
Гипнотично мерцают созвездия окон.

Этажи. Гаражи. Магазинов ночных стеллажи —
Леденцовая ширма трущобного рая.
Охраняют твоих миражей рубежи
Облака воронья. А орлы умирают.

Вязкий призрачный город, ты, как паразит,
Подсадил на крючок и, баюкая, шепчешь: “Не больно...”
Омертвевшую плоть в твоих небоскрёбах сквозит.
Умирают орлы. Вороньё раскричалось довольно.

Под слоями бетона томятся родные луга.
Солитёрным токсином отравлены воды.
Раздаются всё шире подземной реки берега.
Размывает страну. Разъедает породу.

Вольный ветер, нужны тебе эти чертоги до звёзд?
Ты же веешь над всем окоёмом без малого вечность...
Ты сметёшь всё на свете, и сгинет из каменных гнёзд
Воронья ненасытная нечисть!

Вспомни, Русь! Ты святыми корнями в земле
И зелёным побегом колышешь звезду на востоке.
Ты сама себе Солнце, и в волнах пшеничных полей
Твоя жизнь и твои золотые истоки.

Велика ты, Россия! Терпением благ твой народ.
Широтою души он подобен степному простору.
Он снискал себе веру, молясь у небесных ворот.
Так зачем на земле ему призрачный город?!

* * *

Воскресенье. Родное село. Девяностые годы.
Привезли семена на рассаду и первых цыплят на базар.
Громыкнуло ведром — кто-то вышел из дома по воду.
И тотчас пролилась над степным захолустьем гроза.

Хлестануло стеной по товару в нехитром развале.
Утекли в закипевшую грязь помидорные всходы с лотков...
Разметало коробки с птенцами. И бабы в тепле горевали,
Что весенним ручьём посмывало, поди, цыпляков.

А гроза бесновалась, стреляя небесной пищалью.
Продавцы по машинам совали добро в закрома.
А у местных мальчишек истошно фуфайки пищали,
Пока шли по селу и тащили улов по домам.

НИКОЛАЙ РЫЖКОВ

член Совета Федерации

НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ РОССИИ

Распад Советского Союза и смена общественного экономического строя, процесс приватизации, рейдерский захват основного экономического потенциала привели к деградации производительных сил России. При переходе к капитализму в стране были уничтожены многие предприятия, составлявшие остов экономики СССР. В это сложнейшее для нас время получила развитие деиндустриализация.

Разрушение созданного

Прежде чем говорить о деиндустриализации нашей страны, начатой в 1990-е годы, считаю необходимым проанализировать, в первую очередь, вопрос индустриализации народного хозяйства СССР. Можно ли утверждать, что у нас индустриализация была только в 1930-х годах, а в дальнейшем мы стояли в стороне от этого мирового процесса? Вокруг этого сейчас и строится политика тех, кто в 90-е годы прошлого столетия бездумно разрушил всё, что было создано в стране за многие годы.

Прежде всего, следует особо подчеркнуть, что экономическая модель СССР не была чем-то статичным на протяжении 70 лет Советской власти. Экономика динамично изменялась, как и жизнь людей, как состояние производительных сил и производственных отношений, менялись формы хозяйствования и т. д.

Анализ положения в СССР в тот период позволяет сделать вывод, что в стране существовала чёткая система обоснованных действий по развёртыванию новых производительных сил и выстраиванию соответствующих им производственных отношений. Всё это позволило в максимальной степени использовать отечественную сырьевую базу, создать новые технологии переработки сырья и материалов, новое оборудование, организовать подготовку инженеров и высококвалифицированных рабочих. Поэтому сегодня при обсуждении вопроса новой индустриализации нужно понимать и представлять себе, как на практике решались аналогичные задачи в Советском Союзе, в условиях планового хозяйства, при чётком и тесном соответствии между целями и ресурсами.

Статистические данные говорят, что индустриализация продолжалась не только в 1930-е годы, но и после Великой Отечественной войны — производство средств производства росло опережающими темпами. Индустриализация 1920–1930-х годов происходила при сдержанном развитии сферы потре-

бительского рынка и, как известно, во многом за счёт ресурсов села. Но в то время такой курс был оправдан. Если бы был выбран путь опережающих темпов роста потребительского спроса, что предлагалось, как известно, Н. И. Бухариным, то о победе в Великой Отечественной войне нам можно было бы только мечтать. Индустриальная основа была создана благодаря опережающему развитию тяжёлой индустрии.

Соотношение средств производства и предметов потребления, начиная с базисного 1913 года, показывает эволюцию в индустриализации в зависимости от положения СССР в мире и внутренних задач государства.

В 1913 году составляли:

средства производства (товары группы А) – 35,1%;
предметы потребления (товары группы Б) – 64,9%;

в 1940 году:

средства производства – 61%;
предметы потребления – 39%;

в 1950 году:

средства производства – 68,8%;
предметы потребления – 31,2%;

в 1976 году:

средства производства – 74%;
предметы потребления – 26%

К 1950 году страна вернулась к структуре 1940 года, что было обусловлено задачей накормить народ после войны. Начало “холодной войны” потребовало от не вполне восстановленного Советского Союза новых усилий по созданию оборонного щита, поэтому, начиная с середины 1950-х годов, вплоть до 1980 года на средства производства приходилось порядка 70–75%, а на предметы потребления – 25–30% суммарного промышленного выпуска.

Реальный сектор экономики был наиболее доходен и получал необходимые ресурсы, а сырьевые сектора исполняли роль обслуживающей, подчинённой инфраструктуры.

Объективно оценивая положение, сложившееся в сфере экономики СССР в последние десятилетия её жизни, хочу отметить следующее: безусловно, следовало бы, несмотря на внешние вызовы, изменить соотношение групп “А” и “Б”. Необходимо было повысить долю предметов потребления, обеспечив насыщение потребительского рынка высококачественными товарами. Такой структурный маневр снял бы остроту в этом вопросе, в стране могла бы коренным образом измениться ситуация в области потребления, что придало бы новый импульс социально-экономическому развитию и социальной стабильности.

Во второй половине 1980-х годов руководство страны и, в первую очередь, правительство понимало, что этот маневр нужно было производить безотлагательно, так как в годы “перестройки” это был один из злободневных вопросов в политической жизни государства. К сожалению, времени для такого маневра уже не оставалось. Всякая экономика, в том числе и советская, имеет инерционный характер, и необходимые маневры требуют много времени и сил.

Но дальнейшие события, как мы знаем, стали развиваться по другому сценарию, разрушительному: был взят курс на коренной демонтаж всей экономической системы страны.

Наступили годы деиндустриализации российской экономики. В конце XX века, когда в мире ведущие капиталистические страны использовали достижения нового этапа научно-технического прогресса, у нас в России шёл погром отечественной советской экономики. Прекратилось внедрение в производство новых технологий, что не могло не сказаться на уровне его развития.

В сфере трудовых ресурсов происходила утрата квалификации персонала и снижение производительности труда. Вместо роста доли продукции наукоемких отраслей ставка делалась на повышение добычи нефти и газа, что консервировало отсталость промышленного производства в основных отраслях. Ослабевающий промышленный потенциал российской экономики не мог обеспечить удовлетворения потребностей населения, тем более на фоне серьёзной конкуренции со стороны импорта. Сложилась драматическая ситуация в экономике России: вместо перехода к качественно новому этапу индустриального

способа производства, по которому в это время шёл мир, в производительных силах возникает феномен деиндустриализации.

Феномен деиндустриализации достаточно известен. Это устойчивое падение доли промышленного производства в национальном доходе страны, сопровождаемое уменьшением числа занятых работников. Обобщая различные точки зрения по поводу определения данного понятия, можно сформулировать следующие признаки деиндустриализации:

– последовательное снижение объёмов промышленного производства и занятости в производственном секторе;

– движение от промышленного производства к производству услуг, сокращение занятости в сфере промышленности и рост занятости в отрасли услуг;

– сокращение объёмов промышленного производства в структуре экспорта страны;

– длительное сокращение дефицита торгового баланса и, как следствие, невозможность расплачиваться за импорт, что ведёт к новому витку падения промышленного производства.

Деиндустриализация охватила весь реальный сектор экономики, все виды производства, началось падение объёма промышленного производства. По темпам экономического роста Россия существенно уступает Китаю и Индии. Эти быстроразвивающиеся гиганты создают свою материально-техническую базу заново. Нечто подобное происходит в Казахстане и Азербайджане, находящихся в сходных с нашими условиях, но с экономической моделью, обеспечивающей рост, превышающий темпы развития производства в нашей стране.

За четверть века пореформенного периода (1992–2018 годы) на прежних предприятиях в условиях мирного времени Россия не только не достигла своих стартовых технико-экономических показателей, но и ухудшила их. Произошёл развал ряда стратегически важных отраслей – машиностроения, электронной, химической промышленности и др. Не прекращена растрата колоссального в прошлом научно-технического потенциала, продолжается разрушение демографического и кадрового потенциала страны. Уровень жизни населения в России в три раза ниже, чем в Евросоюзе. Она расположилась в начале второй трети из 150 стран, рядом с Ботсваной, Экваториальной Гвинеей, Мексикой, ниже Латвии, Брунея, Чили, Хорватии, Венгрии. Всё это говорит об острейшем кризисе народного хозяйства.

Уровень развития экономики страны характеризуется, в том числе, величиной и структурой экспорта и импорта. Чем эффективнее экономика, тем больше её доля в мировом экспорте, а в структуре экспорта преобладает высокотехнологичная продукция. А вот данные о структуре отечественного экспорта за 1995–2013 годы:

	1995 г.	2013 г.
- минеральные продукты	42,5%	71,5%
- металлы, драгоценные камни и изделия из них	26,7%	10,4%
- продукция химической промышленности, каучук	10,0%	5,8%
- машины и оборудование, транспортные средства	10,2%	5,5%
- древесина, целлюлозно-бумажные изделия	5,6%	2,1%
- прочие товары: продовольственные, текстильные, кожаные изделия	5,0%	4,7%

Сырьевой характер нашего экспорта объясняется не только тем, что мы вывозим много нефти и газа. Главная причина состоит в том, что, к сожалению, наша перерабатывающая промышленность в массовом масштабе не может конкурировать по качеству на равных с европейской и американской. Особенно это касается машиностроения. После тотального разрушения 1990-х годов наше машиностроение до сих пор не может достигнуть необходимого уровня конкурентоспособности, так как нуждается в огромных инвестиционных вложениях.

Говоря о машиностроении как основе научно-технического прогресса экономики страны, следует, прежде всего, дать оценку отечественной экономике и мировому научно-техническому прогрессу. О технологическом упадке в настоящей публикации говорилось неоднократно. И, тем не менее, есть необходимость несколько по-иному взглянуть на эту проблему – через призму индустриализации нашего государства.

В процессе индустриализации 1930-х годов в мире сформировался третий технологический уклад. Развитие промышленного производства нашей страны прервала Великая Отечественная война. В послевоенный период при восстановлении промышленности происходит и восстановление третьего уклада, хотя в капиталистических странах в то время сформировался уже четвертый технологический уклад. Эта тенденция предопределила отставание России на один технологический уклад. В 1980-х годах отставание увеличилось ещё больше. Наша экономика оказалась не способной решить задачу ускоренного перехода к новому технологическому укладу.

Рыночная реформа 1990-х годов и позиция государства, взявшего курс на постиндустриальное общество, при котором сохраняется удельный вес промышленного производства и растёт доля сферы услуг, не могли не сказаться на уровне индустриализации и развития национального хозяйства России. К тому же “отцы” шоковой терапии не создали условий и не отвели достаточно времени для перехода к новой рыночной модели экономики, а разрыв хозяйственных связей между предприятиями окончательно привёл к нарушению их деятельности.

Огромнейшей ошибкой либеральных “шокотерапевтов”, приведшей к деиндустриализации, было их убеждение в “ненужности” государства в управлении экономикой. Государство уходит из экономики, и под влиянием “специалистов” Запада, особенно из США, производство практически предаётся забвению, а приоритет отдаётся сфере услуг. Складывается экономическая система с преобладанием экономических интересов торговцев, при этом промышленность уходит в тень, предпочтение отдаётся торговому капиталу, где прибыль возникает в минимальные сроки.

Особенность российской деиндустриализации заключается в том, что она носила не столько объективный, сколько субъективный характер, поскольку новая элита сознательно создавала рукотворную деиндустриализацию по лекалам Запада, который уже тогда определил место России лишь в сырьевом секторе. Таким образом, деиндустриализация нашей страны на основе либеральной монетаристской модели привела к развалу производства и к зависимости страны от иностранного капитала и технологий в целом.

В период деиндустриализации возник вакуум технологий. Государство ликвидировало 80% научно-исследовательских институтов и опытно-конструкторских организаций. Вместо развития и повышения конкурентоспособности произошло банкротство этих научных организаций, которые играли особую технологическую роль в крупной промышленности. Потенциал научного “котла”, в котором зарождались, развивались, внедрялись новые технологии, был сведён к минимуму. Крупные предприятия попали в зависимость от иностранных компаний. Этот процесс особенно обострился в условиях санкций.

И ещё. Процесс деиндустриализации был основан на переосмыслении роли государственного сектора в экономике России. Либеральная концепция до сих пор утверждает, что государственные предприятия не могут быть достаточно эффективными. Реальная жизнь показала, что, с учётом особенностей национальных интересов России и менталитета её населения, развитие технологического способа производства требует участия государства в собственности. Только государство, имея колоссальные ресурсы и варьируя уровнем прибыльности, способно создать крупные государственные концерны, особенно в высокотехнологичном секторе, от которого зависит обновление промышленности в целом. Только сильный государственный сектор способен переломить ситуацию и перейти от деиндустриализации к реиндустриализации.

Новая индустриализация

Как известно из истории нашего государства, основная индустриализация проводилась в 1930-е годы. Благодаря ей поменялся облик страны, которая из аграрной в течение десяти лет превратилась в аграрно-индустриальное

государство. За время проведения в кратчайшие сроки индустриализации было введено в строй порядка 10 тысяч новых предприятий.

Итоги индустриализации 1930-х годов проверила на прочность Великая Отечественная война. Без созданного в тот период производственного потенциала победить в тяжелейшей войне 1941–1945 годов было бы не реально.

После окончания войны прошли годы. Это было время, когда политическая обстановка в мире (“холодная война”) потребовала от нас снова “перенапрячь” свою экономику, развивая её в основном в направлении военно-производственного назначения. Да и собственные недостатки советской экономики, особенно неиспользование развернувшихся в мире новых технологических революций, не могли не сказаться в целом на уровне её развития.

Задача реиндустриализации отечественного народного хозяйства была впервые сформулирована в программе “Новый курс России”, опубликованной в 1992 году в качестве стратегической альтернативы разрушительным “шоковым реформам”.

В то время системный кризис в стране пока ещё не вылился в масштабную деиндустриализацию, парализующую реальный сектор экономики, государство ещё не превратилось в экспортно-сырьевую модель. Главным фактором проведения новой индустриализации того периода выступало неудовлетворительное состояние наших производительных сил: их низкое качество и несоответствие мировой элите автоматизации и роботизации.

Но предлагаемую новую индустриализацию не суждено было не только осуществить, но даже начать. По стране пронёсся смерч приватизации, цель которой была совершенно иная, нежели перевооружение промышленности страны. Созданный на основе катастрофы компрадорский капитал под корень выкосил отечественное машинное производство, о чём было сказано выше. Реиндустриализация утратила свой смысл.

Прошло четверть века после разрушения советской экономики и её производственного потенциала. Экономическое положение в стране сейчас оставляет желать лучшего. Именно так оценивают положение все специалисты, включая руководителей научных организаций, а также ряда представителей правительственных кругов. Уже многим стало ясно: для того, чтобы хотя бы частично восполнить сокращающиеся доходы от экспорта сырья, что является реальностью в долгосрочной перспективе, необходим переход высокотехнологичного производства на новую индустриальную основу. Иначе темпы роста будут отрицательными, а благосостояние страны и её населения будет снижаться.

С учётом этих обстоятельств мы должны реально осуществить новую индустриализацию производственной базы страны. И если в начале 1990-х годов речь шла о новой индустриализации экономики на базе научных достижений с сохранением структуры её реального сектора, то сейчас при осуществлении этого процесса перед нами стоят две задачи: одна – резкое изменение структуры экономики и вторая – модернизация ещё сохранившихся производств. И то, и другое направление должно быть выполнено на основе новейших достижений шестого технологического уклада. Проблема более чем грандиозная, но иного выхода в стране нет. В противном случае мы навсегда останемся в разряде развивающихся стран.

Прежде чем остановиться на некоторых предложениях индустриализации определяющих секторов экономики, было бы целесообразно, в первую очередь, оценить, сколько времени у нас ещё осталось для деятельности топливно-энергетического комплекса, основы нынешней социально-экономической жизни страны. Вопрос это не праздный – сегодня этот экспортный потенциал является реальным источником развития и модернизации, в том числе и новой индустриализации.

На сколько лет хватит России запасов нефти? По оценке зарубежных специалистов, они составляют 11 млрд тонн, а по оценке Минприроды России, они равны 15 млрд тонн. Объём добычи нефти за прошедший полувековой период составил 25 млрд тонн. Таким образом, запасов нефти хватит на 20–27 лет, то есть примерно до середины текущего столетия.

Следует отметить, что кратность запасов нефти в России составляет 26 лет, в Казахстане – 49, странах Персидского залива – 82 года, Венесуэлы – 334 года. Поэтому российские запасы иссякнут раньше, чем в остальном мире. Не исключено, что после 2050 года Россия из крупного экспортёра превратится в импортёра нефти.

Запасы природного газа составляют 32,6 трлн куб. метров. При ежегодной добыче 668 млрд куб. метров (2013 год) существующих запасов газа хватит на 63 года.

С углем лучше: существующих запасов хватит на четыре столетия. При этом газ и уголь могут заменить нефть. Но задуматься об этом стоит уже сейчас.

Несколько слов о нефтяной ценовой политике. Себестоимость российской нефти позволяет выдержать падение экспортных цен до 289 долларов за 1 тонну без сокращения объёма добычи. По аналитическим данным, себестоимость тонны нефти первой категории в разных регионах колеблется от 47 до 155 долларов, второй категории – от 93 до 248 долларов. Поэтому обрушение цен на нефть не потребовало сокращения добычи нефти первых двух категорий.

В перспективе электроэнергия всё больше будет заменять нефть. Россия продолжит развитие атомной энергетики, на долю которой уже сейчас приходится 18% объёма электроэнергии страны. Однако, по прогнозам энергетиков, собственного урана России хватит на 40 лет, но вот вопрос: а где же уран “благодаря” соглашению Гор-Черномырдин?

Ситуацию может изменить широкое освоение реакторов на быстрых нейтронах, потребляющих меньше ядерного топлива. Возможно, будет увеличиваться производство электроэнергии от возобновляемых источников. Но кардинально изменить баланс электроэнергетики это не сможет.

Говоря о новой индустриализации нашего государства, я позволил себе остановиться только лишь на некоторых отраслях экономики. Если в стране будет разработана и принята специальная национальная программа, то она, безусловно, должна впитать в себя все отрасли экономики, а также мировые научные достижения.

В первую очередь, следует остановиться на перспективе развития машиностроительного комплекса как основе реинтеграции экономики на современном научно-техническом уровне.

Для превращения российского гражданского и оборонного машиностроения в основу для новой индустриализации, будущего устойчивого роста и экспорта гражданской машиностроительной продукции необходимы:

- наличие авангардных высокотехнологичных производств и комплексов оборонного, атомного, ракетно-космического машиностроения;
- современная чёрная и цветная металлургия;
- собственные высококвалифицированные инженерные кадры;
- ёмкий внутренний рынок;
- меры государственной поддержки производства машиностроительной продукции.

На долю импорта машин, техники и бытовых приборов приходится почти половина всего импорта, то есть практически половина экспортной выручки от продажи сырой нефти и газа. Поэтому импорт техники со 153 млрд долларов в 2013 году сократился до 86,3 млрд долларов в 2016 году, то есть синхронно с обрушением экспортной выручки.

Опираясь на прошлый опыт России и Китая, можно наметить следующие пути по преодолению отставания производства машиностроительной продукции:

- заимствование и перенесение в сферу гражданского машиностроения достижений оборонных отраслей промышленности, лидирующие позиции которых признаны мировым рынком. По объёму продаж вооружений Россия находится на втором месте в мире после США;
- заимствование достижений зарубежных машиностроительных компаний, привлечение их для сотрудничества вплоть до организации в России совместных производств;
- использование отечественных научно-технических разработок с учётом зарубежного опыта и применения комплектующих компонентов.

Если российским машиностроителям не удастся реализовать ни одно из этих предложений, то освободившиеся ниши займут китайские производители, имеющие большой опыт конкурентной борьбы на внутренних рынках США и России.

Автомобильная промышленность. В 2000-х годах России удалось едва ли не полностью ликвидировать техническую отсталость автомобильной промышленности. Эти достижения во многом были связаны с привлечением

в страну ведущих автомобильных компаний мира. Отечественные производители легковых и грузовых автомобилей – ВАЗ, ГАЗ, КамАЗ и др. – повысили конкурентоспособность своей продукции, используя собственные наработки отечественных моделей в сочетании с импортными комплектующими деталями и узлами. Гибель столичного завода АЗЛК привела к тому, что он стал символическим памятником несбывшимся надеждам на изолированное развитие автомобильной промышленности без всяких заимствований.

В результате реализация такой политики в отечественной автомобильной промышленности позволила увеличить выпуск автомобилей с одного миллиона до почти двух миллионов. По их производству страна заняла заметное 12-е место в мире.

С целью роста конкурентоспособности отечественной автомобильной промышленности было бы целесообразно производство для этой отрасли комплектующих узлов, электрики, пневматики, гидравлики, автоматики высокого качества организовать на мощностях оборонной промышленности. Это тем более важно, так как в настоящее время объёмы импортных поставок частей и принадлежностей к автомобилям сопоставимы по стоимости с импортом самих автомобилей.

Особо следует подчеркнуть значение шестого технологического уклада и особенно цифровой революции в области моделирования и проектирования, компьютерного инжиниринга и технологий при создании автомобилей. В качестве примера можно привести создание в 2000 году автомобиля “Шевроле-Нива” на АвтоВАЗе. Он стал первым массовым цифровым автомобилем в России. Последующие модели этого завода, которые вставали на конвейер, также были цифровыми. Весь процесс создания автомобиля был в основном компьютеризирован. Если 10 лет назад для сертификации новой модели требовалось примерно одинаковое количество натуральных и виртуальных испытаний (около 100 тех и других), то сейчас проводится примерно 5 натуральных и более 10 000 виртуальных тестов и испытаний.

Вызовы технологической революции не минуют в будущем и Россию. Не может она в этом деле остаться в стороне. Недавно КамАЗ и НАМИ показали новый автомобиль под названием “Шатл”. Это что-то среднее между автобусом, такси и легковым автомобилем, он будет использоваться как беспилотный транспорт по доставке пассажиров от дома до пункта назначения. Беспилотные автомобили приведут к большим изменениям в мировой экономике, так как автомобиль ждут серьёзные решения, связанные с изменением системы движения.

Таковы основные направления новой индустриализации в автомобильной промышленности.

Станкостроительная промышленность. Металлообрабатывающее оборудование является технологической основой машиностроения. Советская промышленность располагала большими производственными мощностями для выпуска станков. В настоящее же время производственные мощности по выпуску металлорежущих станков загружены всего на 17,5%.

Д. О. Rogozin, будучи заместителем председателя правительства России, расценил зарубежные поставки станков как “вторую иглу” – наряду с нефтегазовой, способную завести страну в “технологическое рабство”. Он подчеркнул: “Чрезвычайно важно локализовать производство станкостроения. Это основа нашего технологического суверенитета, если кто-то этого не понимает, тот ничего не понимает в экономике”.

Несмотря на принимаемые меры по развитию отечественного станкостроения, особенно для оборонных отраслей, коренных изменений пока нет. Импортируется станков в сотни раз больше, чем производится. В 2013 году было завезено только металлорежущих станков 845 тысяч штук, деревообрабатывающих – 346,3 тысячи штук. В 2014 году соответствующие цифры составили 788 тысяч штук и 308,1 тысячи штук.

Импорт станков в 2015–2016 годах резко сократился. Удельный вес импорта на внутреннем рынке станков снизился с 95% в 2013 году до 80% в 2016 году. Уменьшение доли импорта в эти годы было вызвано, в первую очередь, не ростом продаж отечественных станков, а сокращением импорта техники из-за санкций США и их союзников, резким удорожанием иностранной валюты, уменьшением инвестиций в основной капитал.

Для оживления отрасли станкостроения принимались кое-какие меры, в основном финансово-экономического характера. Все они имели преимущественно косвенный характер и не принесли ожидаемого результата. Доля станкостроения в ВВП России в настоящее время составляет всего 0,2%, в то время как в странах Европы и Америке – 2–5%.

Возникает вопрос: что же необходимо предпринять для возрождения и развития этой отрасли? На наш взгляд, следует использовать опыт оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В высокотехнологичной продукции, которую экспортирует Россия, как известно, преобладает вооружение (около 80%). Выход на второе место в мире по экспорту оружия говорит о высокой эффективности отечественного ОПК. В этой отрасли найден путь сочетания плановых начал с рыночными элементами.

Возрождение собственного станкостроения позволит быстро и эффективно перевооружить все отрасли экономики. Наметившееся в мире заметное ускорение развития станкостроения, вызванное внедрением новейших технологий шестого технологического уклада, ставит вопрос ребром: либо Россия в ближайшие годы совершит скачок в развитии производства орудий труда, либо закрепится как технологически зависимое, отсталое государство.

Большинство отечественных станкостроительных предприятий находится или на грани банкротства, или едва сводят концы с концами. Их владельцам, частным собственникам, не под силу решать задачи такой сложности. Поэтому при разработке основных направлений новой индустриализации этой отрасли государству необходимо будет принять очень серьезные решения, так как обычными экономическими методами данную проблему не решить. К этому следует добавить, что западные европейские страны и США будут и дальше проводить политику на сохранение позиции России как мирового сырьевого придатка и продолжать делать всё возможное, чтобы не допустить развития в нашей стране высокотехнологичного производства.

Для восстановления станкостроения на новой технологической основе необходимо ввести государственное планирование – то ключевое звено, ухватившись за которое нынешнее руководство страны смогло бы не только на словах, но и на деле обеспечить подъём и развитие этой стратегически важной отрасли. И это будет подлинное возрождение России, когда она сможет занять достойное место среди ведущих держав мира.

Авиационная техника. В России в 1990-е годы в сфере гражданской авиации производство практически прекратилось. Выпускались в единицах только самолёты и вертолёты для армии. И это происходило в стране, которая, начиная с 1930-х годов, создала мощную авиационную отрасль со своими заводами, научно-исследовательскими институтами, конструкторскими бюро! Удар, обрушившийся на эту отрасль с мощнейшим научно-промышленным потенциалом, был наглядным примером того, как Запад и его приспешники убивали сильных конкурентов, дабы освободить наш рынок для поставки своей техники. Они прекрасно понимали, что, с учётом наших просторов и бездорожья, у нас без авиации не только не будет экономического развития, но ещё и будет нанесён удар по социальной сфере, что, безусловно, скажется на уровне жизни населения. И что примечательно: никто за это не понёс никакого наказания. Наоборот, некоторые из авторов подобного злодеяния в отношении своей страны даже разбогатели и стали уважаемыми гражданами России!

С 2000 года, к счастью, положение в отрасли стало меняться к лучшему. С использованием импортных узлов были выпущены самолёты “Суперджет-100”, в перспективе – выпуск глубоко модернизированного пассажирского самолёта ИЛ-114-300 и ряда других самолётов. Согласно государственной программе развития авиационной промышленности, доля российского гражданского авиастроения на мировом рынке должна к 2025 году возрасти с 1,1 до 3,6%. Намечено, что половина парков самолётов вместимостью свыше 85 мест в 2025 году будет укомплектована российской техникой, в то время как в 2012 году эта доля составляла 30%.

Небольшие объёмы производства отечественных летательных аппаратов гражданского назначения делают их неконкурентоспособными по сравнению с зарубежными производителями. Поэтому российский авиапром нуждается в существенных мерах поддержки со стороны государства, вплоть до национализации некоторых производств и мелких авиапредприятий.

Говоря о путях выхода из кризиса гражданского авиастроения, было бы неплохо, на мой взгляд, изучить опыт Китая в этом вопросе. Гражданская авиация в этой стране располагает необходимым парком самолётов иностранных марок. На самом деле эти самолёты изготовлены в Китае по соглашениям с иностранными фирмами. Нельзя ли и нам продумать подобный вариант возрождения производства гражданских самолётов?

В заключение разговора о гражданской авиации необходимо остановиться на “малой” авиации. Положение здесь ещё сложнее, чем в “большой” авиации, где эксплуатируются в основном самолёты зарубежного производства – “Боинги”, “Аэробусы” и т. д. Здесь же “добивается” ещё советская техника. Особо сложная техническая ситуация сложилась на наших северных территориях, и сейчас, думаю, уместно будет процитировать мнение специалистов об этих регионах:

“... Пространства с точки зрения размещения поселений предопределяют особое значение для Арктики воздушного транспорта. Однако малая авиация, обслуживающая небольшие населённые пункты, находится в крайне запущенном состоянии. Эксплуатируются использующие дорогостоящее топливо морально и физически устаревшие летательные аппараты, рейсы выполняются нерегулярно, цены на билеты запредельны с точки зрения платёжеспособности населения, ежегодно прекращают своё существование многие местные аэропорты и авиаплощадки. Зачастую транспортные связи северных посёлков с остальным миром восстанавливаются только с наступлением сильных холодов, когда открываются ледовые переправы через реки и автозимники.

Такое положение дальше становится нестерпимым. Вот почему необходимо уже сейчас Госпрограмму развития Арктической зоны Российской Федерации дополнить специальным разделом о Полярной авиации. Она должна включать в себя и порядок отнесения воздушных линий к социально значимым, субсидируемым; и план восстановления и принципы финансирования содержания местных аэропортов и площадок; и программу разработки и выпуска новой авиационной техники...”

Аграрно-промышленный комплекс. Прежде чем высказать соображения по новой индустриализации этого комплекса, следует внимательно рассмотреть структурные изменения сельского населения на протяжении нашей истории. В 1913 году крестьяне вместе с кустарями составляли 66,7% населения Российской империи. В Первую мировую войну масштабная мобилизация привела к сокращению крестьянского населения. Во время гражданской войны, “военного коммунизма” и послевоенной разрухи многие рабочие семьи, спасаясь от голода, бежали в деревню. В результате в 1924–1925 годах удельный вес крестьян и кустарей в населении СССР увеличился примерно до 75%.

Если в 1913 году городское население составляло 18%, то в 1940 году, благодаря форсированной индустриализации, этот показатель увеличился до 35%. Накануне развала СССР в 1991 году удельный вес городского населения РСФСР достиг 74%, соответственно доля сельского населения составляла 26%. Ускорить процесс урбанизации в XXI веке, как уже говорилось, предложил на Гайдаровском форуме в 2017 году “лучший министр финансов” А. Кудрин путём создания в стране, наряду с московским мегаполисом, ещё пяти-семи подобных мегаполисов в российских регионах.

В 1992–1993 годах произошло разрушение существовавшего прежде мощного рынка сельскохозяйственной продукции. СССР занимал второе место в мире (после США) по производству зерна на душу населения. По производству мяса и молочных продуктов на душу населения мы вышли на средний уровень западноевропейских стран. После ликвидации в 1992–1993 годах большинства советских индустриальных предприятий, несмотря на увеличение импорта продовольствия, потребление продуктов питания в среднем на душу населения сократилось примерно вдвое.

В настоящее время первоочередной задачей является создание новой организационной структуры сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, а также возникает ряд вопросов по дальнейшему развитию АПК.

Один из вопросов – проблема средств для производства сельского хозяйства и пищевой промышленности. АПК, как известно, в 1992–1994 годах был разрушен, и предприятия тракторного и сельскохозяйственного машиностроения прекратили свою деятельность. Затем постепенно производство начало восстанавливаться, однако объём выпуска машин сократился в десятки раз.

Например, вместо 100 тысяч тракторов в год отечественные предприятия стали производить только 10 тысяч единиц.

В целом же сельскохозяйственное машиностроение СССР, занимавшее первое место в мире по объёму производства техники, не восстановлено до сих пор. Подобная ситуация сложилась и с оборудованием для пищевой промышленности, хранилищ и торговли.

По своей природе отрасли АПК ориентированы на использование местных ресурсов — земли, воды, материалов, а также кадров. Как известно, на протяжении многих лет деревня по тем или иным причинам подвергалась уничтожению — это и военное лихолетье, и индустриализация, и знаменитая теория “неперспективных деревень”, и “лихие девяностые годы”, и т. д. Начиная с кризиса 1990-х годов, активизировался и распад малых городов. Опрос выпускников средних школ малых городов показал, что только 4% молодёжи собираются оставаться после окончания школы в родном городе.

Вот такое положение реально сложилось в сельской местности и в малых городах страны. Выход из этой ситуации возможен при развитии в этих населённых пунктах малого предпринимательства с использованием местных как трудовых, так и материальных ресурсов.

О развитии в стране малого предпринимательства не говорит разве только ленивый. Но положение, к сожалению, кардинально не меняется. Как была несколько лет назад доля малого предпринимательства 22% в экономике России, так эта цифра осталась и поныне. К примеру, в Китае она составляет 60%, в США — 50%. Будем надеяться, что разрабатываемая сейчас по поручению В. В. Путина программа по малым городам даст определённый толчок в этом деле.

Вопросы развития малого предпринимательства в стране требуют реальных решений. Одним из них должно быть возрождение на новой основе потребительской кооперации. Без этого невозможно вести малое хозяйство — сбыт продукции, ветеринарное обслуживание, ремонтные проблемы и т. д. В этом вопросе существует серьёзный зарубежный опыт, особенно в скандинавских странах. Да и мы располагаем многими подобными функциями, сохранившимися ещё от советской системы потребкооперации. Только всё-таки остаётся большой загадкой: почему авторы либеральной экономики с первых же своих шагов уничтожили один из её основных рыночных элементов? Не потому ли, что он советский?

В заключение разговора о новой индустриализации в агропромышленном комплексе страны, естественно, возникает вопрос: какой из видов хозяйствования является основным в производстве аграрно-продовольственной продукции? Не отвергая роли индивидуальных, фермерских, малых предприятий в жизни страны, мы, тем не менее, должны ясно отдавать себе отчёт, что и в дореволюционной России, и в Советском Союзе основную массу товарной продукции сельского хозяйства производили именно крупные хозяйства. Подобное положение существует и сейчас в США и Канаде.

Этот тип хозяйств имеет более широкие возможности: они могут использовать современную технику и методы организации труда, новейшие технологии, брать на себя решение социальных вопросов и т. д. Индивидуальному товаропроизводителю это практически не под силу.

Знал ли об этом наш незабвенный Борис Николаевич? Вряд ли он мог “снизойти” до такой прозы, а вот те, кто давал ему советы и рекомендации, готовил решение по разгрому крупных хозяйств — колхозов и совхозов, — вот они-то прекрасно знали. Их задача как раз и заключалась в том, чтобы разрушить основу товарного производства сельхозпродукции и открыть ворота для её импорта с Запада.

Прошло время, но мы помним, как уже было объявлено решение президента Ельцина о роспуске колхозов и совхозов, и только в последний момент это роковое решение было остановлено и принято другое — “осчастливить” людей “паями”. Не чувствуется ли здесь что-то знакомое: в промышленности — “ваучеры”, а на селе — “пай”? Какую роль они сыграли в организации производства на селе? Абсолютно никакой! А вот скупка их, различные махинации с ними и прочие действия — это реальность.

Таким образом, новой индустриализации нужно подвергнуть, в первую очередь, крупные агропредприятия, аграрные комплексы, агрохолдинги и пр. Именно они смогут “впитать” в себя новейшие достижения науки и техники,

способы высокой организации труда, технологии на широкой основе и т. д. Всё это придаст им второе дыхание. Безусловно, потребуются внимание и к фермерству, и к подсобным хозяйствам. Они должны дополнять крупные хозяйства.

Мировой опыт реинтеграции и деинтеграции

После трёх десятилетий неумных восторгов по поводу наступления “постиндустриальной эры”, лицом которой является стремительно растущий сектор услуг, “творцы” европейской политики неожиданно прозрели. В 2014 году Еврокомиссия опубликовала специальное коммюнике “За европейский промышленный ренессанс”, в котором призвала принять срочные меры для возрождения европейской промышленности. С этого времени обстановка радикально изменилась. В условиях продолжающейся стагнации в экономике ЕС именно промышленному сектору Еврокомиссия отводит роль двигателя экономического роста.

Мировой финансово-экономический кризис 2007–2008 годов нанёс серьёзный удар по идеологии постиндустриализма. Возникновение кризиса, как известно, в значительной мере было связано с чрезмерным разрастанием финансового сектора с его гипертрофированной спекулятивной составляющей. В то же время пример Великобритании, Испании, Греции и ряда других европейских стран показал, как сложно преодолевать глобальный кризис, если в стране нет мощных производственных отраслей.

Несмотря на теоретические обоснования утверждения, что магистральный путь экономической модернизации пролегает исключительно через стимулирование наиболее перспективных секторов в сфере услуг и поэтапное свёртывание материального производства, промышленность на фоне продолжающейся в Европе стагнации обнаружила вдруг в глазах европейских политиков и экспертов ряд несомненных достоинств.

В специальном докладе Еврокомиссии в 2012 году говорилось, что производительность труда в промышленности в среднем на 15% выше, чем в других секторах экономики, а её доля в расходах на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) частного сектора составляет более 60%; в текущем экспорте стран ЕС удельный вес промышленной продукции превышает 70% и т. д. Еврокомиссия предложила план действий по реиндустриализации Европы, который предусматривал увеличение доли промышленности в структуре ВВП стран ЕС с нынешних 16 до 20% к 2020 году. Для справки: ещё в 1970 году реальный сектор занимал в структуре ВВП Евросоюза около 27%. К началу нового тысячелетия, в 2000 году, этот показатель уменьшился до 18,5%, а в 2013 году он упал до 15,8%.

Специалисты по “новой экономике” не учли тот факт, что значительная часть сферы услуг является производной от производственного сектора и её главное предназначение – обеспечить научно-техническим, информационным и деловым обслуживанием процесс производства на всех его стадиях.

Великобритания, считавшаяся в своё время “мастерской мира”, за последние тридцать лет сократила промышленность на две трети. Но что пришло на смену? Уволенные инженеры не стали программистами, а рабочие – брокерами. Великобритания не строит теперь судов, не производит автомобили. Все без исключения британские автомарки давно иноземны. Структурные перекосы в экономике, сильнейшая зависимость от Сити, пузыри на рынке недвижимости, хронический дефицит внешнеторгового баланса – таковы основные итоги “модернизации”, начатой премьер-министром М. Тэтчер. Так, в структуре ВВП Великобритании доля промышленности составляет сегодня менее 10%. По сравнению с 2000 годом она сократилась на 5,6%.

В большинстве западноевропейских стран тенденция та же. Доля промышленности в ВВП за период 2000–2012 годов больше всего упала в Финляндии – на 10,2%, в Бельгии – на 5,9%, в Швеции – на 5,6%, во Франции – на 5,2%, в Испании – на 4,6%, в Италии – на 4,5%. Из “старых” членов ЕС только в Германии индустриальное ядро сохранилось на прежнем уровне – 22,4% ВВП.

С точки зрения структуры экономики германская модель считается сегодня в Европе наиболее оптимальной. Говорить об очередном германском “экономическом чуде” нет оснований, но на фоне стран еврозоны ФРГ выглядит совсем не плохо. Она за последние пятнадцать лет сумела не только сохранить на

прежнем уровне долю индустриального сектора в структуре ВВП, но и увеличить объём производимой промышленной продукции на 23,5%. В Италии, например, за тот же период выпуск промышленной продукции сократился на 11,1%, в Греции – на 10%, в Великобритании – на 9,2%, в Испании – на 7,4%.

Вклад Германии в промышленное производство стран Евросоюза составляет 30,5%, что более чем в 2 раза превышает долю Италии и почти в 3 раза – долю Франции. Машиностроение, автомобилестроение, электротехника и химическая отрасль, включая фармацевтику, занимают около 54% в структуре немецкой промышленности. Востребованный на мировом рынке по товарной номенклатуре и качеству экспорт ФРГ всё ещё является “локомотивом” роста национальной экономики и позволяет ей выстоять даже в трудные времена.

В то же время Германия не осталась в стороне от процессов структурно-технологической перестройки, происходившей в мировой экономике. Повышение производительности труда, автоматизация и там привели к сокращению занятости в промышленности на 4,4% за период с 2000-й по 2013 год. Часть производственных мощностей была вынесена за рубеж. Если внутри страны сегодня Германия производит 5,4 млн легковых автомобилей, то за границей – 8,6 млн, из них 3,5 млн – в Китае. Оборот концерна “Сименс”, например, за рубежом существенно превышает его оборот в Германии. Но всё же 62% своей продукции немецкая промышленность производит по-прежнему дома, 21% – в странах ЕС и 9% – в Азии.

По мнению международных специалистов, развитие высокотехнологичных сегментов в промышленности и развитие в сфере услуг идут рука об руку. Они тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга, и инновационные прорывы в одной области дают импульсы для развития в другой. Понимает это и Еврокомиссия, где всё чаще говорят о необходимости реиндустриализации ЕС, обещают в течение трёх лет аккумулировать 300 млрд евро государственных и частных инвестиций для развития инфраструктуры, индустриальных кластеров, энергетики и за счёт этого создать в Европе 25 млн новых рабочих мест. Это напоминает стремление России создать 25 млн высокопроизводительных рабочих мест до 2025 года!

Существуют две точки зрения на перспективы реиндустриализации Европы. Одна выражает позицию Еврокомиссии, которая высказывается за необходимость сделать упор на развитии высокотехнологичных сегментов промышленного производства, наращивать расходы на НИОКР в государственном и частном секторе, проводить взвешенную налоговую и реалистическую энергетическую политику, поощрять более активное участие малых и средних фирм во внешнеэкономической деятельности и т. д. Выражается надежда, что ЕС со временем сумеет вернуть себе статус мирового промышленного лидера.

Другие аналитики видят картину будущего иначе. По их прогнозу, через пять лет в первой “десятке” промышленных лидеров, кроме Германии, не будет ни одной европейской страны. В “двадцатку” попадут только Великобритания и Швейцария. При этом Германия опустится со второго на четвёртое место. Пятое займут США. Тройку лидеров возглавят Китай, Индия и Бразилия, а Нидерланды, Франция, Бельгия и Италия займут, соответственно, 24-е, 27-е, 30-е и 34-е места.

Эксперты по этой проблеме в 2013 и 2014 году подготовили два аналитических доклада с подробным разбором перспектив практического осуществления плана Еврокомиссии по реанимации европейской промышленности. Основной вывод звучит примерно так. Еврокомиссия, поставив на повестку дня вопрос о реиндустриализации, предоставила полезный совет, но пути достижения поставленной цели неясны, и вряд она достижима в обозримом будущем.

Основная причина этого заключается в том, что потенциал повышения конкурентоспособности промышленного сектора в разных европейских странах очень разный. Выработать же единую, пригодную для всех стратегию в этих условиях практически невозможно. Вывод таков, что пытаться выстраивать долгосрочную стратегию ЕС в расчёте на низкоценовой и среднеценовой сегменты промышленного производства – дело нереальное. Стоимость труда в Европе будет всегда выше, чем в азиатских странах или в Латинской Америке, несмотря на сохраняющийся разрыв в зарплатах между “старыми” и “новыми” членами ЕС.

Помимо собственно заработной платы, в стоимость трудовых издержек следует включать и социальные взносы предпринимателей. Учитывая высокие

социальные стандарты ЕС, конкурировать по цене продукции европейским странам придётся не только с Китаем, Индией или Бразилией, но и с Соединёнными Штатами, которые тоже взяли курс на реиндустриализацию и которые, кроме более низкой стоимости трудовых издержек, имеют, по сравнению с Европой, ещё одно конкурентное преимущество – дешёвую энергию.

С учётом сказанного выше, следует сделать следующий вывод. Возрождение европейской промышленности возможно только на базе её глубокой модернизации с ориентацией на высокотехнологические сегменты, в которых конкурентоспособность конечного продукта будет определяться его новизной и уникальностью, а не стоимостью рабочей силы и трудозатрат. По мнению Еврокомиссии, речь должна идти, прежде всего, о фармацевтике, медицинском оборудовании, компьютерной и телекоммуникационной технике, оптических приборах, авиастроении и космической технике, производстве новых материалов и т. д.

Считается, что в отраслях со средним и высоким уровнями доли НИОКР в себестоимости продукции в странах ЕС сегодня работает в среднем от 30 до 40% занятых в промышленности. Именно в этом индустриальном сегменте в 2013 году объём произведённой продукции вырос на 7% по сравнению с 2007 годом.

Проблема же заключается в том, что невысокотехнологические секторы определяют сегодня индустриальный профиль большинства европейских стран. Германия, где промышленное ядро составляют высококонкурентоспособные на мировом рынке четыре отрасли – автомобиле- и машиностроение, химическая промышленность и электротехника, – является на этом фоне скорее исключением, чем правилом. Если автомобильная отрасль, например, занимает в ФРГ 16% в структуре промышленного производства, то во Франции – только 4,5%, а в Италии – 3,7%. В шести странах “старого” ЕС – Франции, Испании, Великобритании, Нидерландах, Португалии, Греции – на 1-м месте стоит пищевая промышленность. В структуре промышленного производства стран ЕС в целом пищевая промышленность находится на 2-м месте после того же далеко не самой наукоёмкой металлообработки.

Добиться существенных сдвигов в отраслевой структуре промышленного производства невозможно за короткий срок, тем более что стартовые позиции для осуществления таких сдвигов в разных странах очень разные. Так, с учётом того, что главная цель Евросоюза – довести расходы на НИОКР до 3% ВВП, можно с уверенностью констатировать, что сегодня только Швеция, Дания и Финляндия сумели достичь этой планки. Германия и Австрия близки к ней. В пяти странах ЕС этот показатель ниже 1%, а в среднем по ЕС колеблется вокруг цифры 2%.

Есть ещё два обстоятельства, которые будут тормозить расширение доли промышленного сектора в структуре ВВП европейских стран. Во-первых, в некоторых отраслях – металлургия, автомобилестроение – сегодня наблюдается избыток производственных мощностей, и речь здесь идёт, естественно, не об их расширении, а о частичном демонтаже. Во-вторых, прогнозы развития хозяйственной конъюнктуры в ЕС не предвещают заметного оживления в экономике, а следовательно, и повышения спроса. В этих условиях нет оснований рассчитывать на увеличение инвестиций в промышленность.

Созреют ли они в обозримом будущем и созреют ли вообще – большой вопрос. Европе сложнее, чем США, добиться возрождения промышленности. Она, прежде всего, нуждается в нормативно-правовой базе, в гибком рынке труда, низких налогах, умеренных зарплатах, тесно увязанных с ростом производительности труда. Все эти вопросы относятся к сугубо национальной компетенции, и выработка общей стратегии здесь весьма проблематична.

Кроме того, Европа зациклена на ускоренном внедрении “зелёной” энергетики и защите климата и слишком далека от того, чтобы найти разумный баланс между приоритетами экологической политики и приемлемой стоимостью электроэнергии, финансирование которой в той же Германии ложится тяжёлым бременем на потребителей.

И, наконец, введение евро, как показала практика, не способствовало сближению уровней экономического развития стран ЕС, а наоборот, усугубило эти различия. Объективные возможности для становления высокотехнологических, конкурентоспособных, ориентированных на экспорт промышленных кластеров на севере и юге, на западе и востоке Европы настолько отличаются,

что рассчитывать на появление какого-то реалистического плана реиндустриализации под эгидой Еврокомиссии – значит, выдавать желаемое за действительное.

Скорее всего, события будут развиваться по инерционному сценарию. Германия сохранит своё место в группе промышленных лидеров. В странах Северной Европы могут появляться отдельные узкоспециализированные высокотехнологичные кластеры, как это было, например, в Финляндии, но никакой “промышленной революции” не произойдёт. На юге Европы, за исключением, пожалуй, Испании, повернуть вспять процесс промышленной деградации вряд ли удастся. Крупные европейские концерны уже разместили все те производства, где трудовые издержки играют определяющую роль. Серьёзных причин для их расширения в нынешних условиях нет. При этом вынос части производства за пределы ЕС, прежде всего, для освоения перспективных рынков в Азии и США продолжится.

* * *

В заключение этого раздела публикации мне хотелось бы привести слова президента нашей страны В. В. Путина, которые подтверждают мои мысли о необходимости новой индустриализации России:

“Я глубоко убеждён: деиндустриализация России – это абсолютно тупиковый путь... Не развивая, не модернизируя собственную промышленность, мы неизбежно увеличим сырьевую зависимость, потеряем многие направления науки и образования, потеряем наработанную ещё в прошлое десятилетие компетенцию, утратим целые научные, промышленные, производственные школы и окажемся, в конечном итоге, в самом низу пирамиды международного разделения труда. А значит, и по уровню жизни постепенно скатимся вниз. И от этого пострадают все, все абсолютно, в том числе и те, кто сегодня выступает за то, чтобы всё закупать за границей. В конечном итоге, пострадает страна.

Уверен, что время покажет правильность выбранного нами пути развития, формирования мощных, конкурентоспособных промышленных производств в автопроме, авиа- и судостроении, других отраслях производства. Это верный путь, и мы будем идти по нему”.

АЛЕКСАНДР ОСЫКОВ, БОРИС ОСЫКОВ

ПОРТРЕТЫ ЗЕМЛЯКОВ

Русский гений

Целый век... Вдумайтесь только: целое столетие прослужили и продолжают служить России и миру создания творческой мысли этого человека. Множество совершенно новых для своего времени инженерных решений. Из одних только названий открытий, изобретений, конструкций и сооружений этого титана технической мысли была составлена своеобразная “Азбука инженера Шухова”:

“А – авиационные ангары; Б – батопорты (плавучие затворы), аналогов не имевшие баржи нефтеналивные; В – воздушно-канатные дороги, первые в мире висячие металлические перекрытия, водопроводы, водонапорные башни; Г – газгольдеры (газохранилища), первые в мире гиперболоидные конструкции; Д – доменные печи, дымовые трубы из кирпича и металла; Ж – железнодорожные мосты через Енисей, Оку, Волгу и ещё несколько сотен российских рек; З – землечерпалки; К – котлы паровые, кузнечные цехи, кессоны, крекинг-процесс; М – мартеновские печи, мачты электропередачи, первый в мире мазутопровод с подогревом, меднолитейные цехи, мостовые краны, мины и минные взрыватели; Н – нефтяные насосы, позволившие добывать нефть с глубины 2-3 км, нефтеперегонные установки, первый в мире нефтепровод длиной 11 км, первое в России нефтеналивное судно из металла; О – оболочки сетчатые стальные; П – пакгаузы, порты морские и речные; Р – радиобашни, в том числе знаменитая Шаболовская, резервуары цилиндрические стальные для нефтехранилищ; Т – танкеры, трубопроводы; У – установки термического крекинга нефти; Ф – форсунка распыливающая паровая; Э – элеваторы, эрлифт (метод подъёма нефти с помощью сжатого воздуха)”.

ОСЫКОВ Александр Иванович — член Союза писателей России, автор пятнадцати книг. Лауреат Международного поэтического конкурса “Звезда полей–2010” им. Н. Рубцова, литературной премии “Золотая осень” им. С. Есенина (2014), Всероссийской литературной премии “Прохоровское поле” (2017), конкурса “Лучшая книга Белгородчины” (2017). Живёт в Белгороде.

ОСЫКОВ Борис Иванович — член Союза писателей и Союза журналистов России, автор более сорока книг. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Лауреат Всероссийских литературных премий “Отчество” (2004) и “Прохоровское поле” (2008), конкурса “Лучшая книга Белгородчины” (2017). Награждён многими правительственными наградами. Живёт в Белгороде.

На всё это обычному человеку не хватило бы и нескольких жизней. Трудно поверить, что у тысячи оригинальных инженерных сооружений один автор. Его имя – Владимир Григорьевич Шухов. Почти шестьдесят лет изобретал, проектировал, рассчитывал, создавал теории этот великий новатор. В. Г. Шухов счастливо сочетал в себе черты учёного-энциклопедиста, поразительный изобретательский талант, чёткость мышления блестящего конструктора с чисто деловой практической хваткой: механика и строителя, теплотехника и технолога. О Шухове говорили: “В его мышлении сочетались американская смелость, немецкая аккуратность, английская продуманность инженерной стратегии и характерное для французских инженеров внимание к “мелочам”. И что-то ещё, о чём говорят, как о вечной “русской загадке”. Разносторонностью интересов, удачливостью во всём, за что бы ни взялся, он напоминает легендарного Леонардо да Винчи.

Ну, а родился великий инженер на нашей белгородской земле, в красивом и старинном городе Грайвороне, который более трёх столетий назад возник у слияния рек Ворсклы и Грайворонки. Город и сегодня окружают дивные тенистые дубравы и привольные зелёные луга. А Грайворон второй половины XIX века можно увидеть глазами побывавшего здесь в ту пору русского писателя С. Г. Скитальца.

...Небольшая белая церковь с пятью голубыми главками луковицей, в беспорядке разбросанные глинобитные хаты, крытые соломой, городская тюрьма – высокое каменное здание при въезде в город с окнами за железными решётками и полосатой будкой у высоких ворот. Грязный мостик через трясины, в которой “у прошлому року утонув чумака, да ще з возом, да з волами”. Трактир “Свидание друзей”, на вывеске которого нарисованы два мужика с необычайными усами, в широких штанах, сидящие за столом и пожимающие друг друга руки.

И здесь же, в Грайвороне, и окрест него – “дедовские особняки” дворян помещиков, красующиеся в поэтических столетних парках. И “вишнёвые сады, объятые волшебной тишиной и торжественным молчанием”, и “покрытые зелёным бархатом трав улицы”, и “широкий серебристый луг под высоким обрывом, по которому спиралью вьётся вровень с мягкими зелёными берегами тихая, как зеркало, речка”.

Весной 1853 года в городок на Ворскле “к исправлению должности грайворонского городничего” был командирован из губернского Курска Григорий Петрович Шухов, исполнявший до того должности казначея и смотрителя курских богоугодных заведений. В Грайворон Григорий Петрович приехал с молодой девятнадцатилетней супругой Верой Капитоновной. Они были женаты всего два года, но у них уже подрастала дочь Надежда, и в семье ожидалось прибавление.

И 16 августа – как раз в день “хлебного” Спаса, “когда третий Спас хлеба припас”, у Веры Капитоновны родился сын. А в “метрической города Грайворона соборной Успенской церкви тысяча восемьсот пятьдесят третьего года Книге, в первой части о родившихся” под номером 43 появилась запись: “... августа шестнадцатого рождение, а восемнадцатого крещение числ, имя родившегося Владимир, звание родителей: коллежский секретарь Григорий Петрович Шухов и законная его жена Вера Капитонова, оба православного исповедания; восприемниками были: отставной поручик Иван Ларионов Свищов и титулярного советника жена Екатерина Иванова дочь Макарова; крестил священник Пётр Попов с причтом”.

В последующие годы у четы Шуховых появятся ещё две дочери: Ольга и Александра. Владимир оказался единственным сыном, надеждой семьи и, рано осознав свою ответственность, всю жизнь заботился о матери и сёстрах.

Пребывание семейства Шуховых в Грайвороне оказалось совсем недолгим. Веру Капитоновну, дочь весьма влиятельных родителей, хорошо знакомую с самим курским губернатором, не устраивал уездный городишко, ещё каких-то пятнадцать лет назад бывший захолустной слободой. И 10 декабря того же 1853 года Григорий Петрович сдал дела и вернулся с семьёй в Курск, где вступил в прежнюю должность казначея губернского правления. В 1856-м он подал прошение о переводе в столицу, и оно (опять-таки не без хлопот предприимчивой Веры Капитоновны и её родственников) было удовлетворено. Шуховы переехали в Петербург и поселились в доме на набережной Фонтанки.

Впрочем, ранние годы Володи Шухова проходили не столько в Курске и Петербурге, сколько в селе Пожидаевка под Шиграми – в имении бабушки Александры Васильевны Пожидаевой, посвятившей себя воспитанию внуков.

В 1863 году десятилетний Володя начал учиться в петербургской гимназии, где сразу проявились его способности к точным наукам, особенно к математике. Юный гимназист даже сумел найти собственное оригинальное доказательство теоремы Пифагора.

В 1871 году Володя Шухов с отличием окончил гимназию, блестяще выдержал вступительные экзамены и стал “казённокоштным” студентом механического факультета Императорского Московского технического училища (ныне – МГТУ им. Баумана).

Ещё во время учёбы в техническом училище Шухов зарегистрировал своё первое изобретение – “прибор, производящий разбрызгивание мазута в топках, используя упругость водяных паров” – паровую форсунку. Она была настолько проста, эффективна и оригинальна, что великий химик Дмитрий Иванович Менделеев поместил её изображение на обложке своей книги “Основы фабрично-заводской промышленности”.

В 1876 году Владимир Шухов с золотой медалью окончил училище. При этом аттестат об окончании курса ИМТУ В. Г. Шухову был выдан без защиты дипломного проекта, а сам он, как один из лучших выпускников, в составе научной делегации был направлен для ознакомления с достижениями американской промышленности на Всемирную выставку в Филадельфию. Кроме того, совет училища решил оставить В. Г. Шухова при учебном заведении для подготовки к профессорской деятельности, а великий математик академик П. Л. Чебышев сделал молодому инженеру-механику лестное предложение о совместной работе в области теоретической математики и аналитической механики.

Однако Владимира в большей степени привлекали не теоретические исследования, а практическая инженерная и изобретательская деятельность. На выставке в Филадельфии Владимир Григорьевич знакомится с А. В. Бари, выходцем из России, который уже несколько лет жил в Америке, участвовал в строительстве зданий для Всемирной выставки, за что получил Гран-при и золотую медаль. Эта встреча оказалась поистине судьбоносной.

Летом 1877 года А. В. Бари с семьёй вернулся в Россию, где занялся организацией наливной системы перевозки и хранения нефти, а Шухова пригласил возглавить отделение фирмы в Баку – новом центре быстро развивающейся российской нефтяной промышленности.

В Баку 25-летний начинающий инженер В. Г. Шухов сумел справиться с задачей, которую до него не удавалось решить никому в нашей стране. Владимир Григорьевич стал автором проекта и главным инженером строительства первого российского нефтепровода Балаханы–Чёрный Город.

Работая на нефтяных промыслах в Баку, В. Г. Шухов запроектировал и затем руководил строительством первого в мире мазутопровода с подогревом.

Наблюдение за фонтанами, где нефть выбрасывается на поверхность силою сжатых подземных газов, привело В. Г. Шухова к мысли о возможности добычи нефти из скважин с помощью сжатого воздуха. В результате был создан насос типа “эрлифт”. Эрлифт конструкции Шухова применялся на бакинских промыслах с конца 1880-х годов.

В 1880 году Владимир Григорьевич становится главным инженером и главным конструктором вновь созданной “Технической конторы инженера А. В. Бари” (позже – “Строительная контора инженера А. В. Бари”). Так образовался необыкновенный, одновременно творческий и деловой тандем, благодаря которому родилось большое число выдающихся изобретений и были осуществлены многие замечательные технические проекты. Инженерный гений В. Г. Шухова превратил небольшую вначале контору предпринимчивого Бари в одну из самых передовых технических и строительных фирм России.

На фирме Бари В. Г. Шухов проработал почти сорок лет и впоследствии вспоминал: “Говорят, что Бари эксплуатировал меня. Это верно. Но и я эксплуатировал его, заставляя выполнять мои даже самые смелые предложения”.

В том же 1880 году В. Г. Шухов усовершенствовал своё первое изобретение – паровую форсунку, с помощью которой впервые в мире осуществлено промышленное факельное сжигание мазута, который до этого считался отходом нефтепереработки. Широкое использование форсунки Шухова привело

к переводу топок котлов на пароходах, паровозах, фабриках и заводах на высококалорийное нефтяное топливо и облегчило крайне тяжёлый труд кочегаров и истопников котельных установок. И поныне эта форсунка остаётся простейшим и надёжнейшим устройством для сжигания мазута.

Для хранения нефти и нефтепродуктов В. Г. Шухов создал конструкцию цилиндрического резервуара с тонким днищем на песчаной подушке и со стенками ступенчатой толщины. В США и Англии в те годы применялись стальные прямоугольные резервуары, вес которых на единицу ёмкости был на 35–40 процентов больше шуховских. За 35 лет деятельности фирма А. В. Барри под руководством В. Г. Шухова построила 30 тысяч цилиндрических стальных резервуаров. Экономия металла (по сравнению с зарубежными нормами) составила более миллиона тонн.

Теоретические исследования систем на упругом основании позволили В. Г. Шухову в дальнейшем создать рациональные конструкции нефтеналивных барж, которым присущи лёгкость хода и простота управления. Он смело удваивает длину барж, доводит её до 150–170 метров, почти не изменяя при этом сечения основных несущих элементов. На тот момент это были самые большие стальные речные суда в мире. Академик А. Н. Крылов писал: “Тогда казалось почти невозможным правильно собрать такие громадные сооружения из мелких частей; тогда ещё не имели понятия о точной разбивке шаблонов, и Шухов научил этому русских техников, он научил их, как по чертежам, изготовленным в Москве, с чудесной быстротой и без неполадок можно собирать громадные клёпаные конструкции из железных листов”.

И все эти выдающиеся изобретения были только началом блестящей карьеры великого инженера.

В статье “Нефтепроводы”, опубликованной в 1884 году, а затем в книге “Трубопроводы и их применение в нефтяной промышленности”, увидевшей свет десять лет спустя, В. Г. Шухов приводит точные математические формулы для описания процессов протекания по трубопроводам нефти, мазута и других нефтепродуктов. Эти фундаментальные исследования позволяют говорить о В. Г. Шухове, как о создателе классической теории нефтепроводов. Но при этом наш великий земляк является также и автором проектов первых российских магистральных трубопроводов: Баку–Батуми (883 км, 1907 год) и Грозный–Туапсе (618 км, 1928 год).

В. Г. Шухов много работал над созданием технологии и аппаратуры для переработки нефти. По его проекту в 1886 году в Баку были построены первые установки по непрерывной перегонке нефти, которые проработали более 40 лет. На этих установках получали продукты высокого качества, но отходы были всё ещё велики.

В 1891 году В. Г. Шухову (совместно с С. П. Гавриловым) была выдана привилегия (патент) на изобретённый способ промышленного получения высокооктанового бензина. Это была установка для перегонки нефти при высоких температурах и под давлением.

Как известно, в эти же годы в Германии был изобретён бензиновый двигатель, начало развиваться автомобильное производство, а затем и самолётостроение. Бензин из отхода производства превратился в основной, более ценный, чем керосин, продукт. Перед Первой мировой войной проблема производства бензина стала одной из главнейших мировых проблем.

А в это время у великого русского инженера и гениального изобретателя В. Г. Шухова уже свыше двадцати лет лежала без использования привилегия, открывавшая путь к решению проблемы получения бензина.

Американский химик Бертон, используя описание процесса, приведенное в привилегии Шухова и Гаврилова, путём хитроумных “методов обхода” получил патент на способ производства бензина и назвал его “крекинг-процесс”. Впоследствии международный суд всё же признал именно В. Г. Шухова первым изобретателем крекинг-процесса.

Возможность реализовать свои блестящие идеи в этой области В. Г. Шухов получил уже в советское время. По его проекту и под его руководством в 1931 году в Баку был построен нефтеперерабатывающий завод “Советский крекинг”, где впервые в России был использован шуховский патент на крекинг-процесс при создании установок для получения бензина.

В 1929 году работы В. Г. Шухова по созданию крекинг-процесса были удостоены Ленинской премии.

В. Г. Шухова заслуженно называют основателем русской нефтяной промышленности.

В 1896 году В. Г. Шухов изобрёл новый водотрубный паровой котёл в горизонтальном и вертикальном исполнении. Котёл был простым по конструкции, лёгким по весу, недорогим по стоимости, несложным в монтаже и удобным в эксплуатации. В 1900 году паровые котлы Шухова были отмечены высокой наградой – золотой медалью Всемирной выставки в Париже. По шуховским патентам до и после революции были произведены тысячи паровых котлов. Академик М. А. Стырикович писал: “Котлы Шухова использовались в течение 50 лет и сыграли важную роль в отечественном котлостроении”.

На рубеже 1880–1890-х годов В. Г. Шухов также занимался разработкой фундаментального проекта водоснабжения Москвы. Под его руководством были проведены комплексные геологические, геогностические и гидрологические исследования. Поначалу эти исследования были лишь вспомогательным средством для решения конкретной задачи создания системы московского водоснабжения. Однако затем, в результате обобщения полученных данных, В. Г. Шухов разработал теорию подпочвенных вод, которая получила высокую оценку Н. Е. Жуковского.

Многие годы В. Г. Шухов занимался проблемой создания оригинальных конструкций газгольдеров. Разработка им в 1930-е годы типовых проектов мокрых и сухих газгольдеров ёмкостью до 100 тысяч кубометров позволила нашей стране освободиться от иностранной зависимости в этой области.

В период Первой мировой войны контора Бари выполняла ряд важных военных заказов. И здесь инженерный гений Шухова позволил блестяще решить поставленные задачи. Работы В. Г. Шухова признаны серьёзным вкладом в военно-инженерное дело.

Он создал несколько типов мин с сетями заграждения, спроектировал батопорты – плавучие ворота, закрывающие доступ воде в сухой судоремонтный док, разработал оригинальную конструкцию орудийной платформы, решив при этом задачу придания осадной артиллерии полевой маневренности.

Творчество В. Г. Шухова оставило глубокий след и в строительной науке и технике. Он первым подошёл с научных позиций к созданию конструктивных форм, отводя решающую роль критериям веса, трудоёмкости и стоимости, которые стали характерными для всей отечественной конструкторской школы.

Для Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде В. Г. Шухов построил восемь павильонов с первыми в мире перекрытиями в виде сетчатых оболочек, первое в мире перекрытие в виде стальной мембраны (Ротонда Шухова) и первую в мире гиперболоидную башню удивительной красоты, которая была куплена после выставки меценатом Ю. С. Нечаевым-Мальцовым и перенесена в его имение Полибино в Липецкой области, где сохранилась до настоящего времени.

Пространственные конструкции Шухова, созданные им для Нижегородской выставки, стали провозвестниками лёгких конструкций из металла. Шухов создал, по существу, новый класс конструктивных форм, возможности которого со временем продолжают раскрываться и будут раскрываться в будущем ещё полнее.

Так, висячее покрытие в виде листовой стальной мембраны спустя почти сорок лет после создания его нашим гениальным земляком было повторено при строительстве элеватора в г. Олбани в США, ещё через пять лет – при возведении выставочного павильона Франции на выставке в Загребе, а в 60-х годах прошлого столетия – в качестве покрытия над промышленным корпусом в Глайсдорфе (Австрия). Дальнейшим развитием этой системы явилось создание в Москве мембранного покрытия в виде переплетённых тонких алюминиевых лент метровой ширины, что является синтезом двух шуховских идей – провисающих мембран и сетчатых шатров. Также идеи Шухова использовались при проектировании и строительстве сооружений Олимпиады-80 в Москве. Металлическое полотнище толщиной всего в полсантиметра и площадью 33 тысячи квадратных метров висит без промежуточных опор над огромным стадионом на проспекте Мира.

После Нижегородской выставки 1896 года В. Г. Шухов разработал многочисленные конструкции разнообразных сетчатых стальных оболочек и использовал их в сотнях сооружений: перекрытиях общественных зданий

и промышленных объектов, водонапорных башнях, морских маяках, мачтах военных кораблей и опорах линий электропередач.

Семидесятиметровый сетчатый стальной Аджигольский маяк под Херсоном — самая высокая односекционная гиперболоидная конструкция В. Г. Шухова.

Всего с 1896 по 1930 годы по проектам В. Г. Шухова было построено свыше двухсот стальных сетчатых гиперболоидных башен. До наших дней сохранилось около двадцати.

В 1898 году для металлургического завода в Выксе В. Г. Шухов запроектировал цех с пространственно изогнутыми сетчатыми парусообразными стальными оболочками перекрытий двойкой кривизны. Это первая конструкция такого рода. Цех сохранился на Выксунском металлургическом заводе до наших дней.

Также в конце XIX века В. Г. Шухов создаёт в Москве множество арочных покрытий, которым присущи лёгкость, изящество и простота исполнения. До нашего времени сохранились арочные стеклянные своды покрытий над зданиями крупнейших московских магазинов: Верхними торговыми рядами (нынешний ГУМ) и Фирсановским (Петровским) пассажем.

В. Г. Шухову принадлежит авторство оригинальных проектов трёхшарнирных ферм и конструкций сцены МХАТа, раздвижной крыши для обсерватории Московского университета, стальных каркасов ЦУМа.

В 1892 году В. Г. Шухов разработал свой первый проект железнодорожного моста. В дальнейшем он создал несколько типовых решений мостов пролётами от 25 до 100 метров. На основе этих типовых решений под руководством В. Г. Шухова всего было построено 417 мостов через Оку, Волгу, Енисей и многие другие реки. И почти все эти шуховские мосты стоят и сейчас.

Для здания московского главпочтамта, построенного в 1912 году, В. Г. Шухов запроектировал стеклянное покрытие операционного зала. Для этого он специально изобрёл новую конструкцию металлической фермы, ставшую прообразом пространственных конструкций из бесшовных труб, которые широко стали применяться в строительстве спустя несколько десятилетий.

В 1912–1917 годах В. Г. Шухов запроектировал перекрытия залов и дебаркадер Киевского вокзала в Москве и руководил его возведением.

Наиболее известной работой В. Г. Шухова является проектирование и сооружение знаменитой радиобашни на Шаболовке — самой высокой из многосекционных шуховских башен.

Вскоре после окончания гражданской войны В. Г. Шухова пригласили в Кремль. И предложили взяться за решение небывалой задачи — создание конструкции, которая позволила бы вести радиопередачи на всю огромную страну и даже на соседние государства. Для того, чтобы достичь поставленной цели, требовалась не просто высокая — небывало высокая антенна-мачта.

Владимир Григорьевич, как всегда, блестяще справился с нелёгкой задачей. Он разработал проект 350-метровой конструкции. Сравните: самым высоким в России в то время оставался Исаакиевский собор в Петрограде — чуть более ста метров. Знаменитая Эйфелева башня в Париже достигает трёхсот метров. А шуховская должна была взметнуться ввысь на целых триста пятьдесят! При этом вес девятисекционной гиперболоидной конструкции радиобашни по проекту В. Г. Шухова составлял всего 2200 тонн, что в три раза меньше трёхсотметровой башни Эйфеля.

Но в стране после страшной опустошительной войны царил голод и разруха. На счету был каждый рубль, каждый килограмм металла. Военному ведомству республики удалось наскрести всего лишь 240 тонн. В итоге, было решено строить башню высотой 160 метров.

Для своего нового шедевра инженерного искусства В. Г. Шухов разработал не только уникальный проект, но и удивительно остроумную и в то же время достаточно простую, доступную технологию сборки. Шухов изобрёл так называемый телескопический метод монтажа. Идея заключается в том, что ноги монтируемой секции временно стягивают деревянной обстройкой — так называемой диафрагмой. Как только движущаяся вверх секция благополучно минует верхнее кольцо ранее смонтированного яруса, диафрагма удаляется. Освобождённые от стяжек концы ног расправляются и принимают прежнее, проектное положение.

Во время возведения радиобашни произошла авария. В. Г. Шухов в своём дневнике записал: “29 июня 1921 года. При подъёме четвёртой секции третья сломалась. Четвёртая упала и повредила вторую и первую”. Лишь по случайной случайности не пострадали люди. Незамедлительно последовали вызовы в ГПУ, долгие допросы. В конце концов, был вынесен удивительный приговор – В. Г. Шухова расстрелять условно.

От реальной пули спасло то обстоятельство, что другого инженера, способного продолжить столь масштабное и уникальное строительство, в стране попросту не было. А построить радиобашню надо было во что бы то ни стало.

Впоследствии специальная комиссия установила, что Шухов в аварии совершенно не виноват, и с инженерной точки зрения конструкция башни безупречна. Причиной трагедии послужила так называемая “усталость” металла.

Правнучка Владимира Григорьевича Елена Шухова в своей книге, посвящённой великому прадеду, пишет: “Возвести столь уникальное по масштабам и смелое по замыслу сооружение в стране с подорванной экономикой и разрушенным хозяйством, с населением, деморализованным голодом и разрухой, и только недавно закончившейся гражданской войной было настоящим организаторским подвигом”.

Эксплуатация башни началась 19 марта 1922 года. 30 апреля того же года газета “Известия” сообщила, что “за проявленный героизм и сознательное отношение к своим обязанностям при постройке Шаболовской радиостанции” наиболее отличившиеся участники строительства “занесены на Красную доску”. Первым в списке стояло имя инженера-изобретателя В. Г. Шухова.

То была первая почётная награда новой власти гениальному инженеру. За ней последовали другие: звание Героя Труда, заслуженного деятеля науки и техники, уже упоминавшаяся премия имени В. И. Ленина. Академия наук СССР в 1927 году избрала В. Г. Шухова своим членом-корреспондентом, а через два года присвоила ему звание почётного академика.

В 1928–1929 годах под руководством В. Г. Шухова были сооружены три пары сетчатых многоярусных гиперболоидных опор перехода высоковольтных линий электропередачи через Оку под Нижним Новгородом длиной 1800 метров и высотой 20, 69 и 128 метров. И хотя опоры должны были выдерживать вес многотонных проводов с учётом намерзания льда, их конструкция оказалась лёгкой и эlegantной. При монтаже 128-метровых башен вновь был применён телескопический метод, значительно усовершенствованный Шуховым.

Последней крупной работой В. Г. Шухова стало спасение от разрушения шедевра среднеазиатского зодчества – минарета медресе Улугбека в Самарканде, построенного в XV веке. Уникальный памятник архитектуры сильно пострадал во время одного из землетрясений. Один из минаретов упал, а другой наклонился более чем на пять градусов. В 1932 году было решено выпрямить это сооружение. К работам был привлечён В. Г. Шухов. Как всегда, Владимир Григорьевич подошёл к решению задачи неординарно. Он разработал оригинальную и до изумления простую конструкцию устройства для выпрямления минарета и схему производства работ: под основание минарета – огромного сооружения весом около 2,5 тысячи тонн и высотой 35 метров – предполагалось подвести прокатные балки достаточной несущей способности, и длинный конец балок со стороны наклона минарета приподнять подобно рычагу.

Свободные пустоты у основания минарета, оставшиеся после его выпрямления, можно было просто залить бетоном. В результате, все работы по устранению крена минарета в Самарканде заняли всего лишь пять дней. Такое простое и по-шуховски изящное решение сложнейшей технической задачи в кратчайший срок и по сей день остаётся беспрецедентным в мировой практике реставрации зданий и сооружений.

Все свои теоретические исследования в области проектирования и расчёта строительных конструкций В. Г. Шухов обобщил в монографии “Стропила”. С позиций современной строительной науки те выводы, к которым он приходил в результате научных поисков и которые подсказывала ему инженерная интуиция, звучат сегодня как прописные истины. Так имя автора песни, ставшей народной, зачастую забывается, но сама песня продолжает жить среди людей своей собственной жизнью. Тем почётнее роль великого инженера Шухова как первопроходца в создании огромного количества совершенно новых видов рациональных конструкций.

Все, кто лично знал Шухова, кто имел возможность наблюдать за тем, как он работает, отмечают его феноменальную работоспособность. Приведём только два коротких свидетельства сотрудников, проработавших с Владимиром Григорьевичем бок о бок много лет.

“Усидчивость его была поразительна. Ровно в 10 часов он садился за свой стол, раскрывал перед собой книгу большого формата и начинал писать цифры, цифры и только цифры, ни одного слова. Так он занимался до 12 часов, то есть до завтрака, а потом снова до 4 часов, то есть до окончания работы. Если Владимир Григорьевич уходил, то только в свою обширную библиотеку, где просматривал многочисленные научные и технические журналы на английском, французском и немецком языках. Разговоры на посторонние темы Владимир Григорьевич позволял себе только во время завтрака, а всё остальное время он тратил только на работу или на деловые беседы с посетителями”.

“Шухов был не только талантлив, но и необычайно трудоспособен. Широкий круг тематики, над которой он работал, уже сам по себе предполагал затрату огромного творческого труда. Порой, когда необходимо было завершить решение какой-либо сложной задачи, Владимир Григорьевич мог проработать всю ночь напролёт, что не мешало ему утром, как обычно, явиться в контору одновременно с остальными сотрудниками и трудиться весь день, не выказывая усталости”.

Но при этом гениальный инженер вовсе не был таким затворником, ничего не ведающим, кроме самозабвенного труда. Круг интересов В. Г. Шухова не ограничивался инженерной и изобретательской деятельностью. Вспоминает ещё один из сотрудников Шухова: “Не менее разнообразны, чем тематика его инженерных работ, были его занятия на досуге. Художественная литература и театр, иностранные языки и математика, шахматы и фотография – для всего находил время и ко всему проявлял живой интерес замечательный инженер-новатор”.

Владимир Григорьевич знал наизусть массу стихотворений, но особенно высоко ценил поэзию М. Ю. Лермонтова, отмечая присущую поэту “способность к аналитическому мышлению”. “У него во всём чувствуется, что мысль неподкупна”, – говорил В. Г. Шухов.

Его любимыми композиторами были П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов, Ф. Шопен. Высоко ценил Владимир Григорьевич певческий талант Ф. И. Шаляпина.

Своим сотрудникам В. Г. Шухов часто повторял: “Не мыслю инженера вне культуры. Не приобщившись к Пушкину и Лермонтову, Чехову и Толстому, Репину и Чайковскому, он не достигнет ничего...”

В. Г. Шухов в совершенстве владел английским, немецким и французским языками. Читать же мог практически на всех европейских языках.

Через всю свою долгую и яркую жизнь пронёс Владимир Григорьевич глубокую привязанность к спорту, для занятия которым всегда находил время. Особенно увлекался В. Г. Шухов велосипедным спортом, с успехом участвовал в различных велогонках и даже был чемпионом Москвы по велоспорту среди любителей. С большим удовольствием любил вспоминать о своих спортивных победах, о том, как, стрелой мчась по велотреку, слышал позади себя крики болельщиков: “Рыжий, наддай! Наддай, рыжий!” И “рыжий” наддавал, приходя, как правило, к финишу первым.

Со студенческих лет В. Г. Шухов увлекался столярным и токарным делом. Сохранились сделанные им собственноручно кухонный буфет и великолепный комплект шахмат. Шахматы Владимир Григорьевич очень любил и, по свидетельствам современников, был способным и сильным игроком. Однажды ему довелось сыграть с самим М. И. Чигориным.

Но, наверное, самым большим увлечением В. Г. Шухова была фотография. С фотоаппаратом он не расставался до конца жизни. Какое бы событие ни происходило в Москве, Владимир Григорьевич всегда успевал запечатлеть его на фотоплёнку. И в шутку частенько приговаривал: “Я по профессии инженер, а в душе – фотограф”. Сохранились сотни сделанных им фотографий и стереопозитивов.

Владимир Григорьевич был женат на дочери железнодорожного врача Анне Николаевне Мединцевой, происходившей из старинного русского дворянского рода Ахматовых и приходившейся знаменитой поэтессе отдалённой родственницей.

У Анны Николаевны и Владимира Григорьевича было пять детей: Ксения, Сергей, Фавий, Владимир и Вера. Всю жизнь их связывали нежные, трогательные отношения.

Конец жизни великого инженера оказался трагическим. В век электричества Владимир Григорьевич, которому тогда уже шёл 86-й год, погиб от пламени опрокинутой на себя свечи. Погубила привычка пользоваться после бритья крепким “тройным” одеколоном, обильно смазывая им лицо и руки... Обожжённой оказалась треть тела. Пять дней он прожил в страшных мучениях, а на шестой, 2 февраля 1939 года, скончался.

Родные вспоминали, что Владимир Григорьевич, осознавая близость смерти, тем не менее, держался очень мужественно и до конца дней сохранял присущее ему чувство юмора, приговаривая во время перевязок: “Пого-рел академик...”

Владимир Григорьевич Шухов похоронен на Новодевичьем кладбище.

Вклад В. Г. Шухова в индустриализацию Российской империи и Советского Союза неocenим. С его участием возводились такие гиганты промышленности, как Магнитка, Челябинский тракторный завод, Белорецкий, Выксунский, Ижевский и Нижнетагильский заводы, Азовсталь, кавказские нефтепроводы, снабжавшие страну стратегически важным ресурсом. Спустя годы все эти предприятия позволяют нам выстоять в жесточайшей войне.

Имя В. Г. Шухова носит один из ведущих технических вузов России – Белгородский государственный технологический университет. На площади рядом с главным корпусом университета установлен памятник великому инженеру. Также именем нашего великого земляка названы улицы в Москве, Туле, Сызрани, Старом Осколе, парк и школа в Грайвороне, родном городе академика. В Московском архитектурном институте есть аудитория имени Шухова.

Памятник В. Г. Шухову есть и в Москве. Он установлен 2 декабря 2008 года на Тургеневской площади столицы. Шухов увековечен в бронзе, в полный рост с рулоном чертежей, в накинутом на плечи плаще. Вокруг памятника установлены бронзовые скамейки. Две из них – в форме расколотого бревна с лежащими на них тисками, молотками и другими столярными инструментами; ещё одна представляет собой конструкцию из колёс и зубчатых передач. Постамент памятника стилизован под сетчатую гиперболоидную конструкцию.

Международный Союз научных и инженерных объединений в 1990 году учредил специальную награду – золотую медаль имени В. Г. Шухова, которая присуждается инженерам и специалистам за выдающийся вклад в развитие науки и техники. Среди лауреатов этой престижной награды – академик Б. Е. Патон, легендарный конструктор стрелкового оружия М. Т. Калашников, автор проекта Останкинской телебашни Н. В. Никитин и другие выдающиеся учёные и инженеры современности.

После национализации “Строительная контора инженера А. В. Бари” была преобразована в научно-исследовательский и проектный институт, получивший новое, хорошо известное сегодня во всём мире имя – ЦНИИПроектстальконструкция. Владимир Григорьевич Шухов по праву считается основателем этого ведущего в России института, занимающегося проблемами расчёта и проектирования строительных металлоконструкций. На территории ЦНИИПСК установлен бюст В. Г. Шухову.

Наследие В. Г. Шухова огромно. Оно воплощено не только в металле многих тысяч инженерных сооружений, но и в его блестящих открытиях и идеях, по сей день не утративших своего значения. Творчество великого инженера принадлежит не только прошлому, но и будущему.

В. Г. Шухов – это гениальный учёный, избравший путь инженера-практика: изобретателя, расчётчика, конструктора, технолога и одновременно – руководителя коллектива проектировщиков. Путь “человека жизни”, как он сам любил себя называть.

В самом начале 2000-х годов столетний академик, главный конструктор ядерного реактора первой в мире атомной электростанции Николай Антонович Доллежалъ высказал такую мысль: “За XX век Россия в индустриальном смысле пережила гигантский рост. Это сделали “техники”, а не политики. Для “техников” было всё равно, кто сидит в Кремле. Мы знали, что есть Родина, ради которой надо жить. Огромное количество людей работало во имя создания мощного государства. Как во времена Петра Великого. Патриотизм нельзя

исключать из обихода. Патриотизм надо воспитывать в человеке обязательно. Обязательно. Да все государства так и делают. . . ” Первым в ряду замечательных “техников” – патриотов, о которых говорил академик, – навсегда останется великий инженер России, наш земляк Владимир Григорьевич Шухов.

Отзывчивое сердце Владимира Костенко

В старом Белгороде на тихой немощёной Сергиевской улице в небольшом доме летом 1890 года поселилась семья. Глава её, Полиевкт Иванович Костенко, выпускник Харьковского университета, несколько лет проработал земским врачом в захолустной Вейделевке, на родине жены. Мария Иосифовна, дочь небогатого помещика, окончила гимназию в Харькове и до замужества была сельской учительницей. Она прекрасно владела французским, немецким и английским языками. Тонко понимала музыку и литературу, превосходно рисовала. И всем этим щедро делилась со своими детьми.

Их было пятеро: трое сыновей и две дочери. Все пятеро принесли немалую пользу Отечеству. Младший – Михаил Костенко – стал академиком, Героем Социалистического Труда, лауреатом главных премий страны, о нём речь пойдёт в очерке “Закон академика Костенко”. Средний – Василий Костенко – с отличием окончил Санкт-Петербургский технологический институт, работал инженером на Балтийском судостроительном заводе, умер от голода в блокадном Ленинграде. Ну, а этот рассказ о старшем из братьев – Владимире.

Владимир Полиевктович родился 8 сентября 1881 года. Его детские годы прошли в Вейделевке. И Владимир, и младший брат его Михаил окончили Белгородскую классическую мужскую гимназию с золотой медалью. “Кроме предметов гимназической программы, – вспоминал впоследствии Владимир Костенко, – в Белгороде я также усиленно занимался рисованием, брал систематические уроки у опытного преподавателя, окончившего Академию художеств. Под его руководством я прошёл курс перспективы, рисовал карандашом, акварелью и маслом, делал рисунки с гипсовых деталей, увеличивал портреты с фотографий. Попутно с седьмого класса гимназии я стал брать уроки музыки, когда отец приобрёл пианино для моей сестры. В старших классах гимназии я начал изучать высшую математику по популярному курсу Лоренца, а также увлекался естественными науками, астрономией и философией”.

Летом 1900 года выпускник Белгородской гимназии В. Костенко подал заявление в Кронштадтское морское инженерное училище с просьбой “допустить на кораблестроительное отделение”. Из пятидесяти державших экзамены на это отделение было зачислено только пятеро.

Училище он закончил с золотой медалью и “занесением на мраморную доску”. На дворе был май 1904 года. Шёл четвёртый месяц русско-японской войны. 19 мая молодой инженер получает назначение в Петербургский военный порт помощником строителя новейшего броненосца “Орёл”. Во многом это было связано с темой дипломной работы Костенко – проектом нового облегчённого броненосного крейсера, – где впервые в мировой практике судостроения было предусмотрено линейно-возвышенное расположение орудийных башен. В августе 1904 года Владимир становится корабельным инженером броненосца “Орёл”.

2 октября “Орёл” в составе Второй Тихоокеанской эскадры уходит на Дальний Восток. Тяжелейший морской поход длился 220 дней. 14 мая 1905 года началось трагическое для нашего флота Цусимское сражение, где на новейшие броненосцы типа “Бородино”, к которым относился и “Орёл”, легла основная тяжесть боя. На следующий день, 15 мая, остатки эскадры под командованием контр-адмирала Небогатова были окружены главными силами японского флота и сдались. В числе спустивших флаги был и единственный уцелевший из четырёх броненосцев “Орёл”. В том, что сильно пострадавший накануне от вражеского огня корабль не опрокинулся и уцелел, немалая заслуга корабельного инженера В. П. Костенко: в ходе Цусимского сражения ему удалось внедрить на “Орле” систему быстрого выравнивания крена и дифферента, что позволило нашему земляку первым в мире применить в аварийных условиях таблицы непотопляемости А. Н. Крылова и тем самым предотвратить опрокидывание “Орла”. За это впоследствии Владимир Полиевктович был награждён орденом Святой Анны 3-й степени.

В. П. Костенко, вступивший в подпольную организацию марксистов ещё на втором курсе морского училища, и на корабле вёл нелегальную политическую работу, организовал кружок, в который входил и баталёр Алексей Новиков, впоследствии известный писатель А. С. Новиков-Прибой, автор романа “Цусима”. К первому тому этого романа Новиков-Прибой сделал такое примечание: “В. П. Костенко, с которым я плавал на броненосце “Орёл”, оказался как герой настолько необходимым для моей книги, что если бы его не существовало в природе, то пришлось бы такого выдумать. Поэтому я уделяю ему в данном произведении так много места. Он фигурирует у меня под псевдонимом инженера Васильева. В целях конспирации так его называли в узком кругу матросов-революционеров. Но теперь мне кажется, что я напрасно своевременно не опубликовал его под настоящей фамилией”. Писатель при создании “Цусимы” пользовался материалами В. П. Костенко, в романе, в частности, широко цитируются дневниковые записи корабельного инженера. Владимир Полиевктович опубликовал и собственную книгу “На “Орле” в Цусиме”, которая выдержала три издания.

В. П. Костенко пробыл в японском плену до 6 февраля 1906 года. Он был единственным из шести корабельных инженеров, отправившихся с эскадрой из Кронштадта, пережившим Цусимское сражение. Владимир Полиевктович возвращается в Россию, охваченную революционными событиями, заслонившими даже горечь от проигранной войны и унижительного Портсмутского мира. Необходимо было восстанавливать флот. Уже в апреле 1906 года Костенко назначается помощником строителя броненосца “Андрей Первозванный” в Петербурге. Достройка корабля проходит напряжённо: проект постоянно дорабатывался и перерабатывался на основе опыта недавней войны. 1 июля 1907 года Костенко отправляется в командировку в Англию, на завод в город Барроу-ин-Фернесс, где по заказу русского правительства строится броненосный крейсер “Рюрик”. За успешное выполнение этого ответственного задания В. П. Костенко был награждён орденом Святого Станислава 2-й степени.

Осенью 1908 года Владимир Костенко переходит на работу в Морской технический комитет, который тогда возглавлял выдающийся учёный-кораблестроитель, будущий академик Алексей Николаевич Крылов. В 1909 году в качестве руководителя группы слушателей Морской инженерной академии Костенко опять совершает длительную поездку в Англию, где посещает ряд крупнейших верфей, и в том числе ту, на которой полным ходом шло строительство крупнейших пассажирских лайнеров – “Олимпика” и “Титаника”. Костенко, которому англичане разрешили ознакомиться с чертежами строящихся лайнеров, выразил серьёзные сомнения в эффективности их системы непотопляемости, назвав её весьма упрощённой. Особое внимание английских конструкторов Владимир Полиевктович обратил на потенциальную опасность того, что водонепроницаемые переборки отсеков “Титаника” не доходят до главной палубы. По сути, система обеспечения надёжности морского гиганта была упрощена в угоду повышенной комфортабельности. Однако советы Костенко остались без внимания: англичане русского инженера выслушали и холодно поблагодарили за “интересные мысли”.

Через несколько лет эти мысли Костенко изложил в своём докладе на заседании Общества Судостроения в Петербурге, но доводы молодого инженера большинством присутствующих не приняли всерьёз, его выступление потонуло в гуле возмущённых голосов. Разгоревшийся в ходе заседания спор остался незавершённым, а спустя несколько дней из Атлантики пришла страшная весть: в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в первом же своём рейсе “Титаник” столкнулся с айсбергом и затонул. Гибель судна была предопределена, в том числе, и теми грубыми просчётами в проекте, на которые обращал внимание английских конструкторов инженер Костенко. На состоявшемся вскоре очередном заседании Общества Судостроения А. Н. Крылов, пользовавшийся среди кораблестроителей непререкаемым авторитетом, подвёл итоги дискуссии о “Титанике” следующими словами: “Величайший в мире и роскошный корабль погиб, как древний Вавилон, от развратной роскоши”. И добавил: “Эта история показывает, каков Костенко как корабельный инженер”.

А в начале 1910 года Владимир Полиевктович продолжал усиленно трудиться в Морском техническом комитете. Между ним и Крыловым устанавливаются доверительные отношения. Однако размеренная жизнь инженера Костенко была внезапно прервана 23 марта 1910 года арестом по обвинению

в революционной деятельности и заключением под стражу в Трубецкой бастии Петропавловской крепости.

Главной уликой против Костенко была найденная у него пачка листовок. Дело в том, что Владимир Полиевктович, находясь в японском плену, сошёлся с некоторыми представителями партии левых эсеров и проникся их идеями. Это явление было широко распространено среди русских военнослужащих, переживших трагедию Порт-Артура и Цусимы и утративших доверие к действующей власти. В рядах эсеров Костенко занимал видное место во многом благодаря своим личным качествам, входил в революционное бюро партии с подпольной кличкой Цицерон. В 1908 году социалисты-революционеры готовили покушение на Николая Второго.

Подробности участия Костенко в этой акции стали известны много позже, в противном случае ему не удалось бы избежать виселицы. В июле 1910 года он был осуждён на шесть лет каторги, но в декабре 1911 года – по ходатайству А. Н. Крылова и морского министра, вице-адмирала И. К. Григоровича – был помилован императором Николаем II, освобождён из заключения и уволен с флота.

В 1912 году по рекомендации Крылова и Григоровича Костенко заступил на должность начальника технической судостроительной конторы Общества Николаевских заводов и верфей “Наваль”, являвшейся на тот период самым технически оснащённым корабельным производством на юге России.

Империя переживала тогда настоящий судостроительный бум: строились новые дредноуты и крейсера, эсминцы и подводные лодки, корабли других классов. Основной фронт работ на “Навале” касался двух наиболее крупных объектов постройки – дредноутов “Императрица Екатерина Великая” и “Император Николай I”, который был заложен перед самой Первой мировой войной. В 1916 году, уже в разгар войны, группа конструкторов под руководством Костенко приступила к проектированию линкоров нового поколения. Было разработано несколько вариантов кораблей, вооружённых 16-дюймовыми орудиями главного калибра в двух- или трёхорудийных башнях. Предложенный Костенко состав системы конструктивной противоторпедной защиты корпуса стал классическим для большинства проектов тяжёлых артиллерийских кораблей, разработанных на рубеже 20-х годов... Но наступил 1917 год с его кровавыми, драматичными для России событиями, и стране стало совсем не до кораблестроения.

1 сентября 1917 года Владимира Костенко избрали главой Николаевского городского самоуправления. В марте 1918-го Николаев был занят немецкими войсками. А через несколько дней в городе вспыхнуло восстание, организованное большевистским подпольем. 25 марта Костенко был арестован немцами “за плохую организацию порядка в городе”, хотя прямого отношения к происходящему не имел. Немецкое командование собиралось отдать его под трибунал, однако настойчивое ходатайство общественности и горожан вынудило коменданта гарнизона отпустить арестованного. В дальнейшем власть в Николаеве ещё несколько раз переходила из рук в руки: немцев сменили войска Антанты, потом пришли белые, и лишь к началу 1920 года Николаев окончательно становится советским.

14 апреля 1920 года Костенко назначается членом правления технического руководства Объединённых Николаевских государственных судостроительных заводов. Опытный инженер, он много делает для приведения в порядок впавших в запустение верфей с большим числом недостроенных кораблей.

В 1922 году заканчивается николаевский период жизни Костенко, и он переезжает в Харьков, где становится начальником промышленности ВСНХ УССР. В 1924 году он уже в Ленинграде, на новой должности – член правления по технической части “Судотреста”. Выражаясь современным языком, это была государственная корпорация, в которую входили многие крупные и средние заводы и предприятия Ленинграда, Москвы и Харькова.

В конце 20-х годов в СССР прошло несколько крупных судебных процессов по выявлению хищений и прямого вредительства (в их числе – знаменитое Шахтинское дело). В большинстве случаев местные руководители, пытаясь скрыть свою некомпетентность, валили всю вину на дореволюционных технических специалистов, выставляя их “вредителями и саботажниками”. Не избежал подобной участи и Костенко. 27 декабря 1928 года его арестовали по

обвинению в перерасходе сметной стоимости транспортных судов. Дело было сфабриковано, чтобы скрыть промахи руководства.

9 июля 1929 года Костенко приговаривают к расстрелу, который был замечен на десятилетнее заключение на Соловках. Однако потребность в квалифицированных специалистах в связи с началом индустриализации постоянно возрастала — и Владимира Полиевктовича переводят в Харьков для отбывания срока заключения в Особом бюро при ОГПУ, позже такие учреждения будут называть “шарашками”. Заключённый инженер работал над проектом реконструкции и модернизации николаевских судостроительных заводов. Некоторые решения, разработанные им для скоростной сборки гражданских судов, предвосхитили аналогичные мероприятия американцев во время поточного производства морских транспортов в годы Второй мировой войны. Чуть позже, в 1930 году, Костенко переводят в Ленинград, где он также разрабатывает ряд проектов по модернизации уже ленинградских заводов. В 1931 году его досрочно освобождают.

Владимир Полиевктович поступает на работу в “Проектверфь” — проектную организацию, занимавшуюся реконструкцией и строительством заводов, с 1936 года переименованную в ГСПИ-2. Это назначение совпало с обострением международной обстановки на дальневосточных границах СССР. В связи с этим для усиления промышленно-экономической базы Дальневосточного края 10 августа 1931 года правительство СССР приняло решение построить судостроительный завод универсального профиля на берегу Амура неподалёку от Хабаровска.

В. П. Костенко считал наиболее целесообразным расположить завод не там, где предполагалось ранее, а в районе Малого и Большого Силинских озёр, одно из которых намеревался превратить во внутренний закрытый бассейн, а другое — в большой рейд для достройки кораблей в стороне от амурского фарватера. Руководители строительства выступили против этого плана, но на совещании в правительстве СССР идею Костенко поддержал И. В. Сталин, что предопределило судьбу проекта и всей стройки. Позднее Владимир Полиевктович трижды на правительственных совещаниях в присутствии Сталина отстаивал свой план постройки принципиально новых судостроительных заводов.

В результате Амурский судостроительный завод был построен вблизи города Комсомольск-на-Амуре. Предприятие должно было строить суда на горизонтальных стапелях в отапливаемых сухих доках под перекрытиями шатрового типа. Эта идея была воплощена в жизнь впервые в практике мирового судостроения, а проект завода на Амуре определил перспективы проектирования и строительства судостроительных предприятий во всём мире на много лет вперёд.

Необходимость охраны северных рубежей СССР потребовала и там создать собственную судостроительную базу. Костенко как специалисту в создании верфей в самых неподходящих для этого местах поручили разработать проект размещения нового завода в Северодвинске. В самый разгар работ по проектированию и строительству этого важного объекта Владимира Полиевктовича в очередной раз арестовывают. Ему инкриминируют преднамеренный выбор площадки для строительства северодвинского завода на болотистом месте, что якобы повлекло за собой большие перерасходы при выполнении гидрологических работ. Естественно, следствию не удалось найти существенных улик против Костенко, и явно сфабрикованное дело планировалось прекратить. Но грянула война...

В июле 1941 года В. П. Костенко был переведён из Ленинграда в златоустовскую тюрьму, дело было возобновлено и тянулось почти год. Лишь 10 июня 1942 года его освобождают в Челябинске... “в связи с отсутствием состава преступления”. Впоследствии многие специалисты отмечали, что точный и единственно верный выбор площадки для северодвинского завода, сделанный Владимиром Костенко, имел огромное значение для успешной обороны северных рубежей нашей страны в ходе Великой Отечественной войны.

18 июня 1942 года Владимир Полиевктович назначается заместителем директора ГСПИ-2 (так стал называться институт “Проектверфь”), эвакуированного в Омск. В 1944 году Костенко руководил уже реэвакуацией института в Ленинград.

10 апреля 1945 года за активное участие в строительстве Комсомольского судостроительного завода Владимира Костенко наградили орденом Трудового

Красного Знамени. В 1950 году И. В. Сталин лично вносит его фамилию в список будущих лауреатов Сталинской (Государственной) премии за создание советских судостроительных заводов первого поколения, в частности, за разработку плана реконструкции Ленинградских судостроительных верфей. 3 марта того же 1950-го В. П. Костенко был удостоен Сталинской (Государственной) премии СССР. В Советском Союзе было трудно найти судостроительный завод, в реконструкции и модернизации которого не принял бы участие Владимир Полиевктович Костенко.

С 1946 года В. П. Костенко в течение десяти лет был членом Центрального научного инженерно-технического общества судостроения, а в 1955-м его избрали почётным членом этого общества; много лет наш земляк работал на общественных началах в научно-технических советах Министерства судостроительной промышленности и Министерства военных и военно-морских предприятий, а также был членом научно-технического совета ЦНИИ имени академика Крылова и членом редколлегии журнала «Судостроение».

1 октября 1953 года по состоянию здоровья В. П. Костенко переходит на сокращённый график работы в должности главного технолога по судостроению в ГСПИ-2, которую исполнял до 1956 года. 14 января 1956 года Владимир Полиевктович ушёл из жизни. Он похоронен в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище.

Владимир Костенко прожил непростую, насыщенную бурными и драматическими событиями жизнь. Во многом благодаря его усилиям в нашей стране были запроектированы и построены многие судостроительные заводы, в том числе такие гиганты, как Северодвинский и Комсомольский, продолжающие успешно строить новые российские корабли и сегодня.

Технические идеи и открытия Владимира Костенко продолжают служить отечественной науке и технике. Время доказало, что, кроме глубоких знаний и неуёмной энергии, этот талантливый инженер обладал ещё и недюжинной прозорливостью, которая позволяла ему из множества самых разных технических решений всегда выбирать наиболее перспективное, необходимое для будущего развития кораблестроения.

И ещё об одном – очень важном: Владимир Полиевктович обладал необыкновенно отзывчивым сердцем, именно оно постоянно заставляло его отвлекаться то на революционную, то на литературную, то на общественную деятельность. Сердечная отзывчивость, совесть, свойственные нашему земляку, были причиной того, что он всегда брал ответственность за порученное дело исключительно на себя.

Обладая незаурядными, выдающимися способностями, Владимир Костенко наверняка мог бы достичь ещё более значительных высот в научно-техническом плане, если бы был сконцентрирован только на одном кораблестроении. Мог бы... Но тогда это был бы совсем другой человек.

Закон академика Костенко

“...Судьбы людей таковы, что их либо быстро забывают после смерти, либо, наоборот, они всё больше и больше вырастают в нашей памяти как живые памятники прошлого и светочи жизни”. Эти слова, сказанные нашим земляком, академиком М. П. Костенко о своём друге – выдающемся учёном С. И. Вавилове, – в полной мере могут быть отнесены и к самому Михаилу Полиевктовичу. Его замечательные научные открытия и научно-технические достижения в области энергетики не только не потеряли своего значения, но и год от года становятся всё более актуальными и востребованными новыми поколениями учёных и инженеров.

Михаил Полиевктович родился 16 декабря 1889 года в Вейделевке. В 1900 году отец юного Миши, Полиевкт Иванович, определил мальчика так же, как и своего старшего сына Владимира, в Белгородскую классическую мужскую гимназию. В 1907 году Михаил окончил гимназию с золотой медалью и поступил на естественный факультет Петербургского университета, однако уже через год перевёлся в Петербургский электротехнический институт.

За участие в студенческих волнениях в 1910 году М. П. Костенко был исключён из института и сослан в Чердынский уезд Пермской губернии, где работал монтером телефонной сети. После возвращения из ссылки поступил

вольнослушателем на электромеханический факультет Петербургского политехнического института, который окончил с отличием в 1918 году. Пройдя в течение двух лет подготовку к преподавательской и научно-исследовательской деятельности, в 1920 году был избран преподавателем-лаборантом кафедры электрических машин политехнического института.

Одновременно Михаил Костенко занимается созданием Магнитофугально-го бюро научно-технического отдела Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Это бюро, в котором работали такие же, как и Костенко, молодые учёные, наш земляк возглавлял на протяжении четырёх лет. Здесь была выполнена и первая по-настоящему значимая научно-исследовательская работа будущего академика – изобретение коллекторного компенсированного генератора нового типа (переменной частоты) с постоянной скоростью вращения ротора.

Изобретениями молодого учёного заинтересовался крупный инженер-электротехник, нарком внешней торговли РСФСР Л. Б. Красин, который предложил М. П. Костенко отправиться в составе Российской торговой миссии в Англию, чтобы поработать там над усовершенствованием и патентованием своих изобретений. Кроме того, М. П. Костенко должен был заниматься в Англии приёмкой оборудования для советских электромеханических заводов. Михаил Полиевктович не только с честью справился с этим сложным и ответственным заданием, но и сумел запатентовать несколько своих изобретений.

В Англии М. П. Костенко познакомился близко с Петром Леонидовичем Капицей. В это время будущий нобелевский лауреат работал в Кавендишской лаборатории Кембриджского университета, изучая треки альфа-частиц, Зееман-эффект и другие явления в сильных магнитных полях. Для опытов Капице нужны были большие токи на весьма короткие моменты времени. Костенко, уже хорошо знакомый с особенностями работы синхронных генераторов, действующих в условиях коротких замыканий, предложил Капице использовать большие всплески тока, возникающие при внезапном коротком замыкании синхронных генераторов, а в качестве нового источника большой мгновенной мощности избрать быстроходный синхронный генератор. Это давало возможность, быстро выключив сильно перегружаемый генератор, не «сжечь» его и использовать в течение короткого промежутка времени запасённую ранее в процессе разгона электромагнитную и кинетическую энергию ротора.

Идеи Костенко очень понравились Капице. Он попросил Михаила Полиевктовича выполнить предварительные расчёты. К следующей их встрече в Кембридже М. П. Костенко подготовил все исходные данные: он мастерски подобрал параметры синхронного генератора, получив максимально возможные для машины заданных габаритов всплески тока и соответствующие магнитные поля.

Капица ознакомил с проектом руководителя Кавендишской лаборатории профессора Резерфорда. Знаменитый физик высоко отозвался об идее эксперимента, но захотел, чтобы расчёты проверил какой-нибудь видный английский электротехник. Костенко предложил кандидатуру Майлса Уокера, профессора электротехники Манчестерского университета.

Существенных изменений в проект Уокер не внёс и полностью его одобрил. Вскоре фирма «Метрополитен-Виккерс» приняла заказ на изготовление устройства, а М. П. Костенко и П. Л. Капица стали соавторами предложенного ими первого в мире ударного генератора, получив 30 июня 1926 года английский патент на его изобретение.

После возвращения в СССР М. П. Костенко продолжил преподавательскую деятельность в Ленинградском политехническом институте. В 1927 году он был избран доцентом, а в 1930-м – профессором и заведующим кафедрой электрических машин. Одновременно наш земляк работал на заводе «Электросила», где под его руководством проводились исследования асинхронных двигателей при переменной частоте питающей сети. Именно к этому периоду относятся фундаментальные исследования М. П. Костенко в области асинхронных машин, приведшие затем к созданию им фундаментальной теории «всеобщего трансформатора».

Трудные, напряжённые, но приносящие радость выдающихся побед годы... М. П. Костенко приступает к сложной и ответственной работе в качестве эксперта по созданию новых серий электрических машин на заводах страны. Так, весь 1935 год он провёл на Харьковском электромеханическом заводе, где

трудился в должности шеф-электрика. В Харькове под его руководством сформировалась целая школа инженеров-исследователей, которая в дальнейшем внесла крупный вклад в развитие электромашиностроения в СССР.

В 1936 году, после возвращения в Ленинград, М. П. Костенко был избран деканом электромеханического факультета Ленинградского политехнического института, а в 1937-м ему присуждается учёная степень доктора технических наук.

Фундаментальное значение имел проведённый им в это время цикл исследований по теории параметров и режимов синхронных машин. Основные положения этих исследований вошли впоследствии во все учебники и учебные пособия по курсу “Электрические машины”. Костенко провёл подробный анализ физических явлений в контурах синхронной машины, сопровождающих внезапное короткое замыкание, дал математическую интерпретацию процессов в синхронной машине при внезапном трёхфазном коротком замыкании, впервые предложил понятие сверхпереходного индуктивного сопротивления.

В 1939 году М. П. Костенко был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР и стал членом комиссии Отделения технических наук академии по выбору системы тока для электрификации железных дорог. В том же году наш земляк назначается заведующим лабораторией Энергетического института Академии наук СССР. С конца 30-х годов ни одна серьёзная задача, поставленная перед отечественным электромашиностроением, не решалась без участия Костенко или в качестве руководителя исследования, или в качестве консультанта проекта.

Во время Великой Отечественной войны М. П. Костенко был эвакуирован из Ленинграда сначала в Москву, а затем в Ташкент. Там он работал заместителем директора Энергетического института Узбекского филиала АН СССР, начальником Энергетического сектора этого же филиала и профессором кафедры “Электрические машины” Среднеазиатского индустриального института. Работая в Узбекистане, Михаил Полиевктович провёл ряд научно-исследовательских работ, позволивших поднять мощность крупнейших электростанций Узбекистана более чем на 20 процентов.

В 1949 году за работы в области специальных электрических машин и внедрение их серий в производство М. П. Костенко становится лауреатом Государственной премии СССР, а в 1951 году он был вторично удостоен Государственной премии СССР за фундаментальный труд “Электрические машины. Специальная часть”. В этом же году по его инициативе был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт электромашиностроения, который он возглавлял в течение 15 лет. Институт стал научным центром страны по крупному машиностроению. Здесь была развита теория моделирования мощных энергосистем с помощью специальных электрических машин и агрегатов небольшой мощности.

В связи с началом строительства мощных гидроэлектростанций во ВНИИ электромашиностроения на основе теоретических исследований Костенко были созданы модели Свирской, Днепровской и Куйбышевской ГЭС, линий электропередач Свирь – Ленинград и Куйбышев – Москва, Московской энергосистемы, проводились исследования статической и динамической устойчивости линий электропередач “Волжская ГЭС – Москва” и “Волгоградская ГЭС – Москва”. За создание электродинамической модели энергосистем страны в 1958 году М. П. Костенко была присуждена Ленинская премия. В 1953 году наш земляк был избран действительным членом Академии наук СССР.

В начале 1950-х годов М. П. Костенко заведует Ленинградским отделением Института автоматики и телемеханики АН СССР. В период с 1955-го по 1966-й он – директор Института электромеханики Академии наук СССР в Ленинграде. В эти годы академиком Костенко проводились исследования систем синхронного вращения затвора гидросооружений, телемеханизации энергосистем, создавались новые быстродействующие системы телеуправления в энергосистемах со сверхдальними линиями электропередач.

В последние годы жизни Михаил Полиевктович проводил большую работу как председатель Научного совета по теоретическим и физическим проблемам энергетики АН СССР, был научным консультантом по турбо- и гидрогенераторам и электродинамическому моделированию энергосистем, консультировал по поводу проектирования мощных турбогенераторов для атомных электростанций, редактировал переводы своего капитального труда “Электрические

машины” на английский, французский, испанский и португальский языки. В 1969 году М. П. Костенко было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Михаил Полиевктович Костенко ушёл из жизни 18 декабря 1976 года, похоронен в Ленинграде на Богословском кладбище.

Дочь Михаила Полиевктовича – Елена Михайловна Костенко – известный художник, член Санкт-Петербургского союза художников. Полотна Е. М. Костенко хранятся в фондах многих отечественных и зарубежных музеев, в частных коллекциях. В 1981 году состоялась её персональная выставка в Белгороде.

Академик Костенко – выдающийся учёный, один из основателей отечественной научной школы электромашиностроения, внёсший огромный вклад в развитие теории электротехники и электроэнергетики. Список его достижений впечатляет.

Будучи уже всемирно известным и признанным учёным, Михаил Полиевктович в интервью ленинградскому радио говорил: “Знакомясь в лондонских библиотеках с большой технической литературой, я подметил в развитии технической мысли одно очень интересное явление. Время от времени на страницах технических журналов, научных сборников, в отдельных монографиях вдруг всплывают некоторые “модные” вопросы науки и техники, которые чрезвычайно широко дискутируются, к которым привлечено внимание научной и технической общественности. Эти вопросы некоторое время живут на страницах печати, затем интерес к ним постепенно пропадает, и через некоторое время о них совершенно забывают. Вместе с тем некоторые вопросы науки и техники не привлекают к себе большого внимания, кажутся второстепенными, малозначимыми. Однако проходит время, и о них начинают говорить всё чаще, они всё более широко разрабатываются и, наконец, уверенно входят в жизнь, твёрдо занимая в ней подобающее место. Анализируя причины этого интересного явления, я понял, что оно может определять и судьбу учёного. Можно некоторое время блистать, привлекать к себе внимание, быть “модным”, а затем через некоторое время о тебе забудут, и никто в дальнейшем не вспомнит.

Что же за вопросы, которые могут быть некоторое время модными, а затем – полностью забытыми? Такими вопросами в науке и технике могут быть лишь вопросы, рождённые в отвлечённом мышлении, не связанные с практикой жизни. Они могут быть оригинальны, привлечь к себе на некоторое время внимание, но, как и обо всём не нужном для жизни, о них быстро забудут. И, наоборот, то, что рождено из практики, из потребности жизни, будет развиваться и уверенно войдёт в неё. Думая о пути учёного, надо постоянно об этом помнить. Если не хочешь быть пустоцветом, если хочешь служить народу, если хочешь заслужить признание, надо браться за те вопросы, которые, возможно, на первый взгляд кажутся второстепенными, но которые выдвигаются жизнью, практикой.

Где и как находить эти нужные и важные вопросы? Вывод ясен. Нужно идти на завод, на производство, туда, где создаются материальные ценности, где каждодневно возникают новые и новые научные и технические проблемы, требующие научной разработки. Здесь трудно будет ошибиться и взяться за решение таких вопросов, которые не нужны для жизни, для практики...”

Такой подход к решению любых научных и научно-технических задач стал для академика Костенко законом – создавать новые научные теории и методы расчёта, отталкиваясь исключительно от потребностей производства. В следовании этому закону и кроется секрет выдающихся научных достижений нашего замечательного земляка.

“ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ МОЖНО ВЕРИТЬ ДО КОНЦА!”

Да, именно так пишут наши читатели о Станиславе Юрьевиче Куняеве. Строки читательских писем проникнуты необыкновенной теплотой и любовью, признанием огромных заслуг выдающегося русского поэта, писателя, публициста. В этом Станислав Юрьевич является продолжателем дела Пушкина и Некрасова, издававших самый значительный журнал XIX века в России — легендарный “Современник”. Журнал Станислава Куняева “Наш современник” достойно держит эту высокую планку и в XXI веке. Самое главное, он является живой связью между миром литературы и океаном читательской жизни, что находит подтверждение в непрекращающемся потоке читательской почты. И в каждом письме — благодарность, в каждом письме — высокое признание заслуг и трудов как главного редактора журнала, так и его сотрудников. Эта живая связь и является главной опорой и поддержкой журнала в наше тяжёлое для русской литературы, но судьбоносное время. Если мы выстоим сейчас, то выстоим и всегда, но сделать это мы сможем только с вашей поддержкой, дорогие наши друзья, наши преданные читатели! На Ваших плечах стояла и стоит русская литература — удивительное явление всей мировой культуры.

“ПИСАТЕЛЬ В РОССИИ НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ САМОМУ СЕБЕ”

Уважаемый Станислав Юрьевич, добрый день!

Сердечно поздравляю Вас с прошедшими праздниками и (простите за опоздание!) с 85-летием. Желаю Вам добра и здоровья. К моим поздравлениям присоединяется и Николай Михайлович Рубцов, что изображён на конверте. Судя по Вашей многогранной и активной деятельности, Бог даёт Вам сил и энергии для труда на благо России. Много верных слов высказано в Ваш адрес Вашими друзьями, соратниками и читателями журнала. Хотелось бы мне поддержать Владимира Николаевича Крупина в его намерении опубликовать свою повесть о Куняеве. Жаль, что она не опубликована, но “писатель в России не принадлежит самому себе”, как говаривал Александр Сергеевич Пушкин. Низко кланяюсь Вам, Станислав Юрьевич, за публикацию моих стихов. Недавно мне сообщили, что читатели “Нашего современника” на Урале решили провести мероприятия с обсуждением моего творчества. Для меня такое известие — лучшее лекарство, так как зрение у меня село.

Читал и перечитывал Ваши книги, воспоминания о зимовках в лесу, воспоминания и свои зимовки, когда я, молодой и здоровый, подрабатывал на смолокурном заводе. А вот мне уже скоро 60, пенсия, как оказалось теперь, благодаря заботам нашего правительства, не близко, нужно работать с Божьей помощью, несмотря на недуги. В Вологде мне не смогли найти книгу Сергея Куняева о Николае Клюеве, только после привезла из Москвы дочь Александра Яшина Наталья. Доброго Вам здоровья, Станислав Юрьевич, многое хотел сказать Вам хорошего, но разволновался, а надо работать.

С поклоном

В. Мишенёв

г. Никольск Вологодской области

“СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ ЧИТАЮ ВАШИ СТИХИ...”

Здравствуйте, Станислав Юрьевич!

У библиотекарей всегда много работы, но вот Ваша книга “Глубокий день” 1978 г. заставила меня отвлечься от насущных проблем, ещё раз пересмотреть свою жизнь, многое вспомнить из времён своей юности.

*Не земля, а всего лишь страна,
Не страна, а всего только город,
Только улица, клён у окна...
Надоело! Я весел и молод.
Я устал от родимых примет,
От причуд материнского нрава,
И лежит предо мною весь свет,
И любовь, и работа, и слава!..*

Думаю, Вы эти строки помните наизусть, но я, к сожалению, только сейчас открываю Вашу лирику. Стихи, написанные Вами, когда мне было 3 года, сейчас я в свои 55 лет без слёз не могу читать.

*Как посинела к осени вода,
Как потемнела к осени природа!
В моё лицо дохнули холода,
И снегом потянуло с небосвода...
...Чем ближе ночь, тем Родина дороже.*

Откровения за всю прожитую жизнь...

*Я эту книгу судьбой оплатил,
Много?
А может быть, мало?
Слово сберёг, а себя отравил...
Господи — с кем не бывало!*

*Чья-то рука из грядущего дня
Вдруг из печатного праха
Выберет лучшую для меня —
И встрепенётся бумага...*

*Сколько иллюзий терпела она,
Сколько страстей умирjala!
Книга раскрыта и обнажена...
Ей даже ты доверяла!*

*Холод зимы и дыханье весны,
Горечь и сладость разлуки,
Грубая правда и нежные сны,
Лишь бы в пристрастные руки.*

Оказывается, Ваши сборники есть в больших библиотеках, но у меня, увы... Чудом этот нашла. Жизнь души человеческой — перед этим я просто “снимаю шляпу”, хотя мой головной убор — это платок. Знаете, Станислав Юрьевич, от души хочется пожелать Вам дальнейших успехов в Вашем творчестве и спасибо Творцу за все Ваши строки! Уважаю название нового Вашего сборника “Со слезами на глазах”, именно так я и читаю Ваши стихи.

Спасибо за журнал. Всего самого наилучшего Вам.
Многая лета!

Лидия Владимировна Крупцева,
библиотекарь с 37-летним стажем
г. Львов Курской области

“...ТО, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ И ДЕЛАЕТЕ ДЛЯ РОССИИ”

Здравствуйтесь, уважаемый Станислав Юрьевич!

Заранее прошу простить меня за сумбурное письмо, но не могу не написать, чтобы, хотя бы с опозданием, пожелать Вам много и много лет — на благо и во благо России. И да хранит Вас и Ваших близких Господь!

В конце ноября прошлого года я оказалась на несколько дней в Москве и не могла, конечно, не зайти в редакцию любимого журнала. Признаюсь, хотелось мне и лично познакомиться с Вами, не случилось, но удалось купить несколько Ваших книг.

Журнал Ваш — это замечательное и нужное издание, выхода каждого номера ждём с нетерпением. Читаю не только сама, но и мои друзья, так как библиотека по-прежнему не имеет возможности выписывать журнал. У нашего государства нет, к сожалению, на это средств. Это, конечно, печально, но пока можем выписывать сами — будем выписывать на собственные деньги. Хотя, если бы, паче чаяния, главным редактором “Нашего современника” были бы не Вы, — думаю, вряд ли бы он имел такую репутацию и такой тираж. Я читала, разумеется, и Ваши стихи, и Вашу публицистику, и это всегда интересно, страстно, умно. Это не лесть, как Вы понимаете, но только лишь признание Ваших заслуг, Вашего умения поговорить так с читателем. И вот — открыла Ваш “Дневник третьего тысячелетия” и прочла то, что Вы пишете о трёх ваших заветных книгах, и я сама вспомнила, как читала и перечитывала “Певцов” Тургенева и “Тараса Бульбу” Гоголя, и плакала над этими книгами. Ведь “Певцы” — это и мой сокровенный и любимый рассказ. И “Тарас...”, и “Капитанская дочка” Пушкина. И мне захотелось ещё и ещё поблагодарить Вас за то, что Вы сделали и делаете для России. Всегда помню об этом с радостью в душе — есть человек, которому можно верить до конца. Как можно было бы жить на планете Земля, если бы не такие люди, как Вы!

С искренним уважением и признанием — Ваша читательница
Елена Балашова
г. Чухлома Костромской области

“РУЧЕЙКИ ПОЭЗИИ СЛИВАЮТСЯ В МНОГОВОДНЫЕ РЕКИ...”

Здравствуйтесь, уважаемый Станислав Юрьевич!

Огромное спасибо Вам за книги, за журналы, за Ваш звонок, за тёплые слова. Присланные Вами книги и журналы — это самое дорогое, что у меня есть. Из всех своих слабых сил стараюсь популяризовать Ваши произведения, рассказываю о Вашем журнале, написала на Украину, в Татарстан и т. д. В октябре прошлого года, принимая участие во встрече самодельных поэтов в городе Котельнич с читателями местной библиотеки им. Рахманова, познакомила их с Вашей книгой “Поэзия. Судьба. Россия”. На 10-й конференции межмуниципального творческого объединения “Златоуст”, на котором собрались делегации из семи районов Кировской области и города Кирова, я также напомнила местным авторам о великолепном журнале, ведущем своё начало от пушкинского “Современника”, а теперь лучшим в России современном литературном журнале “Наш современник” и призвала выписывать его.

Участники котельничского литературного объединения “Грани” знают и любят произведения многих авторов, которые названы в книге “Поэзия. Судьба. Россия”, менее известных, чем Распутин, Белов, Лиханов, Крупин. Приятно, что наши земляки вятичи представлены в журнале довольно широко. Внимательное отношение к авторам вдохновляет и читателей, а ведь это говорит о том, что и сам главный редактор интеллигентен и чуток.

Уважаемый Станислав Юрьевич, ваши книги для меня — открытие и откровение. Медленно и раздумчиво читаю их с карандашом. Радуют встречи с дорогими именами. И. А. Дедков у нас в Костромском пединституте им. Некрасова вёл курс журналистики. Открываю для себя и новые имена, но Ваша книга — настоящая. Высылаю Вам сборник стихов нашего костромского поэта Леонида Николаевича Попова. Он трепетно любил свою малую родину, русскую словесность защищал. Он создал в родной Вохме литературное объединение

“Северные Увалы”. Участники его – люди простые, искренние, работающие, творческие. Думаю, что Вы солидарны со мной, ведь написал же о Вас В. Бондаренко, что Вы привлекли на страницы журнала “Наш современник” “... всю яркую, провинциальную поэзию России” (газ. “Завтра” № 47, 2017).

Всё имеет своё начало, как ручейки, текущие от истока, сливаются потом в многоводные реки. Это мы – ручейки поэзии, участники литературных кружков, это мы подпитываем своими силами вершины русской поэзии.

Желаю Вам и Вашему сыну Сергею, и всей редакции здоровья, творческих успехов!

С глубоким уважением

Г. Л. Бабенко

г. Котельнич Кировской области

“ОНИ ОПАСАЮТСЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ПУБЛИЦИСТА...”

Дорогой Станислав Юрьевич!

Спасибо Вам за журнал “Наш современник” и его героических сотрудников, за многолетнее жертвенное служение русской словесности, за мощную творческую ауру, за великорусскую силу Вашего таланта, возвышающего нас и Отечество! Благодаря Вам “креативный” литератор, записной политикан и отвязный либерал знают своё настоящее место. Не нашлось ни одного интеллектуала во враждебном стане, кто бы вступил в полемику с автором выдающихся публицистических произведений “Шляхта и мы”, “Жрецы и жертвы холокоста”. Они опасаются выдающегося публициста и воспринимают Ваши объективные аналитические суждения с боязнью, как бы не оказаться побитыми ещё более разоблачительно и постыдно. Это их старая школа уклончивой лжи посредством умолчания. Их ёрнический талант барахтается на мелководье шумного кагала и “русскоязычного” базара.

Ваш **Рудольф Панфёров**

г. Калуга

“КУНЯЕВ ТОТ ЖЕ, И “СОВРЕМЕННОК” – НА ТЕХ ЖЕ ПОЗИЦИЯХ”

Здравствуйте, Станислав Юрьевич!

Когда-то, в добрые старые времена, бывая у нас в творческих командировках осенью, Вы находили минутку, чтобы забежать в редакцию “Правды Севера”. В это время мужской состав маленького коллектива, находясь во власти первобытного инстинкта, уже промышлял в тайге, и вас встречала только скромная сотрудница районного радио да работники типографии. Мы беседовали, обменивались информацией. Я записывала всё это на магнитофон, чтобы завтра голос столичного гостя в утренней передаче услышал весь Ербогачён. Потом материал шёл в газету, и несколько дней спустя о приезде известного поэта и писателя узнавали в самых отдалённых уголках района. Вы обязательно заходили вычитать оттиск, а сделав необходимые правки, уезжали, в том числе, и в зимовье к Роману Ивановичу, одному из героев “Тунгусской хроники”.

С тех пор прошли десятилетия (просто не верится!). Нет больше великой державы, удивительной страны (сейчас это совершенно очевидно), нет партийной печати и районного радио, нет советской поэзии и литературы, кино и театра, искусства... Ушли замечательные люди – наши современники.

Что осталось? **Нестерпимая ностальгия по прошлому.** Чувство страшной, непоправимой вины за то, что не поняли, не смогли, не удержали... Да ещё проклятая привычка – писать о том, что мы потеряли, о том, чего можем ещё лишиться при нынешнем раскладе жизни.

А кому, подумаешь, это нужно? Вокруг всё чужое: и времена, и нравы. И самое невероятное – люди, изменившиеся на глазах за такое, казалось бы, короткое время! Друзей, родственников совершенно не узнать! Какое-то

конвективное состояние — это когда чуждая тебе среда прёт куда-то, и ты вместе с ней, “не разделяя ни чувств, ни мыслей, ни страстей”. Тягостное и бессмысленное существование...

Но вот включаю как-то телевизор, а там сюжет о Вашем юбилее. Вы цитируете Достоевского, читаете четверостишие о “бесах, оседлавших свои “Мерседесы”, мчащихся навстречу славе и деньгам...

Ещё во времена расцвета социализма, когда никто не мог даже представить того, что с нами случится в 92-м и после, Вы одним из первых ставили жёсткие смелые прогнозы бесноватым, пытавшимся принизить, опустить традиции русской литературы! Диссидентствующим литераторам, закладывавшим мину замедленного действия под страну. Сейчас на пепелище СССР, несмотря ни на что, выходит журнал “Наш современник”, где Вы, Станислав Юрьевич, отважно, как лев, сражаясь с “бесами”, уже разрушившими и разграбившими наше отечество, продолжаете лечить больное общество публицистическими инъекциями патриотизма и самосохранения.

О том, как опасны Ваши разоблачения для бесовщины, рассказывают потоки словесных нечистот, направленные против Вас и патриотического, как они говорят, “совкового” журнала, возглавляемого Вами, заполонившие интернет. А ведь “совки” — это лучшие люди, построившие первое мощное социалистическое государство, спасшие страну и мир от “коричневой чумы”, первыми прорвавшиеся в космос, создавшие справедливую социальную систему и подлинно народную демократию.

И, Вы знаете, впервые за долгое время в душе появилась радость: **Куняев тот же, и “Современник” — на тех же позициях!** Стоит ещё бастион русской мысли и слова! Захотелось верить: даст Бог, будет жив и русский народ! Его мощный корень, прочно вросший в толщу родной почвы, не сломать, не вырвать, не выкорчевать, не одолеть золотому тельцу!

Станислав Юрьевич! Вы всегда любили сибиряков. Во многом благодаря “Современнику”, героями времени стали не только “покорители” края несметных богатств, те, что протягивали в тайге ЛЭП, строили гидроэлектростанции и БАМ, возводили новые города, но и простые люди из глубинки, с их непокорными характерами, надеждами и чаяниями. Вопреки тупой, застоявшейся кабинетной вкусовщине, печатали на страницах своего издания самобытных писателей, открывая им путь в большую литературу.

Встреча с Вами на телеэкране “разбередила” состояние, которое так знакомо всем, поверяющим перу и бумаге мысли, чувства, настроения. И я стала просматривать, дорабатывать, приводить в порядок свои записи с начала 90-х. Там тоже есть и о Достоевском, и о бесах, и о незаслуженной славе и неправедно нажитых капиталах.

Понимая, что всё изменилось в нашей жизни, я, утратив всякую скромность, решила отправить и предложить на Ваш суд один из своих рассказов. Называется он “Урок”. Со смелостью я выбрала “Наш “совковый” современник”, предположив, что народ устал и с отвращением отвернулся от журналов с “либеральной направленностью”, напичканных “удручающе нечитабельным чтивом”, и готов прочесть что-нибудь, более соответствующее национальному мировосприятию.

С уважением
Светлана Кузакова,
член Союза журналистов СССР
г. Иркутск

СКРОМНАЯ ГАЗЕТА ИЗ КИРЕНГИ

Уважаемые коллеги!

В прошлом голу у нас состоялся юбилей нашей скромной газеты. Об этом я хочу рассказать. В 1937 году в Казачинско-Ленском районе вышел первый информационный листок формата А-3 с названием “Путь Октября” — это была газета, которой в нынешнем году исполнилось 80 лет.

В 1994-м она была переименована в “Киренгу”, недавно объединена с типографией и называется теперь МУП “Формат”, руководит которым Арбатский

Виктор Владимирович. Тем не менее, газета осталась всё тем же изданием, изо дня в день повествующим о жизни таёжной глубинки.

Репортажи, интервью, заметки... А в них – события и судьбы тысяч людей. И всё это через сердце, через душу.

Ну, кому из вас не знакома рутина газетных будней? Авралы и волнения? А вместе с ними и радость общения с десятками, сотнями соотечественников, и осознание причастности к большому делу – летописи родного края?

Недавно я закончила работу в качестве автора-составителя книги, посвящённой 90-летию Казачинско-Ленского района, большая часть материалов которой взята из газеты “Киренга” (бывш. “Путь Октября”).

Я работала с библиотеками, музеями, архивами, школами, жителями деревень и посёлков. И все они в итоге ссылались на материалы газеты, все хранили вырезки статей из “районки”, подшивки или альбомы с вырезками.

Всем она родная.

Понятно, что со временем всё меняется. Менялся состав редакции, менялось оборудование. Неизменным было и остаётся одно – нужное и важное дело.

Редакции есть чем и кем гордиться.

В газету “Путь Октября” до Великой Отечественной войны литературным работником был принят семнадцатилетний паренёк Роман Гаврилович Иванов, впоследствии – Герой Советского Союза.

Редакция не прекращала выпуск издания ни в годы Великой Отечественной войны, ни в годы перестройки. И сегодня – пусть малочисленным составом, – но, как часы, ритмично отбивает свои строки, увековечивая имена и даты.

Пишущих в газете трое: редактор, корреспондент и корректор. Это “старожилы”, на которых и держится нынешняя “Киренга”.

К великому сожалению, у редакции нет достаточных финансовых средств для организации празднования, достойного их труда. Но подарки и поздравления никто не отменял. И коллектив (редакция + типография), и само издание достойны уважения и внимания.

С уважением

Светлана Седых,

пос. Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области

ПРОЩАНИЕ С ГЕРОЕМ

Уважаемая редакция!

Взяться за перо меня заставила история гибели нашего славного лётчика Романа Филлиппова. А новости из СМИ шли как бы стороной, пока не зазвонел звонок в Сирию снова попал в переплёт наш самолет... лётчик катапультировался... принял бой... погиб... Сообщили: тело везут в Воронеж.

Похоронят в моём городе!

Это меня подняло. Ещё не было пяти утра, а я оказался за компьютером и жадно-жадно впитывал информацию. Нашёл видео. Вот “птичка” самолёта заиграла пламенем. А она летит. Пламя, как из сопла. “Птичка” выпала из поля экрана. Другое видео: клуб чёрного дыма за горой взлетел вверх. Там самолёт взорвался. И ещё кадр: парашют плавно парит. Похоже на тренировку, если бы не выстрелы. Стреляют в лётчика. Вот какая-то рыжая возвышенность. Снега нет. Ясно, что где-то далеко на юге. С разных сторон сбегаются к валуны чёрные фигуры. Вот собрались вкруг за камнем. Громила с повязкой на голове и с автоматом спрятался невдалеке за деревом. Другой чуть вышел вперед, но к валуны не приближается. Раздался хлопок. Из-за валуны взлетело два дымка. Тот, что с повязкой на голове, лёг... А тех, кто был за валуном – как не было... Лишь один отлетел в сторону... А другой кинулся бежать...

Теперь я понял, что сделал тот, кто оказался за камнем: подорвал себя и этих в чёрном...

На сайте “Красной звезды” прочитал рассказ того, кто летел в паре со сбитым лётчиком:

– Голос у него не дрогнул, когда я предупредил: “По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!”

– Да, вижу! – ответил ведущий.

А потом так спокойно, словно это было сказано о чём-то обыденном и второстепенном:

– В меня попали...

И следом:

– Хорошо попали... Пожар правого... Тяну на юг... И левый становится...

И секунд через двадцать – крайнее:

– Вызывай поисково-спасательный отряд...

– А что было дальше?

Ведомый командира звена штурмовиков Су-25СМ замолчал. А потом продолжил:

– А дальше были крайние слова: “Уходи в облака”. Конечно, я не ушёл. Бросить командира – последнее дело.

Так в Сирии сбили наш самолёт.

На сайте армейской газеты: “Когда ПЗРК сработал по машине командира, все условности были отброшены, – продолжал рассказ лётчик. – Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля. В то же время продолжал передавать на КП координаты, вызывал поисково-спасательную службу. Место приземления командира я видел, но самого боя – нет, были сумерки. Уходить пришлось с аварийным остатком топлива, хватавшим только дотянуть до аэродрома...”

Он ушёл... И правильно, спору нет. А потом был валун... и хлопок... Интернет выбрасывает видео с крылом российского СУ-25 со звёздочкой...

Кто был сбитый лётчик? Роман Филиппов. Только теперь глянул в окно: ещё чернела ночь, под фонарями первозданно белело, а снежинки испещрили весь видимый простор.

Ещё не было восьми, как начал звонить военным, знакомым и не знакомым. И узнал: прощание в Доме офицеров. В каком? Их в городе два: один – настоящий, который с чьей-то больной головы отдали гражданским; другой – в построенном немцами военном городке. Похороны на Коминтерновском кладбище завтра.

На следующий день был у меня единственный план: проститься с Романом. С утра позвонил в Дом офицеров, и мне сказали:

– Прощание в одиннадцать...

Но решил приехать пораньше. Ехал на автобусе и удивлялся: куда-то делся вчерашний нежно-пушистый снежок – этот белый дождик. Вчерашние белые просторы испещрили рыжие полосы и клоки расчищенных за ночь улиц. Вот появилась часовенка и за ней – вход на кладбище:

– Там последний приют...

Ходил вдоль ограды и смотрел, кто собрался. В одной стороне стояла коробка кадетов Михайловского кадетского корпуса в чёрных шапках и шинелях. Я с ними поговорил. Они мне были дороги: когда-то в полном актовом зале встречался с ними и рассказывал про Гавриила Троепольского, а позже защищал в суде их директора. Невдалеке ёжились в куртках кадеты Горожанского кадетского корпуса. К изгороди приткнулись школьники с цветками в руках.

Сновали казаки в зелёных камуфляжных одеждах, моряки – в чёрных шинелях, лётчики – в голубых, всех возрастов женщины, мужчины – с букетами цветов или несколькими гвоздичками в руках.

Никого не пропускали на поле к Дому офицеров полицейские и курсанты.

Вспомнил, как в бытность моей учёбы в военном заведении стоял в оцеплении на Красной площади в Москве и никого не пропускал, как перед цепочкой оцепления остановился “ЗИМ” с маршалом Баграмяном, как к машине подскочил начальник курса, воевавший в Великую Отечественную в войсках маршала и посчитавший за счастье провести сквозь кордон своего командующего фронтом.

Но здесь маршалов не было, а собрались большей частью простые люди. Хотя нет-нет и появлялся какой-нибудь местный генерал, и его пропускали, или какие-нибудь чиновники среднего полёта. Встретил знакомого редактора газеты, фотокара, бывшего соседа по дому, они не усидели на работе.

Время шло. Я понял, что в 10 часов прощание не началось, но теперь надеялся, что начнется в 11. Морозило. А люди прибывали. Уже нельзя было свободно пройти, приходилось обходить. Поеживался в куртке, видя, как мёрзнут налегке одетые люди, а редактор вытирал платком нос, и бывший сосед по дому – фотокор – уже переступал с ноги на ногу.

Вот пронеслось:

— Они летят из Чкаловского...

11 часов... Мне же говорили, что начнётся прощание в это время. Но что-то никого на поле не пропускали. Видно было, как боролись люди с холодом: кто припрыгивал, кто махал руками, кто поднимал воротник пальто или куртки, кто сильнее натягивал кепку, а кто — фуражку, кто курил. Можно было подумать, что мороз разгонит людей, но не тут-то было.

Вот к клубу откуда-то сбоку подъехала чёрная легковая машина. “Но это не катафалк”. Вот в толпе появились знамёна. Теперь я еле проходил по разросшейся, уплотнившейся толпе людей, заполнившей, кроме тротуара, проезжую часть.

Люди, несмотря на мороз, ждали.

Вот к журналистам подошёл генерал и стал накачивать: так не снимать, это не снимать, это нельзя, то нельзя... Вот пропустили через оцепление школьников, и они, каждый с двумя гвоздичками в руке, быстро пошли по дорожке к клубу.

Откуда-то сбоку к порожкам клуба выехал тёмно-синий микроавтобус “Форд”, и за ним — чёрная иномарка. Из машин вышли и прошли в Дом офицеров люди в военной и гражданской одежде. Среди них мелькнуло лицо губернатора, а позади гостей в цивильном шёл бывший командующий военно-воздушными силами. Машины сдали на край площадки. Становилось ясно: вскоре должен появиться и тот, кого все ждали.

Минут через восемь заревела сирена, и уже ко входу подъехали два чёрных микроавтобуса. Все замерли. Видно было, как операторы повернули в сторону камеры: им запретили снимать. Стояла такая тишина, что слышался шестес шин проезжавших по проспекту машин.

Шестеро военных в голубой форме достали из катафалка блестящий коричневый лаком гроб, покрытый флагом страны, на котором лежала лётная фуражка, и медленно понесли в клуб. Поднявшись на ступени, подошли к входным дверям.

Кто-то крикнул:

— Не сбейте фуражку!..

Несущие чуть опустили гроб и скрылись в проходе.

Катафалк отъехал в сторону.

Колонна промёрзших, но не спасовавших перед морозом людей тронулась от ворот в ограждение на поле. Впереди шли мужчины в военном камуфляже со знаменем. Люди подходили к аркам металлоискателей, их досматривали, они поднимались по ступеням в Дом офицеров. Здание поглощало людей, а поток от ворот нарастал. Словно открыли шлюз, и скопившаяся масса теперь вываливалась на площадь перед клубом. Одну колонну дополнила вторая.

Появилось много военных в лётной форме. Они зашли в боковые проходы, заполняя и так полную площадь перед домом. Операторы и журналисты забрались на бугор снимать скопившихся людей.

Их стали сгонять.

А как не заснять невиданное для города скопление? Эта масса тихо-тихо пододвигалась к пропускным пунктам. Я заметил бабушку с внучкой. “Какая молодец! Девочка запомнит это событие на всю жизнь”.

Время тянулось.

Вот снова движение застопорилось. А когда вышел из Дома офицеров местный митрополит и сел в чёрный лимузин, стоящий у порога, все поняли: что-то в Доме офицеров происходило. А потом пробежало: “Митинг провели. Выступал владыка, говорили военачальники”.

От этого стало немножко не по себе: что же без людей-то? Что, нельзя было сказать при всех, чтобы все пришедшие услышали? Дали бы и людям высказаться. А то без них говорили. Хотя говорить-то больше должен был город, в котором родился лётчик, а не только гости из столицы и местные чиновники. Этой возможности лишили простых людей. Но такое отношение властей давно не удивляет нас...

Снова потекли ручейки людей через металлоискатели. Кто только не шёл! Даже колонна из полицейских. Они дожидались. У них тоже гибли сослуживцы в Чечне, а теперь, в мирное время — на посту. И кто-то тоже был героем. Только если подвиг Романа облетел и всколыхнул всю страну, то подвиг полицейского мог остаться в тени.

Я не припоминал случая, когда вот так по внутреннему порыву собралось на прощание столько людей. И не видно конца потоку. Прибывали новые и новые.

Люди шли по двум алым дорожкам. Вот к гробу подошла бабушка и положила две гвоздички. Вот — омовенец сделал руки по швам. Мужчина в куртке с капюшоном остановился и, посмотрев на родных лётчика, поклонился. Люди шли потоком.

Наконец, приблизился и я. Невольно в глазах бежали венки по стенам. Их было с полсотни. “А ещё на улице”, — вспомнил я венки при входе. Цветы вырастали горкой перед гробом, и их то и дело охапками относил в сторону майор.

Я шёл, а внутри что-то с силой поднималось, какое-то горькое и высокое чувство.

Передо мной всё четче высвечивался фотопортрет почему-то очень знакомого мне человека с гордой осанкой. Он как бы смотрел в сторону. Он словно отвёл взгляд: не глядите на меня. И от этой скромности становилось ещё горше. Может, так же смотрели на него все остальные, а он — чуть отводя взгляд. Отводя его от каждого. Может, упрекая: “Что ж вы... Не спасли меня...”

Накатывало и слепило глаза от света и влаги. И вот я остановился и, обводя глазами седовласых людей на скамьях — его отца и мать, его тещу и жену, молодую женщину в чёрном платке, — я склонил голову.

Вышел на свежий воздух. Я обошёл здание. Хвостик последних прощавшихся уходил в клуб. На моих часах было три часа дня.

С левой стороны от входа вытянулся почётный караул трёх родов войск. Ждали выноса тела...

Крутились операторы и журналисты. И в сторонке стоял кортеж.

Прозвучало указание: вынос гроба снимать не разрешат, и я не стал дожидаться, а сразу уехал на кладбище.

Вот траурная процессия вышла на аллею. Впереди офицер нёс портрет Романа. За ним снова несли венки. Потом три офицера — награды на подушечках. Подполковник высоко держал деревянный крест с табличкой:

Филиппов Роман Николаевич 13.08.1984–03.02.2018

За ним офицеры на плечах несли гроб, всё так же покрытый флагом, и поверх лежала фуражка, а их сопровождали четыре солдата из роты почётного караула с карабинами.

Операторы взобрались на стенки ограждения аллеи и снимали сверху, фиксируя последние метры налетавшего тысячи километров лётчика, которые подводили итог его жизни. Дальше шли священнослужители в белых одеждах, тянулась нескончаемая колонна людей.

Молодые и старые, военные и гражданские, кто-то переставлял палочку, кто с розами, кто с гвоздиками, кто вёл внуку, а один молодой человек без головного убора нёс годовалого ребёнка на руках.

В людской массе прошёл военный оркестр.

Людей остановили, не доходя до могилы. Родственникам разрешили пройти ближе.

Вот журналистов, обходя колонну по снежным обочинам, провели вперёд, где в стороне от могилы стояли курсанты с автоматами.

Все замерли.

“Сейчас опустят гроб в могилу, и прогремит салют”.

Подполковник взмахнул рукой, раздались выстрелы.

Романа Филиппова предали земле.

Следом оркестр заиграл “Прощание славянки”, и мимо расступившихся людей маршем прошла рота почётного караула.

Я молчал. Мне хотелось пройти к шатру. Бросить свою горсть земли в могилу Героя. Сказать слова. Услышать других. Но и тут не пускали. Не слышали и напутственных слов. Митинга для всех и здесь не получилось. А тот, что состоялся в Доме офицеров в узком кругу, без людей, явно не устраивал.

Жаль, что народного Героя отправили в последний путь без народного слова.

2 марта 2018 года
Михаил Иванович Фёдоров,
писатель, адвокат
г. Воронеж

НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Уважаемая редакция!

Пишет вам ветеран Великой Отечественной войны, а ныне заслуженный научный работник Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Много лет я собираю материалы о наших солдатах и офицерах, погибших при освобождении Белоруссии в 1944 году. Привлекла к этому делу и моих студентов. Хочу и вашему уважаемому журналу предложить мои заметки о судьбе моего знакомого фронтовика и отклики моих студентов.

Война 1941–1945 годов – чудовищная, жестокая и беспощадная – закончилась 73 года назад. Для многих людей это уже далёкое прошлое, однако годы Великой Отечественной войны не забудутся никогда – это священный, тяжёлый и героический эпос 1418 дней, когда воевала вся наша страна, от мала до велика. Имена верных сынов и дочерей Отечества высечены не только на мемориалах и памятниках. Они высечены и в наших сердцах и душах: это зарубки памяти о трагедии России и её народа.

Теперь о войне пишут, в основном, уже не те, кто воевал и победил, кто “держал второй фронт”, работая для будущей победы, – пишут их потомки, вспоминая рассказы дедов и отцов о пережитом ими – самом главном, что было в их собственной жизни и жизни нашей Родины. Те, кто пишет о прошедшей войне сегодня, становятся наследниками Великой Победы, хранителями исторической памяти народа. Это для нас важно и поистине необходимо в наше тревожное время!

Приятной неожиданностью для меня стал общественный резонанс на публикацию об Анатолии Ивановиче Пенове в “Белорусской военной газете”, которая дала статье о юном герое своё название – “Одно имя на двоих”. Газета имела в виду непреложный факт: два города – Вытегра в России и Витебск в Белоруссии – связаны одним именем – Пенов.

Он, вчерашний школьник, после ускоренного выпуска 10-го класса в конце января 1943 года стал курсантом Лепельского военного училища, где готовили боевых командиров. Так Анатолий Пенов стал одним из миллионов, участвовавших в деле Великой Победы, – тех, кого учили воевать и защищать Родину¹.

Но судьба и солдат, и армий решалась не только на полях битв. В Ставке Верховного Главнокомандования Советских Вооружённых Сил в тот период разрабатывалась операция “Багратион”, которая вошла в историю как одна из самых выдающихся и особенно крупных во Второй мировой войне. Её целью было полное освобождение Советской Белоруссии от фашистских оккупантов. Немцы называли Витебск “воротами в Прибалтику” и создали здесь неприступный “Восточный вал”: 4 линии обороны, состоящие из мощных железобетонных укреплений, многочисленных дзотов и минных полей. В этом городе-крепости были задействованы десятки фашистских штурмовых бригад и танковых дивизий. Позже захваченный в плен в районе Витебска немецкий генерал заявил: оборона города считалась настолько “надёжной и прочной”, что “наступление русских представлялось совершенно невозможным”².

Однако ключевые позиции немцев в районе Витебска перестали существовать. Но какой ценой! Продвижение советских войск в тех ожесточённых боях за город-крепость измерялось метрами, а суточные потери – сотнями жизней. Именно в такой фронтовой обстановке оказались “новоиспечённые” лейтенанты Лепельского военного училища, и среди них – Анатолий Пенов. Во время наступательных боёв за Витебск он командовал артиллерийским подразделением, отбивая одну атаку за другой. Из письма его ординарца родным, опубликованного в газете “Красный Север”, стали известны подробности героической гибели командира.

После публикации в “Белорусской военной газете” и выступления об А. Пенове на конференции мне как победителю в тематическом конкурсе “Актуальные проблемы развития восточнославянской цивилизации в современном мире (Россия – Белоруссия)” вручили грант от Института философии Российской академии наук.

Телевидение Белоруссии тотчас откликнулось на газетную публикацию об Анатолии Пенове: в письме из Минска от Ивановой Людмилы Александровны

¹ По данным статистики: из 10 ушедших на войну школьников погибли 8 человек.

² Василевский А. М. Воспоминания о белорусской битве. / В кн. “Освобождение Белоруссии”. М., “Наука”, 1970. С. 79.

я узнала о том, что после моей статьи показали село Высочаны и памятник, на котором высечено имя русского героя А. И. Пенова. “Около памятника было много молодёжи с цветами”, – пишет Людмила Александровна.

Несколько моих статей и писем самого Анатолия Пенова, написанных ещё в ту далёкую военную пору и адресованных мне, я отвезла на Поклонную гору в Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Сотрудники музея после проверки моих материалов приняли их по акту 281-Оф (протокол ЭФЗК № 19 от 9.11.2011) “на постоянное хранение”¹.

Заместитель директора, главный хранитель документов С. Л. Вельский написал мне: “Сердечно благодарим Вас за вклад в формирование фондов музея и увековечивание подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в памяти людей”².

Насколько внимательна молодёжь к событиям прошедшей войны, можно судить по следующему факту: мои бывшие студенты значимость газетных публикаций о юном герое отметили своими произведениями. К 60-летию Победы в газете “Богородские вести” появилось стихотворение Леонида Размахнина “Как мало осталось солдат” с подзаголовком “Светлой памяти Анатолия Пенова”.

*Как мало осталось солдат,
Шагнувших в тот памятный год
Под грозный военный набат
Собой заслонить свой народ.*

*Как мало осталось солдат
Из тех, кто стоял, как скала,
С войною ушедших в закат,
Чтоб Родина вечно жила...*

*Как мало осталось солдат,
Как дань — я им честь отдаю,
Кому многократно: “Виват!” —
Я сердцем своим воспою.*

Россия, Русь... Земля с неисчислимыми богатствами во все времена притягивала завоевателей со всех сторон света. И каждый раз спасала Россию **жертвенность лучших сыновей и дочерей**, не щадивших ради спасения Отчизны ни сил, ни жизни. Лучшие – самые совестливые, неравнодушные – всегда первыми встают на защиту родимой земли, оберегают мир от зла, разрушения и смерти.

На самом крутом повороте истории русские проявляли способность к сплочению, умение подчинить своё личное чаяниям своего народа; они поражали самоотверженностью и стойкостью, жертвенностью и беззаветной любовью к Родине и Отечеству.

Неоспорима справедливость слов легендарного разведчика Николая Ивановича Кузнецова: “Невозможно покорить наш народ, как невозможно погасить солнце!”

Так было во все времена.

Нина Михайловна Северикова,
ветеран Великой Отечественной войны,
заслуженный научный сотрудник
МГУ им. М. В. Ломоносова
г. Москва

¹ В Центральном музее хранятся также материалы о моей сестре Александре Михайловне Севериковой, сгоревшей в танке 23 февраля 1943 года при освобождении Ленинграда.

² В “Книгу Памяти” – “Вытегорский район” я послала недостающие сведения об А. И. Пенове и других 12 земляках. Глава Администрации Вытегорского муниципального района Александр Николаевич Павликов незамедлительно ответил мне: “Сведения о Ваших родных и наших земляках включены в электронную Книгу Памяти”; он сообщил, что планируется также и печатное издание “Книги Памяти”. В Приложении на 2 листах по существующей схеме были детально, чётко расписаны все присланные мною дополнительные сведения, за что я сердечно благодарю Александра Николаевича.

ОЛЬГА МИТРОХИНА

студентка КубГУ

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ТРАДИЦИИ

Впервые Лихоносковские чтения состоялись в прошлом году по инициативе литературного критика, главного редактора журнала “Родная Кубань” Юрия Павлова и декана журфака КубГУ Валерия Касьянова. Сегодняшнее мероприятие создаёт своего рода традицию. Оно уникально тем, что в нём участвует сам Виктор Иванович. Кто такой Лихоносков, студентам факультета журналистики объяснять не нужно, ведь его творчество изучается в рамках дисциплины “Русская литература 20 века”, да и сам он является почётным и частым гостем университета. В этом году конференция состоялась 1 июня.

Первый летний день. Десятый час утра. Подходишь к факультету журналистики в предвкушении этого дня, ведь готовиться к чтениям начинают за несколько месяцев. На входе стоят улыбочивые волонтеры и ждут гостей. Первая мысль: “Интересно сегодня встретить и послушать людей, с творчеством которых знакомишься на занятиях”. Поднимаешься на второй этаж и видишь, что в ожидании не ты один. В прошлом году одна из больших аудиторий была названа именем Лихоноскова. Около неё стоят толпы студентов, которые пришли пораньше, чтобы занять места. Там же выставлены несколько столов с книгами и фотографиями Виктора Ивановича. В аудитории царит атмосфера настоящего праздника: много цветов, участники в красивых нарядах, плакаты в честь мероприятия, а в конце аудитории огромный, на всю стену, баннер с фотографией, краткой биографией и цитатой Лихоноскова: “Литература – это моё счастье”.

На часах десять. Наконец появляется главный виновник торжества, конференция начинается.

С первым словом выступает Валерий Касьянов – декан факультета журналистики:

“Добрый день, уважаемые коллеги! Мне очень приятно поздравить вас с участием во Второй Международной конференции, посвящённой творчеству нашего великого писателя – Виктора Ивановича Лихоноскова. Я хочу сказать, что этот год прожит не впустую. Мы договорились с министерством культуры Краснодарского края, что со следующего года наша конференция войдёт в список основных культурных мероприятий региона. И станет ежегодной под патронажем администрации края”.

Депутат Государственной Думы РФ Николай Осадчий говорит:

“Дорогие друзья, я хотел бы поприветствовать вас от состава Государственной Думы, прежде всего, от тех, для кого слова “патриотизм”, “духовность”, “Россия” не являются внешними словами, а являются внутренним содержанием жизни, деятельности и всех устремлений. Для меня в чём сила Кожиновских, Селезнёвских, Лихоносковских чтений, в которых я участвую?”

А в том, что здесь звучит прекрасное русское слово. В том, что здесь можно искренне, откровенно говорить на темы, которые не могут не волновать каждого русского человека, и в том, что именно здесь происходит такое наполнение, насыщение и желание в чём-то совершенствоваться”.

Уже второй раз на конференцию приехала Лидия Сычёва – прозаик, публицист, главный редактор литературного журнала “МОЛОКО”:

“Долгое время, работая политическим журналистом, я видела разных людей: в Государственной Думе, в Совете Федерации, в правительстве, среди военных, предпринимателей, деятелей культуры. И теперь уже в свои годы могу подвести некий итог. Я могу сказать, что самые лучшие люди, которые мне встретились в жизни, – это были люди литературы. И Виктор Иванович – один из них”.

Речь Лидии Андреевны в основном адресована студентам:

“Я хочу пожелать вам следующего... Где бы вы ни работали, в какой сфере журналистики, сохраните, пожалуйста, любовь к русскому слову, к русскому языку и к родной земле. Только это делает художника, писателя, журналиста, да любого человека нужным своему народу. Всё остальное не имеет значения... Русское слово россиянин-журналист предавать не должен...”

Лидия Сычёва признаётся, что общего с Виктором Ивановичем у неё очень мало, но главное, что их объединяет, – это любовь к красоте, к русской истории и к жизни.

Из Москвы на чтения приехал главный редактор “Роман-газеты” Юрий Вильямович Козлов. В своём докладе он рассматривает традиции в творчестве Виктора Ивановича и современную российскую литературу. По его словам, Лихоносов и другие авторы “деревенской” прозы видели жизнь глазами народа, ощущали его боль, даже иллюзии, как свои собственные. Всё, невысказанное людьми, они отражали в своих произведениях, поэтому и получали признание. Юрий Вильямович утверждает, что именно это отличает их от многих современников. Поэтому и произведения этих авторов становились классическими уже при их жизни.

“Это уникальный творческий метод, который невозможно получить, с ним нужно родиться. У Лихоносова, Белова, Можаева, Распутина это было в каждой строчке. Ничего, кроме русского, они не могли сочинить...” – поясняет он.

Из творчества Лихоносова Козлов выделяет роман “Наш маленький Париж” и отзывается о нём так:

“... читается на одном дыхании, потому что правда в нём не вымышленная, а лёгкая, естественная, как воздух, которым дышишь...”

По мнению главного редактора “Роман-газеты”, традиция должна быть на одной волне с самоощущением народа, что и отразилось в творчестве классика.

“Ну, а теперь изюминка!” – произнёс Валерий Васильевич Касьянов и передал слово главному гостю – Виктору Ивановичу Лихоносову.

После громких аплодисментов в зале наступила тишина. “Я ради вас пришёл, не ради себя!” – начинает Виктор Иванович, и все присутствующие в аудитории отвечают ему улыбкой. В своей речи Лихоносов в основном обращается к студентам, называя их ласково “дети”, “детки”, “детшки”.

Он говорит, что специально медленно пишет свои произведения, так как живёт этим. Живёт воспоминаниями и боится расстаться с ними. Самый ценный совет, который даёт Виктор Иванович, – нужно следить за своей душой.

“Вот когда мгновенно что-то рождается в душе, не надо это терять, потом не восстановишь никогда... Когда вам захочется, сразу же пишите, а если не хочется – не нужно мучиться. Все фразы есть в душе, и писать надо тогда, когда есть желание. Это как хочешь идти на свидание – иди, обнять женщину хочешь – обнимай. Так же и письмо. Просто следите за собой, за своей душой...”

Лихоносов старается донести до публики, что писатель не должен специально сидеть за листком бумаги и пытаться что-то написать.

“Человек никак не может быть до конца свободным, когда сидит и пишет. Не правительство тому виной и не жена, которая ревнует, нет. Просто бумага тебе мешает. А когда ты без неё, в тебе всё рождается как по-божески. Вот этого надо добиваться, чтобы это одиночество души мгновенно так, как пух, опускалось на бумагу. Вот в этом и есть мастерство”.

Во время своего выступления Виктор Иванович рассказывает истории из своей жизни, делится чувствами, переживаниями, мыслями. От такого искреннего общения с читателями обстановка превратилась из официальной в тёплую, домашнюю. В завершение писатель читает несколько глав из одного своего произведения. Аудитория внимательно слушает его. В голове крутится мысль: «Это исторический момент – присутствовать на чтениях самого Лихоносова – великого классика литературы».

Во второй части конференции с докладами выступают и студенты факультета журналистики. Например, одна из учащихся 1 курса Виктория Тищенко рассказывает о теме казачества в творчестве писателя.

Руководитель Краснодарской краевой писательской организации Светлана Макарова подготовила доклад, посвящённый роли литературы в жизни молодёжи.

«Без литературы не может быть человека, а без русской литературы не может быть России, поэтому так важно сегодня оценивать состояние языка и литературы...» – начала писательница.

Она подчёркивает, что молодёжь очень зависит от гаджетов, которые разрушают молодое сознание. Он призывает воспитывать эстетический вкус. Потеря обществом интереса эстетике, чему способствуют современные технологии, неизбежно ведёт к животному началу.

«Лишённый эстетического вкуса, а, следовательно, духовно и нравственно не развитый субъект уже спускается по ступенькам расчеловечивания, – отмечает Светлана Макарова. – Конечно, нельзя опускать руки, мы должны бороться за наших детей. И у нас есть мощнейшее средство, излечивающее дикость и останавливающее процесс расчеловечивания, – это, конечно, книги. Если им найдётся место среди игрушек, гаджетов и прочих».

Светлана Николаевна перечисляет множество книг, которые способствуют пониманию любви как самопожертвования. Среди них роман Виктора Лихоносова «Наш маленький Париж».

Последней частью научно-практической конференции стала дискуссия. Обсуждали проблемы, связанные с журналистикой, литературой, критикой, историей. Виктор Лихоносов поднял очень важный вопрос – освещение Дня славянской письменности, Дня Кирилла и Мефодия.

«Вы почувствовали, что этот день был? Газеты раскрыли – вы что-нибудь нашли? Телевидение включали местное – вы что-нибудь увидели? Вы вообще чувствовали, что это День славянской письменности? Этот день в такую эпоху, когда с Запада веют такие гадкие ветры, идёт угроза, идёт идея разрушения всего русского, всего национального... Вы почувствовали его в крае?» Вот один из примеров, какие важные проблемы обсуждаются во время дискуссионной части. В этот раз её продлили на полчаса, так как в прошлом году часа для обсуждения злободневных вопросов не хватило.

Пять часов вечера. Конференция, ставшая уже доброй традицией, окончена. На протяжении семи часов обсудили столько тем! Чтобы осознать всё сказанное, потребуется много времени. А впереди подготовка нового сборника научных статей, который пополнит историю Лихоносовских чтений.

ЮРИЙ КОЗЛОВ

главный редактор “Роман-газеты”

ТВОРЧЕСТВО ВИКТОРА ЛИХОНОСОВА И СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Понятие “традиция” в литературе очень многозначно. На мой взгляд, оно включает в себя обобщение писателем духовного опыта народа, творческое преобразование его в художественное произведение, наконец, обогащение этого опыта собственным пониманием происходящего. Традиции русской литературы заложили Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Толстой, Достоевский, Гончаров, Чехов, Бунин, другие великие писатели. Затем в эту могучую реку влился огненный ручей революционного времени: Шолохов, Леонов, Маяковский, Алексей Толстой, Катаев. Список можно продолжать долго.

Литература советского времени синтезировала традиции русской и новой социалистической классики, обрела своё неповторимое лицо. Советская литература так или иначе, напрямую или скрытно, но выражала мироощущение всех слоёв общества: крестьянства, интеллигенции, рабочего класса, даже управляющего класса. Можно вспомнить роман Кочетова “Чего же ты хочешь?”, где автор дал жёсткий прогноз грядущих бед, если руководство КПСС не остановит процесс своего внутреннего перерождения. И этот прогноз сбылся в конце восьмидесятых-начале девяностых годов.

Интересы какого социального слоя общества выражает сегодняшняя массовая литература? На этот вопрос нет ответа.

“Роман-газета”, отметившая в прошлом году 90-летний юбилей, возникла в 1927 году, в очень сложное для страны время. Но классовая борьба в то время сочеталась с просвещением народа. Так называемые социальные лифты работали на полную мощность. Народ рвался к культуре, к образованию. На великих стройках выковывалась новая личность советского человека. Этот человек жил не материальными, а духовными интересами, а потому литература — книга, журнал — была нужна ему, как воздух. И потом СССР до самого своего конца по праву считался “самой читающей в мире страной”. Во многом потому, что существовали такие журналы, как “Роман-газета”, чей тираж достигал четырёх миллионов экземпляров.

Именно первое постреволюционное поколение одержало победу в страшной войне, оно практически всё полегло на полях сражений. Как писал в своих воспоминаниях представитель этого поколения философ Александр Зиновьев, мы жили в землянках, но читали Гегеля и Канта, изучали историю и литературу.

Сегодня, как свидетельствует статистика, взрослый гражданин России тратит на чтение книг не более пятнадцати минут в неделю. И вряд ли он читает Гегеля и Канта. Будет ли нынешнее – смартфонное и фейсбучное – поколение с такой же страстью и яростью защищать свою Родину, случись, не дай Бог, война?

Потом настало другое время. После короткого взлёта в шестидесятые годы социализм начал сдавать позиции. Народ по-прежнему много читал, но созидательный пафос из общества ушёл. Люди перестали верить в обещанный коммунизм. Властителями дум стали писатели, исследующие характеры героев внутри всевозможных социальных и житейских обстоятельств. В произведениях Юрия Трифонова, Владимира Маканина, Георгия Семёнова и других – их тогда с лёгкой руки критика Владимира Бондаренко называли “поколением сорокалетних” – уже не было созидательного пафоса, как, к примеру, в романах Катаева, Эренбурга, Gladкова, Леонова в двадцатых-тридцатых годах. Их творческий интерес сместился внутрь личности современного человека. Эти писатели показали медленное, но неостановимое *обуржуазивание* общества, плоды которого мы пожинаем сегодня. Они поставили неутешительный диагноз “развитому социализму”. Тогда, правда, критики не посмели чётко определить эту ситуацию как конфликт между неуничтожимой буржуазной сущностью среднестатистического человека и утрачивающим социальные идеалы государством. Люди чувствовали ложь, не верили власти, начинали жить мелкими внутренними переживаниями и страстями, и это делало их несчастными и неприкаянными. Типичный пример – образ Зилова из пьесы Вампилова “Утиная охота”. Это объяснялось не только тем, что социализм перестал нравиться советским людям, а ещё и тем, что партийные идеологи во все годы существования СССР, как могли, “рубил” в обществе национальные русские корни, препятствовали обращению интеллигенции к духовным и нравственным традициям русского народа. Грубо говоря, общество оторвалось одновременно и от социализма как государственного устройства, и от своих национальных корней и традиций. К чему это в конечном итоге привело – известно.

Как раз в ту пору – во второй половине шестидесятых годов – и вступал в литературу Виктор Лихоносов, занявший в ней особое, уникальное место. В его творчестве никогда не было стремления к социальному преобразованию мира, как не было и желания “копаться” в житейских переживаниях “амбивалентных”, то есть думающих одно, но поступающих по-другому героев. Его “корни” – живая связь с жизнью народа – не были перерублены. Он как будто шагнул в советскую литературу прямо из девятнадцатого века, продолжил традиции таких писателей, как Тургенев, Лесков, Гончаров, Чехов. Это сугубо **антибуржуазная** (за это и не любит Запад Россию!) традиция. Все ведущие русские писатели, включая Толстого и Достоевского, воинствующе **антибуржуазны**. Перманентная трагедия России как раз и заключается в противоестественном сосуществовании **антибуржуазного** по своей природе народа и непристойно (паразитически, отвязанно) **буржуазной** власти. Поэтому-то и появляются теории о генетической предрасположенности русского народа к прогрессу и общечеловеческим, то есть западным, ценностям, включая новейшие в виде однополовых браков, отъёма детей и толерантной мультикультурности.

Лучшие представители русской литературы советского времени, то есть второй половины XX века, каждый на своём уровне и на своей, так сказать, творческой территории исследовали происходящие в обществе процессы, опираясь на народные представления о жизни, добре и зле, морали и нравственности, то есть продолжали и развивали традиции русских классиков. В прозе это Валентин Распутин, Василий Белов, Владимир Солоухин и, конечно же, Виктор Лихоносов; в поэзии – Николай Рубцов и Юрий Кузнецов; в критике – Юрий Селезнёв, Вадим Кожин, Михаил Лобанов, Анатолий Ланшиков, Пётр Палиевский. При этом нельзя сказать, что они легко входили в литературу, что им был обеспечен режим наибольшего благоприятствования.

Как бы я сформулировал ту традицию, которую мы связываем с творчеством Виктора Ивановича Лихоносова? Видеть жизнь глазами народа, оценивать явления действительности, опираясь на духовный опыт народа, главное же – ощущать надежды, боль, даже иллюзии народа как свои собственные. Подобное понимание творчества позволяло создавать произведения, которые становились классикой уже при жизни авторов. Это был уникальный творческий метод. Ему невозможно было научить, с ним нужно

было родиться. Лихоносову, Белову, Можаяеву, Распутину не надо было, как академику Лихачёву, сочинять “заметки о русском”. Это было в каждой их строчке, ничего, кроме “русского”, они и не могли сочинить.

Были писатели, имитировавшие этот метод. Внешне чертами эпического “народного романа” обладали произведения Георгия Маркова, Анатолия Иванова, Петра Проскурина, Анатолия Калинина, Виталия Закруткина, Анатолия Ананьева, Сергея Залыгина. Но была ли это истинно-народная литература? Это была скорее адаптация традиции, подгонка её под востребованную читателями форму. Сейчас, к примеру, перечитывать роман Ананьева “Годы без войны” невозможно без внутреннего сопротивления. А, казалось бы, простой, с краеведческими мотивами роман Виктора Лихоносова “Наш маленький Париж” читается на одном дыхании, потому что правда в нём не вымученная (классовая или сконструированная), а лёгкая и естественная, как воздух, которым дышишь, не думая.

Традиции Виктора Лихоносова, продолжают в лучших произведениях таких – уже другого поколения – писателей, как Михаил Тарковский из Красноярска, Борис Агеев из Курска, Сергей Михеенков из Калуги. Из молодых я бы назвал Андрея Антипина из Забайкалья. Правда, их произведения не доходят до массового читателя из-за малых тиражей и “некоммерческого” (в понимании издателей) содержания. На рынке этим писателям места нет. Сегодня там господствуют стилистические извращения и “гламурный модернизм”, чуждый и враждебный всем нормальным людям.

Но у всякой традиции есть свои сроки, своя внутренняя жизнь, своя перспектива. Она существует, пока востребована, пока есть среда, где она как “рыба в воде”. Применительно к литературе традиция должна быть на одной волне с самоощущением народа, его невысказанными стремлениями, его пониманием добра и зла, оценкой происходящих событий.

И здесь мы подходим к теме, которую очень трудно осмыслить. А ещё труднее выйти из неё на какие-нибудь позитивные обобщения. Как понимать растянувшееся во времени “безмолвие народа”? Куда делся вековой настрой на правду и справедливость? Где та черта, на которой “народ-богоносец”, а потом “народ – строитель самого справедливого общества” превратился в “квалифицированного потребителя”, живущего уже не столько собственным трудом, сколько доходом с различных торговых операций? Опираясь на какие идейные, нравственные, духовные и прочие категории народ должен противостоять санкциям и тому, что мы называем “давлением Запада на Россию”?

Как эти темы отражаются в современной литературе? Где произведения, выражающие народную правду? В советское время любое, даже не самое талантливое, но претендующее на правду о жизни литературное произведение становилось бестселлером. Сегодня ощущение такое, что правда никому не нужна. Она тонет в белом и чёрном “информационном шуме”, взаимоисключающих толкованиях. Люди дезориентированы, энергии отдельных личностей не складываются в общую волю, побуждающую власть действовать в интересах общества.

Текущая действительность всегда являлась самым острым, горячим материалом для литературы. В русской литературной традиции, помимо критического реализма, отмечено и появление таких романов, как “Что делать?” Чернышевского, “Мать” Горького. Они как бы откликнулись на будущее в настоящем. В начале двухтысячных подобную попытку предпринял Захар Прилепин с романом “Санька”.

Сегодняшняя литература не дотягивается до традиций Виктора Лихоносова. Она летает гораздо ниже, как бабочка-однодневка. Современным писателям недостаёт таланта, спокойного мужества и уверенности в своём праве произнести ту правду, которую почувствует и признает безмолвствующий народ. А между тем, настало время, когда литература должна вести за собой людей. Но это в наших сегодняшних условиях предельно трудная задача. Констатировать беду уже недостаточно. Пришла пора выходить на борьбу с бедой, а для этого нужны такие дефицитные в обществе моральные категории, как вера, воля и самоотречение.

В чём сила таких писателей, как Виктор Лихоносов, Валентин Распутин, Леонид Бородин? Они ощущали “невысказанное” в душе народа, ощущали его сломленную волю как свой личный “перелом”, а потому их произведения

получали признание у читателей, становились вехами на пути развития литературы. А Леонид Бородин ещё и “отмотал” два срока за попытку претворить народные – христианско-социалистические – идеалы в жизнь.

Герой Лихоносова – это “человек в себе” – негромкий, но наблюдательный, всё подмечающий, сопереживающий, но меньше всего склонный навязывать себя окружающим, стремящийся не разоблачать и мучить других, а делать людям добро и относиться к ним по-человечески. Его герой – настоящий русский, вышедший из народа, интеллигент, а сам Лихоносов сразу заявил о себе как о **национальном русском писателе**, изображающем жизнь народа в том времени, в котором ему выпало жить. В спокойной и внешне мало динамичной прозе Лихоносова – рассказах “Брянские”, “Марея”, повести “На долгую память” – ощущается глубинное кровное родство писателя с народом. Народ всегда остаётся народом, он выше и первичнее любых проводимых над ним социальных экспериментов, таких, например, как колхозы, или нынешний насильственный возврат к капитализму. В его тяжёлой жизни писатель видит поэзию и красоту неразгаданного русского триединства – народа, земли и природы, которые всегда добрее и благороднее любой управляющей ими в данный момент власти.

Сегодня литература находится в некоем цивилизационном тупике. Россия как социальное сообщество русского и примкнувших к нему народов не ощущает того, что Блок называл “чувством пути”. Если у общества нет этого чувства, то на первый план выходят сугубо житейские, примитивные потребности. Поэтому становится востребованной развлекающая, отвлекающая, шокирующая литература. Это вступает в противоречие с традициями русской культуры. Да, мы правы, когда критикуем политику крупных издательств, но ведь они идут в фарватере читательских предпочтений, публикуют то, что можно продать.

Мы чтим традиции Виктора Лихоносова, отдаём дань уважения и восхищения этому мастеру, но при этом, к сожалению, приходится признавать, что современная литература идёт не по проложенному им и другими народными в истинном понимании этого слова писателями путём.

Бессилие, ощущение конца света, наступление последних времён, неприятие существующего мира – вот одна из главных тем современной русской литературы. Если прежде традиция поддерживалась верой в природный разум и высшую мудрость народа, то сейчас литература смещается к новому полюсу притяжения – сомнамбулическому приближению к некоей черте, за которой вселенское зло, апокалипсис.

Внутри “безмолвия” народа конструируются самые причудливые сюжетные конструкции. Это и романтический синтез “алтарей и ядерных ракет” у Александра Проханова, и саморазоблачительная правда о так называемом “русском духовном сопротивлении” в последних романах Владимира Личутина, и вялотекущая трагедия ненахождения себя в новой реальности у героев Евгения Шишкина и Михаила Тарковского.

Встречаются и попытки гальванизации традиции. К примеру, в редакцию “Роман-газеты” присылается большое количество произведений о том, что уже не вызывает у читателей интереса в силу отсутствия новизны. Немало появилось и мастеров живописания мерзости повседневного существования, бессилия окружающих людей что-либо изменить в своей жизни. Про такие повести и рассказы хочется сказать, что они хуже правды, потому что внушают читателям чувство отчаяния и покорность.

Есть литература простого набора истин, описания естественных человеческих чувств, так сказать, бытовая литература. Мы в “Роман-газете” часто публикуем подобные (среднего уровня) произведения. Они вроде бы правильные, но в них нет открытий, нет попытки заглянуть за горизонт повседневной жизни, как, например, сделал это Виктор Лихоносов в, казалось бы, предельно коротком и бесхитростном рассказе “Брянские”.

Где случился разрыв? Почему распалась связь между литературой и читателем? Думается, эта связь распалась не только в литературе, но и в самом нашем обществе на данном этапе исторического существования. Встроившись на ходу в “мировой порядок”, страна осталась без национальных традиций и, соответственно, без большой литературы. Сегодняшняя российская культура – это малопривлекательная тень не лучших образцов культуры западной.

Настала эпоха глобализации. Сейчас мы присутствуем при формировании очередного “нового человека” – потребителя. Ему совершенно не нужна серьёзная литература. Поэтому “лидерами продаж” сегодня становятся писатели, описывающие не красоту, а уродство человека, видящие в русском народе не родную, а враждебную общность, считающие народ быдлом. Отчасти поэтому волшебный русский язык, которым пишет Лихоносов, сегодня не востребован. Современные молодые читатели уже неспособны его воспринять, насладиться им. Тревожная ситуация с литературным русским языком подтверждается ещё и тем, что среди современных молодых писателей практически нет языковтворцев, художников слова, какими были в своё время Василий Белов, Валентин Распутин, а сегодня являются Виктор Лихоносов, Владимир Личутин, Виктор Потанин, Борис Якимов.

Увы, нынешнему российскому государству глубоко не интересна литература, никакой государственной политики в культуре нет. Достаточно посмотреть, кто становится лауреатами различных премий, кого издают издательства-монополисты, что ставят популярные театры. Но пока ещё каждый, кто имеет собственный взгляд на литературу и культуру, может на своём уровне заниматься любимым делом, искать единомышленников, организовывать встречи и конференции. Виктор Лихоносов, его общественная позиция, публицистика, исторические очерки, редакторская деятельность становятся “точками притяжения” для всех, кто работает в русле национальных традиций, кто чувствует, пусть по-разному, боль и немоту народа, кто пытается осмыслить происходящее сегодня с русскими и Россией. Это не только писатели, филологи, журналисты, но и работники библиотек и музеев, главное же – студенты, молодые читатели, те, от кого зависит будущее.

В России, как известно, нет идеологии. Она не предусмотрена Конституцией. Идеология сегодня у нас подменена вульгарной геополитикой. Но и здесь нет особых причин для гордости, за исключением Крыма.

Литература у нас существует по законам рынка, то есть она вне того, что в прежние годы именовалось “литературным процессом”. Талантливых критиков, оценивающих произведения писателей с точки зрения национальной литературы и духовных ценностей народа, остались единицы. Назову двоих: Александра Казинцева и Юрия Павлова, представляющих журналы “Наш современник” и “Родная Кубань”. Меня очень радует, что оба эти издания не только скорбят о том, что происходит со страной и литературой, но и смотрят в будущее. Они активно привлекают к сотрудничеству молодёжь, пишут о новых талантливых авторах, всячески их поддерживают.

Традиции Лихоносова живы в публицистике. Назову молодого автора Станислава Смагина. Его сборник очерков о Донбассе “Там, где мой народ” недавно вышел в журнале “Роман-газета”. Это поистине лихоносовский взгляд на трагедию Донбасса глазами народа. Моральное и нравственное осмысление ситуации с точки зрения вечных истин, которые изначально “заархивированы” в народном сознании. Автор не боится называть вещи своими именами.

Трудно делать определённый прогноз на будущее. Мне, например, совершенно очевидно, что капитализм в той форме, в какой он утвердился в России, не подходит русскому народу, не даёт развиваться стране. Мы сейчас находимся в некоей исторической паузе. Народ ещё не сказал своего последнего слова. В такие времена люди начинают отчаянно искать ориентиры в жизни, ощупью ищут произведения, вносящие в душу не гнев, хаос и смятение, а спокойную уверенность в собственных силах, веру в жизнь и окружающих людей. Здесь у современной национальной русской литературы появляется шанс. Очень важно его не упустить.

Поэтому произведения Виктора Лихоносова будут жить, будут востребованы читателям до тех пор, пока существует Россия и в ней живут русские люди.

.....
Поздравляем нашего давнего друга и автора, замечательного писателя Юрия Козлова с юбилеем!

Редакция

ГЛЕБ ЕЛИСЕЕВ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА РУСИ XVI ВЕКА

Новый роман Дмитрия Володихина “Смертная чаша”

Специфика исторических романов заключается в том, что здесь не может быть спойлеров – каждый желающий может взять в руки соответствующую историческую монографию и выяснить, как оно там случилось на самом деле, как продолжалось и “чем сердце успокоилось”. Задача исторического романиста всегда состоит в ином – интересно рассказать об уже известных событиях, в чём-то даже загипнотизировать читателя, заставить его забыть, что исход книги ему давно известен по действительной истории.

Писатель и историк Дмитрий Михайлович Володихин среди специалистов по средневековой Руси известен своими монографиями по XVI веку (хотя у него есть интересные работы и по веку предшествующему, и по столетию последующему (например, биография царя Фёдора Алексеевича). Даже странно, что он давным-давно не попытался “конвертировать” обширные профессиональные знания об эпохе в чисто художественный текст. Видимо, мешала чрезмерная ответственность: с одной стороны, можно увлечься желанием высказать всё, что знаешь, и предложить публике вместо художественного произведения нудный беллетризованный псевдосправочник. С другой – столь же легко скатиться в излишнюю модернизацию и легкомыслие, превратив серьёзный рассказ о трагической эпохе в водевиль с картонными персонажами, выражающимися если не на современном сленге, то на чём-то, к нему крайне близком. Слава Богу, в своём тексте Д. М. Володихин удачно избежал двух этих угроз, сделав книгу одновременно и художественно завораживающей, и научно достоверной.

Создатель романа “Смертная чаша” представил культуру и обыденность средневековой Руси XVI века постигаемой для современного читателя. Да, для этого всё равно требуется определённое усилие, существует “порог вхождения”, но заслуга автора заключается в том, что этот “порог” он повышал постепенно. Обширная экспозиция, к которой фактически сводится вся первая часть романа (“Тишина”), необходима для перехода к основным моментам повествования, когда исторический роман в узком смысле слова превращается у Володихина в “историческую панораму”. Читателям нужно было привыкнуть к главным героям, к особенностям их поведения, пронизанным совсем иными ценностными основами, даже

к специфической манере выражать мысли. Когда это перестаёшь замечать, книга резко набирает обороты и стремительно движется к кульминации — к битве при Молодях, произошедшей в 1572 году. Не случайно первая часть не имеет чёткой хронологической привязки, тогда как уже со второй чётко отмечены границы времени, в рамках которого разворачиваются события: часть 2 — “Нашествие. Апрель–май 1571”; часть 3 — “На пепле. Осень 1571”; часть 4 — “Защита. Апрель–август 1572”.

Книга повествует об очень сложной для понимания эпохе и об очень трагическом эпизоде внутри этого периода. Бесконечно тянется тяжёлая Ливонская война, где громкие победы русских чередуются с унижительными поражениями. Параллельно с действиями польских и литовских войск ведут свою войну против нашего отечества и крымские татары. На долю их хана Девлет Гирея в ходе боевых действий выпала самая большая военная удача — в мае 1571 года ему удалось взять и сжечь Москву. И эта катастрофа стала одним из важнейших исторических моментов, описанных в романе “Смертная чаша”.

Однако центральным эпизодом книги всё же оказались не разгром и поражение, а настоящая и полноценная победа. Впрочем, трагических эпизодов, неизбежных при любом пролитии крови, Д. М. Володихин, повествуя о битве при Молодях, не скрывает. Но подробное и развёрнутое описание боевых схваток заставляет испытать гордость за ратный подвиг наших предков. Воеводы М. И. Воротынский и Д. И. Хворостинин (главный герой романа “Смертная чаша”) до такой степени сокрушили орду Девлет Гирея, что это почти привело к военному краху крымской державы. Не зря современные исследователи отмечают, что битва при Молодях имела “геополитическое значение”. Основа для дальнейшего продвижения русской экспансии на юг, в Черноземье, была заложена именно здесь, на кровавом поле всего в пятьдесят верстах от Москвы.

Но в романе Володихин не просто следует за средневековыми русскими книжниками, излагая перипетии сражения. Он, пользуясь своими навыками историка-профессионала, делает ход событий понятным для нашего современника, при этом нисколько ни греша против исторической истины.

Композиционно роман выглядит вроде бы простым и неравновесным: две части сравнимого объёма, более короткая третья и четвёртая, равная по количеству страниц трём предыдущим. Тем не менее, подобное разделение не выглядит неорганичным, учитывая внутреннюю сложность текста, где в повествование вплетены и ретроспекции (“Падение града Казанского”), и даже тексты-сказы, ранее вообще издававшиеся в качестве отдельных литературных произведений (“Буян-остров”). Неожиданны и перебивки в повествовательной тональности: например, в эпизодах, где в центре изложения событий оказывается сам государь Иван Васильевич Грозный. А эпизоды, где главным героем выступает немец-опричник Генрих Штаден, вообще ведутся от второго лица (на “ты”), чтобы столь сложным образом подчеркнуть его чуждость органичной жизни Московской Руси XVI века.

Удача ли этот роман Дмитрия Володихина? С точки зрения художественной — безусловно. Но вот с позиций исторического просвещения хотелось бы, чтобы автор уже сейчас подумал о его продолжении (и предварении), о создании целого цикла текстов о XVI веке.

Это сложно? Конечно же! Тяжело? А кто сомневается? Но, кроме Володихина, равноценно сочетающего в своём творчестве талант писателя и историка, вряд ли кто-нибудь ещё из современных прозаиков может решить столь огромную проблему — создать целостный образ Московской Руси второй половины XVI века.

Понимаю, что мои пожелания выглядят маниловщиной и “советами постороннего”. Но если бы автору “Смертной чаши” удалось реализовать столь масштабный и амбициозный замысел, то влияние такого цикла романов на современное массовое сознание, при удачном раскладе событий, могло бы быть не меньшим, чем эффект от исторической трилогии Г. Сенкевича в XIX веке. Не секрет, что для польских читателей того времени “Огнём и мечом”, “Потоп” и “Пан Володыевский” словно бы заново открыли героическую эпоху в судьбе их отечества, заставили гордиться свершениями предков и сокрушаться об их поражениях. Но самое главное — эти книги

порождали чувство единой и не прекратившейся, несмотря на все катаклизмы, истории и надежду на возрождение страны. В наше время мы, русские, в неменьшей степени нуждаемся в такого рода книгах.

Поэтому вряд ли был нужен в конце “Смертной чаши” двухстраничный текст “Дальнейшая судьба персонажей романа”. Он выглядит тихой капитуляцией перед самой идеей масштабного развития взятой Д. М. Володихиным исторической темы. Впрочем, если рассматривать эту мини-главку не так пессимистично, а в качестве конспекта будущих повествований, то она окажется даже многообещающей.

Пожелаем же автору справиться с чувством подсознательной неуверенности перед величиной возможного замысла и понадеемся на обширное продолжение романа в виде целой эпопеи.

БОРИС ШАПТАЛОВ

АНТИ-БЫКОВ

Литературоведческая эпопея продавшегося таланта

Лекции писателя Дмитрия Быкова, посвященные литературным произведениям, довольно известны. Известны потому, что интересны как по стилю, так и по содержанию, и ещё потому, что усиленно распространяются в интернете. Это значит, что их финансируют некие добрые дяди. И вроде бы они молодцы, ибо пропагандируют культурные ценности. Так сказать, сеют по миру вечное и... Но тут возникает заминка: доброе ли? А целевая аудитория Д. Быкова и его спонсоров – дети, подростки, молодёжь в целом. Как говорится – наше будущее. И авторы передач хотят видеть это будущее вполне определённым, заряженным нужной им идеологией, имя которой “либерализм”. А любая идеология – это искусство пропаганды – раз, мастерство передергивания фактов – два, манипулирование сознанием слушателя – три. Все ради цели – внедрить в сознание объекта нужные ценностные установки, которые будут влиять на его поведение. Чем Быков талантливо и занимается, а его кураторы тиражируют усилия бывшего демократа, ныне окончательно перешедшего на сторону либералов, с которыми он пытался даже воевать в 1990-е годы*. Но российских демократов читать лекции в США не позовут и платить по хорошему расценкам не будут даже в России. Другое дело – либерал. О, это совсем другое дело, ибо нынешний российский либерал – составная часть так называемой “пятой колонны” и глобальной политики великих держав.

Но не только либералы призваны манипулировать общественным сознанием. Ими также манипулируют давно известными в мире средствами, подкупом прежде всего. Впрочем, во все времена продажа души было делом выгодным. Материально, конечно. Дмитрий Быков полноценно проделал соответствующую эволюцию, поставив свой талант бывшего вундеркинда на службу вполне определённым силам. Сия нелицеприятная оценка требует доказательств, поэтому перейдём к делу, проанализируем некоторые лекции (“открытые уроки” для школьников) бывшего демократа.

“Обломов”

Д. Быков начинает урок-лекцию школьникам с объявления, что роман Гончарова – произведение крайне скучное, и прочитать до конца нет никакой возможности. Почему он солгал?

* Демократ отличается от либерала тем, что первый придерживается консервативных моральных и политических принципов в рамках народоправия, а либерал с XX века стал проповедником свободы вседозволенности, антипатриотизма (патриотизм – составная часть инстинкта самосохранения народа), а применительно к России ещё и проводником компрадорской психологии. Они те, кто, критикуя власть, целятся в страну.

В вопросе оценки любого литературного произведения присутствуют разные обстоятельства. Восприятие личности всегда индивидуально, и то, что нравится одному, может совсем не понравиться другому. Восприятие и вытекающая отсюда оценка определяются жизненным опытом, эстетическими пристрастиями, внушением (авторитетом) других лиц. Наконец, просто моментом жизни. Та или иная книга (фильм, спектакль) может попасть под “настроение”, а может и нет.

Вкусовые оценки всегда пристрастны, и Быков их демонстрирует почти в каждой лекции. Быков крайне субъективен как в восхвалении произведения, так и в его критике, и рассчитывает на то, что ему будут верить на слово. Он может хвалить произведение как выдающееся, которое не “прокатит” у другого. Причина тому понятна. Быков нередко упоминает, что книга, произведшая на него глубокое впечатление, прочитана в детстве. Но в детстве любая книга воспринимается как открытие. В этот период всё ново. Однако с числом прочитанного и просмотренного новизна и свежесть восприятия идёт на убыль. Читающий всё чаще сталкивается с повторами сюжетов, схожестью типов персонажей и художественных приёмов. Он может не осознавать этого, но подсознание фиксирует повторы, и интерес постепенно угасает. Запойный период чтения книг в детстве и отрочестве сменяется умеренным “потреблением” книг в зрелые годы и потерей интереса к чтению в старости, ибо уже “ничто не ново под луной”. Возможно, что Быков ознакомился с “Обломовым” в “насытившийся” период, и этот интереснейший роман, написанный великолепным литературным языком, не оставил у него должного впечатления. И пусть! Есть люди, погружённые в культуру, которым при этом активно не нравится язык и образы Достоевского. Ну и что? Вселенная литературы беспредельна, и каждый найдёт себе писателя по вкусу. Но Быков не просто заявил, что роман не читабелен, он делает то, что ни один учитель делать не должен, — он отговаривает читать его своих учеников (а равно слушающих его в “сети”): мол, роман “невозможно прочесть”. И вот это уже интересно, ибо Быков как опытный пропагандист ничего не делает “просто так”, заранее не обдумав свои ходы. И это только кажется, что лектор забывается и противоречит себе в конце урока, вдруг заявляя на голубом глазу: Гончаров со своим романом попал в первый литературный ряд “потому, что уж больно хорошо написано”.

Создаётся впечатление, что Быков не советует читать “Обломова” потому, что предпочитает, чтобы восприятие живой ткани романа у молодых людей шло через его оценку. А эта оценка идеологична и направлена, как многие его инвективы, против российского государства и российской истории. Его подспудная цель в большинстве лекций — воспитание стойкого скептицизма вплоть до неприятия России и той частью общества, которая не воспринимает либерализм.

Известно, что эпоха Николая I была временем реакции, временем, когда жизнь общества сковывалась жёсткими цензурно-полицейскими рамками и государственной идеологией, призванной воспитывать в людях чиновочитание, верноподданничество, некритичное мышление, покорность любым действиям властей и восприятие действительности как вершины и предела социального движения. Этакое “остановись, мгновение, ты прекрасно!” У Николая I есть свои почитатели, но Быкова интересуют не любители “крепкой руки”, а нечто иное, более глубинное: “. . . роман о преодолении сна написан, и об отсутствии мотивации пишется в эпоху сна, эпоху тотального оцепенения”.

Роман о социальном сне написан в эпоху отсутствия мотивации к пробуждению. Красиво сформулировано! Более того, раз за разом в сознание слушающих внедряется тезис: “Россия — это страна, в которой мотивации нет, а есть лишь ленивое существование и бесконечное терпение”. Но верно ли это? Такая ли убого-ленивая у нас страна? В якобы сонном царстве бурлила активная созидательная жизнь. В эпоху Николая I творили Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Начали свою литературную карьеру Достоевский, Гончаров, Тургенев, Некрасов, Салтыков-Щедрин. Литературная критика расцвела благодаря Белинскому, Добролюбову, Ивану Киреевскому, Аполлону Григорьеву. В музыке явил свой талант Глинка, в живописи — Брюллов и Федотов. И т. д. Так что с мотивацией в ту эпоху было всё в порядке, а вот с властью. . . Погибли Пушкин и Лермонтов, на каторгу отправился Достоевский. Получается, что обломовщина не была главным выражением того времени. Но именно этот

момент Быкова как раз и не устраивает. У него “Обломов” — “книга о том, как Россия проспала на своём диване все свои исторические шансы”. На самом деле “проспала” не Россия как таковая, а правящая элита. И будет это делать ещё не раз.

Быкову нужно выработать у молодёжи нужное восприятие России. Не просто понимание сути конфликта активной части общества и правящего класса, а представление о порочности российской истории как таковой. Правда, он оговаривается, что нельзя всё валить на эпоху (мол, “время было такое”). Но эта “объективность” — ради маскировки. Вызвав доверие у слушателей своей “объективностью”, Быков делает шахматный ход конём по голове. “Катастрофе режима предшествовала крымская катастрофа... Всегда с Крыма в России начинается упадок”, — утверждает Быков. Он, как всякий российский добропорядочный либерал, сторонник постулата “Крым не наш”. Либералов не интересует мнение населения Крыма. Им достаточно мнения Госдепа США. Сказано, что “Крым цз Украина”, значит, так и есть. И никакие съезды на историю и референдум не имеют значение. И в оправдание этой позиции идут любые аргументы, в том числе литературные. Илья Обломов мил определённой части интеллигентствующих. Обломов хотя и не делает карьеру, но он свой по духу. Что это за дух? Это возможность воспарить над суетной жизнью. Не только противопоставить себя ей, постылой, а встать над ней. Так делают монахи, уходя в скит, отгородившись от мирского бытия ради спасения своей души. Обломов ушёл в свой “скит”, только стараясь сделать свою полумонашескую жизнь сладкой и по возможности безмятежной. А что взамен?

Быков внушает отрокам: Обломов “опускается социально, а морально остаётся на прежней высоте”. Ой ли? Чтобы понять, что это не так, надо прочитать роман, где пошагово показана деградация асоциальной личности, где автор раздражается обличительным монологом о страшной болезни, которая называется “обломовщина”. Но этого как раз учитель ученикам читать не советует, предлагая верить его оценкам на слово. В том-то и дело, что Обломов опускается и социально (в бедность), и физически, и морально, становясь “тряпкой”, отдавая деньги любому проходимцу, пока не остаётся на иждивении вдовы. В сущности, он объедает эту женщину и её детей. Хорошо, что вмешивается Штольц и железной рукой наводит порядок в обломовских материальных делах. Кстати, “сухарь” Штольц не только спасает Илью Обломова от нищеты и позора, но и пристраивает затем у себя его слугу — никчёмного Захара.

Быков всегда безапелляционен. Это его кредо. Раз он так чувствует и мыслит, значит, так оно и есть на самом деле. Все его лекции — это непрерывный поток субъективных впечатлений и умозаключений, выдаваемых за истину. Девятая глава “Сон Обломова” с описанием комфортно-приемлемого мира в грёзах Ильи превращается у Быкова в психоделику: читатель якобы впадает от неё в гипнотический транс. Он будто бы с трудом борется со сном и переходит в состояние полубреда. Остаётся лишь подивиться фантазийной отзывчивости читателя Быкова, всегда готового увидеть в произведении то, чего там нет, но что соответствует позывам его сознания и извивам подсознания. Показательно, что Н. Михалков в своём фильме сделал из сна Обломова сатирическую и одновременно лирическую вставку о детстве Ильи. Что значит трактовка! Тем более, что глава “Сон Обломова” есть, в сущности, рассказ о семье Ильи, об имени и близлежащей деревне, о его детских годах...

Кстати, о трактовке. Одни и те же события и явления можно объяснить по-разному. Одинаковость царит лишь в мире неживой материи, да и то в известных пределах, пока не доходит до Вселенной или квантового микромира. Вот как трактуется в лекции вереница посетителей на квартире Обломова. Зачем они к нему ходят? Ответ: Обломов “демонстративно отказывается двигаться, и в результате мир вертится вокруг него”. Вряд ли имеет смысл соглашаться с таким выводом, ибо он никак не подтверждается самой жизнью. Попробуйте долго оставаться дома. Какое-то время знакомые вас будут донимать, а потом всё успокоится и вас забудут. Куда толковее другое замечание Быкова: “Спит Россия, а разного рода идеи и соблазны пытаются её разбудить”. Но это замечание общего свойства, что же касаемо главного героя романа, то посетитёры, по мнению Быкова, хотя, чтобы “Обломов их похвалил, потому что на фоне его покоя все они занимаются суетой”. Это не так, но для того, чтобы убедиться в этом, надо опять же прочитать роман.

Ходят к Илье Обломову разные люди по разным причинам: одни – от нечего делать, другие – чтобы занять денег, ибо отдавать не придётся... Но раз Быкову хочется глобальных обобщений, то можно дать следующую трактовку: Обломов не просто некий человек, а дворянин, член господствующего класса, да к тому же владелец порядочного имения в несколько сот душ. Он представитель элиты! А ходят к нему плебеи. Общение с дворянином не менее почётно, чем в XX веке станет знакомство рядовых граждан с актёрами и писателями. Элита ведь бывает разной...

Так вот, по поводу элиты. Если бы Гончаров написал о некоем ленивом человеке, то вряд ли роман имел бы большой резонанс. Мало ли кто лентяичит, спивается и тому подобное. Это тема рассказа или фельетона, но не большого произведения. Обломов же не просто некий странный человек, предпочитающий диван всему остальному. Илья Обломов – управленец! “Директор” большого аграрного предприятия. В его подчинении несколько сот человек. И от умения вести дело зависит благополучие и сама судьба большого числа мужчин и женщин. И он не просто лежит на диване вдали от суетного мира, а последовательно и методично проедает доход данного предприятия, обрекая на нищету вверенных ему людей. И Обломов сознаёт своё предназначение и в мыслях постоянно возвращается к проектам усовершенствования имения, проведения реформ... Ах, как это знакомо! И насчёт проектов реформ, и насчёт мечтаний о процветании имения, области, страны... И все они милые люди! Но оказывается, мало быть милым человеком, требуется ещё нечто.

“Обломов”, “Вишневый сад”, “Дядя Ваня” и т. д. – это картины энергетического умирания правящего класса. Крах режима был связан не с “Крымом”, а с потерей правящей элитой того качества, которое нередко именуют пассионарностью.

Пассионарность дворянства угасла вследствие паразитарного существования. Крестьяне исправно производили прибавочный продукт (капитал), большая часть которого, однако, шла не на развитие (через инвестиции), а проматывалась разными способами. Ситуация зеркально повторилась в постсоветское время, и это также не имеет никакого отношения к Крыму.

Гончаров почувствовал неблагополучие и сумел отразить процесс деградации дворянского сословия художественными средствами, создав сильный образ, ставший типическим. Но Быкову надобно типическое в ином ключе, чтоб про спящую, рабскую Россию и Крым, как источник зол...

Кстати, о природе зла.

“Мастер и Маргарита”

Д. Быков характеризует произведение как “вреднейшую книгу”. Это удивляет, если не принимать во внимание его идеологическую миссию. В романе речь идёт о тёмных силах, то есть о том, с чем Быков накрепко связался и теперь уже не выпутается. И в своём иудстве ему придётся идти до конца. Он стал тем “мастером”, который думал, что напишет текст, получит гонорар и тем всё обойдётся. Как вдруг заказчики явились по его душу... Мастер в романе вызов не принял, а попытался спрятаться в сумасшедший дом. Быков же вызов принимает, только ответный вызов бросает... роману М. Булгакова. Точнее – самому писателю, так нерасчётливо написавшему о сделке с дьяволом, да ещё под таким углом... Нет, чтобы живописать в духе вегетарианского “Фауста”...

В основе “концепции” Быкова лежит ложь (а что делать, раз идеология того требует!). Лектор объявил, что Булгаков писал свой “закатный” роман для Сталина и, в общем-то, больше ни для кого, не считая узкого круга друзей.

Вторая ложная посылка: будто книга “Мастер и Маргарита” схожа с эпосом об Остапе Бендере. Мол, Воланд – это сам Бендер, Азazelло – Шура Балаганов, Коровьев – Паниковский. Аргументы “убийственные”. Азazelло и Балаганов – рыжие, Коровьев носит канотье, как и Паниковский (на самом деле Коровьев носит жокейскую кепочку, но не будем придираться). И неважно для лектора, что характеры данных персонажей диаметрально противоположные. “Дух пустыни” и профессиональный убийца Азazelло никак не схож с добрейшим Балагановым, клоун Коровьев – с преисполненным сомнениями Паниковским.

“А Козлевич?!” – воскликнул бы Балаганов, поражённый, что его приписали к дьявольскому племени. Оказывается, по версии Быкова, раз спутником Сатаны является чёрный кот, и вроде бы ещё Сатану иногда сопровождает чёрный козёл, то можно указать на шофёра Козлевича в свите Бендера в качестве аналога кота Бегемота. Притянута за уши, но зато концы связаны. Спасибо ещё, что Быков не увидел в Зосе Синицкой двойника Геллы. Можно предположить, в какой ужас пришла бы милая Зося, узнав, что её подозревают в том, что она может ходить развязно-голой перед мужчинами.

Все эти литературоведческие изыски можно было бы приписать лёгкому характеру Быкова, если б лектор не был настроен очень серьёзно. А вещает он, будто Булгаков своим романом говорит Сталину (цитирую): “Мы понимаем, что Ты зло. Мы даём тебе на это моральную санкцию потому, что с этими людишками иначе нельзя, но не трайгай художника. Потому что художник – это то, что останется от Твоей эпохи”.

То есть Булгаков предстаёт у Быкова подлецом. Мол, ты истребляй сколь хочешь людишек, но корми и оберегай нас, художников, которые собственно и ваяют славу твоему правлению. И ради этого посыла (извиняюсь: мессиджа) Булгаков корпел над своим романом десять лет! Ну, прямо-таки раб на галерах! Но раб не простой, а идейный. Причём раб, относящийся к России, как нынешние российские либералы, для которых народ здесь – “людишки”, ибо не хотят голосовать за “общечеловеческие ценности” в лице представителей либерального лагеря, чтобы те заняли подобающее им место во власти (у корыта, если быть точным) и распорядились бы страной так, как они сделали это с вековым наследством при Горбачёве и Ельцине.

Быков на этом не останавливается и, напомнив о сценах изъятия валюты и прочих административно-уголовных мерах, описанных в романе, заявляет: “Это сатира или лесть? Думаю, лесть. Это описание тайной полиции как чего-то прекрасного”. И далее (лгать так лгать под видом новаторского прочтения!): “В романе самый обаятельный герой, помимо Пилата, – это Афраний, начальник тайной полиции”.

За что же так Быков отхлестал по щекам уважаемого Михаила Афанасьевича, который, разумеется, ничего общего с нарисованной на него карикатурой не имел, для чего достаточно ознакомиться с биографией писателя? Тут можно строить предположения в духе самого Быкова. Например, что лектор был уязвлён описанием писательской братии и, соответственно, его самого, начиная от способа продажи своего пера сильным мира сего до чревоугодия в ресторане Дома литераторов. Но согласимся, что для идеологического работника высшей категории – это мелко. Его задача – “форматировать сознание” молодёжных масс, потому надо понять, чем не угодил либералам (а точнее, деградантам – активным и талантливым носителям энтропии) Михаил Булгаков, несмотря на свой антибольшевизм, пример чему – “Собачье сердце”, а также “Мастер и Маргарита”? Когда Быков или Чубайс говорят, что не любят Достоевского, – это понятно: уж больно тот плохо отзывался о либералах, причисляя их наряду с ультра-революционерами к бесам. Но Булгаков-то в чем провинился?

В чём можно согласиться с Быковым, так в том, что Булгаков, как и подавляющее большинство советских писателей, попал под обаяние Сталина. И это понятно: Сталин был гением. Пусть и тёмным (или сумрачным), но гением. При нём Советский Союз рванул к высотам, о которых царям лишь мечталось. А о масштабах репрессий стало известно много позднее. Зато были открытые судебные процессы, на которых Бухарин, Рыков и прочие зиновьевы с каменевыми каялись в своих преступлениях против народа. Так что сомневаться в арестах не представлялось возможным. Но Булгаков почувствовал нечто дьявольское в событиях своего времени и придумал ознакомительный (или может, инспекторский?) визит мессира Воланда в Москву. Но то была чисто художественная интуиция. И писался роман не на злобу дня, а как способ заглянуть в зазеркалье. Кто они, эти закулисные силы? Злобные твари, как живописалось в религиозной христианской традиции, или нечто иное? Булгаков описал их как “нечто иное”. Как довольно симпатичных и привлекательных персонажей. Почему? Во-первых, их история началась с восстания ангелов под предводительством Люцифера, чьё имя переводится как Светоносный. Ангелы и вождь с таким именем заведомо не могут быть уродами. Во-вторых, тёмных Булгаков видел в жизни. Стоит почитать воспоминания о представителях карательных органов, чтобы в этом убедиться. Нарком внутренних дел

Ягода и его заместитель Агранов были вхожи в литературные салоны. Водили дружбу с деятелями искусства. Многие члены сталинского Политбюро также были великими любителями театра и музыки. Власть оказывала огромную помощь культуре. Сталин неустанно следил за литературными и киноновинками и отмечал отличившихся наградами. А какие смешные комедии создавались в 1930-е годы! “Весёлые ребята”, “Волга-Волга”, “Цирк”... Так почему бы в свите Воланда не оказаться отменным шутам, а самому Воланду не предстать мудрым и обаятельным представителем тёмной стороны космических сил?

Булгаков описал явление тёмных не лобово, а как оно есть на самом деле, ибо кто возразит, исходя из собственного опыта, что зло не притягательно? Что оно не умеет драпироваться в интеллектуальные и даже гуманистические одежды? В конце концов, мир симметричен, зеркален и диалектичен, а диалектика в СССР была провозглашена главнейшим методом познания объективного мира в его субъективных проявлениях.

Булгаков проделал свою работу виртуозно: и как художник, и как мыслитель, чем поразил советских людей, не предполагавших, что можно взглянуть на мир с таких позиций. Это сейчас на телевидении даже существует специальный канал, вещающий о всевозможных “тайнах” и “шокирующих гипотезах”, которые давно уже никого не шокируют, так что “Мастер и Маргарита” у нынешнего читателя прежнего удивления и восторга уже не вызовет. Поляна затоптана. А в момент опубликования романа читателя будто выбрасывали из лесной чащи на луга. Оказывается, есть и другие панорамы, другие краски!

Но если Булгаков и оценил значимость Сталина, то нет никаких данных, что он “благословлял” его на репрессии против народа. Такое предположение – чистой воды поклёп. Но он Быкову нужен, чтобы уложить сей кирпичик в свою концепцию. А она не сводится к Булгакову. Наш лектор мыслит шире, ибо претендует на своё собственное литературоведение (для чего отчасти затеяна вся многотомная лекционная эпопея) и свою “тайную” доктрину (а чем он, гений-вундеркинд, хуже какой-нибудь Блаватской и иже с нею?). О замахе свидетельствует классификация сюжетов. В их чередё Быков выделяет, по его мнению, центральный – сюжет о путешествующем трикстере.

Трикстер – это отчасти плут, но не тот, что чистит карманы лохов. Трикстер, прежде всего, весёлый фокусник и бродячий проповедник одновременно. Он совершает чудеса во имя некоей идеи. И первым плутовским романом такого рода Быков называет Евангелие! Там проповедник “откалывает” много фокусов: превращает воду в вино, исцеляет паралитиков, воскрешает мёртвых, ну, и проповедует в паузах...

Не слишком ли парадоксально для человека, называющего себя православным? Правда, кто ныне не православный (да простит их Господь)? Кого среди этой толпы нет – от Ксении Собчак до... до Дмитрия Быкова. Это тот тип верующих, что и душу продадут, и одновременно обеспечат ей вечное блаженство в райских куцах. Таких верующих во все времена было предостаточно. При Иисусе Христе их называли фарисеями, в другие эпохи – по-другому, но суть, по большому к счёту, одна. Они всегда приспособивали религию к своим нуждам и подводили под эту нужду весьма привлекательную теорию. Вот и Быков делает красивый ход, заявляя: “Воспитать человека можно не добром или злом, а только чудом”.

Бедный Антон Макаренко, который приехал в колонию бывших беспризорников и принялся воспитывать пацанов обычным трудом, ответственностью за общее дело и личным примером. А равно воспитатели-идеалисты из повести “Республика Шкид”. Так чудо нужно или чудеса? И как отличить одно от другого, например, чудеса Воланда в театре-варьете, проведенные, скажет иной читатель, в воспитательных целях, дабы отучить присутствующих от алчности, от чуда духовного преображения, что пытался сделать Христос?

Воланд – трикстер, и Остап Бендер – “трикстирующий” плут (пробавлялся одно время факиром), поэтому через их свиту Быков связывает одного с другим. И Иисус оказывается в одной компании с Воландом и Бендером, ибо тоже трикстер. А теперь вопрос в духе “Что, где, когда?": “Не является ли сам Дмитрий Быков трикстером, вытягивающим из своей шляпы кроликов, голубей и прочую живность? А в уши слушателей вдувающий галантерейно-цветастый идеологический товар?”

Быков убеждает слушателей, что многие известные произведения – пародии. “Гамлет” – пародия на первоисточник, датскую хронику, “Дон Кихот”,

понятно, пародия на рыцарские романы... Даже Евангелие – это пародия на Ветхий Завет. Быков путает и, думаю, сознательно пародию и переосмысление, ставя знак равенства между ними. Итак, если мир, по Шекспиру, – театр, то, по Быкову, классическая литература – это изысканная пародия на “просто” литературу. Поневоле хочется спросить: а сам Быков пародия на что? И это не праздный вопрос. Быков, как профессиональный трикстер, искушает слушателей тем, что пародирует их умственные способности. Почти каждая лекция – это испытание здравого смысла внимающих, за счёт уровня их логики. Он вываливает на слушателей лошадиные дозы “новаторства”, как бы вопрошая: “Вы и на этот раз всё безропотно проглотите?” И ведь глотают! И с восхищением. Шутка ли: на их глазах родниковая вода превращается в “Портвейн 777”, а хромые становятся умственными паралитиками.

Быков – трактователь. Этим он отличается от литературного критика. Тот по своей профессиональной задаче должен раскрыть идею и проблематику произведения, показать художественные особенности метода писателя, арсенал его образных средств и пр. Быков такими “глупостями” не занимается. Он трактует текст так, как ему хочется, выдёргивая оттуда требуемые ему детали и подвёрстывая их под свой идеологический замысел. Действительный же замысел писателя его принципиально не интересует. Он всё знает за самого лектора. Быков – кукловод. И дёргает за ниточки не только слушателей, но и самих писателей. Те-то думали, что это они демиурги, а он своими лекциями доказывает, что Демиург над всеми ими Он! Ну, разве перед вами не Воланд, пусть и в другой ипостаси?

Вот почему Быкову негоден Булгаков: тот возомнил себя творцом и распорядителем своих героев. Ну, уж нет. Булгаков – раб обстоятельств и слуга Сталина-Воланда. И лишь Быков хозяин положения. Он в контрах с властью (на то и власть, чтобы на неё ворчать, особенно когда это не возбраняется властью, и совсем клёво, когда за критику прилично платят), он управляет с произведениями и писателями так, как ему хочется, и фокусничает перед аудиторией в духе и Га-Ноцри, и Воланда, и Бендера, и кого угодно. Это его стезя, в этом его призвание, на этом пути он зарабатывает свои основные деньги, в этой сфере он становится лидером либеральной культуртрегерской тусовки с прицелом превратиться если не в пророка и властителя дум (а хочется!), то в одну из звёзд эпохи. Чтобы потомки затем писали книги и диссертации о творческом пути великого Дмитрия Быкова. А пока... А пока он будет кромсать по своим лекалам попавшиеся под руку чужие творения.

Быков в качестве интерпретатора одновременно метафизик и диалектик. Он мыслит глобально, для чего расчленяет произведение путём унижения автора и его творения. А потом, как и полагается демиургу (“на всё моя воля!”), возносит их к хрустальным высотам. В начале лекции он растаптывает творение, а в конце заседания присяжных объявляет: “В романе есть два чётко прописанных момента. Первый – это плутовской роман, весёлый, изящный, лёгкий, иногда очень пошлый, обращённый к Сталину. Второй – это трагический роман, роман о Фаусте, обращённый к нам, серьёзным читателям”.

Надо же так походя лягнуть теперь уже Сталина! “Плутовской, весёлый и пошлый роман” – это для Сталина. А что, большее он не мог поднять? Или так решил Быков, что вождь нехстати выразился по поводу одной вещицы, что она-де будет “посильнее Фауста”? Но спасибо и на том, что, оказывается, в булгаковском романе есть мощная интеллектуальная составляющая, как раз по нашим мозгам. Приятно, чёрт возьми, когда твой умственный горизонт поднимают выше властителя страны! Но лектор вновь повторяет, что роман “Мастер и Маргарита” призван оправдать зло. То есть главный поклёп Быкова на Булгакова сохранён неизменным: “Роман адресован величайшему злодею в обмен на жизнь нескольких художников”. Более того, он его усугубляет обвинением, будто Булгаков заключил договор с дьяволом. Как это напоминает приём уклонения на ином допросе: “Это не я, это он убил!”

Но ведь тёмные силы в книге и впрямь выглядят премо. Ведь и вправду у Воланда появилось множество поклонников, писавших на стенах: “Воланд, мы ждём тебя”. И, кажись, дождались...

Быков осмеивает Булгакова за описанную им беседу со Сталиным: “Разговор был проведён ясно, сильно, государственно и элегантно”. Но ведь именно таким предстаёт Воланд в романе! Мы оставляем за скобками скрытый сарказм Булгакова в описании разговора с вождём. Ведь и вправду мессир был

карающим мечом всякого рода проходимцев (и не важно, что это “пескари”, попавшие под горячую руку, а “щук” и тем более “акул” тот не тронул). Ведь и вправду Га-Ноцри показан слабым и не способным устранить зло. Так на кого уповать, как не на силу имеющих — Воланда в том мире и Сталина в этом? И крыть вроде бы нечем. Да и что мог написать Булгаков в 1930-е годы? Что тьма когда-нибудь рассеется, а солнце неизбежно встанет? Прозвучало бы с виду оптимистично, но плоско. Когда-то революционеры в тюрьмах мечтали о победе пролетариата, и она произошла. После чего почему-то этих революционеров стали расстреливать пачками свои же “пролетарии”. Бухарин перед арестом писал потомкам о будущем торжестве партийной справедливости. Тоже был оптимистом...

Булгаков не стал утешать, но в то же время, упрямо заявил, что Га-Ноцри, как и полагается, воскрес, и царство света есть. Причём ему, ничтожному проповеднику, почему-то подчиняется и сам Воланд. Почему — не объясняет. Просто констатирует. И оказывается прав применительно к самому себе и к совершенно непечатному для советского времени роману. Но именно в советское время его и напечатали. Почему-отчего, когда не проходили куда более пресные вещи, — загадка. Просто пришло время, и роман явил себя миру. Сильные мира сего подчинились какому-то Слову, и все стали повторять: “Рукописи не горят... рукописи не горят...” То бишь Слово не исчезает. Подлинное, конечно, а не словеса вообще. Но они-то активно внедряются массой интеллектуалов в философию, журналистике, а также литературе и литературной критике. Потому что, кроме подлинно вечных проблем, есть злоба дня, выражаемая политикой, идеологией и пропагандой. И когда в эту “злобу дня” суются умные талантливые артисты, писатели, режиссёры, поэты — становятся одномерными. Уж лучше бы они писали, играли, ставили про “вечное” и молчали про “злобу дня”. Это дало бы обывателям основание предполагать в них невысказанную глубину и скрытую мудрость. Это как с “Тихим Доном”. С его разбором Быковым совсем становится весело...

“Тихий Дон”

Д. Быков на своём открытом уроке для школьников (а “школьниками” выступает любая аудитория, где он вещает) заявил, что описание гражданской войны в романе начинается с адюльтера и масштабы измены лишь возрастают до уровня исторической эпохи. Такой зачин выглядит как вполне оригинальное наблюдение. После чего Быкова выдает уж больно спорное: “Гражданская война началась потому, что Григорий полюбил Аксинью. Вот и вся история”.

Быков-трикстер совершенно уверен, что любая изреченная им мысль (привет Тютчеву!) будет воспринята слушателями с благодарностью. И какой бы дичью она ни выглядела, он сумеет обставить её нужными подпорками и напугать интеллектуальный туман надлежащей плотностью. Для этого лектор выводит изящную формулу: роман о том, “как за частные грехи люди расплачиваются всемирной катастрофой. Вот об этом “Тихий Дон””. Но тогда получается нечто несусветное, а именно: сложность эпохи вырождается в благонамеренный призыв: “Не изменяйте, жёны, мужьям, а мужья — жёнам, не то война будет!” Тогда спрашивается: почему гражданские смуты вспыхивали во вполне патриархальных обществах?

Понимаю, логические вопросы задавать бесполезно там, где царит не логика, а нечто иное, то, что можно охарактеризовать как любование своей оригинальностью. Хотя лектор делает, в общем и целом, верное, хотя и не оригинальное замечание: “Распад страны начинается с распада семьи”. Но тогда Быкову нельзя быть либералом, а надобно переходить в лагерь консерваторов! Однако в таком случае безусловно прав Каренин, осуждая свою жену Анну. И уж если связывать гражданскую войну с адюльтером, то Анна Каренина виновата в этом много больше Аксиньи, ибо принадлежала к правящему классу и начала процесс измены мужу задолго до рождения казачки с далёкого хутора. Хотя, с другой стороны, Чехов советовал: “Если тебе изменила жена, радуйся, что изменила тебе, а не Отечеству!” Вот только как определить, когда первое начнёт перетекать во второе? Но лучше согласиться с мнением Набокова, который в послесловии к “Лолите”, к тому времени изрядно обсиженной критиками, упомянул о своём “отвращении к обобщениям, придуманным

литературными мифоманами”? Однако, если оригинальничать, то не останавливаясь. Шоу должно продолжаться!

Ну, хорошо, источник бед нашли – бабы виноваты! Но для толстенных романов этого мало, нужны и другие, глубокие умозаключения. И они немедленно Быковым предлагаются. И тут становится не до юмора. Особенно когда слышишь восторженные повизгивания перед гением лектора. У России, как известно, две основные проблемы: дураки и дороги. Но не до такой же степени!..

А именно (внимание!): Быков переходит к главной части своего анализа “Тихого Дона”.

“Пафос этой книги, к сожалению, в следующем: этот народ ничем не объединён, он с равной готовностью кидается истреблять друг друга, у него нет никаких моральных опор... Все убивают друг друга запросто. И всё, что осталось, – тёмная стихия рода”.

Перед нами типичное утверждение российских либералов насчёт “этого” народа и “этой” страны, где, по-хорошему, не стоит жить, а лучше из неё “валить”. К роману Шолохова оно не имеет никакого отношения: для этого нужно прочитать сам роман, а не его интерпретации. Но каждый воспринимает в читаемом, что может и хочет. Такова идеология наших либералов. Россия для них – страна чужая, в которой “чёрт дёрнул их родиться”. И живут они в ней потому, что тут прибыльно. Однако они не просто занимаются посильным интеллектуальным бизнесом, но и внедряют своё мировоззрение. В том числе гиперкритическое отношение к стране пребывания. В частности, Быков на примере “Тихого Дона” внушает деткам, которые роман не читали, что там писано про ущербность России и населяющих её туземцев. Лектор пафосно, с напором утверждает: народная жизнь подобна реке (намёк на название книги). “Но река ни перед кем не даёт ответа, у неё нет морали. Вот и народная жизнь такая же река... Нет никакой морали в истории. И никаких общих идей нет у этих людей. И не верит никто ни во что, а сплачивает их только тёмная стихия рода и необходимость сельской работы” А по окончании сельхозработ, – вдохновенно врёт Быков, – воюют. “Потому что делать больше нечего. И вот эта страшная жизнь, которая состоит из обиходной войны и такого же обиходного труда, который никакого смысла не имеет, легко убить друг друга, потому что их ничего не связывает, не сплачивает”.

Комментировать эту русофобию нет смысла. Остаётся лишь поинтересоваться размерами гонораров за подобные “лекции”. Как говаривал Остап Бендер: “Почем опиум для народа”?

“Тарас Бульба” с точки зрения либерала

Повесть Гоголя издавна рассматривается как патриотическая, а значит, не может не раздражать либерал-космополита. Но чтобы бросить вызов устоявшейся точке зрения на произведение, надо иметь смелость и веру в себя, Дмитрия Быкова.

Итак, берём текст. Читая его, “мы вступаем в область темнот и догадок, – объявляет лектор, – потому что адекватной интерпретации “Тараса Бульбы” нет ведь до сих пор. Мы не знаем, про что вещь. О чём и для чего она собственно написана”.

Мы – это кто? Быков не поясняет, что “они” – это так называемые либералы, оставляя у школьника ощущение подлинной, а не надуманной загадки. И вправду, ну, не ради же какого-то там патриотизма корпел писатель над бумагой! Хотя Быков признаёт, что это национальная вещь, и “Тарас Бульба” есть “история Украины”, а какой народ может существовать без патриотизма? Тут и впрямь озадачишься, ибо Быков входит в число сторонников движения “Крым – не наш” и сочувствует борьбе свободолюбивых украинцев против московитско-путинской агрессии. А значит, вроде бы должен поддержать патриотический порыв “незалежных”, чему могла бы послужить и повесть классика. Но в том-то и дело, что не может! Гоголь написал не про патриотизм “свидомых”. В тексте не раз Тарас Бульба называет себя русским! И воинство своё – русским. В те времена крепко помнили об историческом единстве. Отсюда задача у либерала: интерпретировать текст не в русле традиции, а как-нибудь по-особому, “по-нашему”. И Быков расстарался...

Первым делом он указывает на крамолу: “Разумеется, в любой школе, особенно сегодня, повторяют волшебные слова: “Нет уз святее товарищества”, — и говорят, что надо обязательно гибнуть за родину и за идею, и в этом смысле Остап — герой, а Андрий — предатель, а Тарас Бульба — носитель лучших традиций боевого гопака”. (Оцените тонкость иронии!) “Всё это, конечно, умилительно, — продолжает литературовед, — но всё это не имеет никакого отношения к гоголевскому замыслу. Давайте попытаемся разобраться, про что “Тарас Бульба””.

Ради такого богоугодного дела он даже смиряет гордыню (а Быков не скрывает, что претендует на Нобелевскую премию) и льстит школьникам. “Почему я обращаюсь к вам... Я хорошо знаю современного школьника, потому что мне много приходится преподавать... Мы уже люди отжившие, и с нас никакого спроса, соображаем мы туго... а дети понимают всё... поэтому вы честно можете ответить на вопрос: про что “Тарас Бульба””.

Как понятно из предисловия лектора (а дети, как констатировал Быков, народ понятливый), версии про патриотизм и прочую ерунду — не предлагать. Однако первый же школьник выдал: повесть о противопоставлении патриотизма и любви-страсти...

Опровергнуть Быков данный подход не в состоянии, и вынужден согласиться, что есть такое дело, и автором расставлены необходимые акценты: позорная смерть Андрия и героическая — Остапа. Но, но, но... Быкову нужен другой ход мыслей у школьников, и он уверен, что сумеет этого добиться: “Что-то уж больно получается простой сюжет: любить надо Родину, а не панну”.

“Ужасно всё запущено, — сокрушается Быков. — Очень долгое время русскую литературу... в школе преподавали с одних позиций: мы самые добрые, мы самые лучшие и самые чистые, поэтому сейчас мы всех убьём”.

Конечно, лучше было наоборот: преподавать, что мы не добрые, не чистые, не лучшие, а убивать надо нас самих, или, по крайней мере, не бороться нам с врагами. Как там Смердяков говаривал: “В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого... и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с...”?

Непатриотично, конечно, сказано, — вздохнёт либерал, — но как верно! Особенно с учётом нынешней политической ситуации...

Ну, хорошо, ситуация вскрыта, очерчена, и надо её исправлять.

Преподаваемая в школе “доктрина русского патриотизма ужасно фальшивая”, — уверяет Быков. А как же Гоголь?

“Понимаете, какая штука, — размышляет лектор. — Гоголь — умный писатель... и писать большую вещь ради того, чтобы противопоставить Родину и панночку, он бы, понимаете, наверное, не стал бы”.

Но почему б не стал? Ведь в повести речь идёт не о панночке как таковой, потому она и имени не имеет. Речь идёт о принципиальном выборе, и он заключается не в любви к девушке, а в предательстве товарищей. И делается выбор осознанно.

“— Не обманывай, рыцарь, и себя, и меня, — говорила она, качая тихо прекрасной головой своей, — знаю и, к великому моему горю, знаю слишком хорошо, что тебе нельзя любить меня; и знаю я, какой долг и завет твой: тебя зовут отец, товарищи, отчизна, а мы — враги тебе.

— А что мне отец, товарищи и отчизна! — сказал Андрий. — ...нет у меня никого!.. Кто сказал, что моя отчизна Украина? Кто дал мне её в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для неё всего. Отчизна моя — ты! Вот моя отчизна!”

Это кредо современного либерала: “Что мне отчизна, когда есть объект более сладкий”. Гоголь — здесь согласимся с Быковым — писатель умный, и предвидел будущую коллизию.

Быков сюжет знает прекрасно, но детям надобно внушить, что глупо в качестве нравственного ориентира держаться патриотизма. Ради этого делается оригинальный пируэт...

В мировой литературе есть несколько метасюжетов (эпосы о войне, странствиях, самопожертвовании), а ещё, добавляет Быков, есть метасюжет о том, как сыновья разрушают мир отца. И в этом пункте можно согласиться с Быковым. Но только со своей колокольни, понимая под “сыновьями” нынешних либералов, уже дважды порушивших мир Отца (в феврале 1917-го

и в годы “катастрофы”) и готовых это сделать в третий, наверняка уже последний. Но Быков, разумеется, имеет в виду совсем иное. А именно: “...сюжет “Тараса Бульбы” о том, как мир отца разрушается детьми. Дети здесь разложены на две ипостаси: ...Остап — это сила, честь, жестокость, когда это нужно, Андрий — это любовь, милосердие...”.

Он несёт в осаждённую крепость продукты голодной панночке и её матери. И это, без сомнения, оправдательный поступок. Воюют мужчины, и негоже воевать с женщинами и детьми. Гоголь как крупный писатель не мажет Андрия дёгтем, а демонстрирует его “амбивалентность”: хотел, как лучше... Быков, понятно, ухватывается за этот момент, чтобы вложить в умы школьников свою идею.

“Андрий остаётся в Дубне не потому, что он любит панночку... его милосердие останапливает. Ведь казаки осаждают этот город без всякого внешнего повода... Тарас Бульба, когда не воюет, ему жить неинтересно... Им кажется, что они идут защищать единоверцев, притесняемых поляками... Андрий не находит радости в этих гулянках... Война для него — не главное развлечение”. И вывод: “Страшный ветхозаветный мир отца разрушается сыновьями”. Это и есть, по Быкову, главный сюжет Гоголя. И лектор добавляет: Христос тоже гибнет, утверждая своей смертью милосердие вместо ветхозаветной суровости. А Тарас Бульба жесток и мстителен, вымещая за гибель Остапа всем подряд.

Только при чём здесь патриотизм?

У Гоголя патриотизм и вправду не “школьный”. Все поступки героев повести не сводимы к паре понятных противоположностей: плохо — хорошо. У каждого своя правда, которая ведёт к греху. И чей грех больше — можно поспорить. Об этом потом размышлял, описывая события на Украине, Генрик Сенкевич в своём цикле романов “Потоп”, художественно отстаивая правду польской стороны. На этом ристалище ныне сцепились пропагандисты двух сторон — киевско-галичанской и русской. Уже без всякой поэтики. Прийти к единому знаменателю невозможно: каждый будет стоять на своей кочке зрения. Одно лишь ясно: национализм не синоним патриотизма.

Андрий не хочет воевать ради войны. Отлично! Андрий по-евангельски помогает голодным врагам: прекрасно! Но заявляет: *“Отчина есть то, чего ищет душа наша, что милее для неё всего”*. А либерал под этими словами понимает вполне определённые вещи в духе “надо валить отсюда” в лучшие места. И Андрий не собирается бороться за обновление Родины, он “эмигрирует”! Потому Быков напрасно проводит параллели с Евангелием. Иисус проповедовал, даже понимая, чем для него это кончится. Андрий же бежал. Да не просто бежал, а присоединился к врагам, чтобы сразиться с ними против казаков. Об этой детали Быков благоразумно умалчивает, понимая, что школьники знают текст неважнецки, да и взрослые забывают детали...

“Отворились ворота, и вылетел оттуда гусарский полк, краса всех конных полков... Впереди других понёсся витязь всех бойчее, всех красивее... Так и оторопел Тарас, когда увидел, что это был Андрий”.

“Забудем” и мы про тот бой, а будем следовать за “концепцией” Быкова. Гоголь, естественно, не требовал от Андрия идти с котомкою за плечами проповедовать мир во всём мире. Но тот переступил некую границу, как сегодня преступают черту российские либералы, также внешне полные всяческих добродетелей.

Где та черта, за которой на смену добрым намерениям приходит предательство? Гоголь — об этом. А Быков — о своём.

“В будущем мир “свой-чужой” не будет определяющим. (Ой ли? — **Б. Ш.**) ... Мы может сказать, что Андрий — предатель, но проблема вся в том, что понятие предательства в этом случае — это понятие Тараса Бульбы. Для него предатели все, кто сострадает чужим...”

Если не заметить подлог (якобы для Тараса предатели те, кто сострадает чужим), то можно было бы даже согласиться с общим строем рассуждений Быкова. Но для наших либералов “чужие” — это мы, а свои те, кто поносит Россию, кто считает её историческим врагом.

Значит ли это, что Россия, а точнее, её правители — без греха? Нет, суальность так же далека от истины, как и идеализация Запада. Западные державы вели множество войн в духе Тараса Бульбы, и уж точно с большим масштабом, чем запорожские казаки. Были ли там свои Андрии? Откликнулись ли тамшние писатели на коллизии между ветхозаветной жестокостью

и евангельским милосердием? Да, были написаны гуманистические книги “Хижина дяди Тома” и “Гекльберри Финн”, но вещи, схожие с гоголевским произведением о войне, появились лишь после Первой мировой. А до того в Европе и США не было выбора между патриотизмом и предательством. Такой коллизии там долго, аж до Второй мировой войны и появления коллаборационизма не знали. В этом плане Гоголь был первым. Он вообще многое предчувствовал. В частности, в отношении Украины – то, что для неё соблазн “панночки” и постоянного шатания между патриотизмом и предательством станет сквозным явлением.

Сегодня перед Европой встала та же проблема. Уже тысячи “Андриев” призывают проявить сочувствие к иммигрантам, их культуре, вере и вообще ко всему, что они несут. И это “вообще” всё больше начинает напоминать голливудское предательство своей родины. Из милосердия, понятное дело.

Или они правы, как прав Быков, втолковывая школьникам, как надо понимать литературу, а через неё – саму жизнь?

“Гарри Поттер” по Быкову

Всем знаком шекспировский афоризм: “Мир – это театр”. Но мир ещё и филология, ибо вначале было Слово. А дальше: “Слова, слова, слова...” Дмитрий Быков виртуоз слов, которые выдает за Слово, демонстрируя свои способности в том числе на примере приключений Гарри Поттера. Тема эпопеи уж больно завлекательна – борьба добра со злом и наоборот...

Противостояние добра и зла вечно, пока существует человек. Отчего так? С религиозной точки зрения потому, что зло дозволено самим Богом. Почему дозволено – вопрос вопросов, на который нет удовлетворительного ответа, одни версии. А с материалистических позиций потому, что человек выделился из животного мира с его перманентной борьбой за доминирование как условие выживания и развития. Этому предмету даже посвящена специальная наука – этология. И хотя светлым умам мечталось, что звериная матрица будет при определённых условиях побеждена в человеке, выясняется, что она является составной частью его генотипа и полному изгнанию не подлежит. Тогда это будет не человек, а другой вид. Так что литературе, посвящённой борьбе добра и зла, тёмного и светлого начал, Божьего и дьявольского, исчезновение не грозит. Даже наоборот, у неё бестселлерские перспективы, что доказывает успех книг о мальчике, который почему-то выжил и вступил в борьбу с тем, кого нельзя называть.

Верно заявление лектора, что трагические герои в литературе появляются на переломе эпох, как Гамлет, Дон Кихот или Григорий Мелехов. Оно и понятно: в спокойное, штилевое время, когда всё “слава Богу”, герою трудно проявить себя. Но именно в спокойное время формируется “подполье”, предвестник будущего слома. И чуткие художники откликаются на “подполье” романами и фильмами, ставящими массовую аудиторию в тупик, ибо та не понимает многого из показанного, а “начальство” недовольно “искажением” действительности. И если Герой интересен массовому читателю и зрителю, то “подпольный человек” – узкому слою интеллектуалов. Но эпопее Джоан Роулинг выпала иная судьба. Её романы в наше “болотное” время сразу стали популярными и даже культовыми, чему, правда, сильно поспособствовал кинематограф. Однако у Дмитрия Быкова и в этом вопросе своя точка зрения. Он считает, что наш привычный мир стоит на пороге грандиозных перемен. И он прав. Вопрос только, в чём прав, а с чем согласиться невозможно.

“Надо сказать, что “Гарри Поттер” появился в очень тёмное время, которое мы переживаем сейчас”, – утверждает он. Это время, “когда идеалы гуманизма пали низко, как никогда”.

Заявление можно оспорить насчет “как никогда” и навскидку привести парочку времён куда большего падения идеалов, но не будем придираться к частностям. Главное – узнать, о чём идёт речь.

“Мы живём перед новым Возрождением, когда все идеалы возродятся”, – сразу успокаивает лектор аудиторию. Такой оптимизм греет душу. Вот только какое возрождение видит Быков-либерал? Разумеется, ново-либеральное. А именно: “Наступило время полукровок... Какой главный вызов современной Европы, из-за которого так шумит несчастная Марин Ле Пэн? Беженцы!.. Вот удивительно, как Роулинг это почувствовала... Проблема

чистоты крови. Люди, которые зависят от имманентных, то есть врождённых признаков и обожествляют эти признаки – род, пол, возраст, национальность – эти люди обречены проиграть. Потому что это примитив... Нельзя обожествлять то, что тебе дано. Гарри Поттер – это пророк новой эры, в которой от твоей крови не зависит уже ничего. В которой только ты сам себя сделал... Гарри Поттер имеет учение. Он принёс это учение: чем больше человек может освободиться, эмансипироваться от своих врождённых данных, тем вернее его победа... Наступает мир полукровок”.

Вот, оказывается, о чём эта детски-недетская эпопея. А мы-то думали – о становлении характеров, о воспитании истинной дружбы, о вхождении детей в мир взрослых с их вечной борьбой между тьмой и светом; борьбой как вне, так и внутри себя... Но Быков раскрыл нам глаза. Он считает, что эпопея сродни новому Евангелию, и он имеет полное право на такой взгляд. Любая книга живёт дважды: когда её читают и когда комментируют. Когда текст читается, запахивается дверца в иной мир, иное измерение. Когда текст комментируется, то есть над ним размышляют, то с этой реальностью устанавливают особые отношения. Книга оживает в рамках заинтересованного диалога. И в этой сфере у Быкова сильные козыри, потому что он профессиональный интерпретатор.

Повторимся: трактовки художественного произведения, как и любого другого социального явления, зависят от жизненного опыта и мировоззрения. Потому столь много интерпретаций классических вещей, что жизненный опыт многообразен. А если подключается творческая фантазия, помноженная на идеологические предпочтения, то получается результат, который не может удовлетворить всех читателей и зрителей, ибо у них свои ориентиры и вкусовые оценки. И это нормально. Но есть особая категория трактователей. В одной немецкой сказке выведен человек, имевший дудочку, обладавшую способностью увлекать за собой слушающих. Быков такой вот дудочник. Его заявление по поводу “Гарри Поттера” более чем “остросюжетно”. Вычленим из сказанного им узловые точки. Итак:

Наступило время полукровок.

Нельзя гордиться (“обожествлять”) своим народом, своей историей, своей страной.

Нельзя заморачиваться полом и возрастом, ибо всё это сегодня – примитив.

Раскрепостись и будь чистой индивидуальностью, самостоятельно делающей себя!

И это обращено к специфической аудитории, – подросткам, нашему будущему. Или оно уже не наше? Ведь что практически следует из этих постулатов?

Не заморачивайтесь полом. То есть секс возможен в любой комбинации.

Не заморачивайся возрастом. Значит, старшие вам не указ. Делайте, что хотите, да здравствует *праздник непослушания!*

Будьте космополитами. Родина там, где вам хорошо. Если плохо – вали-те оттуда, отряхнув прах страны с ваших ног. Пусть заморачиваются с нею другие.

Не держитесь за свою семью, своих предков, историю и культуру. Главное – самореализация!

Вот такого будущего хочет Быков новому поколению.

Возникает вопрос: а может, я утрирую, выводя такие умозаключения из “абстрактных” постулатов Быкова? Не думаю, потому что лектор не сказал ничего нового, что не вещали бы уже несколько десятилетий западноевропейские либералы и голливудская “элита”. А лектор – в тренде.

Для современников предыдущие поколения выглядят несколько простодушными. Они не знали того, что знаем мы. Они, к примеру, могли верить в социализм, а мы-то знаем, что надо было готовиться к карьере менеджера или, в крайнем случае, мерчендайзера. Они были атеистами, а мы знаем, что надо заходить в церковь и ставить свечку. Только мы ещё не подозреваем, что для потомков будем такими же простодушно-простоватыми, если не дураками, наделавших массу глупостей...

Что именно глупого мы можем натворить? Многое. Например, погубить природу этой прекрасной планеты. Или разрушить свою страну и её культуру. Наконец, разрушить своё личное будущее и, что главное, будущее своих детей.

Как это можно сделать? Во-первых, по неведению. Во-вторых, следя за ложной идеологией – набором идей, провозглашённых единственно верными, которым надо следовать.

Выше я отнёс либералов к деградантам. Но может быть, это поклёп? Ведь либерал всегда хочет исключительно хороших вещей: свободы (свобода – это, безусловно, хорошо, лучше несвободы), закона (защита закона – тоже хорошо, лучше беззакония), а также открытого рынка и не менее открытого общества. Кругом либералы хотят хорошего, а народ в России почему-то за ними не следует. Обидно. Для понимания взаимной нелюбви требуется разобрат, что такое “хорошо” и что такое “плохо”.

Библейский Бог, создавая Землю и всё живое на ней, повторял: “Это хорошо” (Бытие. Глава 1), – а потом устроил потоп всему созданному. Оказалось, не всё так просто с хорошим. У “хорошего” могут быть нехорошие последствия. Позже такую ситуацию облекут в чеканный афоризм: “Благими намерениями вымощена дорога в ад”. Так и с российскими либералами. Они всегда хотят, как лучше, а получается... В феврале 1917 года торжествовали над царизмом, а уже в октябре сдали власть большевикам. Либералы Горбачёв и Яковлев возглавили “перестройку”, которая обернулась “катастрофой”. Либералы во главе с Ельциным провели цикл реформ, отчего рухнула разграбляемая приватизаторами экономика, а государство зависло над пропастью. Пришлось искать спасение среди людей военной закалки. Другие бы задумались: отчего у нас, таких умных и со столь хорошими намерениями, так плохо получается, когда дело касается государства? Ответ прост: либералы – не государственники, государство для них – чужеродное тело. Но либерал не тот, кто видит бревно в своём глазу, а винит всех, кроме себя, и, прежде всего, народ с его “не той” историей. Мол, был бы “тот”, всё пошло бы иначе. Как на Западе. А пока не появился “правильный” народ, либералы готовы давать советы, как надо жить и что делать. Вот и Быков счастлив осчастливить слушателей рассказами, что не так в датском королевстве...

Быков и иже с ним призывают отказаться не просто от набора неких качеств, а от того, что крепит сообщество людей между собой. Это ведёт не к свободе, как уверяют современные либералы, а к социальной энтропии – разжижению и умиранию европейской цивилизации.

Об этом ниже, а пока одно принципиальное замечание.

Дмитрий Быков, как и полагается любому хорошему пропагандисту, демагог. Что такое демагогия? Во-первых, это сведение сложных вещей до уровня понимания их “детьми” (редукция), в ходе которых теряется масса важнейших нюансов, превращающих истину в её противоположность – ложное знание. Во-вторых, демагогия есть использование заведомо ложных посылок, на основе которых строится доказательная часть.

Примеры? В качестве подкрепляющего аргумента своей проповеди об учении мистера Гарри Поттера Быков вещает: “Нельзя ненавидеть человека за то, что он очкарик, нельзя презирать его за то, что он грязнокровка, нельзя ненавидеть иностранца, нельзя обожествлять себя за то, что ты здесь родился”. Это и есть демагогия. Ибо, конечно, нельзя! И всё это известно давным-давно и для этого не нужно городить некое новое учение. Всё перечисленное входит в систему обычного домашнего и школьного воспитания.

Или такое (цитирую): “Те, кто верует в Меня, спасутся”, – говорит Христос. Я бы добавил от себя, что те, кто действуют по образцу Гарри Поттера, тоже спасутся”. Значит, сам Быков точно спасётся. Ну, а мы, грешные? Только если станем “полукровками”? А если нам не захочется, что за сила принудит нас к этому? Тут мы переходим к главному.

Ведь для того, чтобы стать полукровками, необходима метисация. А для того, чтобы произошло желаемое, необходимо завезти в Европу миллионы, десятки миллионов африканцев, арабов и турков. “Ну, так давайте сделаем это!” – говорят либералы. Что и делается под видом беженцев или рабочей силы.

“Не приведёт ли это к растворению европейского менталитета и крушению европейской цивилизации?” – сомневаются осторожные. “Не бойтесь прогрессивного процесса!” – храбро отвечают либералы. И приводят аргументы и прокламируют учение в духе сказанного Быковым насчёт “полукровок”. Короче, “мы новый мир построим”. Но европейские народы это проходили, и не

один раз, с соответствующими результатами, после чего приходилось возвращаться к традиционным ценностям.

“Мир Гарри Поттера — мир всеобщей смешанности, мир без границ, мир глобализма”, — заявляет Быков. Ой ли? А деление на мир маглов и волшебников в романе? Там границы более чем чёткие. А разве сам мир волшебников един? На что тогда четыре факультета? Казалось бы, учи по единой программе... Но природа требует разнообразия. В этом залог успешной эволюции.

Ну и, наконец, как там лелеемые “беженцы”? А они собираются отказываться от всех перечисленных Быковым качеств? Очевидно, что нет, и тем самым они получают преимущество в борьбе за жизненное пространство перед толпой не ведающих родства, с порушенными социальными связями. Всё это уже было. Достаточно почитать историю Римской империи II–III веков. Некогда великий народ превратился в стадо, не способное защитить себя и вынужденное приглашать управлять собой вчерашних рабов (вольноотпущенников) и нанимать солдат из варваров, что, естественно, не спасло от захвата их государства иноземными племенами.

“Орфей спускается в ад”. По легенде, он спускался в царство теней за умершей возлюбленной. А нынешняя Европа спускается туда за толерантностью. Учитывая превозношение (в кино это особенно заметно) содомии, получается, что старушка-Европа мечтает о том, чтобы её отымали противополоственным, но при этом сладостно-прогрессивным образом. Причём, если следовать за верой, прокламируемой Быковым, надеется получить в итоге метиса — шоколадного, курчавого ребёнка, идущего ей на смену. Ну-ну. Только что будет в окончательном раскладе? Что за мир получится? Мир поздней античности? А пока что ведётся соответствующая пропаганда, ставятся фильмы, преподают в детсадах и школах учение о половой толерантности.

Так может: “Да здравствует чистокровность!”? Да нет никакой чистокровности, и давно. Европейские народы объединились в Союз с открытыми границами и свободой местожительства. В Советском Союзе провозгласили желание создать единую общность — советский народ. Не вышло? Так не потому, что испугались метисации. Нации оказались сильнее интернационализма. Исторический опыт свидетельствует в пользу многомерности и многосложности проблемы единичного и общего. И нельзя очертя голову звать ни к чистоте крови, ни к полукровности. Любая крайность дорого обойдётся обществу.

В медицине “толерантностью” называют потерю организмом сопротивляемости к чужеродным вирусам. В обществе толерантность или индивидуализм, не опирающийся на почву национальной традиции, из этого же ряда.

Что же получается? Дмитрий Быков, хваля эпопею “Гарри Поттер” за её гуманизм, сам встал на сторону Упивающихся Смертью? А почему бы и нет? В последней книге Роулинг “Дары смерти” показано, что в определённых условиях добро любого человека может работать на Волан-де-Морта. Главное — не декларируемая задача, а конечная цель. А конечная цель для тёмных — разрушение того, что складывалось тысячелетиями и что цементирует человеческую цивилизацию.

Сказано: “Бойся данайцев, дары приносящих”. Точно так же бойся либералов с их хорошими намерениями и призывами, ибо это верный путь в социально-исторический ад. Доказано уже не раз...

НАТАЛЬЯ ЕГОРОВА

ВДАЛИ ОТ РОССИИ

К юбилею Анатолия Аврутина

Бывает так: прозвучит какое-то слово или выплывет конкретная деталь, и высветит давно известную всем проблему по-новому, ярко, пронзительно и остро. Так вышло у меня и с Анатолием Аврутиным. Как-то в одном из его писем, полученных по электронной почте, прочитала: “На днях мне сообщили из Германии, что во Франкфурте выходит фундаментальная четырёхтомная антология “Сто лет русской зарубежной поэзии”. Первые три тома – три волны эмиграции (там все звёзды, начиная с Цветаевой), четвёртый – поэты двадцать первого века, волею судьбы оказавшиеся вне России. В данном случае я составителям очень подошёл, хотя никуда и не уезжал, а потому сказали, что дают меня в четвёртом томе, который выйдет к международной книжной ярмарке... Антология поступит во все крупнейшие университеты мира и будет своего рода путеводителем по русскому зарубежью. Единственная печаль – зарубежьем себя считать очень грустно...”

Все мы хорошо знаем, что живёт Анатолий Аврутин в Минске, и проблемы у русского поэта, оторванного от России, возникают немалые. Но вот чтобы так – антология русского зарубежья, да ещё в одном ряду с поэтами русских эмиграций... Минск совсем рядом с моим родным Смоленском, и Беларусь – наша родная и добрая соседка, при всём понимании современных проблем и реалий людьми, выросшими в СССР, чем-то отчуждённым не воспринимается. Но литературный ряд, в который волей судьбы попали стихи Анатолия Аврутина в антологии поэзии русского зарубежья, высвечивает проблему с неумолимой конкретикой и делает её проблемой русской истории, русской геополитической катастрофы и русской литературы. Я не видела вышедшей во Франкфурте антологии, но в памяти сразу зашелестели страницами многочисленные выпускавшиеся у нас антологии поэзии русского зарубежья. Выплыли хрестоматийные ностальгические строки Ивана Бунина: “Темнеют, стынут сумерки в пустыне, // Поля и океан...// Кто утолит в пустыне, на чужбине, // Боль крестных ран?”, сопротивляющийся, упругий стих Владимира Набокова: “Но где бы стезя ни бежала, // Нам русская снилась земля. // Изгнание, где твоё жало, // Чужбина, где сила твоя?”, горькое цветаевское: “Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, // И всё – равно, и всё – едино. // Но если по дороге – куст // Встаёт, особенно – рябина...” Вспомнились, конечно же, и классические строки поэта второй волны эмиграции Николая Моршена, удивительно кратко и точно сказавшего о мироощущении людей, переживших великие исторические потрясения:

*Он прожил мало — только сорок лет.
В таких словах ни слова правды нет.
Он прожил две войны, переворот,
Три голода, четыре смены власти,
Шесть государств, две настоящих страсти.
Считать на годы — будет лет пятьсот.*

Эти строки — о каждом из нас, переживших развал и разграбление страны, смену общественной формации и идеологии, войны, то и дело вспыхивающие на территории бывшего СССР, — всего и не перечислишь! Так что по жизненному опыту и мироощущению и у празднующего сегодня свой юбилей большого русского поэта Анатолия Аврутина психологический возраст, реальное, не календарное время души по “шкале Моршена” зашкаливает за пятьсот и устремляется куда-то к отметке “тысяча”. “Спрессованное время”, рождённое неустанной работой души, уходит на дно сознания, тягчит, давит, но и всплывает удивительными по накалу строками, другим видением мира, другим ощущением себя в мироздании, другой радостью, другой, особой, прожитой и выстраданной глубиной. И всё же, какое отношение к поэтам русской эмиграции может иметь Анатолий Аврутин, коренной житель Минска? Вот и в письме его чётко и ясно написано: “... хотя никуда и не уезжал...” И тем не менее, я должна признать, что многие строки Анатолия Аврутина с неумолимой и пронзительной точностью и болью подхватывают и продолжают то лучшее, что было написано поэтами русской эмиграции:

*Вдали от России
И птицы летят по-другому —
Ещё одиноче безрадостно тающий клин...
Вдали от России
Труднее дороженька к дому
Среди потемневших,
Среди поседевших долин.*

“Вдали от России” — стихотворение откровенно хрестоматийное. Кроме любви, выстраданности и бесконечной важности темы, есть в нём та редкая в современной поэзии простота, о которой молят Бога монахи и которая всегда была присуща русской классике. Но тема заявлена и обозначена точно.

Тема оторванности от России, тоски по родине — главная у Анатолия Аврутина, одного из лучших и, пожалуй, самого пронзительного русского поэта последнего десятилетия. Россия из его стихов наплывает на читателя лавиной — признанием в любви, пейзажем, размышлениями о русской истории, картинками современной жизни, русскими характерами, ностальгией, болью, отчаянием, философскими раздумьями, осмыслением собственной судьбы. Наверное, не будет преувеличением, если я скажу, что всё, о чём пишет Аврутин, — это Россия: “Не брести, а скакать по холмам помертвелой Отчизны, // На мгновенье споткнуться, ругнуть проржавелую гать, // Закричать: “Огого!” — зарыдать о растроченной жизни, // Подхватиться и снова куда-то скакать и скакать”. Лирика Анатолия Аврутина накатывает волной, захлёстывает, увлекает за собой читателя, слова и образы идут наплывом, он поэт мощного лирического чувства и сильного музыкального накала. Но успокаивается подхватывающая и несущая ввысь могучая поэтическая стихия — и звучит прозрачный, спокойный, пронизанный тишиной и светом лирический голос: “Сызмалу я нет — приучен не был // Трепетать от трелей соловья... // Грозная утренняя небыль, // Роковая родина моя. // Но уже тогда я чуял кожей // С родником и родиною связь, // С драною кошёлкой из рожи, // Где ромашка робко привилась”. Рубцов в этих строфах слышится отчётливо: “С каждой грозой и тучею, // С громом, готовым упасть, // Чувствую самую жгучую, // Самую смертную связь”, так что нет нужды объяснять, с каким поэтом Аврутин ведёт поэтический разговор о России, чью оборвавшуюся песню подхватывает в своих стихах, вслед за чьим конём направляет своего скакуна “... по холмам помертвелой отчизны”. Поэтический диалог через время Аврутин ведёт не только с Рубцовым, но и со многими русскими поэтами. Он

обладает своим неповторимым и сильным голосом и в поэзии искушен. Он владеет лирической стихией и умеет быть разнообразным и неожиданным – по-блоковски и по-рубцовски лирическим и стихийным, по-некрасовски классически ясным и реалистичным, по-фетовски прозрачным и чутким, по-тютчевски глубоким и философичным. И всё же эпиграфом к его творчеству я поставила бы строки далёкой от него по лирическому ладу Марины Цветаевой: “Из сырости и шпал // Россию восстанавливаю”. Ностальгия по России в его стихах так сильна, а образы так предметны и живы, словно оказавшийся за пределами Родины поэт хочет воссоздать, “сотворить” словом ушедшую за горизонт Россию, восполнить потерю собственными стихами. Познание России – песня о родине – отталкивается от земного и восходит вверх по звенящей отвесной вертикали. Ностальгический, бесконечно русский пейзаж – церквушки и хатки, просёлки и перелески, пустующие поля и птицы в шелестящих рощах (“Зелёнымдыханьем наполнится чахлый пейзаж, // Рассадят по веткам галчат светливые клёны. // И встанешь... // И вздрогнешь... // И всё, что имеешь, отдашь // За галочий крик и над церковью крест золочёный”) – сменяется знакомыми картинами народной жизни, выписанными верно и точно (“Не закрыта калитка... // И мох на осклизлых поленьях... // На пустом огороде разросся сухой бересклет... // Всё тревожит строка, // Что “есть женщины в русских селеньях”, // Но пустуют селенья, и женщин в них, в общем-то, нет”). Картины народной жизни рождают улыбку земной любви, и взгляд обращается к женщине, но там, где у другого писалась бы любовная лирика, у Аврутина всё равно продолжают стихи о России: “Такое вот имя – Ирина, Арина... // Слегка журавлино, слегка голубино, // Слегка снегопадно, слегка февралёво, // Но вечно – небесного чувства основа”. Женский взгляд сливается с таинственным ночным пейзажем, и вдруг устремлённая к небу песня резко взмывает вверх – к звёздному небу, а потом – ещё выше, в совсем уже неотмирные дали – к раскрывшейся над мирозданием плотинской Мировой Душе, а в ней неожиданно и ясно угадывается сокровенная Россия, а точнее – её светящаяся Вечная Душа: “Когда бредёшь в раздумчивой тиши // Наедине с ночным небесным светом, // Есть ночь и высь... // А больше – ни души, // Но всё душа, но всё душа при этом...”

“Родина есть нечто от духа и для духа. И тот, кто не живёт духом, тот не будет иметь Родины; и она останется для него тёмною загадкой и странною ненужностью... Но именно поэтому творцы духа суть живые очаги Родины. Назови мне, кто те пророки, гении и герои, перед которыми ты в любви преклоняешься, и я скажу тебе, какого ты духа и где твоя Родина... Ибо ты любишь их и преклоняешься перед ними потому, что они облегчили тебе бремя твоей жизни, показали тебе путь к устройению твоей души, дали тебе утешение, дали тебе радость быть сильным... знаешь ты о том или не знаешь, – они твои пастыри, учителя и вожди, создавшие твою Родину и указавшие её тебе”, – писал волею судьбы оказавшийся за пределами России Иван Ильин в своей работе “О России. Три речи”. Для самого Анатолия Аврутина национальная идентичность невозможна без русской поэзии, пророческим зрением провидящей в исторических катаклизмах и мятущемся хаосе бытия великую Небесную Родину, силой песни проявляющей её суть и возносящей на должную высоту: “Если вдруг на чужбину // заставит собраться беда, // Запихну в чемодан, // к паре галстуков, туфлям и пледу, // Томик Блока, Ахматову... // Вспомню у двери: “Ах, да... // Надо ж Библию взять...” // Захватчу и поеду”. Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Тютчев, Фет, Блок, Есенин, Ахматова, Цветаева, Рубцов – вечная часть земной родины, земного Отечества, ибо они не только путеводные вехи, маяки во мраке, но и **творцы родины**. Об этом свойстве поэта – **творить родину** в области земного духа для тысяч и миллионов – Анатолий Аврутин знает прекрасно. И, оказавшись за условной географической границей, он тем паче готов исполнить своё поэтическое предназначение не ради собственной беды и тоски, а ради миллионов таких же страждущих, вопрошающих, нуждающихся в слове объяснения и любви, “восстановив” “из сырости и шпал” ушедшую за земной горизонт, выстрадавшую и очищенную сердцем Россию. Он готов стать живым очагом разорённой родины, одной из вех духа, маяком в беззвёздной тьме крушения. Но для того, чтобы самому понять и найти Россию, ему надо очиститься от скорби и страстей, пережить трагедию крушения, осмыслить собственную жизнь, русское прошлое и русское настоящее. Ибо “вдали от России” выходит

за область географического и, как всё, имеющее отношение к духу, преодолевается только духом.

Анатолий Аврутин родом из СССР – послевоенной, уже вставшей на ноги, но ещё не окрепшей и не пришедшей в себя страны, нищей и счастливой, где скудное житие скрашивалось мамиными драниками и супом с лисичками, а окрылённое надеждой детство неизменно венчалось пушкинским “Золотым петушком”: “В ногах скрутилось одеяло, // Часы с кукушкой били шесть. // Мне мама Пушкина читала – // Тогда не так хотелось есть”. В той стране нищего быта и холодных квартир из репродукторов говорил ещё не оболганный и не попраный победитель Сталин: “...динамик хрипел от темна до темна, // И нигде его не выключали // – Вдруг внезапно объявят, что снова война, // И по радио выступит Сталин?..” А. Аврутин, – прежде всего, наследник той эпохи, наследник вечной трагедии Великой Отечественной, наследник Победы и рождённых ею надежд, наследник великой, привольной и свободной страны по имени Советский Союз: “Там Сталинград ещё не Волгоград, // Там “Тихий Дон”, там песенное слово. // И в ноябре, как водится, парад – // Под первый снег... В каникулы... Седьмого...” А рождённым в большие эпохи даются не только большие испытания, но и большой характер, большое зрение – чувство истории и чувство современности, чувство народной правды и потребность стоять за свою страну – до великой Победы: “Даже из собственных помыслов изгнан, // Разве ты вправе грешить на Отчизну // В чёрную полночь без дна?..” Наверное, поэтому Россия Анатолия Аврутина – это и современное разорванное культурное и геополитическое пространство, и простирающаяся в даль веков глубина исторической и генной памяти, в которой нашествие сменяется нашествием, а разорение – разорением. “И Орда одолела... Не нас – тех, кто следом пришел, // Тех, кто вытравил память из шариков гемоглобина. // Им чванливо велели, и, ноги поставив на стол, // Потешались: “Плевать нам, что харкает кровью рябина...” Вечная Орда выплывает из глубины веков в наши дни, “вечный бой” за геополитическое пространство длится непрерывно – прошлое и настоящее в этих стихах, как и в жизни, разделить невозможно. Но “Орда одолела” – произошло самое больное и непредставимое для всех, особенно – для фронтовиков и рождённых в послевоенные годы детей Победы. На пушкинское “Или... // От потрясенного Кремля // До стен недвижимого Китая, // Стальной щетиною сверкая, // Не встанет русская земля?..” был дан невозможный ответ: “Не встанет...”

Россия Анатолия Аврутина – не позолоченная прянично-лубочная страна грёз, а великая и горькая страна-трагедия. Аврутина часто небезосновательно обвиняют в излишних мрачности и пессимизме. Отчасти это так. Но только – отчасти. Зачастую за пессимизм принимают умение поэта прямо смотреть правде в глаза и говорить её, какой бы горькой она ни была. Аврутин зорко и точно видит недостатки России и русского характера, и о многих исторических и житейских проблемах пишет с откровенной горечью: “Да, характер такой у смурного от жизни народа, // Всё: “Авось, перебьёмся... Авось, доживём до поры...” // Будут мёд добывать, а себе не останется мёда, // Воздвигают палаты, а хаты кривы и стары”. Но любовь – вне рассудка, поэтому Аврутин “восстанавливает” ушедшую за горизонт Россию целиком – с недостатками и изъянами, ибо они тоже мета родного. Вообще же “мрачность” Аврутина проистекает из того, что он пока находится внутри трагедии, внутри огромной геополитической катастрофы, и преодолеть её духом поэту только предстоит. “Ничего от той жизни, // Что бессмертной была, // Не осталось в отчизне – // Всё сгорело дотла...” – эти строки Владимира Соколова о дряхлеющей больше века русской катастрофе. Об этой же трагедии – великая печаль Аврутина: “Взъерошенный ветер к осине приник... // Одна вековая усталость, // Где русские души, где русский язык, // Где русская кровь проливалась”. Здесь опять слышится “Всё расхищено, предано, продано...” А. Ахматовой, и Аврутин перебаживает потерю родины, ищет Россию, но нигде не находит её светящейся Вечной Души, глядящей на ночные просторы из самых глубин мироздания. Поэтому его душа – беспокойна и мрачна, простор, наплывающий на поэта, – тёмнен, ночь беспроглядно черна:

*Просто за старым скрипящим забором
Бездна бесстрашно висит над собором,
Птиц от крестов отогнав...*

*Просто, как старые чуни скрипучи,
Небо закрыли тягучие тучи...
Просто идёт ледостав.*

И всё же в этом мраке где-то за стенкой кричит роженица, рождается будущее, рождается грядущая Россия. Поэт осознаёт это, но пока не может перебороть беды, ибо он, как и все его современники и соотечественники, жившие в СССР, находится не только в географической, но и в духовной дали от России. Радостного отклика на крик роженицы не следует: “На капли расплескана, тысячелица, // Усталая вечность мешает вздохнуть. // И только за стенкой кричит роженица... // И суть непонятна... И тягостна суть”. И действительно, географическая даль порождается далью духовной, как и геополитическая катастрофа, прежде всего, происходит в миллионах душ, утративших “родное”, потерявших родину, не вставших на её защиту: “Вдали от России... // Да что там – вдали от России, // Когда ты душою порой вдалеке от себя...” В беспроглядном мраке катастрофы подвергается сомнению всё, даже самое незыблемое:

*И шатаюсь я вдоль раздорожий,
Там, где чавкает сохляя гать,
И всё Бога пытаю: “Я — божий?..”
А Господь отвечает: “Как знать...”*

Аврутин пока не может принять рождающегося будущего. Но за стенкой кричит роженица, крик тревожит его, он понимает, что от этого крика зависит его душа, и тёмный, обступивший душу простор с холмами, ломающимися льдинами, мятущимися, как река, далями держится сейчас на этом крике: “И вечность не чудится золотицей, // И кровь вместо пота сочится из пор... // И только за стенкой кричит роженица – // Умолкнет она, и умолкнет простор...”

Но как же пронзителен внезапно вспыхивающий в стихах свет! Он летит в душу всё той же аврутинской лавиной, когда в стихотворение врывается рождённая безвестной роженицей и немного подросшая девчушка. Она не ведает страха катастроф и потерь, она просто **есть** – и принимает мир таким, какой он есть, и поэтому находится вне трагедии. Она – вне времени, вне мрака, а значит, пока принадлежит области духа. И сердце мгновенно узнает её вместе с деревьями, рыбами, птицами, ведь они – “родина”, “родное”, будущее, и весь этот знакомый, единый мир, и эта несущая в волосах солнце девчушка зовутся словом “Россия”.

*Угорая в чаду, что дарит позабытая вьюшка,
Все боятся чего-то, и вечен тот давящий страх.
Но наутро из хаты — чуть свет — выбегает девчушка,
И сама, как росинка, и солнце несёт в волосах.*

*И её узнают и деревья, и рыбы, и птицы,
И листок золочёный всё тщится в ладошку слететь...
Крикнет: “Папа, гляди!” И отцы забывают про страхи,
И шеломистый купол на Храме спешит золотеть.*

Таким пронзительным бывает только свет преодолённой трагедии.

Пронзительность, пожалуй, – одно из главных свойств поэзии Анатолия Аврутина. Не только дар глубоко и остро переживать происходящее, но и умение безоглядно открыться читателю, донести свою боль, не ведая преград между его и своей душой. Есть у А. Аврутина и великий дар сострадания и сочувствия. Анатолий Аврутин – очень человеческий поэт: так видеть и любить простого человека, так понимать народ умеют немногие. Как поэт, я не могу не ценить мощную, покоряющую, возносящую волну аврутинской лирики. И всё-таки, на мой взгляд, лучший Аврутин – это Аврутин, поднимающийся до некрасовской простоты и народности, поэт просветлённый, чистый и ясный. И если с врывающейся в стихотворение девчушкой в сердце поэта вспыхивает мгновенный луч узнавания родного и преодоления трагедии, она –

“солнечный удар” постижения родины и возвращения к жизни, то в душах простых людей А. Аврутин находит вечный отклик на трагические события и свою ушедшую в дальние дали Россию. Его герои не могут спеть песню преодоления, они тоже внутри трагедии, но по смирению и душевной простоте именно они сохранили Россию в своей душе:

*И в душе запеклась,
Будто кровь на обветренной ране,
Вековая обида
За этот забытый народ,
За того мужичка,
Что с полочки ночует в бурьяне
И всё шарит бутылку...
А всё остальное — не в счёт.
Как он ловок
Венец за венцом возводит колокольню,
Как он любит по-старому мерить —
Верста да аршин!..
А поранится: “Больно, Михеич?” —
Ответит: “Не больно...”
Всё не больно — и нажил не больно
До самых седин.*

Сколь бы ни был современен и знаком нам этот лирический герой, придётся признать, что мужичок, ловко возводящий колокольню и шарящий в бурьяне бутылку, не так уж и отличается от мужичков Николая Алексеевича Некрасова и героев других русских классиков. Безответный и терпеливый умелец Левша, молча страдающий и молча прощающий, Михеич вечен, как вечно его дело — “венец за венцом возводит колокольню”, ибо он — душа России, один из главных русских человеческих типов. К Аврутину приложимы слова Николая Тряпкина: “Нет, я не вышел из народа”. Поэтому герои его стихотворений — не только узнаваемые, но и **родные**, не утратившие исконной связи с **родиной**. Это и вечная русская старуха: “У столетней старухи // Белёсье, редкие брови, // И бесцветный платочек опущен до самых бровей...” Это и деревенская бабка на базаре, даром отдающая поэту кулёк с ежевикой: “Не тащить же назад, — улыбнулась, — мне ягоды с рынка, // Хворь совсем одолела... Самой притащить б назад...” Это и знакомая картина послевоенных лет в стихотворении “Стирали на Грушевке бабы...” Одной меткой деталью Аврутину удаётся передать горе вдов: “И дружно глазами тоскуя, // Глядели сквозь влажную даль, // На ту, что рубаху мужскую // В тугую крутила спираль”. Ещё один мгновенно узнаваемый аврутинский лирический герой — Мирон. Современный и хорошо всем известный образ — ветеран Великой Отечественной, в незащитной старости брошенный выживать в реалиях нового времени. Он потерял рассудок и до сих пор живёт в даях минувших сражений:

*Он сдал в музей медаль и ордена,
Он потерял жену, а с ней — рассудок.
И встречного: “Закончилась война?..” —
Пытает он в любое время суток.*

*“Да-да, Мирон, закончилась... Прости,
Что мы тебе об этом не сказали...”
Он расцветает... И звенят в горсти
Монеты на бутылку от печали.*

Сдавший в музей медали и ордена, потерявший память фронтовик с бутылкой от печали на фоне разрушенной, расчленённой страны и попранной Победы потрясает до глубины души. Но Аврутин на этом не останавливается — концовка у стихотворения пронзительная, бездонная: “Проклятый век... Шальные времена... // В соседней Украине гибнут дети. // А здесь Мирон: “Закончилась война?..” // И я не знаю, что ему ответить...” Несколько строк стихотворения — и не названная в них великая драма развала СССР прочно

вписывается в трагические дали русской истории и вековечную печаль тысячелетней войны... Мирон стар и уже не может встать за Россию, но он солдат и проливал свою кровь за родину. Это за его солдатской спиной жила мирная страна, кричала безвестная роженица, а теперь теснятся, подпирая друг друга, дети и внуки: “Эх, какая земля! Как здесь всё вековечно и странно! // Здесь густая живица в момент заживляет ладонь. // Здесь токует глухарь... И родится Иван от Ивана – // Подрастёт и вражине промолвит: “Отчизну не тронь!” Простой “народ безмолвствует”, он пока не поднялся над трагедией и ещё ищет “монеты на бутылку от печали”, но он *есть* и сохранил в своей душе родину, а значит, может подняться и встать за Россию. И сам Анатолий Аврутин – уже не идущий наугад по бездорожью эпохи путник, а часть народа, солдат Отечества, вечный “певец во стане русских воинов” – внутренние ресурсы и отправная точка для противостояния трагедии найдены. И в области духа отбывают молчавшие до поры и ждавшие своего часа торжественные строки Николая Тряпкина: “А в сёлах гремят витии, // А с нами – отряды муз. // О Русь! Купина! Россия! // Великий Советский Союз!.. // Держава – на полном сборе. // Хвалынцы и тверяки. // И песни мои в дозоре, // Готовые, как штыки”.

И всё же главная парадоксальность ситуации состоит в том, что свою бесконечную русскую и бесконечно далёкую, ушедшую за горизонт Россию с её городами, храмами, просёлками, большаками, реками, холмами и мгновенно узнаваемыми русскими людьми Анатолий Аврутин пишет с природы. И “натура” эта – его родная, ставшая зарубежьем Беларусь. Да и странно было бы думать, что за лирическими впечатлениями поэт ездит из Минска в Россию. Для меня, жительницы граничащей с Беларусью Смоленщины, это совершенно очевидно – доберись до пригорода или до ближайшей деревни – и смотри на аврутинских спившихся умельцев-мужичков, изработавшихся и почерневших красавиц-баб – русских ли, белорусских – а кто когда спрашивал? И пейзажи в стихах Анатолия Аврутина – равным образом узнаваемо минские и узнаваемо смоленские. Да так ли уж отличается от русского белорусский пейзаж? Те же нищие хаты и поля, те же холмы и берёзовые рощи, те же сошные боры и низко идущие серые облака, давно знакомые по русской классике: “И низких нищих деревень // Не счесть, не смерить оком, // И светит в потемневший день // Костёр в лугу далёком...” (А. Блок). Этот исконно русский пейзаж, давно введённый в область земного духа родины почти всеми поэтами, Аврутин пишет с Беларуси, не то расширяя границы русского духа, не то вводя “заграничную” Беларусь в область “родного русского”:

*Здесь сипло и нудно скрежещет забытый ветряк,
И лица в окошечках, будто бы лики с иконы, —
Морищючки-русла от слёз не просохнут никак,
И взгляд исподлобья, испуганный, но просветлённый.*

И всё-таки – как верно и точно назвать ту ушедшую в далёкие дали Россию, то затерянное Беловодье, тот затонувший Китеж, о котором поёт поэт? “Белорусская Россия”? “Русская Беларусь”? Что ему ближе и важнее? Что он потерял в результате чудовищной геополитической катастрофы? О чём его мощный – то журавлиный, то аистинный – крик над пространством распавшегося Отечества? Его утерянная родина находится рядом, но она бесконечно далека. Безусловно, Анатолий Аврутин, как и всякий поэт, пишущий о родине, всегда подсознательно ищет её идеальный образ, её Вечную Душу, отразившееся в земном Отечестве Отечество Небесное. “Страдания, посланные нам историей, отрезвят, очистят и освободят нас... Но к самому естеству русской народной души принадлежит это взыскание Града. Она вечно прислушивается к поддонным колоколам Китежа; она всегда готова начать паломничество к далёкой и близкой святыне” (*Иван Ильин. “Поющее сердце”*). По сути, Аврутин, пишущий свою “белорусскую Россию” и “русскую Беларусь”, пишет древнюю и вечную Святую Русь с единими в самом замысле Творца Россией, Беларусью и Украиной и неотвратимо и точно показывает русским и белорусам их глубинное, корневое и неискоренимое родство, ведь ни простой народ, ни родное пространство “никуда не уехали” – они так и живут в вечных даях единого славянского этноса. Перед этим родством бессильны указы, границы, политика, революции, войны. Таково Слово

Творца о Святой Руси, и Аврутин, порою даже не сознавая этого, покоряется Божьей воле, идёт за природой явлений и своим поэтическим словом отражает их суть.

Но поэзия А. Аврутина неумолимо говорит и о разделении, стремительном отчуждении Беларуси от России — именно отчуждение рождает острую ностальгию, поражающую сердце. В этой разверзшейся духовной дали великой потери собственной сути, национальной идентичности, корней и памяти рушатся державы и перемалываются человеческие судьбы. В этой дали и в глубине России — “вдали от России”, и в глубине Беларуси — “вдали от Беларуси”. Именно над этой далью трагедии летит и кричит поэтический аист Анатолия Аврутина, взрезая “беспросветность своим осторожным крылом”:

*И вроде светлело... Всё больше являлось народу —
Следили за птицей, чубы к поднебесью задрав.
И вброд перешли они стылую чёрную воду,
Что в скользких обломках несла очертанья держав.*

Аврутин не пишет о политике, не покушается на суверенитет Беларуси и России, но его мощный аистинный крик о единстве и разделении, о любви и отчуждении звучит над неделимым в своей глубинной сути пространством и о невозможной чудовищности происшедшего говорит куда убедительнее и достовернее политических лозунгов и умственных выкладок.

... И всё же рановато во Франкфурте записали Анатолия Аврутина в поэты русского зарубежья. Перед нами — живое, полнокровное и яркое явление русской литературы. Стихи А. Аврутина, сорвавшись со страниц “Нашего современника”, “Москвы”, “Молодой гвардии”, не только легко встали в ряд лучшего, что было создано современными русскими поэтами, но и оказались самым значительным из того, что было написано в русской поэзии за последнее десятилетие. Трагедия распада СССР прошла по судьбе А. Аврутина гораздо сильнее, чем по судьбам поэтов, живущих в России, и гораздо пронзительнее, значительнее, больнее отразилась в его творчестве. Анатолий Аврутин не только поэт, переживший трагедию, но и поэт, рождённый трагедией, — трагические десятилетия распада страны вознесли его музу на новую высоту, выковали как мастера, дали стихам крепость и пронзительную глубину. Поэтом, имеющим общерусское значение, Анатолий Аврутин стал, оказавшись вдали от географической России, за её пределами, ведь именно тогда открылась ему во всей глубине даль русского духа — беспредельность и глубина земной и Небесной Родины.

В творчестве Анатолия Аврутина отразилась не только его личная трагедия и трагедия нашей разрушенной страны, но и великая трагедия заброшенной, никому не нужной, вопреки всему выживающей в России, гонимой по миру, разорванной на части русской литературы. Литературы, одинаково “ищущей Россию” и в России, и в Беларуси, и на Украине, и на Памире. Не только по Анатолию Аврутину — по многим и многим русским писателям, никуда не уезжавшим, но волей судьбы оказавшимся за пределами России, трагедия распада СССР прошла куда больнее, чем по живущим в России. Поэзия и судьба большого русского поэта Анатолия Аврутина пронзительно и ясно говорят нам ещё и о том, что мы, русские писатели, не имеем права, идя на поводу у политиков, разрывать единое литературное пространство и отдавать наших собратьев по перу в “русское зарубежье”, в “русскую эмиграцию”. Они — полноправная и значительная часть России, часть русской судьбы и русской литературы, “очаги родины”, горящие в нынешнем зарубежье. И пока горят в разных уголках распавшейся державы эти “творящие родину” огни, пока льётся творящая русское и поверх границ восстанавливающая единство духа песня, о крушении державы и окончательном распаде страны говорить рано. Ибо, как написал об этом Анатолий Аврутин: “Вдали от России // круты и пологие спуски, // Глухи алтари, // сколь ни падай в смятении ниц. // Но крикни: “Россия”... // И эхо ответит по-русски, // Ведь русское эхо нерусских не знает границ...”

Смоленск–Москва

АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВ

доктор филологических наук, профессор

ПРЕВРАТНОСТИ ДЕМОКРАТИИ,
ИЛИ
“СТРАШНАЯ ТАЙНА”,
РАСКРЫТАЯ
НИКОЛАЕМ ЧЕРГИНЦОМ

1

Имя писателя Николая Ивановича Чергинца не нуждается в особых представлениях белорусскому и русскому читателю. Им написано свыше тридцати романов, которые изданы многомиллионными тиражами. Он зарекомендовал себя как корифей прозы остросюжетной, приключенческой и одновременно едва ли не нравоучительной: его герои никогда не поступают принципами, они отчётливо и недвусмысленно занимают позицию Добра (абсолютной приверженности чести, порядочности, преданности дружбе и всему тому, что делает служивого человека героем) в сражении со Злом (скопищем пороков, дегуманизирующих и деморализующих человека), и главная интрига его произведений заключается в том, насколько жизнеспособно добро в извечном противостоянии злу. “Не в силе Бог, а в правде” – таково кредо его несомненно положительных героев, которые, избегая пафоса, никогда так пышно не выражаются в свой адрес. И тем не менее правда – их путеводная звезда. Они сражаются за Правду (Родину, честь и право называться патриотом). Это именно герои – в точном и первородном значении этого понятия – персонажи, чьи души согревают идеалы, за которые они готовы пожертвовать жизнью. Отсюда и их подвиги как повседневная реальность, как способ жизнедеятельности.

Строго говоря, героический архетип, убедительно прописанный ещё в “Илиаде”, всегда был и по сей день остаётся актуальным. Героика как точка отсчёта – это классика культуры, и проза Николая Чергинца превращается в своего рода служение вечному героическому началу в человеке.

В творчестве писателя особое место занимает политический детектив. Самое известное произведение в этом жанре, конечно, – “Тайна Овального кабинета”. Политический – значит, сотворённый на злобу дня, в значительной степени посвящённый сиюминутному, смакующий “острые” факты, которые у всех на слуху. Политический – значит, оперативный: кто не успел, тот опоздал. Это не упрек жанру, это констатация его специфики. Душещипательная, мягко говоря, история Билла Клинтона и Моника Левински, благодаря

которой Овальный кабинет скандально превратился в “Оральный”, уже начинает понемногу отходить в прошлое, приобретая черты мифов и легенд. История с политическим подтекстом, раздутая СМИ, забывается, а политический детектив, написанный по её мотивам, читается с усиливающимся интересом. Если время идёт, а актуальность “истории” не утрачивается, следовательно, дело уже не в злобе дня, не в конъюнктуре, а в вещах более фундаментальных. Мне кажется, они стоят того, чтобы о них задуматься.

Погружаясь в “тайны Овального кабинета”, тайны, где вечные мировые политические и экономические проблемы переплетаются с не менее вечными любовными, ловишь себя на мысли, что дело вовсе не в сомнительной “истории”, якобы порочащей с моральной стороны имя президента США; дело в том, что сам критический тон по отношению к святым для Америки вещам сегодня воспринимается как совершенно естественный.

Понятия “Соединённые Штаты Америки” и “демократия” связаны настолько прочно, что бросаешь камень в Америку – попадёшь в демократию, и наоборот. А демократия с её сердцевинной – рыночной экономикой и религиозной идеологией – основа основ современной цивилизации. Рынок, демократия, религия – вот три кита, на которых держится цивилизация. Я бы добавил к этим трём ещё два звена: секс и национализм. Получается каркас устойчивой пятигранной конструкции.

Можно сколько угодно иронизировать по поводу того, что демократия, дескать, не такая уж и хорошая вещь, однако лучше неё ничего пока не придумано; а раз не придумано, то демократия, получается, очень хорошая вещь. Лучшая из “не очень хорошего”.

Во-первых, придумано. А во-вторых, факт остаётся фактом: на наших глазах происходит разочарование в демократии как основополагающей ценности культуры.

Нечего греха таить, концепция “человека экономического”, homo economicus’a, на которого сделала ставку цивилизация (культура пока стыдливо ориентируется на “человека разумного”, не понимая пока толком, фантом это или неизбежная перспектива), реализована в Америке с впечатляющей полнотой и обескураживающей бескомпромиссностью. А результат – разочаровывает? Что же тогда, ежели не реальный homo economicus?

Этот экономический homo, если не считать нескольких антуражных библейских заповедей, создан из двух прабиблейских канонов, сформулированных ещё в дописьменную эпоху и отражающих реальные потребности реального человека. Первый гласит: **все на продажу**. Второй вторит: **кто сильнее, тот и прав** (а сильнее, разумеется, тот, кто эффективнее реализовывает первую заповедь). А кто на свете всех сильнее? Для выявления победителя и необходим такой инструмент, как демократия. Культ силы, силовая регуляция всех отношений – экономических, политических, нравственных – вот “духовный” (точнее – волевой) стержень человека цивилизации.

Разочарование в Америке с её культом демократии – это разочарование в человеке, создавшем современную цивилизацию, вот что я хочу сказать; это понимание того, что никакая демократия не способна изменить или даже усовершенствовать природу человека. И напротив: если вы принимаете концепцию homo economicus’a, то вы станете аплодировать демократии, США и их президенту, и такую мелочь, как истина (состав которой – тысячи пронизывающих друг друга противоречий), просто перестанете принимать в расчёт. Тотальное шествие и триумф демократии – что может быть прекраснее?

Демократия – это возможность для одного представить потребности всех людей в таком выгодном для них свете, чтобы они доверили ему представлять свои интересы на политическом уровне. Америка сделала ставку на потребности человека (см. два “глобальных” заповедных канона, основу нынешней транснациональной идеологии – глобализма). Это естественно и по-своему правильно. Но она исключила из потребностей человека права личности – и это катастрофа. Отсюда и разочарование.

Что же можно хотя бы теоретически противопоставить демократии?

Предпочтительнее демократии на сегодняшний день, во-первых, желание выжить (а человек экономический, не станем питать иллюзий, будет стремиться заработать на всём, даже на отсутствии перспектив выживания: на гибели потомков можно неплохо погреть руки уже сегодня); во-вторых, демократии можно противопоставить потребности личности, человека культурного

(разумного), которого успел-таки породить человек экономический. С точки зрения личности, лучше, гораздо лучше демократии диктатура культуры. В общем и целом, на сегодняшний день – это утопия, не станем лукавить. Тут можно было бы и закрыть вопрос, если бы не антиутопия, ставшая реальной перспективой нашей жизни: тотальное разочарование в самой идее демократического мироустройства. Рост апокалиптических настроений сегодня очевиден. Человек экономический не спасёт планету Земля. Он её слопаёт, если уже не слопал.

Я не знаю, как следует осуществить диктатуру культуры, едва ли не эквивалент царства Божия на Земле. Уж, конечно, не коммунистическим методом, ибо диктатура пролетариата – это разновидность диктатуры человека экономического, которая сегодня осуществляется в форме демократии. Зато я отдаю себе отчёт в следующем.

Во-первых, тенденции развития человека (развития, подчеркну, а не деградации), если взять многие тысячелетия его развития – от природы к культуре, от человека – к личности. Факт того, что с личностью пока не считаются, сам по себе ещё не является аргументом в пользу того, что с личностью не будут считаться никогда.

Во-вторых, если тенденция к реализации личностного начала не будет укрепляться, человечество с его демократическими иллюзиями попросту исчезнет. Боюсь, в скором будущем вопрос будет ставиться именно таким образом: или человек становится личностью, или человек прекращает своё существование.

При чём здесь Моника Левински, спросите вы?

А при том, что эта “благородная девица”, ни секунды не сомневаясь, грудью, и не только грудью, встала на защиту священного принципа “всё на продажу”. Она с искренним энтузиазмом отработала номер, озвучила внедренный в неё коллективным бессознательным “кодекс чести”: победителя не судят. Она не предавала президента, Боже упаси, она не поступала ни хорошо, ни плохо (счастлива оказалась по ту сторону добра и зла); шустрая бабёнка просто заработала кучу бабла. Разве деньги – это не святое? Не “альфа” и “омега” цивилизации? Разве деньги – миллионы! – не заткнул рот каждому, кто решится её осудить? Зачем же тогда на деньгах частенько вытравливают надписи во славу Божию? “Мы верим в Бога”, – написано на искусительном долларе со змееподобной эмблемой. Деньги – это святое. И в прямом, и в переносном, и в самом что ни на есть сакральном смысле этого слова. Для людей, “мыслящих” в рыночных категориях, деньги неизбежно превращаются в смысл и цель существования.

Если она даже и предавала, у неё был самый благородный мотив на свете – деньги. Кроме того, были, кажется, и моральные соображения. При демократии принято к деньгам непременно добавлять и моральные соображения.

Она проболталась, нечаянно выболтала то, что некультурные люди цивилизованного общества тщательно скрывают от самих себя: демократия в исполнении человека экономического – это сплошной самообман и лицемерие. Демократия создала цивилизацию, чтобы разрушить культуру – вот оно, глобальное противоречие сегодня.

И это противоречие, которое едва-едва начинает осознаваться, хотя и пунктирно, но отражено в романе Николая Чергинца. Оно там угадывается.

Америка всё доказывает и доказывает: более агрессивного существа, нежели человек экономический, живущий в демократическом обществе, не бывает. Надеюсь, понятно, что вовсе не в Америке тут дело, а в природе человека, который упорно не желает становиться личностью, не хочет думать головой – “мыслит” исключительно брюхом и подбрюшьем. И демократия предоставляет ему право на удовлетворение этой его первичной потребности – не думать, заодно защищая право выставлять всё на продажу, рыдая при этом об утраченном милосердии.

Таким образом, рынок, демократия и религия (а также секс и национализм в придачу) – это инструменты диктатуры бессознательного, диктатуры природы, с помощью которых пытаются сотворить высшие культурные ценности.

И Н. Чергинец великолепно использовал шанс продемонстрировать это противоречие в художественном формате. Не надо было ничего высасывать из пальца, сама жизнь с удивительной полнотой и убедительностью выпятила все прелести такого корявого мироустройства, где господствует дух идеологии потребления.

Вот такие концептуальные получились вариации на тему “невинных” шалостей президента, который и не подозревал, гарантом каких прав и свобод он выступает на практике.

Особо подчеркнём: дело здесь, конечно, не в остроумном зубоскальстве писателя Н. Чергинца; дело не в том, что он якобы оседлал конъюнктуру и эксплуатирует настроения дешёвого антиамериканизма.

Автор политического детектива чутко уловил иные колебания коллективного бессознательного: угроза миру исходит не столько от ядерных ракет, терроризма и однополюсного мироустройства (хотя и от них тоже, кто спорит), сколько от маленького человека экономического, живущего в большую эпоху демократии.

Строго говоря, история, описанная в “Тайне Овального кабинета”, могла происходить и не в Америке, которая является органическим продолжением Европы. Само деление на Запад и Восток становится неактуально, ибо Восток, быстро переняв экономическую религию Запада, движется в сторону человека экономического, в сторону природы, а не культуры. Все хотят быть похожи на Америку, которая с громадным почтением относится к большим потребностям маленького, не думающего человека – вот в чём дело. История с Моникой Левински – это не специфически американская история, как нет ничего специфически американского в известных всему миру американской мечте и американской трагедии.

Потрясающий парадокс: с одной стороны, все стремятся к экономическому процветанию, которое обеспечивается демократией, а с другой – происходит разочарование в самом существе демократии под разговоры о том, что лучше демократии ничего не придумано. Этот парадокс свидетельствует о том, что человечество бессознательно дрейфует Бог знает куда, во всяком случае, подальше от того места, будь оно Востоком или Западом, где думают головой. Прячем голову в песок, как нечто лишнее для жизни, на манер упитанных страусов.

Ещё раз подчеркну: я не хочу сказать, что весь смысловой строй политического детектива “замешан” именно на этой культурологической коллизии. Это было бы явной натяжкой. И тем не менее, одной из ключевых, хотя и подспудных, тем романа является разочарование в чудодейственности демократии.

Согласимся: это вовсе не шлягерная глубина. Роман с таким смыслом и подтекстом обретает весьма и весьма серьёзное общественное звучание.

2

Если меня поймут в том смысле, что я, пользуясь случаем и моментом, спешу высказать своё персональное разочарование в рыночной экономике или демократии, то это не так. Я не разочарован в демократии, потому что никогда не был ею особенно очарован (что не означает, конечно, моего восхищения всем антидемократическим); я просто не питаю иллюзий относительно её культурных функций – это во-первых; во-вторых, я не считаю культурными людей, с восторгом причисляющих себя к рабам демократических доктрин. Я уважаю людей, которые способны мыслить, но не демократически спекулировать на “моральной позиции”.

И рынок, и демократия, и все прочие элементы общественного устройства – это всего лишь инструменты, способы достижения целей, и не надо превращать средство в цель. Поменяйте точку отсчёта, измените систему координат, по-новому осознайте цель – и та же демократия обнаружит свой культурный потенциал: она может стать способом утверждения диктатуры культуры.

Таким образом, дело не в демократии, не в автократии и вообще не в “кратии”, а в умении мыслить. Дело в нашем отношении к культуре, а не в том, насколько эффективно мы включились во всеобщую гонку за лидером цивилизации. Сама номинация “лидер цивилизации” при ближайшем рассмотрении оказывается не просто непрестижной – она оборачивается формой аутсайдерства. Не торопитесь, а то успеете.

Думаю, в ближайшем будущем человеку диктатура культуры не грозит; ему грозят такие цивилизационные (демократические, обратим внимание) последствия, как глобальное потепление, глобальное помутнение рассудка и, боюсь, глобальная агрессия. Человек экономический честно обнаруживает своё натуральное лицо – другого у него нет.

Беда в том, что человек духовный (разумный, культурный) пока не стал точкой отсчёта для общества, и неизвестно, может ли ею стать. Пока все вокруг живут по законам джунглей (прообразам законов демократии) – “каждый сам за себя” и “война всех против всех”. Все мы в той или иной степени – увы! – американцы, поскольку живём и выживаем всё в той же цивилизации и по законам этой цивилизации. И быть лидером цивилизации не так уж и почётно, если разобраться. Почётно было бы быть лидером культуры, если бы эта номинация не была безнадежно утопической.

Я приветствую книгу Николая Чергинца “Тайна Овального кабинета” прежде всего за *оправданный критический тон* по отношению к святым для всего “демократически мыслящего” (в данном контексте – не желающего думать) человечества вещам, в том числе по отношению к своим, белорусам и русским, вставшим на защиту идеологии потребления, – той самой идеологии, которая делит людей не на своих и чужих, а на тех, кто лопает (сильных), и тех, кого при этом поедает (“слабых”, то есть тех, у кого хватает духу и разума не быть “сильным”). Этот критический обертон ощутимо присутствует в схематичной полифонии. Противоречия, которыми болеют сегодня гуманитарные науки, обнаружались в его романе, даже если писатель сам и не собирался их акцентировать.

Детектив “Тайна Овального кабинета” (я бы назвал его более многозначительно: “Овальный Кабинет”, что можно прочитать как “ОК”), являет собой именно тот случай, когда художественные достоинства произведения определяются, прежде всего, жанром, а не стилем. Нелепо требовать от жанра политического детектива глубокой (в манере, скажем, Достоевского) психологической разработки характеров, связанных с обострением духовных проблем; глупо требовать “набоковской” описательности, “булгаковской” карнавальности или “шолоховской” эпичности. Вообще бессмысленно требовать того, чего не может дать произведение. Политический детектив следует судить и оценивать по законам жанра.

Он способен увлечь многоплановой и продуманной интригой – он и увлекает (почитателей). Известна публицистичность при этом присутствует? Присутствует, местами без перебора. Вполне ли демократически ведут себя герои – то есть ставят ли они инстинкт выше “морали” и не путают ли его с умом? Вполне демократически. Ставят. И путают.

Чего ж больше?

Но в данном случае мы действительно получаем несколько больше, чем можно было ожидать от политического детектива; в данном случае факты подобраны и скомпонованы так, что они “говорят сами за себя”, говорят, и даже проговариваются; в данном случае детектив не только развлекает, но и заставляет задуматься.

В романе присутствует гуманистическая глубина – качество, которым сегодня не принято щеголять. Н. Чергинец, надо отдать ему должное, не унился до нападок на демократию, он дал демократам проявить себя во всём блеске. Если прочитать “ОК” в предлагаемом ключе, становится понятным, почему игривое выражение “в Америке есть демократия; осталось только найти демократов” превращается в злое. Идеалы, дескать, хороши, люди вот только подводят. Не люди, а просто человеческий фактор какой-то. То войну затеют не там, где надо (да и надо ли вообще?), то с сексом их прищучит прокурор, то барышни-феминистки ведут себя провокационно. Словом, всё бы хорошо, если бы не война и не секс.

Не надо питать иллюзий: в Америке есть демократия именно потому, что там полным-полно демократов, обслуживающих рыночные отношения, озабоченных сексом и потому иногда позволяющих себе слабость вспомнить о Боге. Рынок, демократия, религия, секс и, как ни крути, национализм. Не три кита цивилизации, а целых пять – для устойчивости. Пятиугольник, легко принимающий форму замкнутого круга. Звезда Пентагон. За Овальным кабинетом – контуры Пентагона! Эту тайну, которую никто и не прячет, очень непросто разгадать, потому что верят демократам, а не собственным глазам и уму. Николаю Ивановичу Чергинцу – одному из немногих – это удалось. Тем самым он стихийно противопоставил завет великой русской литературы “не в силе Бог – а в правде” императиву “кто силён, тот и прав”. По-моему, это дальновидно.

Если разобраться, ценность правды должен признавать любой демократ. Во всяком случае, из моральных соображений.

По крайней мере, на словах.

ЕВГЕНИЙ БУЗНИ

НАДЛОМ СОЗНАНИЯ

В конце 2014 года в Санкт-Петербургском издательстве “Нестор-История” тиражом 1000 экземпляров вышла книга белорусского писателя Василия Яковенко “Надлом. Кручина вековая”. Автор обозначил жанр своего произведения как белорусский эпос. С этого определения, пожалуй, лучше всего начать рассматривать эту книгу, объём которой чуть более семисот страниц.

Что же такое “эпос”? Интернет-энциклопедия “Википедия”, например, даёт следующее толкование: “Героическое повествование о прошлом, содержащее целостную картину народной жизни и представляющее в гармоническом единстве некий эпический мир героев-богатырей”. Причём многие словари, поясняя слово “эпос”, говорят об отстранённости автора произведения от описываемых событий, то есть его непредвзятости в повествовании. Но можно ли вообще писать о важных для твоего народа, частицей которого ты являешься, событиях, не проявляя при этом своих собственных чувств, своего осознания происходящего? Думаю, что нет.

Вот и в книге, которая, казалось бы, разворачивает перед нами историческую летопись Белоруссии, включая революцию, первую и вторую мировые войны, советский период и перестройку, штормовыми волнами прокатившимися через этот Полесский край, на каждой её странице явственно просматривается позиция автора повествования, его боль за свой белорусский народ, за его бесконечно тяжёлую, как ему кажется, при всяких властях судьбу. А Белоруссия была под властью и Литвы, и Польши, и Германии, была частью царской и советской России. Правда, каждая власть приносила свои нюансы в страдания и чаяния народа, в его борьбу за собственную независимость, чему и посвящена книга. Именно эти нюансы в интерпретации автора и являются предметом нашего внимания.

Книга начинается с пейзажной зарисовки, каковыми удачно сопровождаются многие главы романа. В данном случае это лишь небольшой пролог, в котором писатель идёт по столичному бульвару в компании двух своих приятелей — поэта Лявона и геолога Максима. Разговор, конечно же, пошёл о Белоруссии, о том, что и над ней, как и над другими государствами, висит угроза глобализации с её мультимиллиардерами и транснациональными корпорациями, угнетающими народы. Писатель Василий Яковенко вставил свои “три гроша” в разговор, сказав, что *“от порочной глобализации есть, пожалуй, одно спасение — сплочённый народ, его бессмертное духовное наследие!”* А дальше писатель приводит мысль, якобы высказанную геологом Максимом, которая впоследствии развивается в основной части книги. Вот как это описано: *“У меня есть книга Гумилёва. — Максим замедлил шаг, разглядывая*

яркий, дивно сотканный из опавшей листвы ковёр. — Гумилёв пишет о древних племенах, но не обделяет вниманием и нас. В белорусах* он видит исконное древнерусское, стоит только подчеркнуть — не российское, а наше славянское племя, которое мало, изменившись, вступило в XX столетие. Его не затронули, по крайней мере, не изнасиловали и не выкрестили ни татаро-аккерманские орды с юга, ни немецкие рыцари, которым дали запоминающийся урок при Грюнвальде. Я думаю, уместно было бы сказать, что и поляки его не растворили.

— Да-да, как и москвиты тоже! — живо поддержал разговор Лявон” (с. 9).

Главное то, что уже в самом начале обнаруживается националистическое стремление автора отторгнуть Белоруссию от России, основываясь на будто бы исторических фактах.

В первой книге трилогии, названной “Кабала”, один из главных героев романа Борис Романович спрашивает просвещённого, образованного, в отличие от него, пана Романа Скимунта, откуда взялись белорусы, и тот ему отвечает с улыбкой, как будто читает лекцию: “Какой ты любопытный... Если бы я был попом или раввином, ответил бы: “От Бога пошли!” Жиды так и отвечают: дескать, они от Бога... Вопрос непростой. Слово “русь” вообще-то древнескандинавского происхождения. Во времена викингов “русть або рость” значило: гребец, путешественник, член морской дружины. Когда же наименование пускается в странствие, оно нередко утрачивает тот или иной звук, букву. Так и “русть” утратила “т” и превратилась в “русь”. Тем временем колонии североевропейских гребцов основались в Дании и на острове Рюген, где в основном жили славяне. Датчане стали звать этот остров Русинном. В самой Дании владычила Русь. Такая версия, в которую хочешь — верь, хочешь — не верь, но и более безупречной я пока что не знаю” (с. 35).

А зря персонаж книги так говорит, проявляя свои недостаточные знания по этому вопросу. Ведь, например, в толково-фразеологическом словаре Михельсона, учёного XIX века, посвятившего 20 лет изучению русской фразеологии, термину “Белоруссия” даётся такое пояснение: “Известно, что наименование России “Белою” весьма древнее. Существовало мнение, что восточные народы прозвали Россию “Белою” (Ак-Урус), а русских государей — “белый царь” (Ак-Падишах), потому что в России в XIV и XV в. в великокняжеском обиходе белое платье было в великом почтении; даже в позднейшее время белый цвет преобладал на московских стенах (Белый город), а царские грамоты мусульманским владетелям посылались за белою печатью. Карамзин положительно утверждает, что в. кн. Иоанн III назвал свои владения “Россиею Белою”, т. е. великою или древнею, по смыслу этого слова в языках восточных. Впоследствии название “Белой России” удержалось только за частью русских областей на западе (в том числе за Смоленском), а ныне под именем Белоруссии подразумеваются только губернии Могилёвская и Витебская”.

Но не будем включаться в научную дискуссию о том, что, к примеру, в прошлые века вся Русь делилась по цветовому признаку на Красную Русь, Чёрную Русь и Белую Русь. Каждый волен придерживаться своих взглядов. Мы же хотим обратить внимание читателя на то, почему возникает то или иное мнение. Стремление писателя, прожившего в Белоруссии большую часть своей жизни в советское время и, смею думать, не помышлявшего и не писавшего тогда о том, что белорусы не имеют общих корней с русскими, его стремление к такому разделению сегодня объясняется постперестроечными веяниями в политике, которые вызвали официальное переименование в 1991 году Белоруссии в Беларусь, а у некоторых людей в целом изменило отношение к советской власти и к России вообще.

На 23-й странице первой книги мы читаем о главном герое Петре Писарчуке (Романовиче), только что вернувшемся в свой родной Мотоль из России: “Честно говоря, поначалу он, образованный человек, просто не доверял идее жадного коммунистического управления жизнью и, игнорируя новый строй, даже не отличал партийные комитеты, созданные большевиками, от Советов: ему казалось, что это — две стороны одной медали, попросту сплав мерзости с дикостью. И его мнение имело достаточно к тому оснований”.

* В книге, согласно произношению белорусов, в прямой речи персонажей слова “беларус”, “беларусский” пишутся через “а”.

Вот так, походя, “мерзостью” и “дикостью” называется советская власть. Власть, о которой белорусский же поэт Янка Купала писал проникновенные строки во вступлении к поэме “Над рекой Орессой”:

*Много есть на свете
И легенд, и песен,
Что сложили люди
Про свое Полесье.
Но не знал я песни
Про большое дело:
Как сюда явились
Коммунары смело;
Как они работой
Топи покоряли,
Для страны советской
Славу добывали.
Но не знал я песни
О сраженьях жарких:
Как со всеми вместе
Вышли коммунары;
Как они в работе
Завели обычай
Не жалеть ни силы,
Ни красы девичьей.
Но не знал я песен,
Не слышал я что-то
О героях славных,
Взявших в плен болото;
Как через преграды
В глухомани дикой
Шли они к победе,
К радости великой.
Но не знал, не знал я
Новых звонких песен,
Что поёт сегодня
Новое Полесье.*

Вот о чём новые песни пелись белорусским народом.

Зато героем в книге Яковенко описывается не кто иной, как хорошо известный своими зверствами батька Махно.

По словам священника Разделовского, с которым доверительно беседует Писарчук, “Нестор Махно был наделён выдающимися качествами атамана, воина и имел острое политическое чутье. Он сразу уловил кощунство, обман, фальшь в образе мыслей и деяниях большевиков. Поэтому, враждуя с немцами, петлюровцами, наконец – с Врангелем, Махно считал большевиков сущими вредителями рабоче-крестьянской революции. Именно поэтому он всячески огораживал освобождённые им территории от красных, от их глазастых посланцев – комиссаров, чекистов, – как и от грабительских продотрядов” (с. 24).

Приводя Писарчука в ужас от услышанного, священник говорит о Троцком, которому приписывается убийство Столыпина, царской семьи и даже покушение на Ленина. Впрочем, о Ленине и большевиках батюшка высказывается ещё хлеще: “Мало того, что большинство соратников Ленина были евреи и сам он с ними – родня-полукровка. После октябрьского переворота интернационалист Владимир Ильич объединил под крышей Коммунистической партии (большевиков) заведомо националистические еврейские организации; в 1921 году, например, он втянул туда Еврейский союз (Бунд), против чего раньше решительно выступал Плеханов, а в 1922 году – не менее многогранный Поалей-Цион. Сионизм и большевизм с тех дат ещё больше переплелись, и в революционной борьбе за власть верх брала уже не столько социал-демократия, сколько верх брал социал-сионизм” (с. 27).

Таково отношение к вождю пролетариата, памятники которому установлены на всех континентах земного шара, о котором российский поэт из народа

Сергей Есенин писал в поэме “Гуляй-поле” сразу после смерти вождя, не будучи им обласканным:

*Суровый гений! Он меня
Влечёт не по своей фигуре.
Он не садился на коня
И не летел навстречу буре.
Сплеча голов он не рубил,
Не обращал в побег пехоту.
Одно в убийстве он любил —
Перепелиную охоту.*

.....
*Застенчивый, простой и милый,
Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какую силой
Сумел потрясть он шар земной?
Но он потряс...*

*Шумы и вей!
Крути свирепей, непогода.
Смывай с несчастного народа
Позор острогов и церквей.*

Почти то же самое, только прозой высказал о нём великий русский писатель Максим Горький:

“Даже некоторые из стана врагов его честно признают: в лице Ленина мир потерял человека, “который среди всех современных ему великих людей наиболее ярко воплощал в себе гениальность”.

Лично для меня Ленин не только изумительно совершенное воплощение воли, устремленной к цели, которую до него никто из людей не решался практически поставить перед собою, — он для меня один из тех праведников, один из тех чудовищных, полусказочных и неожиданных в русской истории людей воли и таланта, какими были Пётр Великий, Михаил Ломоносов, Лев Толстой и прочие этого ряда. Я думаю, что такие люди возможны только в России, история и быт которой всегда напоминают мне Содом и Гоморру.

... Героизм его почти совершенно лишён внешнего блеска, его героизм — это нередкое в России скромное, аскетическое подвижничество честного русского интеллигента-революционера, искренне верующего в возможность на земле справедливости, героизм человека, который отказался от всех радостей мира ради тяжёлой работы для счастья людей”.

Джавахарлал Неру, будучи премьер-министром Индии, говорил:

“Прошло немного лет после его смерти, а Ленин уже стал неотъемлемой частью не только его родной России, но и всего мира. И по мере того, как идёт время, величие его растёт, он теперь один из тех немногих мировых деятелей, чья слава бессмертна. . . Ленин продолжает жить, причём не в памятниках и портретах, а в своих колоссальных свершениях и в сердцах сотен миллионов рабочих, которых вдохновляет его пример, вселяя надежду на лучшее будущее”.

Только в наше перестроечное время некоторые идеологи, которые стремятся, как в США, так и в сегодняшней Украине, пересмотреть, перекроить историю на свой лад, могут рассказывать такие басни, которыми полна книга Яковенко. Но, может быть, он поместил здесь мнение лишь представителя духовного сана? Отнюдь. Мы присутствуем при беседе помещика Скирмунта с Борисом Романовичем, в которой пан разъясняет холопу: “Если на то, молодой человек, я должен тебе разъяснить, шо на момент октябрьского переворота на Беларуси жили в основном крестьяне и никаких коммунистов не было, более того, среди горожан преобладали не люмпены и опять же не белорусы, а те, кто сюда в поисках хлеба и чинов приволокся из России, много евреев. Город игнорировал наши национальные заботы. О национальном обычно заботится коренное население либо его интеллигенция, состоявшаяся, образованная, обогащённая знаниями мировой культуры” (с. 33).

Но дело в том, что собеседник пана оказался коммунистом. Об этом пан узнаёт неожиданно и тут же высказывается по этому поводу: “Поздравляю!

Не ожидал, однако, шо и ты с ними. Э-эй... Коммунизм – не шо иное, как психическая мистерия. Она заполонила Россию, и не только Россию. Большевики натравили рабочий класс на буржуев, а потом и на политическую оппозицию – так называемых белых. Войну против извечного образа жизни и духа народа назвали революцией (с. 34).

Коммунист Борис Романчук не находит, что сказать в ответ пану, кроме как поблагодарить его за науку. И это не удивительно, ибо автор романа не видит убеждённых большевиков. Коммунисты в его изображении либо перевёртыши, либо бандиты, грабящие и убивающие своих соплеменников. Борису попадается в руки книжица, в которой писалось: “В давно минувшие времена жестоких войн, когда одно из диких племён побеждало другое, более слабое племя, то победители на поле битвы праздновали свою победу: всем пленным связывали верёвками руки и ноги, раскладывали их по земле и клали на них доски, покрывали те доски ковриками, а потом садились сами, распевали песни, пили хмельной напиток и, напившись допьяна, танцевали на этих досках. Стоны и крики обездоленных пленных, лежавших под досками, ещё больше веселили подгулявших победителей и заглушались музыкой, смехом, пьяными оргиями...”.

Казалось бы, мало ли что где пишут, но за цитатой из книги следует: “И дальше не известный Борису автор перебрасывал мостик от давних племён в ближайшие года и современность, когда уже целые народы, считавшие себя культурными, побеждали в войне более слабых и праздновали победу, почти как те дикари, только вместо досок они накладывали на захваченный народ и его землю другой пресс – свои государственные учреждения, свою имперскую идеологию (так в книге с буквой “а” вместо “о”. – Прим. авт.), язык и религию. Так поступала Россия в отношении Польши, Украины и Беларуси” (с. 42).

Зверской, подобной диким племенам, представляется автору Россия. А вот какими словами начинает своё стихотворение “Чувство семьи единой” в 1936 году знаменитый украинский поэт Павло Тычина:

*Я сторонюсь чужих и чуждых
болот, трясин и мелких бродов.
Сияет радугою дружбы
мне единение народов.*

И завершает стихи такими строками:

*И вносишь ты чужое слово
в язык прекрасный и богатый.
А это входит всё в основу
победы пролетариата.*

Украинский поэт видит в России единение народов и посвящает ему поэтические строки. В то же время русский поэт Валерий Брюсов в недалёком послереволюционном 1920 году писал о России:

*И вновь, в час мировой расплаты,
Дыша сквозь пушечные дула,
Огня твоя хлебнула грудь, —
Всех впереди, страна-вожатый,
Над мраком факел ты взметнула,
Народам озаряя путь.*

Не видеть великую роль революционной России в осуществлении чаяний всех народов мира могут лишь ослеплённые злобой к коммунизму люди, лишь те, для кого своя кубышка дороже всего на свете.

На следующих страницах романа Яковенко уточняет отношение России к Белоруссии после прихода советской власти. Вот как мыслит его герой – Петр Романович: “По всему пространству бывшей Российской империи, где спела нива, теперь суетились люди с пушками, одержимые некими дикарскими помышлениями; они вытаскивали крепких, зажиточных крестьян из их усадеб, ну, точно, как сусликов из нор в степях, лишали свободы, наполняли ими местные темницы, вывозили в составах на восток, на север. В результате

на освещённом луной горизонте, особенно по его окраинам, появилось бесчётное множество площадок, казённых домов, бараков за колючей проволокой. И там вырванных из человеческого быта селян да прочих истерзанных вконец граждан страны больше не считали людьми, а людьми оставались лишь те, кто чинил притеснения, насилие, издевательства. Всех, кто ещё трудился на земле, также группировали в своеобразные трудовые лагеря, общины, кооперативы и ежедневно указывали им, что делать, о чём думать, на кого молиться. В отличие от первых, более строгих лагерей, эти уже не огораживались проволокой и назывались иначе — колхозами. И вот, благодаря всяким коммуноподобным загонам, страна окончательно стала сетью широких “исправительно-трудовых” дворов, лагерей, где продолжалось то же насилие над духом. Крестьянин терял землю, а земля — крестьянина, крепкого хозяина, своего радетеля. И дальше — больше: почва дичала, покрывалась бурьяном, земля превращалась в пустошь.

Вот на такой выморочной ниве и должен был расцвести новый, удивительный, не тут будь сказано, дьявольский строй в государстве. Только же название придумали как будто приличное: социализм!” (с. 175).

А вот что пишет об этом “дьявольском строе” всем известный народный белорусский поэт, академик Петрусь Бровка в стихотворении “Декрет Ленина”:

*Тот день сквозь годы людям светит.
Все в нашей волости глухой —
И деды, и отцы, и дети —
На сход пришли одной семьёй.*

*Здесь едкий дух махры и пота
Висел под низким потолком,
Матрос, приехавший с Балтфлота,
В чаду маячил за столом.*

.....
*И каждый спрашивал с волнением:
— Скажи нам, добрый человек,
А кто такой товарищ Ленин?
— Тот, кто вам землю дал навек.*

Белорусские писатели и поэты прославляли в своих произведениях Ленину и советскую власть, даровавшую белорусам землю для всех, предоставившую людям независимость в ряду других независимых республик, введшую в школах преподавание на белорусском языке. А по поводу потери крестьянином земли, о которой печётся Яковенко устами Петра Романовича, Петрусь Бровка писал совсем иначе в стихотворении “Земля”:

*Но пришёл наш черёд,
Расквитались мы с ней,
Мы прогнали царя,
И жандармов, и пристава,
Чтобы ты нам,
Земля,
Расцвела покрасней,
Чтоб хватало для всех
Хлеба чистого.*

*А теперь мы избавим тебя
От невзгод,
С новым плугом идём,
Кормим калием,
Чтоб дарила ты нас
Каждый год,
Каждый год
Не одним,
А тремя урожаями.*

Эти стихи были написаны в 1931 году, то есть в то время, о котором идёт речь в книге. Но у Яковенко ничего этого нет. Главный персонаж книги Пётр Романчук, жизнь которого впоследствии обрывается расстрелом, осуществлённым под покровом ночи, представляет партизан не иначе, как убийц и грабителей. Один из них – молодой амбициозный коммунист Даник Плюнгер, от которого даже его собственный отец отрёкся как от “красного антихриста”. “Принципиальность и жестокость создали в его душе как бы два рельса, по которым двигался паровичок мести. До поры до времени, однако, этот локомотив никак не мог набрать надлежащий разгон. Стоило только пошатнуться и отступить польскому ненавистному режиму при приближении Красной армии, как Даник с шайкой бросился создавать в Мотоле и ближайшей округе особый классовый климат – освобождать от панов и разных, на их взгляд, нежелательных элементов” (с. 179).

Экспроприируя имение Скирмунтов, Даник, стыдясь, чтобы не увидели, забирает себе, пряча в мешок, чайный сервиз на двенадцать персон, изготовленный из чистого золота. Позже, в период немецкой оккупации он становится командиром партизанского отряда, регулярно совершая с ним ночные вылазки на сёла, требуя от жителей пищу и одежду. А несогласных партизаны попросту убивали.

Пётр Романович в беседе со священником с горечью упоминает Плюнгера: “Отче! Даник Плюнгер, как, впрочем, и другие бесы, сформировались и показали своё лицо чрез коммунистические идеи. Разве нет? Убивай, грабь, насилуй!.. “Кто был ничем, тот станет всем!” Хозяев от земли – прочь, границы между державами – прочь! Пролетарии обретут весь мир!” А кто ими будет управлять?..” (с. 469).

Что говорить? Бывали подобные случаи.

Мы знаем эпизоды незаконной экспроприации собственности и в частях Красной армии, но как к ним относились коммунисты?

Сцена разоружения за мародёрство явлена в книге С. Орловского “Дневник конармейца”:

“... Затем раздалась команда: “Клади оружие!” Это была жуткая минута. Казалось, вот-вот дивизия дрогнет и не выполнит команды. Однако части повиновались. Комсостав и бойцы плакали навзрыд, отдавая оружие и знамёна. После этого дивизии было предложено выдать активных участников в бандитских действиях. Полки выдали 107 человек. Однако около 300 человек, догадавшись, в чём тут дело, не построились вместе с дивизией и ушли в лес. Расформированные полки называются теперь маршевыми полками. В первую маршевую бригаду командиром назначен т. Губанов, во 2-ю – т. Колесов. Из скрывавшихся людей поймано около 60 человек. Срочно в полном составе в полевой штаб прибыл трибунал, которому дано задание немедленно рассмотреть дела арестованных в связи с бандитизмом”.

Да и в романе Н. Островского “Как закалялась сталь”, которого вскользь упоминает у себя Яковенко, в восьмой главе писатель приводит рассказ красноармейца Андрощука о том, как конный разъезд бывших махновцев, представших к конармии, во время наступления захватил костёл и там трое солдат хотели изнасиловать жену польского офицера.

И вот тут Островский очень верно, может быть, именно глазами очевидца подметил, как в пылу жестокой борьбы одно беззаконие рождало другое не только из-за нехватки времени одуматься, но и по принципиальным соображениям. В момент насилия над женщиной в костёл врывается рота латышских красноармейцев. Далее следует:

“Латыш, как это всё увидел, да по-своему что-то крикнул. Схватили тех троих и на двор волоком. Нас, русских, двое только было, а все остальные латыши. Фамилия командира Бредис. Хоть я по-ихнему не понимаю, но вижу, дело ясное, в расход пустят. Крепкий народ эти латыши, кремниевой породы. Приволокли они тех к конюшне каменной. Амба, думаю, шлёпнут обязательно. А один из тех, что попался, здоровый такой парнища, морда кирпича просит, не даётся, барахтается. Загинаят до седьмого поколения. Из-за бабы, говорит, к стенке ставить! Другие тоже пощады просят.

Меня от этого всего в мороз ударило. Подбегаю я к Бредису и говорю: “Товарищ комроты, пушай их трибунал судит. Зачем тебе в их крови руки марасть? В городе бой не закончился, а мы тут с этими рассчитываемся”. Он до меня как обернётся, так я пожалел за свои слова. Глаза у него, как у тигра.

Маузер мне в зубы. Семь лет воюю, а нехорошо вышло, оробел. Вижу, убьёт без рассуждения. Крикнул он на меня по-русски. Его чуть разберётся: “Кровью знамя крашено, а эти – позор всей армии. Бандит смертью платит”.

И расстрел состоялся”.

Вот ведь как поступали настоящие коммунисты в то время! И упрямая статистика утверждает, что каждый пятый белорус был во время Второй мировой войны в партизанском отряде, около тысячи партизанских отрядов действовали в лесах Белоруссии, что было возможно только при массовой добровольной поддержке населения. Не знать этого Яковенко не мог, но в его книге всё отражено, как в кривом зеркале.

Появление немцев в Мотоле писатель преподносит как освобождение от гнёта русских, несмотря на тысячи расстрелянных евреев и коммунистов, сотни карательных операций и сожжённые дотла сёла. Ведь делалось это, по его мнению, во имя борьбы с проклятыми коммунистами, а значит, делалось правильно.

Борис Романович, бывший коммунист, призывается в польскую армию в самом начале войны и вскоре попадает в немецкий плен, переезжает в Германию, где его сознание полностью перерождается, и только через два года, когда ещё идёт война, он возвращается в оккупированный немцами родной Мотоль и выступает перед собравшимися в церкви жителями.

– Люди добрые, – эти слова Борис вложил едва ли не каждому в душу, – за два года, что я отсутствовал, на нашей родной и когда-то вольной земле произошло столько событий! Два года день в день вытягивали из кого-то душу. И теперь это продолжается. Тут столько мучеников. Где братья Райкевичи?.. Я уже не говорю о других. Пошла полоса гражданской разобщённости, вражды, когда люди утратили заботу друг о друге, перестали думать про духовное братство, культуру и даже хозяйство. Теряем себя! Теряем национальное и человеческое достоинство. Коммунисты в своё время не дали свободы белорусскому народу, образовавшему Белорусскую Народную Республику. В противовес той они создали БССР, дали народу на короткий срок свободно вздохнуть и опять его придушили. Уничтожили почти всю белорусскую интеллигенцию, учёных, зажиточных крестьян, сожгли на кострах книги. Наконец, присоединили к БССР и наши западные земли, отдали их на разор энкавэдистам.

В установившейся тишине невысокий голос Бориса звучал на полную силу. Люди жадно ловили каждое его слово.

– Навещая в Кёнигсберге и Берлине национальных белорусских деятелей, читая некоторые материалы в библиотеках, я понял, насколько ошибочным было в своё время моё восхищение коммунистическими идеями. Многие были обмануты. От нас пряталось даже то, что государственный переворот в России Ленин и Троцкий делали как агенты германского генерального штаба с целью подорвать Россию изнутри. Ту услугу щедро оплачивала казна кайзера Вильгельма. А что дали, что принесли большевики народам России? Вы уже знаете”.

Тут стоит привести краткую историческую справку. О том, что советская власть дала Белоруссии в первые советские пятилетки, сказать стоит.

“2–4 февраля 1919 г. I Всебелорусский съезд Советов принял Декларацию о провозглашении Белоруссии Советской Социалистической Республикой и Конституцию БССР. На съезде было подчёркнуто, что Белоруссия признаёт необходимость установления тесных экономических и политических отношений с Советской Россией. В середине 1920-х в БССР активно проводилась белорусизация – комплекс мер по расширению сферы применения белорусского языка и развитию белорусской культуры.

В 1920–1930-е гг. в Советской Белоруссии активно шли процессы индустриализации, сформировались новые отрасли промышленности и сельского хозяйства.

К началу индустриализации в БССР проживало 3,4% населения и производилось всего 1,6% промышленной продукции СССР. Развивались преимущественно лёгкая, пищевая, деревообрабатывающая и химическая промышленность, а начиная со второй пятилетки – машиностроение и производство строительных материалов. Значительное внимание уделялось такой трудоёмкой отрасли, как текстильная, поскольку её развитие позволяло быстро решить проблему безработицы и аграрного перенаселения. Во время первых двух пятилеток были открыты Гомельский завод сельскохозяйственного

машиностроения “Гомсельмаш”, швейная фабрика “Знамя индустриализации” и фабрика КИМ в Витебске, Оршанский льнокомбинат, Кричевский цементный завод, Могилёвский авторемонтный завод, Гомельский стеклянный завод, две очереди БелГРЭС. Было построено 11 крупных торфозаводов. За три пятилетки промышленное производство в БССР выросло в 23 раза (в 8,1 раза с учётом Западной Белоруссии). Перед началом Второй мировой войны БССР производила 33% общесоюзного производства фанеры, 27% спишек и 10% металлорежущих станков.

Политика развития хуторов 1920-х годов сменилась активной коллективизацией 1930-х”.

И об этом на самом деле знали белорусы, но не знает почему-то или не хочет знать нынешний белорусский писатель Яковенко, как не знает он и историю Великой Отечественной войны, которую трактует по-своему:

“Чего Гитлер не знал – у Сталина в начале войны танков было в несколько раз больше, чем в его империи. Причём тут были танки, которые превосходили танки Вермахта по броне и скорости, а также по огневой силе орудий и пулемётов. Правду говорил своим землякам капитан запаса Сергей Калинин: на вооружении Красной армии были и лёгкие, и плавающие наступательные танки, которых немец не имел. Вообще этой сталинской войсковой силы и мощи хватило бы на всю Европу. И потому товарищ Сталин счёл бы любого, посмевшего напасть на СССР, круглым дураком. Он не верил, что Гитлер это сделает, поскольку не относил Гитлера к отчаянным авантюристам.

После первого, как казалось, этапа блицкрига гитлеровцам пришлось менять моторы у большинства танков. Эта проблема стала очевидной уже за Витебском и Смоленском. Ремонта требовала вся наземная техника. Армии ждали подвоза топлива. А с новыми моторами и топливом у фюрера пока была невыкрутка, Вермахт насилу собрал ресурсы для стратегического мешка, в который втолкнул войска Сталина, сгруппировавшиеся под Киевом. Поэтому, несмотря на блестяще и дерзко, просто ошеломляюще проведённые операции в Беларуси и на Украине, где были разгромлены и взяты в плен свыше трёх миллионов солдат и офицеров с генералами вместе, – молниеносная война приоткрыла свой бег. Очевидно, генералы Вермахта, стараясь опередить Сталина в нанесении удара, не всё предусмотрели, да и времени на это не имели” (с. 314).

Отсюда выходит, что гитлеровские генералы просто поспешили с началом войны против Советского Союза, боясь, что Сталин первым нанесёт удар. Эту идею иначе, как бредовой, назвать трудно.

Наш современник, белорус, ветеран Великой Отечественной М. И. Цейтлин рассказал “корреспонденту “Комсомольской правды” (8 мая 2015) о том, как он встретил в Минске начало войны: “Мы с товарищами готовились к параду физкультурников. Я был участником всех парадов. Жил в студенческом бараке. 22 июня мы должны были встать в 7 утра, потому что в 8 начиналась репетиция. А тут часов в 5 утра нас разбудил воздушный бой над Минском. Мы выбежали на балкон и видели, как два “мессера” атаковали наш самолёт и сбили его. После мы шли на всебелорусский стадион на репетицию. А на встречу нам ехали машины с солдатами. Спрашиваем: “Куда вы?” Отвечают: “Война идёт!”... К началу лета 1941 года в Минске уж каждый житель знал, что немцы вот-вот нападут. И все про то говорили. Я помню, что, начиная с 14 июня, в Минске была светомаскировка по ночам. И европейские газеты в тот период писали, что немцы сконцентрировали огромные силы вдоль советской границы, Гитлер готовит нападение на СССР. В ответ на это газета “Правда” 15 июня опубликовала опровержение ТАСС, что никакой войны не будет. Что всё это ложные слухи. А в то же время по Минску шли и шли на запад колонны наших бойцов и техника. Передвигались они только по ночам, маскируясь. И всем было ясно, думаю, как и Сталину, что война начнётся со дня на день”.

... В книге Яковенко имена и фамилии сыплются, как из рога изобилия. Есть среди них и русские. Например, бывший танкист капитан Калининченко. И, конечно, он тоже плохо отзывался о советском командовании.

В самом начале войны капитан Калининченко попадает в окружение и в лесу встречается с сыном Сталина Яковом Джугашвили. Об этой встрече он рассказывает Петру Романовичу так: “В минуты откровения он рассказал мне про свою жизнь и непростые отношения с отцом и партией, поверьте, даже с ней...”

Яков выражал своё несогласие с тем, что делалось, говорил, что стесняется смотреть своему отцу в глаза. Вот тогда я и стал припоминать услышанное и увиденное здесь, в Мотоле, и в душе моей что-то восстало, потом улеглось, но я начал воспринимать Джугашвили как вестника. Слышу душой: в государстве либо фундамент неудачно заложен, либо дьявол путает наши политические карты. Представьте, как Якову, который много видел, знал, имел критический взгляд на вещи, было неуютно жить в Кремле. . .

Значительная часть армии между Витебском и Лёзно полегла. Комбат Джугашвили был вместе со мною. Мы блуждали по лесу день, второй, не зная, что делать и куда податься. Немецкие автоматчики окружили группу. Я случайно оказался в стороне. А Джугашвили и всех остальных, полагаю, погнали в плен” (с. 350-351).

Рассказ капитана Калиниченко – сплошная выдумка автора. Ни одного свидетеля того, как Яков Джугашвили попал в плен, нет. Предположительно, он был выкраден, благодаря предательству кого-то из рядом находящихся солдат и офицеров, ибо вся батарея, которой командовал Яков Джугашвили, и взвод охраны вышли из окружения в полном составе, кроме самого Якова. Предположительно, немцы знали о том, что батареей командует сын Сталина, и специально охотились за ним.

Немало страниц в книге посвящено немецкому гаулейтеру Кубе, назначенному генеральным комиссаром Белоруссии в июле 1941 года. Немецкий руководитель, расстрелявший без суда и следствия в 1936 году не подчинившихся ему солдат и офицеров, за что был снят с должности, но потом призван Гитлером вновь на высокий пост, человек, приход которого в Белоруссию ознаменовался массовыми расстрелами, описывается в книге как весьма положительный герой, талантливый литератор, противник СС, которые с ним не считались и продолжали расстреливать евреев якобы вопреки его воле.

Василий Яковенко беседовал в послевоенное время с женой убитого партизанами Кубе и, видимо, с её слов описал доброго привлекательного гаулейтера, который лишь выполнял указания рейха вопреки своим человеческим наклонностям. На фоне этого образа все коммунисты, партизаны и вообще русские выглядят просто извергами.

Петра Романовича сосед Малышка предупреждает о готовящемся его убийстве Богданом Плонгером, о котором ему сказал односельчанин Калилец. Но “в своём домашнем кругу он держал в секрете предупреждение Калильца, только уже у дверей добавил: – Теперь все мы в заложниках у Иуды.

– Как и до войны, – бросил Павлюк спокойно, в тон отцу.

– Не приведи, Господи, терпеть столько страданий! – Аксинья замешивала в ушате на тёплой воде с молоком пойло для теленка. – Наступит ли когда-нибудь для нас светлый час?!

– Говорят, Ленин ради коммунизма готов был уничтожить более чем половину населения России.

– Что ты говоришь? – перелив пойло в ведро, Аксинья выпрямила спину. – Оттуда, сынок, и потекли реки крови! В отчаянье и с голоду, устроенного большевиками, люди ели друг друга. Ты малый был. . . Представляешь, как надо озвереть, чтобы, привязав девушку к дереву, срезать с неё кусками мясо, жарить на огне и жрать. У-ух! – её передёрнуло. – После этого страха мы и поспешили сюда, на Родину.

– И тут нашли всё, кроме того, что надо, – весело бросил сын.

– Поди, большевики окаянные нас и тут достали. . .” (с. 471)

Партизаны, по мысли автора, должны выглядеть извергами. И автор рисует страшную картину их расправы над мирными людьми, преподнося читателю её в качестве истины в последней инстанции.

“Жители местечка Мотоль были потрясены новым страшным известием – убийством таких добропорядочных и уважаемых людей, какими были Писарчуки – Петро и Павлюк, их свояки – Павел и Николай Миховичи.

Мало того, так в другую ночь партизаны убили ещё и Семёна Шкутача, жившего на Луке, на Кузюровой улице. И его – невесть за что. В памяти людской всплывали и другие жертвы партизанского произвола, в том числе семья капитана Калиниченко. А из деревень Закалье, Воротыцк и Аперово доходили слухи и того мудрее. Там от рук партизан горели дома и сельские усадьбы вместе с семьями, стариками и детьми. Все ужасались, не видя разницы между озверевшими от неудач гитлеровцами и местными “борцами за народную волю,

долю и справедливость”. Люди ощущали явную связь того, что вершилось, с красным террором. А впрочем, террор вершился при разных носителях власти и силы, в разных условиях и обстоятельствах уже около пяти лет; конечно, если не считать пилсудчиков, от которых также не было житья” (с. 483).

То, что во время войны в партизанском движении принимало участие двенадцать тысяч жителей Белоруссии, объединённых в тысячу двести пятьдесят пять отрядов, то, что ими было взорвано более трёхсот тысяч железнодорожных путей, что прерывало немецкие поставки вооружения на Восточный фронт, и что они пустили под откос свыше одиннадцати тысяч фашистских эшелонов с живой силой и боевой техникой – всё это в книге Яковенко места не нашло, как и то, что с первых дней войны немцы проводили массовые чистки: убивали коммунистов, комсомольцев, активистов советской власти, представителей интеллигенции, с особой жестокостью уничтожалась “расово вредная” часть населения: евреи, цыгане, физически и психически больные; на территории Белоруссии фашистами было создано двести шестьдесят концентрационных лагерей смерти, их филиалов и отделений; за всё время немецкой оккупации было уничтожено шестьсот двадцать восемь населённых пунктов вместе с жителями, более пяти тысяч населённых пунктов уничтожены с частью жителей. Эти стороны войны в романе, претендующем на жанр эпоса, не описаны вообще.

Но война, наконец, подходит к своему финалу. Борис Романович после участия в работе Второго Всебелорусского Конгресса в Минске приезжает к себе в родной Мотоль и встречается там со старым знакомым, паном Клямкой, говорит тому о приближении Красной армии, о предстоящем полном разгроме фашистской Германии и добавляет при этом:

“Боитесь, пан Клямка?.. Мне припоминается вот что. В свои молодые годы я был коммунистом и жил прекрасными мыслями – о возможной лучезарной будущности. Я ждал её... Я попал в плен и за несколько лет проникся уважением к немцам. Я поверил им, когда они декларировали освобождение моей Батьковщины от большевиков. А потом и в них разочаровался и понял, наконец: общество, которое было в моих мечтах, не построишь ни с большевиками, ни с фашистами – никогда и нигде! Ведь и те, и другие – разрушители, злодеи, захватчики, у них руки по локоть в крови” (с. 555).

Так герой романа ставит на одну доску фашистов и большевиков, и теперь он начинает бороться за независимость Белоруссии от любых государств, но переезжает для этого жить в Америку и там входит в белорусскую диаспору. Туда переезжает впоследствии из Польши и его дочь Мария, успевшая к этому времени стать неплохим врачом.

Собственно, описание дальнейшей жизни Белоруссии даётся автором схематично, так как почти все герои выехали за её пределы. Но и тут та же тенденция недовольства. Как говорит один из персонажей, “колхозный хлеб – как обобществлённая жена. Вкуса не почувствуешь”.

“Мотоль не сразу подался в коллективизацию. Вначале записались в мелкие сельскохозяйственные артели около полусотни дворов. Были сомнения, шатания и откровенное сопротивление. Горели скирды сухого сена, поставленные скопом рядом с сельским Советом, горели свирны (амбары) с новым хлебом, от первых намолотов; терпели и гибли активисты. Откровенное и показательное, упрямое и нещадное вредительство было делом рук “бульбашей”, среди которых, как ни удивительно, встречались и сподвижники Плунгера по партизанскому отряду, – видите ли, им по душе пришлась партизанщина, и применяют они её в борьбе с новым нашествием, которое не заставило себя долго ждать с востока. Мотивы у этих людей были соответствующие, так как на советском политическом поле опять начиналась “прополка”, и те, кто её выполнял, повсеместно искали “врагов народа” – их было не счесть среди бывших военнопленных, а также сельских старост, учителей, других специалистов, которые при немцах работой своей зарабатывали на кусок хлеба. На деле подрубались корни наиболее способных мужиков либо целых семей. Управлять же крестьянской громадой ставили людей, которые даже не нюхали пашни.

Всё это стимулировало страх, вызывало недовольство советскими органами, вело в лес, в новые партизанские группы и формирования. Они были разной национальной и идейной ориентации. Их количество в Западной Белорусии приближалось к пятидесяти тысячам человек. На вооружении были пулемёты, противотанковые орудия, миномёты, мины, не говоря уже об автоматах и винтовках. Для руководства антисоветским сопротивлением из-за

границы в Беларусь засылали подготовленных людей, в числе которых был и Всеволод Родька, смельчак, рисковый, беззаветно преданный идее обречения воли и счастья для своего народа.

Родьку на Полесье постигла неудача. Тогда же, в первые послевоенные годы, его и выловили (с. 623–624).

Ну, то, что сотрудничавшие с СС белорусы, боясь справедливого суда, сбежали в лес, организовывая банды, орудовавшие некоторое время, наводя страх на местных жителей, это известно. И то, что им помогали всячески из-за рубежа, как пишет и сам автор, это тоже не секрет. Но, в конце концов, с бандитизмом как в Белоруссии, так и на Украине было покончено. Люди зажили спокойно. Только не в книге Яковенко.

Заканчивая трилогию, писатель не обошёл вниманием и нынешнее время. Правда, он не называет имени президента Белоруссии, но вполне понятно, о ком идёт речь, когда американский белорус Кит беседует со своим соотечественником, учёным Вещуном, в американском ресторане и слышит от него:

“Если проследить за высказываниями нашего единственного в стране политика и заботливого отца, то он сам же обо всём и рассказывает, искренне, правдиво, правильно. Вот послушайте: “Это бесперспективно – пытаться лишить меня власти силой или такими методами, какие были применены к Миловичу... Меня никто никогда не тронет, если меня не предаст российское руководство” (с. 705).

Затем разговор двух белорусов продолжился, имея в виду уже правителя Белоруссии в наши дни:

– Это у тебя, братка, крепкая мысль!

– Было и другое. Ведь если рот зажат, управлять народом, его сознанием, манипулировать склонностями не так и сложно – верно?.. Да, но поверим в благородные устремления тщеславного человека, шкловского радетеля, возжелавшего сильной власти ради сохранения страны. В том бедламе на постсоветском пространстве, да и в Европе, он действительно сделал нечто довольно значительное, если не сказать – великое: не допустил развала промышленности, растаскивания государственных ценностей...

– Я прошу прощения. Но за что же тогда его не любит оппозиция?

– Как известно, в России разные там абрамовичы, ходорковские, дерипаски, пользуясь моментом и обогащаясь, скупили и приватизировали целые отрасли народного хозяйства. А наш, не будь дураком, приватизировал власть, сделал её своей собственностью. Вопрос: кто из новоявленных собственников лучше? Не скажешь... Закупил парламент, причём сделал это за государственные средства. Упразднил действие законов, поставив выше их президентский указ. Заставил генералов козырять его малолетнему сыну... В Думе в Москве у него хватило ума, чтобы заявить: “Мы согласны на присоединение к России на любых условиях!” Имел ли он полномочия или хоть бы элементарное моральное право на подобное заявление? Нет! Ну, и как после этого ему льготный газ не давать? Ломающий принципы, готовый опять залезть под общее одеяло.

– И нас загнать!

– Но при этом, заметьте, – продолжал Вещун, – никаких шатаний в мыслях у народа не должно быть. Он властелин наших дум! Политические деятели, как Гончар, Захаренко, Карпенко, вообще исчезли. Некоторые бесследно. С конкурентами у него теперь – никаких забот. И как хорошо дышится! Один на ледовом поле! Ему аплодируют... Как-то признался нечистик, что он теперь выше Бога!

– Бог шельму метит.

– Академию свёл до уровня колхоза!.. Хозяин в доме! Повыталкивал вон немало людей, особенно молодёжи. Самые умные уехали на Запад, менее умные – в Россию, ещё менее умные остались на месте и, состоя на государственной службе, показывают ему фигу” (с. 705–707).

– Почитай, два десятилетия пропагандируется идея всемогущей власти. Патриотизм заменён рублем, высоким креслом. Итог: у короля есть слуги, но нет команды с царём в голове, он теперь в панике и поливает бранью всех, налево и направо. О, я знаю его челядь и, если бы он вдруг кинулся расстреливать её из пулемёта, то я охотно подавал бы ему патроны. При этом я чистил бы их до блеска, чтобы он выполнял свою работу с особым изыском!” (с. 708).

И уже на прощанье Вещун говорит Киту:

“— Борис Владимирович, я вам по секрету скажу: из белоруса достали душу и повесили её на суку, чтобы дубилась для дальнейшего производства кошельков.

— И это суть политики?

— Суть происходящего. Теплится, однако, надежда, что сама логика жизни и национальной безопасности выведет нашу ледовую фигуру на позиции, выверенные жизнью. Во-вот его нутро отгадет. Тогда по-своему преисполненный чести и достоинства, он встанет на трибуну и перед лицом депутатов, по слов, политиков, политологов провозгласит: “Уважаемые, не обессудьте... Великий русский язык у нас развивается и будет развиваться как язык внешнего общения. Ему ничто не угрожает. А вот если мы разучимся говорить на белорусском языке, потеряем нацию! Родной язык мы должны изучать и ведать. Мы все эти годы слишком осторожно поддерживали его”. И это уже будет как покаяние лидера, оно станет характерным моментом. За словом, возможно, и дело пойдёт, а-а?” (с. 708-709)

Между тем всё та же упрямая статистика говорит, что за годы правления Белоруссией А. Г. Лукашенко, когда страна избрала свой собственный путь развития, вопреки желаниям Запада, намечавшийся после распада СССР развал Белоруссии был остановлен за счёт сугубо собственных сил, в результате чего за семь лет промышленное производство выросло в три с половиной раза, наполовину выросло сельхозпроизводство, уровень безработицы упал ниже одного процента, средние доходы населения выросли в три с лишним раза, зарплата — в пять с половиной раз, пенсии — более чем в пять раз, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилась с сорока восьми процентов до пяти и двух десятых. Это ли не показатели успешного развития государства?

Но ничего этого нет в книге, нет даже намёка. Есть только плевки в сторону любой власти.

Заканчивается роман-трилогия, несмотря ни на что, на оптимистичной ноте. Хоть оба героя — Мария Романович, сменившая уже фамилию на Демкович, внучка расстрелянного Петра Романовича, и Борис Кит — продолжают жить вне Родины, они любят её, занимаются благотворительной помощью соотечественникам и питают надежды на светлое будущее.

Однако у меня эта книга оставила странное ощущение, что автор её, как и герои его произведения, никогда не будут счастливы по-настоящему, пока не научатся видеть не только плохое в жизни, но и хорошее, пока в их надломленном сознании не проснётся чувство доброжелательности к другим нациям и пока их взоры не обратятся к простому белорусскому народу, который живёт своим трудом не ради прибыли панам и помещикам, а ради себя самого и всего белорусского народа.

Литература, для того чтобы стать эпосом, должна отражать жизнь во всём её многообразии, а не напоминать собой жалобы и стенания озверевшего в лютой ненависти к большевикам и советской власти собственника.

М. Е. Салтыков-Щедрин писал: “Везде литература ценится не из-за её гнуснейших образцов, а из-за тех её выдающихся деятелей, которые ведут общество вперёд”. И великий русский писатель Н. А. Некрасов подтверждает эту мысль словами: “Русская литература не должна опускаться до уровня общества в его сомнительных и тёмных проявлениях. В любых обстоятельствах, во что бы то ни стало, но литература не должна ни на шаг отступать от своей главной цели — возвысить общество до идеала — идеала добра, света и истины”.

Вы можете сказать, что здесь речь идёт о русской литературе, а мы рассматриваем книгу белорусского писателя. Но литература — она везде должна быть народной по сути. В. Г. Белинский утверждал: “...только та литература есть истинно народная, которая в то же время есть общечеловеческая; и только та литература есть истинно человеческая, которая в то же время есть и народная. Одно без другого существовать не должно и не может...”

ТАТЬЯНА ФЕДОСЕЕВА

АТМОСФЕРА ВРЕМЕНИ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТ

Газета “Русь” 1880–1886 годов: [коллективная монография] / Российская гос. б-ка; [редкол.: В. Н. Аношкина (сост. и отв. ред.) и др.; сост. ч. 1. С. А. Мухина]. — Москва: Пашков дом, 2017. — 582 с.

Не так часто выходят книги, посвящённые славянофилам. В частности, до сих пор нет современного издания полного собрания сочинений Константина Аксакова, 200 лет со дня рождения которого отмечалось в прошлом году. Только начинается в наши дни выходить впервые собрание сочинений Ивана Аксакова, 200-летний юбилей которого предстоит в 2023 году. А это очень важно, чтобы понять, каковы были взгляды и деятельность славянофилов (ранних и поздних), какова была атмосфера общественной жизни в России XIX века, какие идеи были тогда актуальны. Некоторые из них не потеряли своей актуальности и сегодня.

В коллективной монографии о газете Ивана Аксакова “Русь” разносторонне рассматривается это издание в соотношении с историческими событиями той эпохи (1880-е годы), основными течениями общественной мысли, жизнью и деятельностью ряда выдающихся общественных деятелей того времени.

Первая часть монографии включает роспись газеты по годам издания, дающую полное представление о её содержании. Здесь представлены все заголовки, подзаголовки, фамилии авторов, псевдонимы, нередко и редакторские примечания. Роспись, составленная С. А. Мухиной, воспроизводит, таким образом, всё содержание газеты. Руководствуясь этими данными, можно при желании более подробно познакомиться с текстами конкретных статей. Причём не только в читальном зале библиотеки, но и на сайте Московского государственного областного университета, который и организовал подготовку данной коллективной монографии. На сайте университета в открытом доступе представлены фотокопии всех номеров газеты “Русь” за все годы её издания — с 1880 по 1886 годы (<https://mgou.ru/nauka/nauchno-issledovatel'skaya-bazamgou/nauchno-obrazovatelnyj-tsentr-sovremennoe-prochtenie-russkoj-klassiki/gazeta-rus>).

Даже при беглом обзоре содержания газеты можно сделать вывод о том, каким темам на её страницах уделялось основное внимание. Это земское самоуправление, ситуация в деревне после реформы 1861 года, проблемы образования, деятельность правительства, жизнь в регионах России и на национальных окраинах, славянский мир. Вот названия основных разделов газеты: “Внутреннее обозрение”, “Москва и Петербург”, “Областное обозрение”, “Политическое обозрение”, “Еженедельные итоги”, “Русская область”, “Вне России”, “Славянское обозрение”.

Характерны названия статей, соответствующие наиболее злободневным проблемам времени: “Наше земское самоуправление”, “Письма о русском крестьянстве”, “Что нужно прежде всего для поднятия крестьянского хозяйства?”, “Письма из Привислинского края”, “Из Пинежского уезда Архангельской губернии”, “Из Константинополя” (корреспонденция “Руси”), “Вопрос о реформе крестьянского хозяйства на Московском губернском земстве”, “Первое собрание учителей русского языка С. -Петербургских средних учебных заведений министерства народного просвещения”, “Самоотрицание нашей школы. (По поводу съезда попечителей в Петербурге)”, “Несколько слов об Уральских казаках”, “Из Софии и из Цетинья. Из Угорской Руси”, “Об уменьшении выкупных платежей”, “О преобразовании крестьянских присутствий”, “Письма о нигилизме”, “Задачи центрального хозяйственного органа в России”, “К вопросу о народном здравии”, “Два слова о кабаках. (Из уездной практики)”, “Прибалтийские письма”, “Письма о Галиции”, “Об уравнивании условий крестьян разных именованый и о регулировании их платежей”, “Известия из Болгарии. По поводу толков о конституции”, “Избавимся ли мы от нигилизма?”, “По вопросу о волостных судах”, “Из Ташкента”, “Заметки о сельских школах”, “Австрия и Славяне”, “Сельское хозяйство и переселения”, “Два слова о Белоруссии”, “Из Дерпта”, “Из Риги”, “К вопросу об организации армии”, “Из Архангельской губернии”, “Из Астрахани”, “К вопросу об уменьшении народного пьянства”, “Что такое “крестьянские разделы”?”, “Из Варшавы”, “Из Софии”, “Православие и Поляки”, “Из Македонии”, “Вероисповедание и народность”, “Из Белграда”, “Положение крестьян-хозяев в Прибалтийском крае”, “Кризис в Сербии”, “Законопроект о найме рабочих”, “Письма о Герцеговине”, “Письма с Амура”, “Крестьянское дело в Северо-Западном крае”, “Наши анархисты”, “О польском вопросе”, “Дела на Руси Галицкой”, “С Литовско-Русской окраины”, “Легальная революция в Хорватии”, “Русская экономическая программа”, “Дела на нашем тихо-океанском Востоке”, “Несколько слов о Московской земской работе”, “Государственная философия в программе Министерства Народного Просвещения”, “Наше новое Земство и древняя Земля”, “Перечень известий о ходе дел на Балканском полуострове”.

Заметное место в газете занимает рубрика “Литературный отдел” с первыми публикациями произведений и писем А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, В. Г. Белинского, А. И. Герцена, С. Т. Аксакова, П. А. Вяземского, К. Н. Батюшкова, Ю. Ф. Самарина и др. Неоднократно на страницах газеты появляются напечатанные впервые стихи и статьи Константина Аксакова. Среди этих публикаций особое внимание обращает на себя самое известное его сочинение – Записка “О внутреннем состоянии России”, представленная императору Александру II в 1855 году.

Каждый номер газеты открывается передовой статьёй её главного редактора Ивана Сергеевича Аксакова. На страницах его последнего издания – газеты “Русь”, выражавшей славянофильскую и консервативную позицию и полемизировавшей с западниками, либералами, – активно обсуждалось, какими должны быть пореформенная Россия и славянский мир за её границами. При этом наиболее важными вопросами для него были формирование местного самоуправления, решение национальных проблем, в том числе на окраинах России (в Польше, Финляндии, Прибалтике и др.), борьба на Балканах за освобождение южных славян.

В его злободневных текстах нередко встречаются и мысли на все времена, особенно о самом важном для него предмете – внутреннем общественном состоянии России. В частности, он констатирует: “Все письма и статьи из провинции – только вопль, клянут бестолковщину, безурядицу, царящую, по их словам, внутри страны” (№ 2, 1880); “Много горечи накапливается в сердце народа от постоянного пренебрежения к его духовной личности со стороны просвещённых командующих классов. “Но он молчит, народ великий”, молчит и думает свою думу. <...> Это не угроза, а предостережение” (№ 14, 1881). И далее делает вывод: “Да послужит нам былое в поучение, и да истребитя наконец та духовная рознь, то взаимное отчуждение высших руководящих общественных классов и народа, то неведение, неразумие, неуважение своей родной земли, своих народных задач и интересов – тот наш единственный недуг, от которого хилеет лишённый внутренней цельности, но в сущности крепкий и здоровый наш исторический, великий, государственный организм”; “Вот уже несколько лет не по себе, неможется русскому человеку. Недуг этот

не экономического, а нравственного свойства. *Дух наш недужен*, вот что. <...> Самый успех наиразумнейших экономических мер зависит от духа жизни” (№ 53, 1881).

Вторая часть сборника, которая называется “Газета “Русь” 1880–1886 годов как универсальное издание”, включает в себя статьи исследователей, изучивших рассматриваемые в публикациях газеты проблемы русского общества и культуры. Эта часть монографии составлена из двух разделов.

Первый раздел – “Проблемы русской социальной жизни и их решение на страницах газеты” – открывается обобщающей статьёй В. Н. Аношкиной об основных проблемах общественной жизни России первой половины 1880-х годов. В статьях специалистов по истории рассматриваются вопросы о кризисе и политическом курсе царствования Александра III (Я. В. Соловьёв); о реалиях и перспективах земства в России (М. Л. Белл); российской имперской дипломатии, панславистской доктрине и русском национальном сознании, нашедших отражение в публицистической деятельности И. С. Аксакова (А. Г. Задохин); политике Римской Католической Церкви в Российской империи XIX века (И. В. Колосова). В статьях учёных-филологов проанализированы материалы, сосредоточенные в области мировоззренческих и духовно-нравственных проблем, наиболее остро стоявших в русском обществе и поднимаемых авторами газеты “Русь”. Среди них – распространение западнических представлений о России в книгах французских авторов (Б. Н. Тарасов); радикализм молодого поколения (И. Б. Павлова); специфика 1880-х годов в духовно-религиозном аспекте (Т. К. Батурова); возвращение православных оснований в систему российского народного просвещения (Т. В. Федосеева).

Второй раздел второй части монографии посвящён выдающимся деятелям эпохи, нашедшим отражение в публикациях газеты “Русь”. В ряде статей исследовано значение и место семьи Аксаковых в русской жизни. В статье А. Е. Ласьковой проанализирован образ С. Т. Аксакова, воссозданный в газете “Русь”; В. Н. Аношкиной – представленное в материалах газеты стихотворное творчество К. С. Аксакова; И. Р. Монаховой – эволюция воззрений Аксаковых и В. Г. Белинского; Э. В. Захарова – история взаимоотношений и идейных влияний Ю. Ф. Самарина и И. С. Аксакова; Б. Н. Тарасова – переписка Н. С. Лескова с И. С. Аксаковым; священника Ф. Н. Котрелёва – дружба И. С. Аксакова с одним из авторов газеты протоиереем А. М. Иванцовым-Платоновым. В. Н. Захаровым исследовано и описано славянофильское открытие Достоевского. В статьях Э. В. Захарова представлены история отношений А. И. Герцена и Ю. Ф. Самарина, а также образ Д. Ф. Самарина как последнего редактора газеты “Русь”. Б. В. Коптеловым изучено значение выдающегося полковника М. Д. Скобелева и отзывы о нём в зарубежной прессе. В статье М. Л. Белл представлен образ одного из авторов газеты, экономиста-“практика” С. Ф. Шарапова. Т. В. Федосеева воссоздаёт картину публикаций в газете “Русь” выдающегося русского педагога С. А. Рачинского о его народных школах; Н. К. Жакова – славяноведа В. И. Ламанского.

В комплексном исследовании газеты “Русь” систематизированы живые свидетельства об основных проблемах и достижениях непростого исторического времени царствования Александра III как несомненно важного момента в судьбе России. Основанные на конкретном жизненном материале публикации газеты расцениваются авторами монографии как свидетельство активизации общественного сознания. В реалиях времени показано значение газеты, служившей развитию общественного сознания, формированию активного отношения к реалиям и перспективам государственного строения, возрастанию роли литературы и искусства, усилению образовательной и просветительской деятельности в этом строении. При этом важны объективное отражение в газете столкновения западнических и “панславистских” устремлений и ясно выраженной позиции активного противостояния идеологии нигилизма, а также утверждение в качестве основополагающей функции Русской Православной Церкви формирования общественного сознания и духовно-нравственной атмосферы в обществе.

В монографии проанализировано содержание газеты, показывающее непреходящее значение 1880-х годов в русской истории, состоящее в уникальности сопутствовавшей этому периоду социально-общественной ситуации, утверждении самостоятельного внешнеполитического курса и внутренней политики, экономической стабильности, прочного международного положения,

роста народонаселения и духовного самоуглубления нации. В этом несомненная актуальность представленных в сборнике материалов для современного российского общества.

В газете большое место занимали стихотворения и знаменитых поэтов того века – Тютчева, Фета, Константина Аксакова – и поэтов конца столетия – В. Соловьёва, Голенищева-Кутузова, Хитрово, Розенгейма, готовящих расцвет русской лирики так называемого Серебряного века. Особенно выделена цитируемая строка Ф. И. Тютчева – “В Россию можно только *верить*”. Это Константин Аксаков в своей “громкой поэзии” бичевал псевдоправду – “правдоподобия”, определяя их как демоническую силу, старающуюся стать рядом с Истиной и затмить её, обмануть людей. Газета “Русь” бичевала “правдоподобия”, говоря:

*В Россию веруя, на бой
С духовной ложью
В честь правды и добра,
Без страха ты идёшь.
Верь в истину и свет,
Люби свободу Божью —
Свет нужен истине,
Мрак прикрывает ложь!*

Так поэт разговаривал с монархом – Александром II, газета расширяла адрес обращения, говоря со всеми читателями газеты: “В Россию можно только *верить*”.

АЛЕКСЕЙ ТАТАРИНОВ

ОБЛОМОВ В ТОЧКЕ АПОКАЛИПСИСА

О повести Юрия Козлова “Белая Буква”

Сюжет и образы Апокалипсиса всегда найдут место в литературе. Когда реальность трещит по швам и наступивший кризис кажется последним, “Откровение Иоанна” и апокрифы о конце света готовы связать беду настоящего времени с катастрофой вселенского масштаба. В годы недолговечного покоя и стабильности апокалиптика – желанный ужас, подконтрольный размеренному шуршанию страниц триллер, который можно закрыть в любую минуту, чтобы увидеть мирное небо над головой и почувствовать прозрачный, свободный от демонов воздух. А наша эпоха и вовсе уникальна: в одной душе в виртуозном смешении могут сочетаться уверенность в близком уничтожении всего и вся и урчащая радость сытой, многоцветной повседневности. Представляется эта радость вечной – одновременно с недвусмысленным предчувствием адской беды.

Движение современной литературы – развитие процессов интерпретации, инверсии и трансформации. Канонический Апокалипсис христианства свидетельствует об итоговой битве, о сорока двух месяцах всеобщего отступления от Бога, о втором пришествии Христа и окончательном поражении зла. Мода наших дней может быть обозначена лаконично: дьявол и Апокалипсис есть, Бога и преображения мира не видно.

Зато трудно не заметить тенденцию, причудливо соединяющую столь разных писателей, как Сорокин и Уэльбек, Пелевин и Барнс, Шаров и Кундера, Шишкин и Каннингем. Нам заявляют о том, что принципиально пустотный мир закончится ничем. Ибо нет ада под землей, нет рая над головой. А что же есть? Уверенность в силе небытия, в отсутствии онтологических, не подвластных субъективным суждениям смыслов, согласие с тем, что давно пора принять атеизм и его концептуальное Ничто как убедительную метафору и даже метафизику со знаком минус. Апокалипсис уступает место колоритной нирване. Я готов назвать её ключевым образом одного из базовых проектов современности – *евробуддизма*. Впрочем, призрак этого *евробуддизма* по российским просторам бродит не реже, чем по территориям западной цивилизации.

Или – ещё проще. В 2011 году на экраны вышел фильм Ларса фон Триера “Меланхолия” – совершенная кинодиагностика нашего времени: *веруем, что жизнь человечества завершится космической пылью и тут же исчезающей былью о холодном космосе и вселенской бездыханности и бездушности!* “Меланхолию” заметили все. Мало кто прочитал вышедший в том же одиннадцатом

году роман Юрия Мамлеева “После конца”. Смысл его позднего, почти предсмертного послания иной: *уж лучше ад, чем пустота; в аду есть жизнь, страдание, способное запустить механизмы возвращения души; в нирванах ваших нет ничего, кроме бесчеловечности.*

Это и есть русский ответ: *ад (как история и настроение) перспективнее пустотности.* Она – пустотность эта – обещает отдохновение, но является основой смерти, главного из всех возможных тоталитаризмов – диктатуры небытия. В контексте встречи и противостояния двух апокалипсисов я и рассматриваю творчество Юрия Козлова. Внимание – к его новой повести “Белая Буква”.

Несколько уровней пространства обозначено в повести. Во-первых, это белорусский городок наших дней, здесь проходит конференция по проблемам русского языка, больше похожая на гротескные поминки по отечественной словесности. Следовательно, быстро открывается уровень второй – типичная для многих времён болтовня-пьянка вполне уважаемых людей, посвящённая новейшим формам отсутствия Слова, трансформации литературы в контексты необязательных, субъективно истерических суждений о ней. Порою на таких форумах, где не бывает даже риторических сенсаций, каждый отыгрывает старую роль, не покидая пространства привычных суждений. Трибунные речи могут показаться неискушённому свидетелю знаком эпической битвы. Однако в этом сражении движения армий не происходит, да и к истине никто не спешит. Ведь в наличии хорошая еда, уютные гостиницы, говорливые собеседники, причём все в теме пребывают, могут принести наслаждение безопасным спором. Уровень третий – сознание периферийного русского писателя, аутсайдера литературы XXI века. Объединяющее начало всех уровней – неспособность дораста до логоцентрического поступка. За грозными речами, за бесцензурными мыслями скрывается невозможность выйти за пределы жёсткого, годами создаваемого кокона. В нём до самого конца засело бескрылое, грустно-гнусное существо. По Козлову, один из эпицентров Апокалипсиса.

Герой – писатель в кризисе. Ключевое событие повести – наступающая смерть Логоса, готового оставить перезревший человеческий мир: “Уже клубился над некогда ответственно сберегаемой общей речевой почвой отвратительный туман разно-, а в конечном итоге – безъязычия, прорывались сквозь мутные клочья три отчётливых звука: грозное рычание, тупое мычание и трусливое бляенье. То были три источника, три составные части доречевого и, пожалуй, постречевого самовыражения человеческих особей...”

Так как сюжет (многосмысленное событие-речь) у Козлова важнее фабулы (пересказываемое событие-факт), у нас нет шансов избежать погружения в сознание Василия Объёмова: “Писательское воображение было весьма изобретательно, как сталинских времён следовательно в поисках доказательств несуществующего заговора. Но без него жизнь Объёмова превратилась бы в пустоту. Собственно, литература и была для него поисками доказательств несуществующего (не только заговора, а чего угодно), точнее, существующего исключительно в его сознании. Другое дело, что найденные им доказательства не убеждали массового читателя в существовании объёмовского несуществующего... Славы (...) не было и не будет. Впереди то же, что и сейчас: одиночество, болезни, безденежье и тоска. А ещё – изумление перед непреходящей лживостью и мерзостью мира, от которого он тем не менее ждал признания... Ледокольный таланта, чтобы взломать мир, вывести человечество на чистую воду, Господь ему не дал. Таким преобразившим мир талантом обладал Сын Божий, даровавший людям прощение и жизнь вечную. Тоже ледокольным, но внутри другого, земного измерения талантом обладал Сталин, преобразивший Россию наказанием... Вот почему, успокоился Объёмов, литературе не дано перевернуть мир. Ей дано выродиться. Путь её – от гжущего сердца людей глагола к веселящему зажавшемуся обывателя-потребителя комиксу... А там... за точкой (...) благословенная тишина, покой, абсолютное, то есть неподвластное времени и вирусам, вечное здоровье в земле или в урне с пеплом, исчезновение всех мыслимых и немыслимых тревог, предчувствий, рвущих душу и сердце переживаний (...) Великое отсутствие... Человеческая жизнь вдруг увиделась писателю Василию Объёмову в виде коридора, по бокам которого в разные стороны пригlašающе вращались винтовые ушастые двери. Люди шмыгали в них, как мыши. Некоторые, прокрутившись в этих дверях, возвращались, ошалевшие, в коридор, а некоторые исчезали...”

где?.. Ему тоже казалось, что лучшая часть его жизни, как живая цветная река, перетекала в сеть снов или в сонную сеть, что только там, рассекая виртуальные подсознательные волны, он расправляет крылья (плавники?), принимает ответственные решения, полноценно и насыщенно существует. А как проснётся – перемещается в нечто, точнее – в ничто, в серый, вяжущий по рукам и ногам туман, к однообразным бытовым хлопотам, мрачным мыслям, молчащим телефонам, бессмысленным новостям-перевёртышам из радио, телевизора и компьютера. Куда ушла жизнь? Почему даже сейчас в незнакомом городе, где наверняка много такого, чего он не видел, – да хотя бы могучая крепость на берегу озера! – ему хочется тупо завалиться спать?”

Постараюсь быть рациональным. Во-первых, в потоке сознания Объёмова – констатация собственного поражения, уверенность в том, что главный, внутренний человек проиграл свою жизненную битву. Во-вторых, мысль о низком качестве самой человечности, о более объёмном, чем персональный низкий балл, поражении. В-третьих, предчувствие разрешающей все проблемы пустоты: она начинается на диване, в долгом, неоправданно тягучем сне, а продолжение находит в идее сна-исчезновения, в интуиции “Великого отсутствия”. В-четвёртых, вместо апологии литературы писатель Объёмов занимается её обличением, по сути – отрицанием качества и возможности достичь результата. В-пятых, на руинах литературы главный герой “Белой Буквы” нащупывает возможность *сверхлитературы* – слова-дела Христа и Сталина, которые избавили человека от убаюкивающей пустоты и погрузили в деятельную, полную мучений трагедию. Напомню высказанную на первой странице гипотезу: в России ад – средство исцеления от пустоты.

Козлов предлагает игру с явными и скрытыми “именами” главного героя. Фамилия писателя Василия – Объёмов. В ней можно оценить гротескное несоответствие потенциального масштаба и персональной узости, ограниченности душевных действий и сдувшегося “объёма”.

Читатель вправе сделать ещё один ход: Объёмов – это Обломов. Илья Ильич соединяет тепло бесшумного халата и могильный холод, приближающийся с каждой новой минутой категорического неумения жить. В “Белой Букве” от великого героя, отождествившего зло с активностью, осталась обломовщина.

Новая постсоветская обломовщина – особый стиль вялого, лишённого радости сбережения себя в потоке тяжёлой мысли о гибели России и мира. Мысль эта может поразить критическим потенциалом, объёмом убедительных выводов, постоянным касанием апокалиптической катастрофы. Увы, без намёков на веру в Бога и согласия на жертву ради Родины и людского выживания. Внутри сконцентрированного на беде сознания Объёмов лежит на символическом диване. Этот не для кого пишущий Обломов – без читателя, детей, жены, без желания жить, а не мучиться в безвоздушности тотального осуждения.

Все три формы имени работают на образ России. Наш сегодняшний Русский мир, по Юрию Козлову (следует всё-таки добавить: так представляется мне) – это драма внешнего разрастания и – вдруг – горбачёвско-ельцинского сжатия объёма, смертельной операции движения в разные стороны, причём каждый из манёвров прямо свидетельствует о катастрофе. В границах российской бескрайности ты можешь быть альфа-самцом мышления, субъектом историософских выводов и одновременно являться жертвой постоянного насилия, безвольным объектом атаки, организованной не всегда понятным и разумным центром. Сочетание потенциала, расширения горизонта ожидания с каскадом поражений только усиливает обломовщину – смелость помыслов и внутренних суждений может прорваться в речь (Объёмов готов вспылить перед телекамерой или устроить скандал на конференции), но никогда не приводит к устойчивым изменениям жизни. “И если я, писатель и... общественный деятель (ведь пригласили в Белоруссию на конференцию!), столько лет пребываю в ничтожестве и бездействии, значит, в таком состоянии пребывает вместе со мной русский народ”, – подсказывает герой принципы верного отождествления.

В одном из снов наяву Объёмов видит себя Ильёй Муромцем, проигравшим Идолицу поганому. Юрий Козлов предлагает читателю текст о судьбе литературы, о её кризисе. Но проект Козлова не отличается литературоцентризмом – даже в условиях парада архетипов, их вихревого движения. Сигнал о связи жизни с текстом, с теоретическими конструкциями внутри словесности

здесь не менее важен. Есть ли связь жанра с нашим характером, с местом субъективного сознания в реальности? То, в чём обречён существовать Обьёмов, названо “тревожным водевилем с элементами футурологического триллера”.

Трудно выбраться из этой жанровой ловушки! С одной стороны, принятие солнечного бытия во всех его сложных зигзагах — бастионы оптимизма. С другой — исход в философию трагедии, в высокое искусство жизни и текста, в особое сюжетостроение, где героическая смерть — условие ещё эллинам известного катарсиса. Выбери что-нибудь определённое! Нет... Иллюзия, что с водевилем-триллером легко проститься...

* * *

Томясь в границах депрессивного сознания, Обьёмов не может не думать о позиции аутсайдера. Он сравнивает себя с Печориным — вроде бы лишним, одиноким, озлобленным и проигравшим. Оба оказались в новом месте по “казённой необходимости”, внутри динамичного сюжета: *“Но если Печорин не возражал сыграть с контрабандистами на собственную жизнь, у пугливого и осторожного Обьёмова подобное желание отсутствовало напрочь. В характере Печорина коэффициент риска едва ли не превосходил аналогичный у контрабандистов. Коэффициент риска у Обьёмова был величиной блуждающей, почти неразличимой внутри математической погрешности”*.

Молитва о деятельном герое может по-разному выражаться в текстах, не опирающихся на присутствие сильной личности. В повести Козлова эта актуальная для современной литературы молитва слышна в объёмовской рефлексии: *“Объективно лишний человек Печорин принёс пользу России. Что принёс России патриот Обьёмов, пока было неясно. А что, если, мелькнула нехорошая мысль, патриот сегодня в России и есть даже не лишний, а сверхлишний человек? Народ, сама собой продолжилась мысль, тоже лишний, однако его пока слишком много...”*

В романе Лермонтова есть герой, а через присутствие героя благословение получает и само время — не лучшее в истории, но канонизированное художественной значимостью Печорина. Как из многолетней печали постсоветского человека родить всем необходимый сюжет? Как из дряхлеющей смерти русского народа (один из ключевых знаков патриотической литературы) вынести самое главное — сущность постижения трагедии, способной вернуть Родину через катарсическое потрясение? Ведь нет у писателя более верной задачи...

Юрий Козлов не знакомит нас с произведениями Обьёмова, авторский приём иной — представить то, что герой не написал и не прочитал: “А ещё у Обьёмова неожиданно сложился сюжет (сейчас такое безобразие входило в моду) для рассказа “Тамань 2”. Печорин не уехал по казённой надобности, а примкнул к контрабандистам, отбил дивчину у Янко, разобрался с конкурентами, создал настоящую морскую бандитскую империю. У слепого (Печорин его пожалел и приблизил к себе), как у болгарской Ванги, открылся дар предвидения. Он предсказал Крымскую войну и поражение России. Печорин тайно встретился в Севастополе с Николаем Первым, а потом...”

Черновик фабулы примитивен и сгодится лишь для сериала, сценарий которого напишут и без Обьёмова. Главное — интенция. Хочется сильной личности. Требуется особо заметная связь литературы с жизнью. Гнетёт неосуществлённая мечта о продолжающемся в реальности произведении, когда сила мира, эстетически построенного, начинает сказываться там, где уже не одной эстетикой жив человек. Литература с её ограниченными возможностями должна уступить место словесности — не вялым студиям гламурных фантазёров, не бесконечным плачам пораженцев, а силовым акциям харизматических творцов. Среди них Христос (преображал мир прощением и жизнью вечной), тут же Сталин (тоже, по Обьёмову, преобразал, но — наказанием).

* * *

В предыдущих романах Юрия Козлова “Почтовая рыба” и “sBOбoDA” в эпицентре апокалиптической работы пребывают успешные современники: политики, чиновники, стратеги закулисных операций. Почему в “Белой Букве”

инкубатором мутного, катастрофического разума становится незаметный русский писатель – в простейшей публицистической классификации, не *либерал*, а *патриот*?

Бьёт ли Юрий Козлов по своим? Думаю, он бьёт по чужому в своих. Патриотический писатель Объёмов понятен неучастием в делах персон богатых, самодовольных, предательски ориентированных на любое оплаченное движение судьбы. Объёмов живёт в бедности, его мировоззрение – отрицание того агрессивного западного стиля, условного *постмодернизма*, который выше национального ставит лихой демократизм, камня на камне не оставляющего от классической нравственности. Объёмов – правильно мыслящий человек, если под *правильным* понимать предсказуемый риторический патриотизм, иногда заменяющий сигнал для совместного стартового рывка.

“Самым непереносимым наказанием для грешника, к каковому новоявленный исследователь справедливо причислял подавляющую часть отошедших в мир иной людей, было угодить в круг, где новоприбывший (...) “всё понимал, видел, чувствовал, а изменить ничего не мог”, – это воспоминание Объёмова об одном графоманском и одновременно новаторском описании ада. В этой inferнальности и пребывает герой повести “Белая Буква”: *всё понимает, ничего не делает*. Впрочем, ниже скажем о том, как *делом* становится нудная и при этом броневая мысль об отсутствии смысла.

Чтобы воплотиться снова, Сталину или Гитлеру нужны не горящие в идейном огне души нищезанцев или коммунистов, а вязкое пространство новейшей обломовщины. Здесь сознание интеллигента, возможно, втайне от самого себя, сочиняет незримую и поначалу никем не слышимую проповедь о железной воле, которой пора обозначить своё присутствие. Не от избытка силы. Наоборот, от её недостатка, от прозябания в утратившей эстетическую силу минорной музыке. Плывая по волнам отчаяния, изо дня в день выплёвывая рефрен о сейчас совершающейся гибели, наш *Обломов* инстинктивно ищет диктатора. Чтобы отомстил всепобеждающим врагам, наказал грешников, вернул в житейский оборот чёткий образ мироздания. Когда есть ад, когда есть рай, и невооруженным глазом видна техника отделения лжи от правды, света от тьмы. И пусть Бог в этом космосе будет напоминать своего антипода, а литература – систему заповедей и юридических тезисов...

Поэтика Юрия Козлова формируется там, где актуальны архетипы Дон Кихота и Гамлета. Кихотизм, воспетый сегодня Александром Прохановым, не вызывает доверия у автора “Белой Буквы”, более того – ему не виден. Царствует особый, доведённый до категорического императива гамлетизм: тлеющий Йорик пахнет повсюду, Бог – Тиран или Отсутствие, кругом предательство и вывернутая наизнанку человечность, мир – тюрьма, и хочется действительно уснуть, по-настоящему *не быть*, чтобы отвернуться от *всего этого*. Объёмовская интуиция расширяющейся пустотности и смыслопотери – тот удобный трамплин, по которому Гитлер съезжает из мнимого небытия в мир.

Возможный Апокалипсис с очевидным пришествием Антихриста наш автор рассматривает не в категориях добра и зла, а в системе эсхатологической объективности, когда решающим признаётся фактор человеческих деяний, вызывающих зверя из бездны. Не думаю, что писатель Козлов полностью отделяет себя от писателя Объёмова. В хмурой сатире “Белой Буквы” обнаруживаю исповедь *Объёмова – Обломова – нас*.

ЛЮДМИЛА ЛИС

РУССКИЙ ОТВЕТ ДЖОАН РОУЛИНГ

О книге Заряны Луговой “Лавия. Обретение души”

Молодому поколению в наше время приходится особенно трудно. И воспитательные, и образовательные процессы зашли в тупик. Это происходит не только в нашей стране, но и по всему миру. Компьютерные технологии, от которых ожидали помощи в процессе обучения, изменения качества образовательных программ, научных прорывов, на деле, пожалуй, кроме всего перечисленного, нанесли огромный вред подрастающему поколению, который никто до сих пор должным образом не оценил. Многие подростки ушли от нас навсегда, запутавшись во всемирной паутине. Одни, с трудом окончив школу, так и не идут работать, потому что сутки напролёт играют в компьютерные игры; другие становятся адептами разного рода сект в социальных сетях, кончают жизнь самоубийством; третьи повреждаются душой из-за лёгкой доступности порнографии в интернете.

Обществу почти нечего противопоставить этим губительным процессам. Социально ответственные родители вынуждены оба работать, чтобы обеспечить семье определённый уровень существования, им некогда заниматься со своими чадами, контролировать их досуг. Государства, представляющие европейскую цивилизацию, больше озабочены соблюдением прав ребёнка на потребление материальных благ и пропагандой гомосексуализма среди несовершеннолетних, чем состоянием их душевного здоровья. Школа самоустранилась от собственно воспитания детей. Даже в нашей стране школьники теперь называются не учащимися, а “обучающимися”, а это ведь принципиальная разница в образовательном подходе. Школьные психологи, впрочем, как и вся психология, предлагают путь мирного сосуществования и сожительства с внутренними бесами.

Церковь могла бы внести свою лепту и бороться с этими явлениями, но её в большинстве стран современного мира отделили от государства и изгнали из учебных заведений. В католических школах Европы, проявляя толерантность к беженцам, убирают кресты со стен, в Греции перед началом занятий больше не молятся, а в России до сих пор спорят о целесообразности введения курса “Основы православной культуры”. Куда податься детям в том мире, который мы для них создали? Мы не научили их даже общаться, глядя в глаза друг другу. Очень часто можно увидеть сидящих в кафе подростков, которые едят десерт, не отрываясь от гаджетов, живой собеседник для них не более актуален, чем виртуальный незнакомец, принимающий сообщения.

Или ещё модное развлечение – показывать друг другу “мемасики” во время поедания пиццы.

Дети рождаются чистыми, доверчивыми и любознательными. Но современная действительность такова, что мальчикам и девочкам с пелёнок социумом зачастую внушаются не фундаментальные понятия любви, добра и справедливости, без которых, между прочим, не достигла бы такого высокого уровня развития и наша христианская цивилизация, а противоположные принципы: человек человеку волк, у всего есть своя цена, дружить нужно только с теми, с кем выгодно и т. д.

Конечно, молодёжь не будет искать глубокие смыслы в священных текстах, писаниях, религиозной литературе. Даже невозможно ожидать этого от молодых людей. Гораздо доступнее для них более лёгкие формы познания мира. Книжки, анимация, художественные фильмы могли бы стать спасением в современных условиях. Однако трудно представить себе современного подростка за чтением, например, “Героя нашего времени” Лермонтова или просмотром киноэпопеи “Война и мир” Сергея Бондарчука. Любимым жанром советских детей была научная фантастика, теперь же все изменилось. Если дети и читают что-нибудь, то это непременно в жанре “фэнтези”. Стефани Майерс, Джордж Мартин, Джоан Роулинг с “Гарри Поттером”, Джон Рональд Руэл Толкиен с “Властелином колец” стали любимыми писателями подростков и даже многих взрослых, которые никак не могут вырасти.

Но эти писатели, к сожалению, не любящие отцы нашим детям, потому что предлагают им камень вместо рыбы, а вместо хлеба – змею. В мирах, которые они создают, всем заправляет не любовь и добро, а магия. Ничего, кроме гордыни, они воспитать не могут. К сожалению, кино- и телепродюсеры в погоне за прибылью с удовольствием берут в разработку эти произведения, снимают дорогостоящие и зрелищные кинокартины и сериалы, прививая таким образом детям ложные ценности. С поистине дьявольской напористостью эти деятели от псевдоискусства сажают на иглу психологической зависимости уже третье поколение жителей нашей планеты. Проблема стала глобальной. Книжки выпускаются миллионными тиражами, фильмы собирают миллиарды долларов в прокате по всем странам. Именно эта литература и именно это кино подготовили почву для возникновения печально известных в России интернет-сообществ “Синий Кит” и “Тихий Дом”, создатели и модераторы которых убеждали юных своих адептов уходить из жизни в юном возрасте.

Герои Майерс и Роулинг стали практически религиозными символами, им подражают, их обожают. Но ведь они плоть от плоти “западной цивилизации”, с их помощью нам навязывают так называемые общечеловеческие ценности и чуждые идеалы. Поистине, деятельность этих “героев” на нашей территории можно уже назвать миссионерской. С их помощью насаждается чужое мировоззрение и мироощущение, из наших детей делают не что иное, как универсальных потребителей.

Но что мы можем противопоставить этой агрессивной политике воздействия на детские умы, этой яростной атаке деятелей искусства, служащих мамоне? Славянские народные предания и русская литература явили миру своих героев: былинные богатыри, которые жили на самом деле, ведь мы можем видеть мощи Ильи Муромца в Киево-Печерской лавре, святые Пётр и Феврония, смекалистый Иванушка-дурачок, пушкинский Балда и Руслан, кузнец Вакула Гоголя и многие другие. Все они неизменно одерживали победу над злом, прогоняли и проучивали чертей, истребляли змеев, кощеев, черноморов и других обитателей тёмного царства. Ещё мы имеем удивительные романы Ивана Ефремова с его предхристианскими или, вернее, вневременными, “космическими” героями. Есть у нас ещё Сергей Алексеев с былинными богатырями дохристианской славянской языческой цивилизации. Вот, пожалуй, и всё.

Да ещё наши кинематографисты и аниматоры зачастую подыгрывают западникам, идут на поводу у принятых в Голливуде штампов. Взять хотя бы новый мультипликационный фильм “Сказ о Петре и Февронии”, который мог бы стать путеводной звездой в воспитании миллионов детей, особенно девочек – будущих жён и матерей, но, к сожалению, таковой не стал. Благодаря подмене смыслов, произошедшей в процессе создания мультфильма, девочки теперь будут думать, что богатого жениха можно получить шантажом,

а любовь — это мелодрама, а не колоссальный труд. А как же: “Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится” (Первое послание к коринфянам святого апостола Павла)? Где наши дети узнают о такой любви?

Особняком стоит в русской литературе недавно ушедшая из жизни русская писательница из Франции, работавшая в жанре “христианского фэнтези”, — Юлия Вознесенская. Именно она стала первооткрывательницей этого жанра в России. Чтобы писать православное “фэнтези”, нужно было иметь определённую смелость, потому что, как написано: “Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его”. В повести-притче “Мои посмертные приключения” Юлия Вознесенская очень образно описала то, что ждёт человека в загробном мире. В своём произведении писательница не выходила за рамки представлений и учения Православной Церкви о жизни после смерти. Мытарства души, бесовские искушения, круги ада, — всё это отражено в повести и вполне соответствует основным канонам Православия.

Гораздо дальше пошла русская писательница из Грузии Заряна Луговая в своём романе “Лавия. Обретение души”. Она создала целый мир. Это мир нельзя назвать загробным. Он связан с землёй невидимыми живыми нитями. Он чёткий, слаженный и гармоничный. Отличительные черты этого мира от всех прочих ранее созданных другими писателями, — это отсутствие в этом мире магии, по крайней мере, на ней внимание не заостряется, и с помощью магии ничего в романе не совершается, и ещё в романе, в отличие от канонического представления об ангелах, они имеют право выбора, кому служить, добру или злу.

Заряна Луговая не следует по пути, проторённому предшественниками, а упорно прокладывает свою дорогу, увлекая читателя пройти вместе с ней по дорогам созданного ею фантастического мира. Этот мир — плод огромного труда, тысячи логических связей, загадочных персонажей, удивительных характеров, деталей; здесь ничего нельзя забыть, упустить, перепутать. Ей удалось создать мир органичный по сути и оригинальный в философском смысле. При этом роман написан живым, простым, но образным, имеющим свой собственный стиль языком.

Есть такой французский фильм Люка Бессона “Ангел-А”. Там 28-летний герой Андре должен десятки тысяч евро различным бандитам по всему Парижу. Когда подходит срок расплаты, он понимает, что шансов расплатиться нет. Тогда он решает прыгнуть с моста. Примерно так же начинается и роман Заряны Луговой. Молодая отчаявшаяся девочка решает покончить с собой и прыгает с моста. На этом схожесть сюжета заканчивается. Ибо Бессон пошёл проторённой дорожкой западных ценностей, а Заряна Луговая нашла свой собственный путь. Ангел по имени Лавия, на первый взгляд, случайно оказавшийся на месте происшествия, вмешивается в процесс, спасая жизнь самоубийце. Тёмные силы требуют от Бога для Ангела наказания, ибо она нарушила договор. Ангелу Лавии приходится пройти свои собственные мытарства, чтобы вновь обрести любовь, вспомнить свою человеческую жизнь и вновь стать полезной земным и небесным обитателям.

В мире Заряны Луговой нет ничего того, что когда-то кем-то было бы уже написано, и это, пожалуй, самое удивительное. Эта книга не оставит равнодушной ни молодёжную, ни взрослую аудиторию. Старшему поколению роман будет интересен именно потому, что читатели будут пытаться сравнить его с чем-то, да только вряд ли у них это получится. По книге получился бы замечательный мультфильм, а для художников комиксов вообще здесь море интересной работы. Прочитав эту книгу залпом, я всё пыталась найти отзывы о ней литературных критиков. “Смелое в каноническом смысле сочинение, притом, что фантазия автора остаётся в рамках канона и благочестия, — это в известном смысле, наш ответ Толкиену, не бегущей пружиной интриги, с одной стороны, и не лобового проповеднического пафоса — с другой”, — написал литературный критик П. Крючков. Что ж, я полностью с ним согласна. Хотелось бы, чтобы этот роман не прошёл мимо находящейся в поисках нравственной опоры в жизни молодёжи.

ДИСКУССИЯ О МАРКСИЗМЕ В ПОДНЕБЕСНОЙ

В столице Китая в мае прошёл второй Всемирный конгресс по марксизму, организованный Пекинским университетом и приуроченный к 200-летию со дня рождения Карла Маркса. Собралось свыше тысячи человек, среди них 120 учёных из 30 стран. Помимо пленарных заседаний, работали 10 секций, в том числе таких, как “Марксизм и прогресс человеческой цивилизации”, “40-летие начала экономических реформ в Китае”.

Доклад одного из главных организаторов конгресса – декана Института марксизма Пекинского университета Юй Хунцзюня – назывался “Логика выбора экономического строя” и затрагивал сложную проблему соотношений плановых и рыночных составляющих в экономике Китая. Эксперт резюмировал, что на разных этапах развития той или иной страны баланс между двумя регуляторами непременно должен меняться, но именно планово-рыночная экономика в итоге является надёжным плацдармом экономического процветания. Такая модель, по словам учёного, будет оставаться стержнем дальнейшего роста Китая в ближайшем и более отдалённом будущем. Сохранение планирования и его социальной направленности лежит в основе того, что Китай – единственная в мире страна, не подверженная за последние четыре десятилетия кризисам. 700 млн человек за это время вышли из нищеты, а темпы экономического роста страны в среднем за год составляли 9%.

В кулуарах форума нашлось время и для частных бесед. Я подошёл к давнему знакомому – египетскому экономисту с мировым именем **Самиру Амину** – с предложением поделиться своими мыслями с читателями нашего журнала.

– Два с половиной года назад мы встречались здесь на первом Всемирном конгрессе по марксизму. Что показалось особо интересным на сей раз?

– Для меня особенно ценной стала возможность поближе познакомиться с мнениями влиятельных представителей Китая о будущем страны, о том, что они вкладывают в понятие “социализм с китайской спецификой новой эпохи”. Примечательно, что их мнения сильно разнятся. Просматривается правое направление, считающее, что, в конечном счёте, капитализм и рынок одержат верх над тем, что называется социализмом. Но другие отдают себе полный отчёт в преимуществах социалистической организации общества. Причём их теперь становится всё больше. Я сравниваю это с тем, что было пять или десять лет назад. Они рассматривают в качестве примера вашу страну, понимают, что если бы у вас грамотно провели реформы, то Советский Союз сохранился бы до сих пор. На мой взгляд, путь к социализму в такой стране, как Китай, длителен и не может ограничиться пятью, десятью, даже двадцатью годами, а займёт значительно большее время, не исключено – столетие. Когда Мао Цзэдуна как-то спросили об этом, он сказал, что, может, и тысячу лет.

– Самир, в своём докладе вы подчеркнули то, что Маркс не только по-прежнему актуален, но и играет огромную роль в наше время. Что вы имели в виду?

– Маркс исследовал капитализм на примере небольшого числа европейских стран и пришёл к выводу, что он как строй не вечен. Он показал, что капитализм стремится к порабощению всего мира и порождает одно неравенствие за другим. У капитализма как системы отсутствует какой-либо встроенный в неё разумный механизм поддержания пропорциональности и гармонии общества, подтверждение чему – периодически наступающие кризисы. Этот тезис разительно отличается от того, что твердят некоторые, как я считаю, глупцы, подчас наделённые, однако, Нобелевскими премиями по экономике. Спустя время никто и не вспомнит их имена. Альтернативы Марксу нет, хотя это не значит, что к марксизму надо относиться, как к Библии или Корану. Маркс – не последнее слово. Надо начинать с Маркса и идти дальше, а не останавливаться на нём.

– *Что вы думаете о ситуации в России и перспективах её развития?*

– Думаю, что страна прошла в 1990-х через катастрофу, разрушившую её и социализм. Одной из причин стала получившая хождение иллюзия, что с переходом России к капитализму Запад примет её в свой клуб или хотя бы в Европейский дом. Ныне просчёт абсолютно очевиден. Как понятно и то, что, не желая возврата к прошлому, многие не удовлетворены тем, что получилось. У вас в ходу когда-то была горькая шутка: то, что раньше говорилось про социализм, было ложью, но то, что говорилось про капитализм, а говорили плохое, было правдой. Как исправить ошибку? Вам, думаю, многое надо и переосмыслить, и поменять.

Путин, как мне кажется, хочет установить государственный капитализм, строй, где есть частная собственность при сильной роли государства. Но госкапитализм сегодня не в состоянии эффективно работать без наличия социальной ориентации, я не говорю о социализме, но социального прогрессивно-го измерения, наполнения социальным контентом.

– *И комплексного планирования?*

– Конечно.

Не отказался от интервью и бывший премьер-министр Италии (1998–2000) **Массимо Д’Алема**, который был первым главой правительства этой страны, состоявшим в Итальянской коммунистической партии.

– *Что для вас значит Маркс?*

– Думаю, что всякому политическому деятелю не мешает иметь глубокое представление о современном капитализме и его противоречиях. Такой критический подход не может игнорировать Маркса. Вместе с тем, “Капитал” и другие его произведения не представляются мне абсолютно завершённой, идеальной доктриной, неким монументальным сводом правил, в котором можно найти ответы на все встающие сегодня вопросы. Маркса следует рассматривать как реальную историческую фигуру – как гениального мыслителя и политически активную личность. Он жил в позапрошлом веке, а его великие исследования на протяжении более четырёх десятилетий проходили в тяжёлых условиях и несут отпечаток того времени. Маркса надо освободить от догматических интерпретаций, его следует вновь и вновь читать и перечитывать. Только так можно познать всю глубину его идей и почерпнуть в них инструментарий, пригодный для понимания современных проблем. Кроме того, в Марксе поражает скрупулёзность и добросовестность метода его анализа, а также потрясающая страстность его натуры, заставляющая и нас не смиряться со сложившимся порядком вещей и постоянно бороться за лучшее будущее.

– *Сегодняшняя ситуация в мире не очень обнадеживает. Что вам кажется наиболее опасным и какие, по-вашему, возможны варианты развития?*

– Трудно ответить вкратце. Согласен, ситуация опасная. Мы имеем кризис в США, вернее, упадок американской империи, великой экономической и военной державы. Подобное всегда сопряжено с большими рисками. Не меньшая угроза исходит из исламского мира с его фундаментализмом. Причина конфликта кроется в противоречиях между исламом и главными странами Запада. Но у этих государств нет общей стратегии борьбы, в отличие от Владимира Путина, у которого такая стратегия есть. Ваш президент был против так называемой арабской весны и поддерживает арабские режимы в противостоянии исламскому фундаментализму. А американцы сначала поддерживали арабские революции, а теперь столкнулись с исламом и не знают, что делать.

– Для американцев арабский мир интересен, прежде всего, наличием там богатых запасов нефти.

– Да, это традиционный для них подход. Но недалёковидный.

– Почему Россия вновь превратилась в “империю зла” для США? Ведь в начале 90-х она стала частью капиталистической экономики Запада. За что же США так ополчились?

– Россия была сверхдержавой, а потом перестала ею быть, и с ней перестали считаться. Многие не забывают, как президент Ельцин нередко изрядно выпивал во время зарубежных визитов. И много делал неразумного. Теперь складывается впечатление, что Россия восстанавливает утраченную роль. Путин популярен повсюду, не только у вас, стремлением вернуть стране звание сверхдержавы. Он воюет в Сирии. Ну, и аннексия Крыма, конечно...

– Может всё-таки возвращение? Если бы этого не случилось, то там всё могло повернуться, как в Донбассе?

– Я согласен, что в событиях на Украине во многом повинны украинские националисты. Многие восточноевропейские страны по-прежнему резко настроены против русских. А вот европейский Запад уже не согласен с ними.

На мой взгляд, нужна новая конференция типа Хельсинкской. Иначе обстановка в Старом Свете будет оставаться турбулентной. А американцам трудно верить.

– Как считаете, в будущем итальянские коммунисты смогут вновь оказаться у власти в стране?

– Надеюсь, что да, но не сейчас, когда страх миграции и безработицы витает в европейских головах. Это сейчас самое тревожное для граждан.

* * *

В отличие от России, в Китае 200-летний юбилей Маркса отмечали и на самом высоком государственном уровне. 4 мая в Доме народных собраний в Пекине по этому поводу состоялось торжественное собрание, на котором присутствовали высшие руководители страны. С важной речью выступил Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин. “Прошло двести лет, и, несмотря на огромные и глубокие изменения в обществе, имя Карла Маркса пользуется уважением во всём мире, а его теория по-прежнему блистает, подобно бриллианту, светом истины”, – заявил китайский лидер. Он отметил, что, чтя память Карла Маркса, китайцы выражают почтение величайшему мыслителю в истории человечества и декларируют твёрдые убеждения в марксизме. Он неизменно является руководящей идеей партии и государства, мощным идейным оружием для познания мира, усвоения закономерностей, стремления к истине и преобразования мира. “В новую эпоху, – подчеркнул глава страны, – китайским коммунистам следует, как и раньше, учиться у Карла Маркса, изучать марксизм и применять его на практике, высоко поднимать великое знамя марксизма, черпать из марксизма научную мудрость и теоретические силы”.

Назвав стимулирование неуклонного развития марксизма священной миссией китайских коммунистов, Си Цзиньпин призвал заимствовать все полезные достижения человеческой цивилизации, постоянно совершенствоваться, непрерывно углублять знание закономерностей строительства социализма и закономерностей развития человеческого общества. Мероприятие закрылось под звуки “Интернационала”.

Конечно, нельзя не обратить внимание на то, что по центральному каналу телевидения КНР прошёл двухсерийный документальный фильм “Нетленный Маркс” о жизни Маркса, его дружбе с Фридрихом Энгельсом, о написании “Манифеста Коммунистической партии” и “Капитала”.

Георгий Цаголов
Пекин–Москва